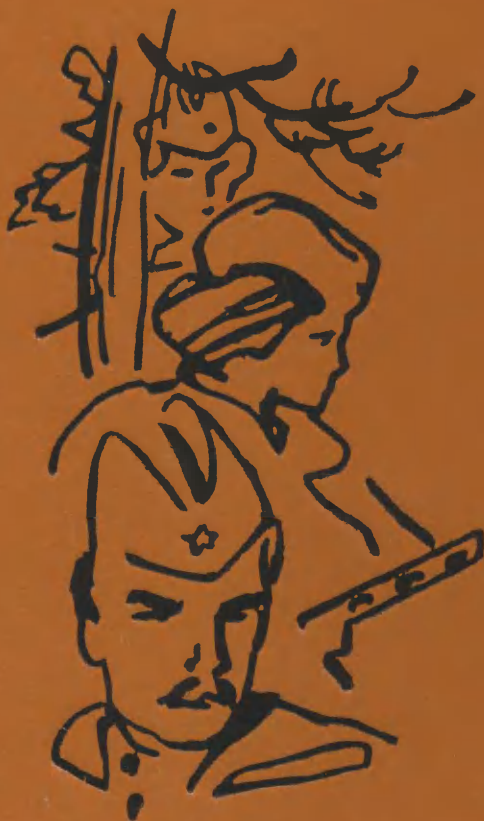




БОРИС  
ВАСИЛЬЕВ



# БОРИС ВАСИЛЬЕВ





Борис  
ВАСИЛЬЕВ

А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...  
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ  
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

ЛЕНИЗДАТ

1980

**Васильев Б. Л.,**  
**В 19** А зори здесь тихие... Не стреляйте в белых ле-  
бедей, В списках не значился. — Л.: Лениздат,  
1980. — 496 с. — (Библиотека Лениздата)

В книгу Б. Л. Васильева вошли повесть «А зори здесь тихие...»,  
за которую автору присуждена Государственная премия СССР 1975 го-  
да, и два романа: «Не стреляйте в белых лебедей» и «В списках не  
значился».

84.3P7

70302 4702010200—086  
М171(03)—80 173—80

© Лениздат, 1980, иллюстрации,  
послесловие



# А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...

ПОВЕСТЬ

---





На 171-м разъезде уцелело двенадцать дворов, пожарный сарай да приземистый, длинный пакгауз, выстроенный в начале века из подогнанных валунов. В последнюю бомбежку рухнула водонапорная башня, и поезда перестали здесь останавливаться. Немцы прекратили налеты, но кружили над разъездом ежедневно, и командование на всякий случай держало там две зенитные счетверенки.

Шел май 1942 года. На западе (в сырые ночи оттуда доносило тяжкий гул артиллерии) обе стороны, на два метра врывшись в землю, окончательно завязли в позиционной войне; на востоке немцы день и ночь бомбили канал и Мурманскую дорогу; на севере шла ожесточенная борьба за морские пути; на юге продолжал упорную борьбу блокированный Ленинград.

А здесь был курорт. От тишины и безделья солдаты млели, как в парной, а в двенадцати дворах оставалось еще достаточно молодух и вдовушек, умевших добывать самогон чуть ли не из комариного писка. Три дня солдаты отсыпались и присматривались, на четвертый начинались чьи-то именины, и над разъездом уже не выветривался липкий запах местного первача.

Комендант разъезда, хмурый старшина Васков, писал рапорты по команде. Когда число их достигало десятка, начальство вкатывало Васкову очередной выговор и сменяло опухший от веселья полувзвод. С неделю после этого комендант кое-как обходился своими силами, а потом все повторялось сначала настолько точно, что старшина в конце концов прилачился переписывать прежние рапорты, меняя в них лишь числа да фамилии.

— Чепушиной занимаетесь! — гремел прибывший с последним рапортом майор. — Писанину развели! Не комендант, а писатель какой-то!..

— Шлите непьющих, — упрямо твердил Васков: он побаивался всякого громогласного начальника, но талдычил свое, как пономарь. — Непьющих и это... чтоб, значит, насчет женского пола.

— Евнухов, что ли?

— Вам виднее, — осторожно говорил старшина.

— Ладно, Васков! — распаляясь от собственной строгости, сказал майор. — Будут тебе непьющие. И насчет женщин тоже будут как положено. Но гляди, старшина, если ты и с ними не справишься..

— Так точно, — деревянно согласился комендант.

Майор увез не выдержавших искуса зенитчиков, на прощанье еще раз пообещав Васкову, что пришлет таких, которые от юбок и самогонки нос будут воротить живее, чем сам старшина. Однако выполнить это обещание оказалось непросто, поскольку за три дня не прибыло ни одного человека.

— Вопрос сложный, — пояснил старшина квартирной своей хозяйке Марии Никифоровне. — Два отделения — это же почти что двадцать человек непьющих. Фронт перетряси, и то сомневаюсь..

Опасения его, однако, оказались необоснованными, так как уже утром хозяйка сообщила, что зенитчики прибыли. В тоне ее звучало что-то вредное, но старшина со сна не разобрался, а спросил о том, что тревожило:

— С командиром прибыли?

— Не похоже, Федот Евграфыч.

— Слава богу! — Старшина ревниво относился к своему комендантскому положению. — Власть делить — это хуже нету.

— Погодите радоваться, — загадочно улыбалась хозяйка.

— Радоваться после войны будем, — резонно сказал Федот Евграфыч, надел фуражку и вышел.

И оторопел — перед домом стояли две шеренги сонных девчат. Старшина было решил, что спросонок ему померещилось, поморгал, но гимнастерки на бойцах по-прежнему бойко торчали в местах, солдатским уставом не предусмотренных, а из-под пилоток нахально лезли кудри всех цветов и фасонов.

— Товарищ старшина, первое и второе отделения

третьего взвода пятой роты отдельного зенитно-пулеметного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта,— тусклым голосом отработала старшая.— Докладывает помкомвзвода сержант Кирьянова.

— Та-ак,— совсем не по-уставному сказал комендант.— Нашли, значит, непьющих...

Целый день он стучал топором: строил нары в пожарном сарае, поскольку зенитчицы на постой к хозяйкам становиться не согласились. Девушки таскали доски, держали, где велел, и трещали, как сороки. Старшина хмуро отмалчивался: боялся за авторитет.

— Из расположения без моего слова ни ногой,— объявил он, когда все было готово.

— Даже за ягодами?— бойко спросила рыжая. Васков давно уже заметил ее.

— Ягод еще нет,— сказал он.

— А щавель можно собирать? — поинтересовалась Кирьянова.— Нам без приварка трудно, товарищ старшина, отощаем.

Федот Евграфыч с сомнением повел глазом по туго натянутым гимнастеркам, но разрешил:

— Не дальше речки. Аккурат в пойме прорва его.

На разъезде наступила благодать, но коменданту от этого легче не стало. Зенитчицы оказались девахами шумными и задиристыми, и старшина ежесекундно чувствовал, что попал в гости в собственный дом: боялся ляпнуть не то, сделать не так, а уж о том, чтобы войти куда без стука, не могло теперь быть и речи, и если он забывал когда об этом, сигнальный визг немедленно отбрасывал его на прежние позиции. Пуще же всего Федот Евграфыч страшился намеков и шуточек насчет возможных ухаживаний и поэтому всегда ходил уставясь в землю, словно потерял денежное довольствие за последний месяц.

— Да не бычьтесь вы, Федот Евграфыч,— сказала хозяйка, понаблюдав за его общением с подчиненными.— Они вас промеж себя стариком величают, так что глядите на них соответственно.

Федоту Евграфычу этой весной исполнилось тридцать два, и стариком он себя считать не согласился. Поразмыслив, он пришел к выводу, что все это есть меры, предпринятые хозяйкой для упрочения собственных позиций: она-таки растопила лед комендантского сердца в одну из весенних ночей и теперь, есте-

ственно, стремилась укрепиться на завоеванных рубежах.

Ночами зенитчицы азартно лупили из всех восьми стволов по пролетающим немецким самолетам, а днем разводили бесконечные постирушки — вокруг пожарного сарая вечно сушились какие-то их тряпочки. Подобные украшения старшина считал неуместными и кратко информировал об этом сержанта Кирьянову:

— Демаскирует.

— А есть приказ, — не задумываясь, сказала она.

— Какой приказ?

— Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах.

Комендант промолчал. Ну их, этих девок, к ляду! Только свяжись — хихикать будут до осени...

Дни стояли, теплые, безветренные, и комара народилось такое количество, что без веточки и шагу не ступишь. Но веточка — это еще ничего, это еще вполне допустимо для военного человека, а вот то, что вскоре комендант начал на каждом углу хрипеть да кхекать, словно и вправду был стариком, — вот это было совсем уж никуда не годно.

А началось все с того, что жарким майским днем завернул он за пакгауз и обмер. В глаза брызнуло таким неистово белым, таким тугим да еще восьмикратно помноженным телом, что Васкова аж в жар кинуло: все первое отделение во главе с командиром, младшим сержантом Осяниной, загорало на казенном брезенте в чем мать родила. И хоть бы завизжали, что ли, для приличия, — так нет же: уткнули носы в брезент, затаились, и Федоту Евграфычу пришлось пятиться, как мальчишке из чужого огорода. Вот с того дня и стал он кашлять на каждом углу, будто коклюшный.

А эту Осянину он еще раньше выделил: строга. Не засмеется никогда, только что поведет чуть губами, а глаза по-прежнему серьезными остаются. Странная была Осянина, и поэтому Федот Евграфыч осторожно навел справочки через свою хозяйку, хоть и понимал, что той поручение это совсем не для радости.

— Вдовая она, — поджав губы, через день доложила Мария Никифоровна. — Так что полностью в женском звании состоит, можете игры заигрывать.

Старшина промолчал: бабе все равно не докажешь. Взял топор, пошел во двор: лучше нету для дум вре-

мени, как дрова колоть. А дум много накопилось, и следовало их привести в соответствие.

Ну, прежде всего, конечно, дисциплина. Ладно, не пьют бойцы, с жительницами не любезничают — это все так. А внутри — беспорядок:

— Люда, Вера, Катенька — в караул! Катя — разводящая.

Разве это команда? Развод караулов полагается по всей строгости делать, по уставу. А это насмешка полная, это надо порушить, а как? Попробовал он насчет этого со старшей, с Кирьяновой, поговорить, да у нее один ответ:

— А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего. Лично.

Смеются, черти...

— Стараешься, Федот Евграфыч?

Обернулся — соседка во двор заглядывает, Полина Егорова. Самая беспутная из всего населения: именины в прошлом месяце четыре раза справляла.

— Ты не очень-то утруждайся, Федот Евграфыч. Ты теперь один у нас остался, вроде как на племя.

Хочовет. И ворот не застегнут: вывалила на плетень прелести, точно булки из печи.

— Ты теперь по дворам ходить будешь, как пастух. Неделю в одном дворе, неделю в другом. Такая у нас, у баб, договоренность насчет тебя.

— Ты, Полина Егорова, совесть поимей. Солдатка ты или дамочка какая? Вот и веди соответственно.

— Война, Евграфыч, все спишет. И с солдат и с солдаток.

Вот ведь петля какая! Выселить надо бы, а как? Где они, гражданские власти? А ему она не подчинена, он этот вопрос с крикуном майором провентилировал.

Да, дум набралось кубометра на два, не меньше. И с каждой думой совершенно особо разобраться надо. Совершенно особо...

Все-таки большая помеха, что человек он почти что без образования. Ну, писать-читать умеет и счет знает в пределах четырех классов, потому что аккурат в конце этого, четвертого, у него медведь отца заломал. Вот девкам бы этим смеху было, если б про медведя узнали! Это ж надо — не от газов в мировую, не от клинка в гражданскую, не от кулацкого обреза, не своей смертью даже — медведь заломал! Они, поди, медведя этого в зверинцах только и видели...

Из дремучего угла ты, Федот Васков, в коменданты выполз. А они, не гляди, что рядовые, наука: упреждение, квадрант, угол сноса. Классов семь, а то и девять, по разговору видно. От девяти четыре отнять — пять останется. Выходит, он от них на больше отстал, чем сам имеет...

Невеселыми думы были, и от этого рубал Васков дрова с особой яростью. А кого винить? Разве что медведя того невежливого...

Странное дело: до этого он жизнь свою удачливой считал. Ну, не то, чтоб совсем уж двадцать одно выходило, но жаловаться не стоило. Все-таки он со своими неполными четырьмя классами полковую школу окончил и за десять лет до старшинского звания дослужился. По этой линии ущерба не было, но с других концов, случалось, судьба флажками обкладывала и два раза прямо в упор из всех стволов саданула, но Федот Евграфыч устоял все ж таки. Устоял...

Незадолго перед финской женился он на санитарке из гарнизонного госпиталя. Живая бабенка попалась, все бы ей петь, да плясать, да винцо попивать. Однако мальчонку родила. Игорьком назвали — Игорь Федотыч Васков. Тут финская началась, Васков на фронт уехал, а как вернулся назад с двумя медалями, так его в первый раз и шарахнуло: пока он там в снегах загибался, жена вконец завертелась с полковым ветеринаром и отбыла в южные края. Федот Евграфыч развелся с нею немедленно, мальчика через суд вытребовал и к матери в деревню отправил. А через год мальчонка его помер, и с той поры Васков улыбнулся-то всего три раза: генералу, что орден ему вручал, хирургу, осколок из плеча вытащившему, да хозяйке своей Марии Никифоровне за догадливость.

Вот за тот осколок и получил он свой теперешний пост. В пакгаузе имущество кое-какое осталось, часовых не ставили, но, учредив комендантскую должность, поручили ему пакгауз тот блюсти. Трижды в день обходил старшина объект, замки пробовал и в книге, которую сам же завел, делал одну и ту же запись: «Объект осмотрен. Нарушений нет». И время осмотра, конечно.

Спокойно служилось старшине Васкову. Почти до сего дня спокойно. А теперь...

Вздохнул старшина,



Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер — встречу с героями пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила этот вечер так, словно он только-только окончился и застенчивый лейтенант Осянин все еще шагал рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким не был героем, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся.

Рита тоже была не из бойких: сидела в зале, не участвуя ни в приветствиях, ни в самодеятельности, и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи, до крысиного подвала, чем первой заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом и сидели, боясь шевельнуться и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант — станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать.

И Рита страшно схитрила, повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, каждый раз робко спрашивая у нее разрешения. И от этой робости сердце Риты падало прямо в коленки.

Они даже простились не за руку, просто кивнули друг другу — и все. Лейтенант уехал на заставу и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета. В июне он приехал в городок на три дня; сказал, что на границе беспокойно, что отпусков больше не будет и поэтому им надо немедленно пойти в загс. Рита нисколько не удивилась, но в загсе сидели бюрократы и отказались регистрировать, потому что до восемнадцати ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него к ее родителям и все-таки добились своего.

Рита была первой из их класса, кто вышел замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника. И более счастливой девушки на свете просто не могло быть.

На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать

раненых и стрелять, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика (назвали его Альбертом — Аликом), а еще через год началась война.

В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойная и рассудительная, но тогда ее спокойствие объяснялось просто: Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей.

Застава держалась семнадцать дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до прихода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар, — на заставе так любили петь: «Ночь пришла, и тьма границу скрыла, но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород...» Но дни шли, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала.

Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запикивали в теплушки, но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов взяли санитаркой, а через полгода послали в полковую зенитную школу.

А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда с павшей заставы чудом прорвался сержант-пограничник.

Начальство ценило не улыбку вдову героя-пограничника, отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу — направить по окончании школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного: зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомился когда-то лейтенант Осянин с ученицей девятого «Б»...

Теперь Рита была довольна: она добила того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый тайный уголок памяти: у нее была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно, и хоть

не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съезжился, корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз.

— Стреляй, Рита!.. Стреляй! — кричали зенитчицы.

А Рита ждала, не сводя перекрестия с падающей точки. И когда немец перед самой землей рванул парашют, уже благодаря своего немецкого бога, она плавно нажала гашетку. Очередью из четырех стволов начисто разрезало черную фигуру, девчонки, крича от восторга, целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помкомвзвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала:

— Пройдет, Ритуха. Я когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился, гад...

Кирьянова была боевой девахой: еще в финскую использовала с санитарной сумкой не один километр передовой, имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась.

Впрочем, Рита вообще держалась особняком: в отделении у нее были сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет, просто зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости, болтали о лейтенантах да поцелуйчиках, а Риту это сейчас раздражало.

— Спать! — коротко бросала она, выслушав очередное признание. — Еще услышу о глупостях — настоишься на часах вдоволь.

— Зря, Ритуха, — лениво пеняла Кирьянова. — Пусть себе болтают — занятно.

— Пусть влюбляются — слова не скажу. А так, лизаться по углам, этого я не понимаю.

— Пример покажи, — улыбалась Кирьянова.

И Рита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое может случиться: мужчин для нее не существовало. Один был мужчина — тот, что вел в штыковую поредевшую заставу на втором рассвете войны. Жила, затянутая ремнем. На самую последнюю дырочку затянутая.

Перед маем расчету досталось — два часа вели бой с юркими «мессерами». Немцы заходили с солища, пикировали на счетверенки, плотно поливая огнем. Убили поднощицу — курносую, некрасивую толстуху, всегда что-то жевавшую втихомолку, легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части, девочки

ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону:

— Пополнить отделение нужно.

Рита промолчала.

— У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщины на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают.

Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил, сказал приглушенно:

— Один из штабных командиров — семейный, между прочим, — завел себе, так сказать, подругу. Член Военного совета, узнав, полковника того в оборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив.

— Давайте, — сказала Рита.

Наутро увидела и залюбовалась. Высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские — зеленые, круглые, как блюдца.

— Боец Евгения Комелькова в ваше распоряжение...

Тот день банным был, и когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую как на чудо глядели.

— Женька, ты русалка!

— Женька, у тебя кожа прозрачная!

— Женька, с тебя скульптуру лепить!

— Женька, ты же без лифчиков ходить можешь!

— Ой, Женька, тебя в музей нужно! Под стекло на черном бархате...

— Несчастная баба! — вздохнула Кирьянова. — Такую фигуру в обмундирование паковать — это ж сдохнуть легче.

— Красивая, — осторожно поправила Рита. — Красивые редко счастливыми бывают.

— На себя намекаешь? — усмехнулась Кирьянова.

И Рита опять замолчала. Нет, не выходила у нее дружба с помкомвзвода Кирьяновой. Никак не выходила.

А с Женькой вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания: взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укорить хотела отчасти, а отчасти пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала коротко:

— Значит, и у тебя личный счет имеется.

Сказано было так, что Рита, хоть и знала про полковника досконально, спросила:

— И у тебя тоже?

— А я одна теперь. Маму, сестру, братишку — всех из пулемета уложили.

— Обстрел был?

— Расстрел. Семьи комсостава захватили и — под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все! Сестренка последней упала — специально добивали...

— Послушай, Женька, а как же полковник? — шепотом спросила Рита. — Как же ты могла, Женька?..

— А вот могла! — Женька с вызовом трянула рыжей шевелюрой. — Сейчас воспитывать начнешь или после отбоя?

Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность, и — странное дело! — Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то, помягчела. Даже смеялась иногда, даже пела с девчонками, но самой собой была только с Женькой наедине.

Рыжая Комелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь до онемения доведет, то на перерыве под девичье «ля-ля» «цыганочку» спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет — заслушаешься.

— На сцену бы тебя, Женька! — вздыхала Кирьянова. — Такая баба пропадает!

Так и кончилось Ритино старательно охраняемое одиночество: Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галка Четвертак. Худющая, востроносая, косички из пакли, и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в бане отскребла, прическу соорудила, гимнастерку подогнала — расцвела Галка. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибки, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки больше ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем — Рита, Женька и Галка.

Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала, сбегала в штаб, поглядела карту, сказала:

— Пошлите мое отделение.

Девушки удивились, Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменялась — стала за разъезд агитировать. Почему, отчего — никто не понимал,

но примолкли: значит, надо, Женьке верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на разъезд, Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара.

Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла сонный разъезд и растаяла в мокром от росы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе и остановила первый грузовик.

— Далеко собралась, красавица? — спросил устный старшина: ночью в тыл ходили машины за припасами, и сопровождали их люди, далекие от строевой и уставов.

— До города подбросите?

Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и вмиг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник.

— Подремли, деваха, часок...

А утром была на месте.

— Лида, Рая — в наряд!

Никто не видал, а Кирьянова узнала, — доложили. Ничего не сказала, усмехнулась про себя: «Завела кого-то, гордячка. Пусть ее, может, оттаает...»

И Васкову ни слова. Впрочем, Васкова никто из девушек не боялся, а Рита — меньше всех. Ну, бродит по разъезду пенек замшелый, в запасе двадцать слов, да и те из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет?

Но форма есть форма, а в армии особенно. И форма эта требовала, чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто, кроме Женьки да Галки Четвертак.

Откочевывали в городишко сахар, галеты, пшенный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач Рита бегала туда по две-три ночи в неделю; почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо:

— Зареалась ты, мать! Налетишь на патруль либо командир какой заинтересуется — и сгоришь.

— Молчи, Женька, я везучая!

У самой от счастья глаза светятся. Разве с такой серьезно поговоришь? Женька только расстраивалась:

— Ой, гляди, Ритка!

То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам да усмешечкам. Обо-

жгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела одернуть — Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону.

— Пусть, Рита, пусть что хочет думает!

Рита опомнилась: правильно. Пусть любую грязь сочиняет, лишь бы помалкивала, не мешала, Васкову бы не донесла. Занудит, запилит — света неувидишь. Пример был: двух подружек из первого отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа, с обеда до ужина, мораль читал: устав наизусть цитировал, инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез, не то что за реку — со двора зареклись выходить.

Но Кирьянова пока молчала.

Стояли безветренные белые ночи. Длинные — от зари до зари — сумерки дышали густым настоем зацветающих трав, и зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от Васкова, исчезала через две ночи на третью вскоре после ужина, а возвращалась перед подъемом.

Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И оттого, что следующее свидание она может планировать сама, не завися или почти не завися от чужой воли, Рита была счастлива.

Но шла война, распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И, обманывая коменданта тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина и зная не зная, что директива имперской службы СД за № С219/702 с грифом «ТОЛЬКО ДЛЯ КОМАНДОВАНИЯ» уже подписана и принята к исполнению.

3

А зори здесь были тихими-тихими.

Рита шлепала босиком, сапоги раскачивались за спиной. С болот полз плотный туман, холодил ноги, оседал на одежде, и Рита с удовольствием думала, как сядет перед разъездом на знакомый пенек, наденет

сухие чулки и обуется. А сейчас торопилась, потому что долго ловила попутную машину. Старшина же Васков вставал ни свет ни заря и сразу шел щупать замки на пакгаузе. А Рита как раз туда должна была выходить — пенек ее был в двух шагах от бревенчатой стены, за кустами.

До пенька осталось два поворота, потом напрямик, через ольшаник. Рита миновала первый и — замерла: на дороге стоял человек.

Он стоял, глядя назад, рослый, в пятнистой плащ-палатке, горбом выпиравшей на спине. В правой руке он держал продолговатый, туго обтянутый ремнями сверток; на груди висел автомат.

Рита шагнула в куст; вздрогнув, он обдал ее росой, но она не почувствовала. Почти не дыша, смотрела сквозь редкую еще листву на чужого, недвижимо, как во сне, стоящего на ее пути.

Из лесу вышел второй — чуть пониже, с автоматом на груди и с точно таким же тучком в руке. Они молча пошли прямо на нее, неслышно ступая высокими шнурованными башмаками по росистой траве.

Рита сунула в рот кулак, до боли стиснула его зубами. Только не шевельнуться, не закричать, не броситься напролом сквозь кусты! Они прошли рядом; крайний коснулся плечом ветки, за которой она стояла. Прошли молча, беззвучно, как тени. И скрылись.

Рита обождала — никого. Осторожно выскользнула, перебежала дорогу, нырнула в куст, прислушалась. Тишина.

Задыхаясь, кинулась напролом, сапоги били по спине. Не таясь пронеслась по поселку, забарабанила в сонную, наглухо заложенную дверь:

— Товарищ комендант!.. Товарищ старшина!..

Наконец открыли. Васков стоял на пороге — в гаулифе, тапочках на босу ногу, в нижней бязевой рубашке с завязками. Хлопал сонными глазами.

— Что?

— Немцы в лесу!

— Так... — Федот Евграфыч подозрительно сощурился: не иначе — разыгрывают. — Откуда известно?

— Сама видела. Двое. С автоматами, в маскировочных накидках...

Нет, вроде не врет. Глаза испуганные...

— погоди тут.



Старшина метнулся в дом. Натянул сапоги, накинул гимнастерку, второпях, как при пожаре. Хозяйка в одной рубашке сидела на кровати, разинув рот.

— Что там, Федот Евграфыч?

— Ничего. Вас не касается.

Выскочил на улицу, затягивая ремень с наганом на боку. Осянина стояла на том же месте, по-прежнему держа сапоги за плечом. Старшина машинально глянул на ее ноги: красные, мокрые, к большому пальцу прошлогодний лист прилип. Значит, по лесу босиком шастала, а сапоги за спиной носила; так, стало быть, теперь воют.

— Команду — в ружье, боевая тревога! Кириянову ко мне. Бегом!

Бросились в разные стороны: деваха — к пожарному сараю, а он — в будку железнодорожную, к телефону! Только бы связь была!..

— «Сосна!» «Сосна»!.. Ах ты мать честная!.. Либо спят, либо поломка... «Сосна»!.. «Сосна»!..

— «Сосна» слушает.

— Семнадцатый говорит. Давай третьего. Срочно давай, чепе!..

— Даю, не ори. Чепе у него...

В трубке что-то долго сипело, хрюкало, потом далекий голос спросил:

— Ты, Васков? Что там у вас?

— Так точно, товарищ третий. Немцы в лесу возле расположения. Обнаружены сегодня в количестве двух...

— Кем обнаружены?

— Младшим сержантом Осяниной.

Кириянова вошла: без пилотки, между прочим. Кивнула, как на вечерке.

— Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю лес прочесать...

— погоди чесать, Васков. Тут подумать надо. Объект без прикрытия оставим — тоже по головке не поглядят. Как они выглядят, немцы твои?

— Говорит, в масках, с автоматами. Разведка...

— Разведка? А что ей там, у вас, разведывать? Как ты с хозяйкой в обнимку спишь?

Вот всегда так, всегда Васков виноват. Все на Васкове отыгрываются.

— Чего молчишь, Васков? О чем думаешь?

— Думаю, надо ловить, товарищ третий. Пока далеко не ушли.

— Правильно думаешь. Бери пять человек из команды и дуй, пока след не остыл. Кирьянова там?

— Тут, товарищ...

— Дай ей трубку.

Кирьянова говорила коротко: сказала два раза «слушаю» да раз пять поддакнула. Положила трубку, дала отбой.

— Приказано выделить в-ваше распоряжение пять человек.

— Ты мне ту давай, которая видела.

— Осянина пойдет старшей.

— Ну, так. Стройте людей.

— Построены, товарищ старшина.

Строй, нечего сказать! У одной волосы, как грива, до пояса, у другой какие-то бумажки в голове. Вояки! Чеши с такими лес, лови немцев с автоматами! А у них, между прочим, одни родимые образца 1891-го дробь 30-го года...

— Вольно!

— Женя, Галя, Лиза...

Сморщился старшина:

— погоди, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. Так чтоб хоть стрелять умели, что ли...

— Умеют.

Хотел Васков рукой махнуть, но спохватился:

— Да, вот еще. Может, немецкий кто знает?

— Я знаю.

Писклявый такой голосишко, прямо из строя. Федот Евграфыч вконец расстроился:

— Что — «я»? Что такое «я»? Докладывать надо!

— Боец Гурвич.

— Ох-хо-хо! Как по-ихнему «руки вверх»?

— Хенде хох.

— Точно, — махнул-таки рукой старшина. — Ну, давай, Гурвич...

Выстроились эти пятеро. Серьезные, как дети, но испуга вроде пока нет.

— Идем на двое суток, так надо считать. Взять сухой паек, патронов... по пять обойм. Подзаправиться... ну, поесть, значит, плотно. Обуться по-человечески, в порядок себя привести, подготовиться. На все сорок минут. Р-разойдись!.. Кирьянова и Осянина — со мной.

Пока бойцы завтракали и готовились к походу,

старшина увел сержантский состав к себе на совещание. Хозяйка, по счастью, куда-то уже смоталась, но постель так и не прибрала, две подушки рядышком, полюбовно... Федот Евграфыч угощал сержантов хлебом и разглядывал старенькую, истертую на сгибах карту-трехверстку.

— Значит, на этой дороге встретила?

— Вот тут.— Палец Осяниной слегка колупнул карту.— А прошли мимо меня, по направлению к шоссе.

— К шоссе?.. А чего ты в лесу в четыре утра делала?

Промолчала Осянина.

— Просто по ночным делам,— не глядя, сказала Кирьянова.

— Ночным? — Васков разозлился: вот ведь врут! — Для ночных дел я вам самолично нужник поставил. Или не вмещаетесь?

Насупились обе.

— Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана,— опять сказала Кирьянова.

— Нету здесь женщин! — крикнул комендант и даже слегка пристукнул ладонью по столу.— Нету! Есть бойцы и есть командиры, понятно? Война идет, и покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем...

— То-то у вас до сих пор постелька распахнута, товарищ старшина среднего рода...

Ох и язва же эта Кирьянова! Одно слово — петля!

— К шоссе, говоришь, пошли?

— По направлению...

— Черта им у шоссе делать! Там по обе стороны еще в финскую лес сведен, там их живо прищучат. Нет, товарищи младшие командиры, не к шоссе их тянуло... Да вы хлебайте, хлебайте!

— Там кусты и туман,— сказала Осянина.— Мне казалось...

— Креститься надо было, если казалось,— проворчал комендант.— Тючки, говоришь, у них?

— Да. Вероятно, тяжелые: в правой руке несли. Очень аккуратно упакованы.

Старшина свернул сигарку, закурил, прошелся. Ясно все вдруг для него стало, так ясно, что он даже застеснялся.

— Мыслю я, тол они нести. А если тол, то маршрут у них совсем не на шоссе, а на железку. На Кировскую дорогу, значит.

— До Кировской дороги не близко,— сказала Кирьянова недоверчиво.

— Зато лесами. А леса здесь погибельные: армия спрятаться может, не то что два человека.

— Если так...— заволновалась Осянина.— Если так, то надо охране на железную дорогу сообщить.

— Кирьянова сообщит,— сказал Васков.— Мой доклад в двадцать тридцать ежедневно, позывной «семнадцать». Ты ешь, ешь, Осянина. Топать-то весь день придется...

Через сорок минут поисковая группа построилась, но вышли только через полтора часа, потому что старшина был строг и придирчив.

— Разуться всем!..

Так и есть — у половины сапоги на тонком чулке, а у другой половины портянки намотаны, словно шарфики. С такой обувкой много не навоюешь, потому как через три километра ноги эти вояки собьют до кровавых пузырей. Ладно хоть командир их, младший сержант Осянина, правильно обута. Однако почему подчиненных не учит?

Сорок минут преподавал, как портянки наматывать. А еще сорок винтовки чистить заставил. Они в них ладно если мокриц не развели, а ну как стрелять придется?..

Остаток времени старшина посвятил небольшой лекции, вводящей, по его мнению, бойцов в курс дела:

— Противника не бойтесь. Он по нашим тылам идет,— значит, сам боится. Но близко не подпускайте, потому как противник все же мужик здоровый и вооружен специально для ближнего боя. Если уж случится, что рядом он окажется, тогда затаитесь лучше. Только не бегите, упаси бог: в бегущего из автомата попасть — одно удовольствие. Ходите только по двое. В пути не отставать и не разговаривать. Если дорога попадется, как надо действовать?

— Знаем,— сказала рыжая.— Одна справа, другая слева.

— Скрытно,— уточнил Федот Евграфыч.— Порядок движения такой будет. Впереди головной дозор в составе младшего сержанта с бойцом. Затем в ста метрах основное ядро: я...— он оглядел свой отряд,—

с переводчицей. В ста метрах за нами последняя пара. Идти, конечно, не рядом, а на расстоянии видимости. В случае обнаружения противника или чего непонятного... Кто по-зварину или там по-птичьему кричать может?

Захихикали, дуры...

— Я серьезно спрашиваю! В лесу сигналы голосом не подашь! у немца тоже уши есть.

Примолкли.

— Я умею,— робко сказала Гурвич.— По-ослиному — и-а, и-а!

— Ослы здесь не водятся,— с неудовольствием заметил старшина.— Ладно, давайте крикать учиться. Как утки.

Показал, а они засмеялись. Чего им вдруг весело стало, Васков не понял, но и сам улыбки не сдержал.

— Так селезень утицу подзывает,— пояснил он.— Ну-ка, попробуйте.

Крякали с удовольствием. Особенно эта рыжая старалась, Евгения (ох хороша девка, не приведи бог влюбиться, хороша!). Но лучше всех, понятное дело, у Осяниной получалось — способная, видать. И еще у одной неплохо — у Лизы, что ли. Коренастая, плотная, то ли в плечах, то ли в бедрах — не поймешь, где шире. А голос лихо подделывает. И вообще ничего, такая всегда пригодится: здорова, хоть паши на ней. Не то что пигалицы городские — Галя Четвертак да Соня Гурвич, переводчица.

— Идем на Воль-озеро. Глядите сюда.— Стопились у карты, дышали в затылок, в уши — смешно.— Ежели немцы к железке идут, им озера не миновать. А пути короткого они не знают: значит, мы раньше их там будем. До места нам верст двадцать — к обеду придем. И подготовиться успеем, потому как немцам обходным порядком да таясь не менее чем полста отшагать надо. Все понятно, товарищи бойцы?

Посерьезнели его бойцы:

— Понятно...

Им бы телешом загорать да в самолеты пулять — вот это война...

— Младшему сержанту Осяниной проверить припас и готовность. Через пятнадцать минут выступаем.

Оставил бойцов: надо было домой забежать. Хозяйке еще до этого поручил «сидор» собрать, да и захватить кое-чего требовалось. Немцы вояки злые, это

только на карикатурах их пачками бьют. Требовалось подготовиться.

Мария Никифоровна собрала, что велел, даже больше — сала шматок положила да рыбки вяленой. Хотел ругнуть, но передумал: орава-то что на свадьбе. Сунул в «сидор» патронов побольше для винтовки и нагана, пару гранат прихватил: мало ли что может случиться...

Хозяйка глядела испуганно, тихо, глаза на мокром месте. И тянулась, уж так вся тянулась к нему, хоть и не двигалась с места, что Васков не выдержал, руку на голову ее положил.

— Послезавтра вернусь. Либо — крайний срок — в среду.

Заплакала. Эх, бабы, бабы, несчастный вы народ! Мужикам война эта как зайцу курево, а уж вам-то...

Вышел за околицу, оглядел свою «гвардию» — винтовки чуть прикладом по земле не волочатся.

Вздыхнул Васков.

— Готовы?

— Готовы, — сказала Рита.

— Заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Сигналы напоминаю. Два крика — внимание, вижу противника. Три крика — все ко мне.

Засмеялись девчонки. А он нарочно так говорил — два крика, три крика. Нарочно, чтоб засмеялись, чтоб бодрость появилась.

— Головной дозор, шагом марш!

Двинулись.

Впереди Осянина с толстухой. Васков обождал, пока они скрылись в кустах, отсчитал про себя до ста, пошел следом. С переводчицей, что под винтовкой, под сумком, скаткой да «сидором» гнулась, как тростинка... Сзади шли Комелькова и Галя Четвертак.

#### 4

За бросок к Воль-озеру Васков не беспокоился: прямую дорогу туда немцы знать не могли, потому что дорогу эту он открыл сам еще в финскую. На всех картах здесь топи обозначались, и у немцев был один путь — в обход, по лесам, а потом к озеру, на Синюхину гряде, и миновать гряду эту им было никак не

возможно. И как бы ни шли его бойцы, как бы ни чув-  
хались, немцам идти все равно дальше. Раньше чем к  
вечеру они туда не выйдут, а к тому времени он уже  
успеет перекрыть все ходы-выходы. Положит своих  
девчат за камни, укроет понадежнее, пальнет разок  
для бодрости, а там и поговорит. В конце концов од-  
ного и прикончить можно, а с немцем один на один  
Васков схватки не боялся.

Бойцы его шагали бодро и вроде вполне соответ-  
ственно: смеху и разговоров комендант не обнаружил.  
Как уж они там наблюдали, про это он знать не мог,  
но под ноги себе глядел, как при медвежьей облоге,  
и засек легкий следок с чужими рубчиками. Следок  
этот тянул на добрый сорок четвертый размер, из чего  
Федот Евграфыч заключил, что оставил его детина под  
два метра и весом пудов на шесть с гаком. Конечно,  
с таким обормотом встречаться девчатам с глазу на  
глаз, даже если они и вооружены, никак не годилось,  
но вскоре старшина углядел еще отпечаток и по двум  
сообразил, что немец топал в обход топи. Все выхо-  
дило так, как он замыслил.

— Хорошо немчура побегает,— сказал он своей  
напарнице.— Здорово очень даже побегает — верст на  
сорок.

Переводчица на это ничего не сказала, потому как  
сильно умаялась, аж приклад по земле волочился.  
Старшина несколько раз глянул, урывками ухватывая  
остренькое, некрасивое, но уж очень серьезное личико  
ее, подумал жалостливо, что при теперешнем мужском  
дефиците не видать ей семейной бытности, и спросил  
неожиданно:

— Тятя с маманей живы у тебя? Или сирот-  
ствуешь?

— Сиротствую?..— Она улыбнулась.— Пожалуй,  
знаете, сиротствую.

— Сама, что ль, не уверена?

— А кто теперь в этом уверен, товарищ старшина?

— Резон...

— В Минске мои родители.— Она подергала тощим  
плечом, поправляя винтовку.— Я в Москве училась,  
готовилась к сессии, а тут...

— Известия имеешь?

— Ну что вы...

— Да...— Федот Евграфыч еще покосился, прики-  
нул, не обидит ли.— Родители еврейской нации?

— Естественно.

— Естественно... — Комендант сердито посопел. — Было бы естественно, так и не спрашивал бы.

Переводчица промолчала. Шлепала по мокрой траве корявыми кирзачами, хмурилась. Вздохнула тихо:

— Может, уйти успели...

Полоснуло Васкова по сердцу от вздоха этого. Ах, заморыш ты воробьиный, по силам ли горе на горбу-то у тебя? Матюкнуться бы сейчас в полную возможность, покрыть бы войну эту в двадцать девять накатов с переборами. Да заодно и майора того, что девчат в погоню отрядил, прополоскать бы в щелоке. Глядишь, и полегчало бы. А вместо этого надо улыбку из всех сил к губам прилаживать.

— А ну, боец Гурвич, крякни три раза!

— Зачем это?

— Для проверки боевой готовности. Ну? Забыла, как учил?

Сразу заулыбалась. И глазки живые стали.

— Нет, не забыла!

Кряк, конечно, никакой не получился, баловство одно. Как в театре. Но и головной дозор, и замыкающее звено все-таки сообразили, что к чему, — подтянулись. А Осянина просто бегом примчалась, и винтовка в руке.

— Что случилось?

— Коли б что случилось, так вас бы уже архангелы на том свете встречали, — выговорил ей комендант. — Растопалась, понимаешь, как телушка. И хвост трубой.

Обиделась, аж вспыхнула вся, как заря майская. А как иначе: учить-то надо.

— Устали?

— Еще чего!

Рыжая выпалила: за Осянину расстроилась — ясное дело.

— Вот и хорошо, — миролюбиво сказал Федот Евграфыч. — Что в пути заметили? По порядку. Младший сержант Осянина.

— Вроде ничего... — Рита замаялась. — Ветка на повороте сломана была.

— Молодец, верно. Ну, замыкающие. Боец Кормелькова!

— Ничего не заметила, все в порядке.



— С кустов роса сбита, — торопливо сказала вдруг Лиза Бричкина. — Справа еще держится, а слева от дороги сбита.

— Вот глаз! — довольно сказал старшина. — Молодец, красноармеец Бричкина! А еще было на дороге два следа. От немецкого резинового ботинка, что ихние десантники носят. По носкам ежели судить, то держат они вокруг болота. И пусть себе держат, потому что мы болото это возьмем напрямки. Сейчас пятнадцать минут покурить можно, оправиться...

Хихикнули, будто он глупость какую сказал. А это команда такая, в уставе она записана. Васков нахмурился.

— Не реготать! И не разбегаться. Всё!..

Показал, куда вещмешки сложить, куда скатки, куда винтовки составить, и распустив свое воинство. Враз все в кусты шмыгнули, как мыши.

Старшина достал топорик, вырубил в сухостое шесть добрых слег и только после этого закурил, присев у вещей. Вскоре все тут собрались, шушукались, переголаживались.

— Сейчас внимательнее надо быть, — сказал комендант. — Я первым пойду, а вы гуртом за мной, но след в след. Тут слева-справа трясины — маму позвать не успеете. Каждая слегу возьмет и, прежде чем ногу поставить, слегой дрыгну пусть пробует. Вопросы есть?

Промолчали на этот раз. Рыжая только головой дернула, но воздержалась. Старшина встал, затоптал во мху окурки.

— Ну, у кого силы много?

— А чего? — неуверенно спросила Лиза Бричкина.

— Боец Бричкина понесет вещмешок переводчицы.

— Зачем?.. — пискнула Гурвич.

— А затем, что не спрашивают!.. Комелькова!

— Я.

— Взять мешок у красноармейца Четвертак.

— Давай, Четвертак, заодно и винтовочку...

— Разговорчики! Делать, что велят. Личное оружие каждый несет сам...

Кричал и расстраивался: не так, не так надо! Разве горлом сознательности добьешься? До кондрашки доораться можно, а дела от этого не прибудет. Однако разговаривать стали больно. Щебетать. А щебет военному человеку — штык в печенку. Это уж так точно..

— Повторяю, значит, чтоб без ошибки. За мной в затылок. Ногу ставить след в след. Слегой топь...

— Можно вопрос?

Господи, твоя воля! Утерпеть не могут!

— Что вам, боец Комелькова?

— Что такое «слегой»? Слежка, что ли?

Дурака валяет рыжая, по глазам видно. Опасные глазищи, как омуты.

— Что у вас в руках?

— Дубина какая-то...

— Вот она и есть слега. Ясно говорю?

— Теперь прояснилось. Даль.

— Какая еще даль?

— Словарь такой, товарищ старшина. Вроде разговорника.

— Евгения, перестань! — крикнула Осянина.

— Да, маршрут опасный, тут не до шуток. Порядок движения: я — головной, за мной Гурвич, Бричкина, Комелькова, Четвертак. Младший сержант Осянина — замыкающая. Вопросы?

— Глубоко там?

Четвертак интересуется. Ну, понятно, при ее росте и ведро бочажок.

— Местами будет по... ну, по это самое. Вам по пояс, значит. Винтовки берегите.

Шагнул с ходу по колени — только трясина чвакнула. Побрел, раскачиваясь, как на пружинном маршруте. Шел не оглядываясь, по вздохам да испуганному шепоту определяя, как движется отряд.

Сырой, стоялый воздух душно висел над болотом. Цепкие весенние комары тучами вились над разгоряченными телами. Остро пахло прелой травой, гниющими водорослями, болотом.

Всей тяжестью налегая на шесты, девушки с трудом вытягивали ноги из засасывающей холодной топи. Мокрые юбки липли к бедрам, ружейные приклады волочились по грязи. Каждый шаг давался с напряжением, и Васков брел медленно, принаравливаясь к маленькой Гале Четвертак.

Он держал курс на островок, где росли две низкие, исковерканные сыростью сосенки. Комендант не спускал с них глаз, ловя в просвет между кривыми стволами дальнюю сухую березу, потому что и вправо, и влево брода уже не было.

— Товарищ старшина!..

А, леший!.. Комендант покрепче вогнал шест, с трудом повернулся: так и есть, растянулись, стали.

— Не стоять! Не стоять! Засосет...

— Товарищ старшина, сапог с ноги снялся!..

Четвертак с самого хвоста кричит. Торчит, как кочка, юбки не видно. Осянина подобралась, подхватила ее. Тыкают шестом в трясину: сапог, что ли, нащупывают?

— Нашли?

— Нет!..

Комелькова слегу перекинула, качнулась вбок. Хорошо, он заметил вовремя. Заорал, аж жилы на лбу вздулись:

— Куда?! Стоять!..

— Я помочь...

— Стоять!.. Нет назад пути!..

Господи, совсем он с ними запутался: то не стоять, то стоять... Как бы не испугались, в панику не ударились. Паника в трясине — смерть.

— Спокойно, спокойно только! До островка пустяк остался, там передохнем. Нашли сапог?

— Нет!.. Вниз тянет, товарищ старшина!

— Идти надо! Тут зыбко, долго не простоем...

— А сапог как же?

— Да разве найдешь его теперь? Вперед!.. Вперед, за мной!.. — Повернулся, пошел не оглядываясь. — След в след. Не отставать!..

Это он нарочно кричал, чтоб бодрость появилась. У бойцов от команды бодрость появляется, это он по себе знал. Точно.

Добрели наконец. Он особо за последние метры боялся — там поглубже. Ног уже не вытянешь, телом дрыгну эту проклятую раздвигать приходится. Тут и силы нужны и сноровка. Но обошлось.

У островка, где уже стоять можно было, Васков задержался. Пропустил мимо всю команду свою, помог на твердую землю выбраться.

— Не спешите только. Спокойно. Здесь передохнем.

Девушки выходили на остров, валились на жухлую прошлогоднюю траву. Мокрые, облепленные грязью, задышающиеся. Четвертак не только сапог, а и портянку болоту подарила — вышла в одном чулке. В дырку большой палец торчит, синий от холода.

— Ну что, товарищи бойцы, умаялись?

Промолчали бойцы. Только Лиза поддакнула:

— Умаялись...

— Ну, отдохайте покуда. Дальше легче будет: до сухой березы добредем — и шабаш.

— Нам бы помыться, — сказала Рита.

— На той стороне протока чистая, песчаный берег. Хоть купайтесь. Ну, а сушиться, конечно, на ходу придется.

Четвертак вздохнула, спросила несмело:

— А мне как же без сапога?

— А тебе чуню сообразим, — улыбнулся Федот Евграфыч. — Только уж за болотом, не здесь. Потерпишь?

— Потерплю.

— Растрепан ты, Галка! — сердито сказала Комелькова. — Надо было пальцы вверх загигать, когда ногу вытаскиваешь.

— Я загигала, а он все равно слез.

— Холодно, девочки.

— Я мокрая до самых-самых...

— Думаешь, я сухая? Я раз оступилась да как еяду!..

Смеются. Значит, ничего, отходят. Хоть и женский пол, а молодые, силенка какая-никакая, а имеется. Только бы не расхворались: вода — лед...

Федот Евграфыч еще раз затынулся, кинул в болото окурок, встал. Сказал бодро:

— А ну, разбирай слуги, товарищи бойцы. И за мной прежним порядком. Мыться-греться там будем, на бережку.

И шарахнул с корня прямо в бурое месиво.

Этот последний бродок тоже был не приведи господь. Жижа — что овсяный кисель: и ногу не держит, и поплыть не дает. Пока не распахнешь, чтобы вперед продвинуться, семь потов сойдет.

— Как, товарищи?

— Это он для поднятия духа крикнул, не оглядываясь.

— Пиявки тут есть? — задыхаясь, спросила Гурвич.

Она следом за ним шла, уже по проломленному, ей полегче было.

— Нету тут никого. Мертвое место, погибельное.

Слева вспучился пузырь. Лопнул, и разом гулко вздохнуло болото. Кто-то сзади ойкнул испуганно, и Васков пояснил:

— Газ болотный выходит, не бойтесь. Потревожили мы его...

Подумал маленько, добавил:

— Старики бают, что аккурат в таких местах хозяин живет, лешак, значит. Сказки, понятное дело...

Молчит его «гвардия». Пыхтит, ойкает, задыхается, Но лезут. Упрямо лезут, зло.

Полегче стало — кисель пожиже, дно попрочнее, да же кочки кой-где появились. Старшина нарочно хода не убыстрял, и отряд подтянулся, в затылок шли. К березе почти разом выбрались, дальше лесок начинался, кочки да мшаник. Это уж совсем пустяком выглядело, тем более что и почва все повышалась и в конце незаметно переходила в сухой беломошный бор: Тут они загалдели разом, обрадовались и слегι побросали. Однако Федот Евграфыч слегι велел поднять и все к одной приметной сосне прислонить:

— Может, кому сгодится.

А отдыхать не дал ни минуты. Даже босую Галю Четвертак не пожалел.

— Чуть, товарищи красноармейцы, осталось, поднатужьтесь. У протоки отдохнем.

Влезли на взгорбок — сквозь сосенки протока открылась. Чистая, как слеза, в золотых песчаных берегах.

— Ура! — закричала рыжая Женька. — пляж, девочки!

Девушки заорали что-то веселое, кинулись к реке по откосу, на ходу сбрасывали с себя скатки, вещмешки...

— Отставить! — гаркнул комендант. — Смирно!

Враз замерли. Смотрят удивленно, даже обиженно.

— Песок! — сердито продолжал старшина. — А вы в него винтовки суετε, вояки. Винтовки к дереву прислонить, понятно? «Сидорá», скатки — в одно место. На мытье и приборку даю сорок минут. Я за кустами буду, на расстоянии звуковой связи. Вы, младший сержант Осянина, за порядок мне отвечаете.

— Есть, товарищ старшина.

— Ну, все. Через сорок минут чтоб все были готовы. Одеты, обуты и чистые.

Спустился пониже. Выбрал местечко, чтоб и песок был, и вода глубокая, и кусты кругом. Снял амуницию, сапоги, разделся. Где-то неразборчиво переговаривались девушки, только смех да отдельные слова долетали до Васкова, и, может, по этой причине он все время и прислушивался.

Первым делом Федот Евграфыч галифе, портянки

да белье выстирал, отжал, сколь мог, и на кусты раскинул для просушки. Потом намылился, повздыхал, потопал по бережку, волю в себе скапливая, да и сиганул с обрыва в омут. Вынырнул — вздохнуть не мог, ледяная вода сердце стиснула. Крикнуть хотелось во всю мочь, но убоился «гвардию» свою напугать, покрякал почти шепотом, без удовольствия, смысл мыло — и на берег. И только уж когда суровым полотенцем растерся докрасна, отдышался, снова прислушиваться стал.

А там гомонили, как на побеседушках, — все враз и каждый свое. Только смеялись дружно да Четвертак радостно выкрикнула:

— Ой, Женечка! Ай, Женечка!

— Только вперед! — заорала вдруг Комелькова, и старшина услышал, как туго плеснула за кустами вода.

«Ишь ты, купаются...» — уважительно подумал он.

Восторженный визг заглушил все звуки разом: хорошо, немцы далеко были. Сперва в этом визге ничего разобрать было невозможно, а потом Осянина резко крикнула:

— Евгения, на берег!.. Сейчас же!..

Улыбаясь, Федот Евграфыч свернул потолок самокрутку, почикал «катюшей» по кремню, прикурив от заглывшего фитиля и стал неспешно, с удовольствием курить, подставив теплему майскому солнцу голую спину.

За сорок минут, понятное дело, ничего не высохло, но ждать было нельзя, и Васков, поеживаясь, натянул на себя волглые кальсоны и галифе. Портянки, к счастью, запасные имелись, и ноги он вогнал в сапоги сухими. Надел гимнастерку, затянулся ремнем, подхватил вещи. Крикнул зычно:

— Готовы, товарищи бойцы?

— Подождите!..

Ну, так и знал! Федот Евграфыч усмехнулся, pokrutil головой и только разинул рот, чтоб шугануть их, как Осянина опять прокричала:

— Идите! Можно!..

Это старшему-то по званию «можно» кричат бойцы. Насмешка какая-то над уставом, если вдуматься. Непорядок.

Но это он так, между прочим, подумал, потому что после купания и отдыха настроение у коменданта было прямо первомайское. Тем более что и «гвардия» ждала его в виде аккуратном, чистом и улыбчивом.

— Ну как, товарищи красноармейцы, порядок?  
— Порядок, товарищ старшина. Евгения вон купалась у нас.

— Молодец, Комелькова! Не замерзла?

— Так ведь все равно погреть некому...

— Остра! Давайте, товарищи бойцы, перекусим маленько да двинем, пока не засиделись.

Перекусили хлебом с селедкой: сытное старшина пока придерживал. Потом чуню непутевой этой Четвертак соорудил: запасной портянкой обмотал, сверху два шерстяных носка (хозяйки его рукоделье и подарок), да из свежей бересты Федот Евграфыч кузовок для ступни свернул, Подогнал, прикрутил бинтом.

— Ладно ли?

— Очень даже. Спасибо, товарищ старшина.

— Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. Да и там оглядеться надо, подготовиться, как да где гостей встречать...

Гнал он девчат своих ходко: надо было, чтоб юбки да прочие их вещички на ходу высохли. Но девахи ничего, не сдавались, покраснелись только.

— А ну, нажмем, товарищи бойцы! За мной, бегом!..

Бежал, пока у самого дыхания хватало. На шаг переводил, давал отдышаться — и снова:

— За мной!.. Бегом!..

Солнце уже клонилось, когда вышли к Воль-озеру. Тихо плескалось оно о валуны, и сосны уже по-вечернему шумели на берегах. Как ни вглядывался старшина в горизонт, не видно было на воде лодок; как ни внюхивался в шепотливый ветерок, ниоткуда не тянуло дымом. И до войны края эти не очень-то людными были, а теперь и вовсе одичали, словно все — и лесорубы, и охотники, и рыбаки, и смолокуры, — все ушли на фронт.

— Тихо-то как... — шепотом сказала звонкая Евгения. — Как во сне.

— От левой косы Синюхина гряда начинается, — пояснил Федот Евграфыч. — С другой стороны эту гряду второе озеро поджигает, Легонтово называется. Монах тут жил когда-то, Легонт прозвищем. Безмолвия искал.

— Безмолвия здесь хватает, — вздохнула Гурвич.

— Немцам один путь — меж этими озерами, через гряду. А там известно что — бараньи лбы да каменья с избу. Вот в них-то мы и должны позиции выбрать —

основную и запасную, как тому устав учит. Выберем, поедим, отдохнем и будем ждать. Так, что ли, товарищи красноармейцы?

Примолкли товарищи красноармейцы. Задумались...

## 5

Сроду Васков чувствовал себя старше, чем был. Не ворочай он в свои четырнадцать за иного женатика, по миру пошла бы семья. Тем более голодно тогда было, неустройства много. А он единственным в семье мужиком остался — и кормильцем, и поильцем, и добытчиком. Летом крестьянствовал, зимой зверя бил и о том, что людям выходные положены, узнал к двадцати годам. Ну, а потом армия, тоже не детский сад... В армии солидность уважают, а он армию уважал. Так и получилось, что и на данном этапе он опять же не помолодел, а, наоборот, старшиной стал. А старшина старшина и есть, он всегда для бойцов старый. Положено так.

И Федот Евграфыч позабыл о своем возрасте. Одно знал — он старше рядовых и лейтенантов, ровня всем майорам и всегда младше любого полковника. Дело тут в субординации было — в мироощущении.

Поэтому и на девочек, которыми командовать пришлось, он смотрел словно бы из другого поколения. Словно был он участником гражданской войны и лично чай пил с Василием Ивановичем Чапаевым под городом Лбищенском. И не по выкладкам ума, не по зароку какому-нибудь получилось так, а от естества, от сути его старшинской.

Мысли насчет того, что старше он самого себя, никогда Васкову в голову не приходили. И только ночью этой, тихой да светлой, шевельнулось что-то сомнительное.

Но тогда до ночи еще далеко было, еще позицию выбирали. Бойцы его скакали по камням, что козы, и он вдруг заскакал с ними, и у него ловко так получалось, что он и сам удивился. А удивившись, нахмурился и сразу стал и ходить степенно и на валуны влезать в три приема.

Впрочем, не это главное было. Главное — отличную он позицию выискал. Глубокую, с укывистыми подходами, с обзором от леса до озера. Глухими бараньими



лбами тянулась она вдоль озерного плеса, оставляя для прохода лишь узкую открытую полосу у берега. По этой полосе в случае чего немцам надо было часа три кряду огибать, а он мог напрямки отходить, через камни, и занимать запасную позицию задолго до подхода противника. Ну, это он так, для перестраховки, выбрал, потому что с двумя-то диверсантами наверняка мог справиться здесь, у основной.

Выбрав позицию, Федот Евграфыч, как положено, произвел расчет времени. По расчету этому выходило, что немцев ждать оставалось еще часа четыре, и поэтому разрешил он своей команде приготовить горячее из расчета котелок на двоих. Кухарить Лиза Бричкина сама вызвалась, он ей в помощь двух пигалиц выделил и дал указание, чтоб костер был без дыма.

— Замечу дым — вылью в огонь все варево в тот же момент. Ясно говорю?

— Ясно, — упавшим голосом сказала Лиза.

— Нет, не ясно, товарищ боец. А ясно тогда будет, когда у меня топор попросишь да подручных своих пошлешь сухостоя нарубить. И накажи им, чтобы тот рубили, который еще без лишая стоит. Чтоб звонкий был. Тогда дыма не будет, а будет один жар.

Приказ приказом, а для примера сам наломал им сушняка, сам развел костер. Потом, когда с Осяниной на местности занимался, все туда поглядывал, но дыма не было, только воздух дрожал над камнями, но про то знать надо было или глаз иметь наметанный, а у немцев, понятное дело, глаза такого быть не могло.

Пока там тройка эта кашеварила, Васков с младшим сержантом Осяниной и бойцом Комельковой всю гряду излазили. Определили места, сектора обстрела, ориентиры. Расстояние до ориентиров Федот Евграфыч лично парами шагов проверил и занес в стрелковую карточку, как того требовал устав.

К тому времени обедать кликнули. Расселись попарно, как шли, и коменданту котелок достался пополам с бойцом Гурвич. Она, конечно, заскромничала, ложкой уж слишком часто постукивать начала, самое варево ему сбрасывая. Старшина сказал неодобрительно:

— Напрасно стучишь, товарищ переводчик. Я тебе, понимаешь ли, не дролюшка, и нечего мне кусочки подкладывать. Наворачивай, как бойцу положено.

— Я наворачиваю, — улыбнулась она.

— Вижу! Худущая, как весенний грач.

— У меня конституция такая.

— Конституция? Вон у Бричкиной такая же конституция, как у нас у всех, а в теле. Есть на что поглядеть...

После обеда чайку напились: Федот Евграфыч еще на марше брусничного листа насобирал, его и заварили. Отдохнули полчасика, и старшина приказал построить.

— Слушай боевой приказ! — торжественно начал он, хотя где-то внутри сомневался, что поступает правильно насчет этого приказа. — Противник силою до двух вооруженных до зубов фрицев движется в район Воль-озера с целью тайно пробраться на Кировскую железную дорогу и Беломорско-Балтийский канал имени товарища Сталина. Нашему отряду в количестве шести человек поручено держать оборону Синюхиной гряды, где и захватить противника в плен. Сосед слева — Воль-озеро, сосед справа — Легонство озеро... — Старшина помолчал, откашлялся, расстроено подумал, что приказ, пожалуй, следовало бы сначала написать на бумажке, и продолжал: — Я решил встретить врага на основной позиции и, не открывая огня, предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. На запасной позиции оставить все имущество под охраной бойца Четвертак. Боевые действия начинать только по моей команде. Своими заместителями назначаю младшего сержанта Осянину, а ежели и она выйдет из строя, то бойца Гурвич. Вопросы?

— А почему это меня в запасные? — обиженно спросила Четвертак.

— Несущественный вопрос, товарищ боец. Приказано вам, вот и выполняйте.

— Ты, Галка, наш резерв, — сказала Осянина.

— Вопросов нет, все ясноенько, — бодро отозвалась Комелькова.

— А ясноенько, так прошу пройти на позицию.

Он развел бойцов по местам, что загодя прикинул вместе с Осяниной, указал каждой ориентиры, еще раз лично предупредил, чтоб лежали, как мыши.

— Чтoб и не шевельнулся никто. Первым я с ними говорить буду.

— По-немецки? — съехидничала Гурвич.

— По-русски! — резко сказал старшина. — А вы переведете, ежели не поймут. Ясно говорю?

Все молчали.

— Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нету. И мамань тоже.

Насчет мамань он напрасно сказал, совсем напрасно. И рассердился поэтому ужасно: ведь всерьез же все будет, не на стрельбище!

— С немцем хорошо издали воевать. Пока вы свою трехлинейку передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично «огонь» не скамандую. А то не погляжу, что женский род... — Тут Федот Евграфыч осекся, махнул рукой: — Все. Кончен инструктаж.

Выделил сектора наблюдения, распределил попарно, чтоб в четыре глаза смотрели. Сам повыше забрался, биноклем кромку леса обшаривал, пока слеза не прошибла.

Солнце уже совсем за вершины цеплялось, но камень, на котором лежал Васков, еще хранил накопленное тепло. Старшина отложил бинокль и закрыл глаза, чтоб отдохнули. И сразу камень этот теплый плавно качнулся и поплыл куда-то в тишину и покой, и Федот Евграфыч не успел сообразить, что дремлет. Вроде и ветерок чувствовал и слышал все шорохи, а казалось, что лежит на печи, что забыл дерюжку подстелить и надо бы об этом мамане сказать. И маманю увидел, шуструю, маленькую, что много уж лет спала урывками, кусочками какими-то, будто ворую их у крестьянской своей жизни. Увидел руки, худые до невозможности, с пальцами, которые давно уж не разгибались от сырости и работы. Увидел морщинистое, будто печеное, лицо ее, слезы на жухлых щеках и понял, что доселе плачет маманя над помершим Игорьком, доселе виноватит себя и изводит. Хотел он ласковое ей сказать, да тут вдруг кто-то его за ногу тронул, а он почему-то решил, что это тятка, и испугался до самого сердца. Открыл глаза — Осянина на камень лезет и за ногу его трогает.

— Немцы?..

— Где? — испуганно откликнулась она.

— Фу, леший... Показалось.

Рита посмотрела на него, улыбнулась.

— Подремлите, Федот Евграфыч. Я шинель вам принесу.

— Что ты, Осянина! Это так, сморило меня. Покупить надо.

Спустился вниз — под скалой Комелькова волосы расчесывает. Распустила — спины не видно. Стала грёбенку вести — руки не хватает, перехватывать приходится. А волос густой, мягкий, медью отливает. И руки у нее плавно так ходят, неторопливо, покойно.

— Крашенные, поди? — спросил старшина и испугался, что съязвит сейчас и кончится вот это вот: простое.

— Свои. Растрепанная я?

— Это ничего.

— Вы не думайте, там у меня Лиза Бричкина на блюдет. Она глазастая.

— Ладно, ладно. Оправляйся...

О леший, опять это слово выскочило! Потому — ведь из устава оно. Навеки врубленное. Медведь ты, Васков, медведь глухоманный!..

Насупился старшина. Закурил, дымом укутался.

— Товарищ старшина, а вы женаты?

Глянул — сквозь рыжее пламя зеленый глаз проглядывает. Неимоверной силы глаз, как стопятидесяти-двухмиллиметровая пушка-гаубица.

— Женатый, боец Комелькова.

Соврал, само собой. Но с такими оно к лучшему. Позиции определяет, кому где стоять.

— А где ваша жена?

— Известно где — дома.

— А дети есть?

— Дети?.. — вздохнул Федот Евграфыч. — Был мальчонка. Помер. Аккурат перед войной.

— Умер?..

Отбросила назад волосы, глянула — прямо в душу глянула. Прямо в душу. И ничего больше не сказала. Ни утешений, ни шуточек, ни пустых слов. Потому-то Васков и не удержался, вздохнул:

— Да, не уберегла маманя...

Сказал и пожалел. Так пожалел, что тут же вскочил, гимнастерку одернул, как на смотру.

— Как там у тебя, Осянина?

— Никого, товарищ старшина.

— Продолжай наблюдение!

И пошел от бойца к бойцу.

Солнце давно уже село, но было светло, словно перед рассветом, и боец Гурвич читала за своим камнем книжку. Бубнила нараспев, точно молитву, и Федот Евграфыч послушал, прежде чем подойти.

Рожденные в года глухие  
Пути не помнят своего.  
Мы — дети страшных лет России —  
Забуты не в силах ничего.  
Испепеляющие годы!  
Безумья ль в вас, надежды ль весть?  
От дней войны, от дней свободы  
Кровавый ответ в лицах есть...

— Кому читаешь-то? — спросил он, подходя.

Переводчица смутилась (все ж таки наблюдать приказано, наблюдать!), отложила книжку, хотела встать. Старшина махнул рукой.

— Кому, спрашиваю, читаешь?

— Никому. Себе.

— А чего же в голос?

— Так ведь стихи.

— А-а... — Васков не понял. Взял книжку — тонюсенькая, что наставление по гранатомету, — полистал. — Глаза портишь.

— Светло, товарищ старшина.

— Да я вообще... И вот что — ты на камнях-то не сиди. Они остынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть, а ты и не заметишь. Ты шинельку подстилай,

— Хорошо, товарищ старшина. Спасибо.

— А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой тут, плотный, а зори здесь тихие, и потому слышно аж за пять верст. И поглядывай. Поглядывай, боец Гурвич.

Ближе к озеру Бричкина располагалась, и еще издали Федот Евграфыч довольно заулыбался: вот толковая девка! Наломала лапнику елового, устелила ложбинку меж камней, шинелью прикрыла. Бывалый человек. Даже поинтересовался:

— Откуда будешь, Бричкина?

— С Брянщины, товарищ старшина.

— В колхозе работала?

— Работала. А больше отцу помогала. Он лесник, на кордоне мы жили.

— То-то крикаешь хорошо.

Засмеялась. Любят они смеяться, не отвыкли еще.

— Ничего не заметила?

— Пока тихо.

— Ты все примечай, Бричкина. Кусты не качаются ли, птицы не шебаршатся ли. Человек ты лесной, все понимаешь.

— Понимаю.

— Вот-вот...

Потоптался старшина. Вроде все сказал, вроде дал указания, вроде уходить надо, а ноги не шли. Уж больно девка своя-то была, лесная, уж больно устроилась уютно, уж больно теплом от нее тянуло, как от той русской родимой печки, что привиделась ему сегодня в дреме.

— «Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привета, что ж ты дроле не поешь, аль твой дроля не пригож?» — с ходу казенным голосом отбарабанил комендант и пояснил: — Это припевка в наших краях такая.

— А у нас...

— После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ и споем.

— Честное слово? — улыбнулась Лиза.

— Ну, сказал ведь.

Старшина вдруг залихватски подмигнул ей, сам же первым смутился, поправил фуражку и пошел. Бричкина крикнула вслед:

— Ну, смотрите, товарищ старшина! Обещались!..

Ничего он ей не ответил, но улыбался всю дорогу, пока через гряды на запасную позицию не вышел. Тут он улыбку с лица смахнул и стал искать, куда запряталась боец Четвертак.

А боец Четвертак сидела под скалой на мешках, укутавшись в шинель и сунув руки в рукава. Поднятый воротник прятал ее голову вместе с пилоткой, и между казенных отворотов уныло торчал красный хрящеватый носик.

— Ты чего скукожилась, товарищ боец?

— Холодно...

Протянул руку, а она отпрянула: решила сдуру, что хватать он ее пришел, что ли...

— Да не рвись ты, господи! Лоб давай. Ну?

Высунула шею. Старшина лоб ее стиснул, прислушался — горит. Горит, лешак тебя задави совсем!

— Жар у тебя, товарищ боец. Чуешь?

Молчит. И глаза печальные, как у телушки: любо-го обвиноватят. Вот оно, болотце-то, товарищ старшина Васков. Вот он, сапог, потерянный бойцом, твоя поспешаловка и майский сиверко. Получи в натуре одного небоеспособного, обузу на весь отряд и лично на твою совесть.

Федот Евграфыч «сидор» свой вытащил, лямки

сбросил, нырнул. В укромном местечке наиважнейший его энзе лежал — фляга со спиртом, семьсот пятьдесят граммов, под пробку. Плеснул в кружку.

— Так примешь или разбавить?

— А что это?

— Микстура. Ну, спирт. Ну?

Замахала руками, отодвинулась:

— Ой, что вы, что вы...

— Приказываю принять! — Старшина подумал маленько, разбавил чуть водой. — Пей. И воды сразу.

— Нет, что вы...

— Пей без разговору!

— Ну что вы, в самом деле! У меня мама — медицинский работник...

— Нету мамы. Война есть, немцы есть, я есть, старшина Васков. А мамы нету. Мамы у тех будут, кто войну переживет. Ясно говорю?

Выпила, давясь, со слезой пополам. Закашлялась. Федот Евграфыч ее ладонью по спине постукал слегка. Отошла. Слезы ладонями размазала, улыбнулась.

— Голова у меня... побежала!..

— Завтра догонишь.

Лапнику ей приволок. Устелил, шинелью своей прикрыл.

— Отдыхай, товарищ боец.

— А вы как же без шинели-то?

— Я здоровый, не боюсь. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу, выздоровей.

Стихло кругом. И леса, и озера, и воздух самый — все на покой отошло, затаилось. За полночь перевалило, завтрашний день начинался, а никаких немцев не было и в помине. Рита то и дело поглядывала на Васкова, а когда одни оказались, спросила:

— Может, зря сидим?

— Может, и зря, — вздохнул старшина. — Однако не думаю. Если ты фрицев тех с пеньками не спутала, конечно.

К этому времени комендант отменил позиционное бдение. Отправил бойцов на запасную позицию, приказал лапнику наломать и спать, пока не подымет. А сам здесь остался, на основной, и Осянина за ним увязалась.

То, что немцы не появлялись, сильно озадачивало Федота Евграфыча. Они ведь и вообще могли здесь не оказаться, могли в другом месте на дорогу нацелиться,

могли какое-либо иное задание иметь, а совсем не то, которое он за них определил. Могли уже бед натворить уйму: стрелкнуть кого из начальства или взорвать что важное. Поди тогда объясняй трибуналу, почему ты, вместо того чтобы лес прочесать да немцев прищучить, черт-те куда попер. Бойцов пожалел? Испугался в открытый бой их кинуть? Это не оправдание, если приказ не выполнен. Нет, не оправдание.

— Вы бы поспали пока, товарищ старшина. На зорьке разбужу...

Какой там, к лешему, сон! Даже холода комендант не чувствовал, даром что в одной гимнастерке.

— Погоди ты со сном, Осянина. Будет мне, понимаешь ли, вечный сон, ежели фрицев проворонил.

— А может, они спят сейчас, Федот Евграфыч?

— Спят?

— Ну да. Люди же они. Сами говорили, что Синюхина гряда единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им...

— Погоди, Осянина, погоди! Полста верст — это точно, даже больше. Да по незнакомой местности. Да каждого куста пугаясь... А?.. Так мыслю?

— Так, товарищ старшина.

— А так, то могли они, свободное дело, и отдыхать завалиться. В буреломе где-нито. И спать будут до солнышка. А с солнышком... А?..

Рита улыбнулась. И опять посмотрела, как бабы на ребяtnю смотрят.

— Вот и вы до солнышка отдохните. Я разбужу.

— Нету мне сна, товарищ Осянина... Маргарита, как по батюшке?

— Зовите просто Ритой, Федот Евграфыч,

— Закурим, товарищ Рита?

— Я не курю.

— Да, насчет того, что и они тоже люди, это я как-то недопонял. Правильно подсказала; отдыхать должны. И ты ступай, Рита. Ступай.

— Я не хочу спать.

— Ну, так приляг пока, ноги вытяни. Гудят с непривычки небось?

— Ну, у меня как раз хорошая привычка, Федот Евграфыч, — улыбнулась Рита.

Но старшина все-таки уговорил ее, и Рита легла тут же, на будущей передовой, на лапнике, что Лиза Бричкина для себя заготовила. Укрылась шинелью, ду-



мала передрепать до зари — и заснула. Крепко, без снов, как провалилась. А проснулась, когда старшина за шинель потянул.

— Что?

— Тише! Слышишь?

Рита скинула шинель, одернула юбку, вскочила. Солнце уже оторвалось от горизонта, зарозовели скалы. Выглянула — над дальним лесом с криком перелетали птицы.

— Птицы кричат...

— Сороки! — тихо смеялся Федот Евграфыч. — Сороки-белобоки шебаршат, Рита. Значит, идет кто-то, беспокоит их. Не иначе — гости. Крой, Осянина, подымай бойцов. Мигом! Но скрытно, чтоб ни-ни!..

Рита убежала.

Старшина залег на свое место — впереди и повыше остальных. Проверил наган, дослал в винтовку патрон. Шарил биноклем по освещенной низким солнцем лесной опушке.

Сороки кружили над кустами, громко трещали, перещелкивались.

Подтянулись бойцы. Молча разошлись по местам, залегли.

Гурвич к нему пробралась:

— Здравствуйте, товарищ старшина.

— Здорово. Как там Четвертак эта?

— Спит. Будить не стали.

— Правильно решили. Будь рядом для связи. Только не высовывайся.

— Не высунусь, — сказала Гурвич.

Сороки подлетали все ближе и ближе, кое-где уже вздрагивали верхушки кустов, и Федоту Евграфычу показалось даже, будто хрустнул валежник под тяжелой ногой идущего. А потом вроде замерло все и сороки вроде как-то успокоились, но старшина знал, что на самой опушке, в кустах, сидят люди. Сидят, вглядываясь в озерные берега, в лес на той стороне, в гряде, через которую лежал их путь и где укрывался сейчас и он сам и его ружьяные со сна бойцы.

Наступила та таинственная минута, когда одно событие переходит в другое, когда причина сменяется следствием, когда рождается случай. В обычной жизни человек никогда не замечает ее, но на войне, где нервы напряжены до предела, где на первый жизненный срез снова выходит первобытный смысл существования —

уцелеть,— минута эта делается реальной, физически ощутимой и длинной до бесконечности.

— Ну, идите же, идите, идите...— беззвучно шептал Федот Евграфыч.

Колыхнулись далекие кусты, и на опушку осторожно выскользнули двое. Они были в пятнистых серо-зеленых накидках, но солнце светило им прямо в лица, и комендант отчетливо видел каждое их движение.

Держа пальцы на спусках автоматов, пригнувшись, легким, кошачьим шагом они двинулись к озеру...

Но Васков уже не глядел на них. Не глядел потому, что кусты за их спинами продолжали колыхаться и оттуда, из глубины, все выходили и выходили серо-зеленые фигуры с автоматами наизготовку.

— Три... пять... восемь... десять...— шепотом считала Гурвич.— Двенадцать... четырнадцать... пятнадцать, шестнадцать... Шестнадцать, товарищ старшина...

Замерли кусты.

С далеким криком отлетали сороки.

Шестнадцать немцев, озираясь, медленно шли берегом к Синюхиной гряде...

## 6

Всю свою жизнь Федот Евграфыч выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо именно в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается.

А немцы медленно и неуклонно шли берегом Воль-озера, шли прямо на него и на его бойцов, что лежали сейчас за камнями, прижав, как велено, тугие щеки к холодным прикладам винтовок.

— Шестнадцать, товарищ старшина,— почти беззвучно повторила Гурвич.

— Вижу,— сказал он, не оборачиваясь.— Давай в цепь, Гурвич. Осяниной скажешь, чтоб немедля бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно чтоб, скрытно!.. Стой, куда ты?.. Бричкину ко мне приплешь. Ползком, товарищ переводчик. Теперь, покуда что, ползком жить будем.

Гурвич уползла, старательно виляя между камней. Комендант хотел что-то придумать, что-то немедленно решить, но в голове было отчаянно пусто, и только одно годами воспитанное желание назойливо тревожило: доложить. Сейчас же, сию секунду, доложить по команде, что обстановка изменилась, что своими силами ему уже не заслонить ни Кировской железной дороги, ни канала имени товарища Сталина.

Отряд его начал отход; где-то брякнула винтовка, где-то сорвался камень. Звуки эти физически отдавались в нем, и хотя немцы были еще далеко и ничего не могли слышать, Федот Евграфыч переживал самый настоящий страх. Эх, пулемет бы сейчас с полным диском и толковым вторым номером! Даже бы и не дегтярь, автоматов бы тройку да к ним мужиков посноровистей... Но не было у него ни пулеметов, ни мужиков, а была пятерка смешливых девчат да по пять обойм на винтовку. Оттого-то и обливался потом старшина Васков в то росистое майское утро...

— Товарищ старшина... Товарищ старшина...

Комендант рукавом старательно вытер пот, только потом обернулся. Глянул в близкие, растопыренные донельзя глаза, подмигнул:

— Веселей дыши, Бричкина. Это ж даже лучше, что шестнадцать их. Поняла?

Почему шестнадцать диверсантов лучше, чем два, этого старшина объяснять не стал, но Лиза согласно покивала ему и неуверенно улыбнулась.

— Дорогу назад хорошо помнишь?

— Ага, товарищ старшина.

— Гляди — левее фрицев сосняк тянется. Пройдешь его, опушкой держи вдоль озера.

— Там, где вы хворост рубили?

— Молодец, девка! Оттуда иди к протоке. Напрямик, там не собьешься.

— Да знаю я, товарищ...

— Погоди, Лизавета, не гоношись. Главное дело — болото, поняла? Бродок узкий, влево-вправо трясина. Ориентир — береза. От березы прямо на две сосны, что на острове.

— Ага.

— Там отдышись малость; сразу не лезь. С островка целясь на обгорелый пенёк, с которого я в топь сгнал. Точно на него цель, он хорошо виден.

— Ага.

— Доложишь Кирьяновой обстановку. Мы тут фрицев покружим маленько, но долго не продержимся, сама понимаешь,

— Ага.

— Винтовку, мешок, скатку — все оставь. Налегке дуй,

— Значит, мне сейчас идти?

— Слегу перед болотом не позабудь.

— Ага. Побежала я.

— Дуй, Лизавета батьковна.

Лиза молча покивала, отодвинулась. Прислонила винтовку к камню, стала патронтаж с ремня снимать, все время ожидая поглядывая на старшину. Но Васков смотрел на немцев и так и не увидел ее растрепованных глаз. Лиза осторожно вздохнула, затянула потуже ремень и, пригнувшись, побежала к сосняку, чуть приволакивая ноги, как это делают все женщины на свете.

Диверсанты были совсем уж близко — можно разглядеть лица, — а Федот Евграфыч, распластавшись, все еще лежал на камнях. Кося глазом на немцев, он смотрел на сосновый лесок, что начинался от гряды и тянулся к опушке. Дважды там качнулись вершинки, но качнулись легко, словно птицей задетые, и он подумал, что правильно сделал, послав именно Лизу Бричкину.

Убедившись, что диверсанты не заметили связного, он поставил винтовку на предохранитель и спустился за камень. Здесь он подхватил оставленное Лизой оружие и напрямиком побежал назад, шестым чувством угадывая, куда ставить ногу, чтобы не было слышно топота.

— Товарищ старшина!..

Бросились, как воробьи на коноплю. Даже Четвертак из-под шинелей вынырнула. Непорядок, конечно: следовало прикрикнуть, скомандовать, Осяниной указать, что караула не выставила. Он уж и рот раскрыл и брови по-командирски надвинул, а как в глаза их напряженные заглянул, так и сказал, словно в бригадном стане:

— Плохо, девчата, дело.

Хотел на камень сесть, да Гурвич вдруг задержала, быстро шинельку свою подсунула. Он кивнул ей благодарно, сел, кисет достал.

Они рядом перед ним устроились, молча следили,

как он сигарку сворачивает. Васков глянул на Четвертак:

— Ну, как ты?

— Ничего.— Улыбка у нее не получилась: губы не слушались.— Я спала хорошо.

— Стало быть, шестнадцать их.— Старшина старался говорить спокойно и поэтому каждое слово ощущивал.— Шестнадцать автоматов — это сила. В лоб такую не остановишь. И не остановить тоже нельзя, а будут они здесь часа через три, так надо считать.

Осянина с Комельковой переглянулись, Гурвич юбку на коленке разглаживала, а Четвертак на него во все глаза смотрела, не моргая. Комендант сейчас все замечал, все видел и слышал, хоть и просто курил, сигарку свою разглядывая.

— Бричкину я в расположение послал,— сказал он погоды.— На помощь можно к ночи рассчитывать, не раньше. А до ночи, ежели в бой ввяжемся, нам не продержаться. Ни на какой позиции не продержаться, потому как у них — шестнадцать автоматов.

— Что же, смотреть, как они мимо пройдут? — тихо спросила Осянина.

— Нельзя их тут пропустить, через гряду,— сказал Федот Евграфыч.— Надо с пути сбить. Закружить надо, в обход вокруг Легонтова озера направить. А как? Просто боем — не удержимся. Вот и выкладывайте соображения.

Больше всего старшина боялся, что поймут они его растерянность. Учуют, нутром своим таинственным учуют — и все тогда. Кончилось превосходство его, кончилась командирская воля, а с нею и доверие к нему. Поэтому он нарочно спокойно говорил, просто, негромко, поэтому и курил так, будто на завалинку к соседям присел. А сам думал, думал, ворочал тяжелыми мозгами, обсасывая все возможности.

Для начала он бойцам позавтракать велел. Они возмутились было, но он одернул и сало из мешка вытащил. Неизвестно, что на них больше подействовало, сало или команда, а только жевать начали бодро. А Федот Евграфыч пожалел, что сгоряча Лизу Бричкину натошак в такую даль отправил.

После завтрака комендант старательно побрился холодной водой. Бритва у него еще отцовская была, самокалочка, мечта, а не бритва, но все-таки в двух местах порезался. Залепил порезы газетой, да Комелькова

из мешка пузырек с одеколоном достала и сама ему эти порезы прижгла.

Все-то он делал спокойно, неторопливо, но время шло, и мысли в его голове шарахались, как мальки на мелководье. Никак он собрать их не мог и все жалел, что нельзя топор взять да порубить дровишек: глядишь, и улеглось бы тогда, ненужное бы отсеялось, и нашел бы он выход из этого положения.

Конечно, не для боя немцы сюда забрались, это он понимал ясно. Шли глухоманью, осторожно, далеко разбросав дозоры. Для чего? А для того, чтобы противник их обнаружить не мог, чтобы в перестрелку не ввязываться, чтоб вот так же тихо, незаметно просачиваться сквозь возможные заслоны к основной своей цели. Значит, надо, чтобы они его увидели, а он их вроде не заметил?.. Тогда бы, возможное дело, отошли, в другом месте попробовали бы пробраться. А другое место — вокруг Легонтова озера, сутки ходьбы..

Однако кого он им показать может? Четырех девчонок да себя самолично? Ну, задержатся, ну, разведку вышлют, ну, поизучают их, пока не поймут, что в заслоне этом ровно пятеро. А потом?.. Потом, товарищ старшина Васков, никуда они отходить не станут. Окружат и без выстрела, в пять ножей снимут весь твой отряд. Не дураки же они, в самом-то деле, чтоб от четырех девчат да старшины с наганом в леса шараться..

Все эти соображения Федот Евграфыч бойцам выложил — Осяниной, Комельковой и Гурвич, Четвертак, отославшись, сама в караул вызвалась. Выложил без утайки и добавил:

— Ежели за час-полтора другого не придумаем, будет как сказал. Готовьтесь.

«Готовьтесь»... А что готовьтесь-то? На тот свет разве? Так для этого времени чем меньше, тем лучше...

Ну, он, однако, готовился. Взял из «сидора» гранату, наган вычистил, финку на камне наточил. Вот и вся подготовка. У девчат и этого занятия не было. Шушукались чего-то, спорили в сторонке. Потом к нему подошли:

— Товарищ старшина, а если бы они лесорубов встретили?

Не понял Васков: каких лесорубов, где?.. Война ведь, леса пустые стоят, сами видели. Они объяснять

взялись, и сообразил комендант. Сообразил: часть, какая б ни была, границы расположения имеет. Точные границы: и соседи известны, и посты на всех углах. А лесорубы — в лесу они. Побригадно разбрестись могут — ищи их там, в глухоте. Станут их немцы искать? Ну, вряд ли — опасно это. Чуть где проглядишь — и все, засекут, сообщат, куда надо. Потому никогда не известно, сколько душ лес валит, где они, какая у них связь.

— Ну, девочки, орлы вы у меня!..

Позади запасной позиции речушка протекала, мелкая, но шумная. За речушкой прямо от воды шел лес — непролазная темь осинников, бурелома, еловых чащоб. В двух шагах здесь человеческий глаз утыкался в живую стену подлеска, и никакие цейсовские бинокли не могли пробиться сквозь нее, уследить за ее изменчивостью, определить ее глубину. Вот это-то место и имел в соображении Федот Евграфыч, принимая к исполнению девичий план.

В самом центре, чтоб немцы прямо в них уперлись, он Четвертак и Гурвич определил. Велел костры палить подымнее, кричать да аукаться, чтоб лес звенел. А из-за кустов не слишком все же высываться: ну, мелькать там, показываться, но не очень. И сапоги велел снять. Сапоги, пилотки, ремни — все, что форму определяет.

Судя по местности, немцы могли попробовать обойти эти костры только левее, справа каменные утесы прямо в речку глядели, здесь прохода удобного не было, но чтобы уверенность появилась, он туда Осянину поставил. С тем же приказом — мелькать, шуметь да костер палить. А тот — левый фланг на себя и Комелькову взял: другого прикрытия не было. Тем более что оттуда весь плес речной проглядывался; в случае, если бы фрицы все ж таки надумали переправляться, он бы двух-трех отсюда свалить успел, чтобы девочки уйти смогли, разбежаться.

Времени мало оставалось, и Васков, усилив караул еще на одного человека, с Осяниной да Комельковой спешно занялся подготовкой. Пока они для костров хворост таскали, он не таясь (пусть слышат, пусть готовы будут!) топором дерева подрубал. Выбирал повыше, пошумнее, дорубал так, чтоб от толчка свалить, и бежал к следующему. Пот застилал глаза, нестерпимо жалил комар, но старшина, задыхаясь, рубил и

рубил, пока с передового секрета Гурвич не прибежала. Замахала с той стороны:

— Идут, товарищ старшина!

— По местам,— сказал Федот Евграфыч.— По местам, девоньки, только очень вас прошу — поостерегитесь. За деревьями мелькайте, не за кустами. И орите позвончее...

Разбежались его бойцы. Только Гурвич да Четвертак на том берегу копошились. Четвертак все никак бинты развязать не могла, которыми чуню ее прикручивали. Старшина подошел:

— Погоди, перенесу.

— Ну что вы, товарищ...

— Погоди, сказал. Вода — лед, а у тебя хворь еще держится.

Примерился, схватил красноармейца в охапку (пустяк — пуда три, не боле). Она рукой за шею обняла, вдруг краснеть с чего-то надумала. Залилась аж до шеи.

— Как с маленькой вы...

Хотел старшина пошутить с ней — ведь не чурбак нес все-таки, а сказал совсем другое:

— По сырому не особо бегай там.

Вода почти до колен доставала — холодная до рези. Впереди Гурвич брела, юбку подобрал. Мелькала худыми ногами, для равновесия размахивая сапогами. Оглянулась:

— Ну и водичка — бррр!..

И юбку сразу опустила, подолом по воде волоча, Комендант крикнул сердито:

— Подол подбери!

Остановилась, улыбаясь:

— Не из устава команда, Федот Евграфыч...

Ничего, еще шутит! Это Васкову понравилось, и на свой фланг, где Комелькова уже костры поджигала, он в хорошем настроении прибыл. Заорал что было сил:

— Давай, девки, нажимай веселей!..

Издалека Осянина отозвалась:

— Эге-гей!.. Иван Иваныч, гони подводу!..

Кричали, валили подрубленные деревья, аукались, жгли костры. Старшина тоже иногда покрикивал, чтоб и мужской голос слышался, но чаще, затаившись, сидел в ивняке, зорко всматриваясь в кусты на той стороне.

Долго ничего там уловить было невозможно. Уже и



бойцы его кричать устали, уже все деревья, что подрублены были, Осянина с Комельковой свалили, уже и солнце над лесом встало, и речку высветило, а кусты той стороны стояли недвижимо и молчаливо.

— Может, ушли?.. — шепнула над ухом Комелькова.

Леший их ведает, может, и ушли. Васков не стереотруба, мог и не заметить, как к берегу они подползали. Они ведь тоже птицы стреляные, в такое дело не пошлют, кого ни попадя...

Этот он подумал так. А сказал коротко:

— Годи.

И снова в кусты эти, до последнего прутика изученные, глазами впился. Так глядел, что слеза прошибла. Моргнул, протер ладонью — и вздрогнул: почти напротив, через речку, ольшаник затрепетал, раздался, и в прогалине ясно обозначилось заросшее ржавой щетиной молодое лицо.

Федот Евграфыч руку назад протянул, нащупал круглое колено, сжал. Комелькова уха его губами коснулась:

— Вижу...

Еще один мелькнул, пониже. Двое выходили к берегу, без ранцев, налегке. Выставив автоматы, общаривали глазами голосистый противоположный берег.

Екнуло сердце Васкова: разведка! Значит, решились все-таки прощупать чащу, посчитать лесорубов, найти меж ними щелочку. К черту все летело, весь замысел, все крики, дымы и подрубленные деревья: немцы не испугались. Сейчас переправятся, юркнут в кусты, змеями выползут на девичьи голоса, на костры и шум. Пересчитают по пальцам, разберутся и... и поймут, что обнаружены...

Федот Евграфыч плавно, ветку боясь шевельнуть, достал наган. Уж этих-то двух он верняком прищучит еще в воде, на подходе. Конечно, шарахнут по нему тогда, из всех оставшихся автоматов шарахнут, но девчата, возможное дело, уйти успеют, затаиться. Только бы Комелькову отослать...

Он оглянулся, — стоя сзади него на коленях, Евгения зло рвала через голову гимнастерку. Швырнула на землю, вскочила не таясь.

— Стой!.. — шепнул старшина.

— Рая, Вера, идите купаться! — звонко крикнула Женька и напрямик, ломая кусты, пошла к воде.

Федот Евграфыч зачем-то схватил ее гимнастерку, зачем-то прижал к груди. А пышная Комелькова уже вышла на каменистый, залитый солнцем плес.

Дрогнули ветки напротив, скрывая серо-зеленые фигуры. Евгения неторопливо, подрагивая коленками, стянула юбку, рубашку и, поглаживая руками черные трусики, вдруг высоким, звенящим голосом завела-закричала:

Расцветали яблони и груши,  
Поплыли туманы над рекой...

Ах, хороша она была сейчас, чудо как хороша! Высокая, белотелая, гибкая — в десяти метрах от автоматов. Оборвала песню, шагнула в воду и, вскрикивая, шумно и весело начала плескаться. Брызги сверкали на солнце, скатываясь по упругому, теплomu телу, а комендант, не дыша, с ужасом ждал очереди. Вот сейчас, сейчас ударит — и переломится Женька, всплеснет руками и...

Молчали кусты.

— Девчата, айда купаться! — звонко и радостно кричала Комелькова, танцуя в воде. — Ивана зовите!.. Эй, Ванюша, где ты?..

Федот Евграфыч отбросил ее гимнастерку, сунул в кобуру наган, на четвереньках метнулся вглубь, в чащобу. Схватил топор, отбежал, яростно рубанул сосну.

— Эге-гей, иду! — заорал он и снова ударил по стволу. — Идем сейчас, погоди!.. О-го-го-го!..

Сроду он так быстро деревьев не сваливал — и откуда сила взялась. Нажал плечом, положил на сухой ельник, чтоб шуму больше было. Задыхаясь, метнулся назад, на то место, откуда наблюдал, выглянул.

Женька уже на берегу стояла, боком к нему и к немцам. Спокойно натягивала на себя легкую рубашку, и шелк лип, впечатывался в тело и намокал, становясь почти прозрачным под косыми лучами бьющего из-за леса солнца. Она, конечно, знала об этом, знала и потому неторопливо, плавно изгибалась, разбрасывая по плечам волосы. И опять Васкова до черного ужаса обожгло ожидание очереди, что брызнет сейчас из-за кустов, ударит, изуродует, сломает это буйно-молодое тело.

Сверкнув запретно белым, Женька стащила из-под рубашки мокрые трусики, отжала их и аккуратно раз-

ложила на камнях. Села рядом, вытянув ноги, подставила солнцу до земли распущенные волосы.

А тот берег молчал. Молчал, и кусты нигде не шевелились, и Васков, как ни всматривался, не мог понять, там ли еще немцы или уже отошли. Гадать было некогда, и комендант, наскоро скинув гимнастерку, сунул в карман галифе наган и, громко ломая валежник, пошел на берег.

— Ты где тут?..

Хотел весело крикнуть — не вышло, горло сдавило. Вылез из кустов на открытое место — сердце чуть ребра не выламывало от страха. Подошел к Комельковой:

— Из района звонили, сейчас машина придет. Так что одевайся. Хватит загорать.

Поорал для той стороны, а что Комелькова ответила, не расслышал. Он весь туда был сейчас нацелен, на немцев, в кусты. Так был нацелен, что казалось ему, шевельнись листок — и он услышит, уловит, успеет вот за этот валун упасть и наган выдернуть. Но пока вроде ничего там не шевелилось.

Женька потянула его за руку, он рядом сел и вдруг увидел, что она улыбается, а глаза, настежь распахнутые, ужасом полны, как слезами. И ужас этот живой и тяжелый, как ртуть.

— Уходи отсюда, Комелькова, — изо всех сил улыбаясь, сказал Васков.

Она что-то еще говорила, даже смеялась, но Федот Евграфыч ничего не мог слышать. Увести ее, вывести за кусты надо было немедленно, потому что не мог он больше каждое мгновение считать, когда ее убьют. Но чтоб легко все было, чтоб фрицы проклятые не доперли, что игра все это, что морочат им головы их немецкие, надо было что-то придумать.

— Добром не хочешь — народу тебя покажу! — заорал вдруг старшина и сгреб с камней ее одежонку. — А ну, догоняй!..

Женька завизжала, как положено, вскочила, за ним бросилась. Васков сперва по бережку побегал, от нее уворачиваясь, а потом за кусты скользнул и остановился, только когда в лес углубились.

— Одевайся! И хватит с огнем играть! Хватит!..

Сунул, отвернувшись, юбку, а она не взяла, и рука висела в воздухе. Ругнуться хотел, оглянулся, а боец Комелькова, закрывши лицо, скорчившись, сидела на

земле, и круглые плечи ее ходуном ходили под узкими ленточками рубашки...

Это потом они хохотали. Потом, когда узнали, что немцы ушли. Хохотали над охрипшей Осяниной, над Гурвич, что юбку прожгла, над чумазой Четвертак, над Женькой, как она фрицев обманывала, над ним, старшиной Васковым. До слез, до изнеможения хохотали, и он смеялся, забыв вдруг, что старшина по званию, а помня только, что провели немцев за нос, лихо провели, озорно, и что теперь немцам этим в страхе и тревоге вокруг Легонтова озера сутки топать.

— Ну, все теперь! — говорил Федот Евграфыч в перерывах между их весельями. — Теперь все, девчата, теперь им деваться некуда, ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит.

— Прибежит, — сипло сказала Осянина, и все опять принялись хохотать, потому что уж больно смешно сел у нее голос. — Она быстрая.

— Вот и давайте выпьем по маленькой за это дело, — сказал комендант и достал заветную фляжку. — Выпьем, девчата, за ее быстрые ножки да за ваши светлые головы!..

Тут все захлопотали, полотенце на камнях растелили, стали резать хлеб, сало, рыбу разделявать. И пока они занимались этими бабскими делами, старшина, как положено, сидел в отдалении, курил, ждал, когда к столу покличут, и устало думал, что самое страшное позади...

## 7

Лиза Бричкина все девятнадцать лет прожила в ощущении завтрашнего дня. Каждое утро ее обжигало нетерпеливое предчувствие ослепительного счастья, и тотчас же выматывающий кашель матери отодвигал это свидание с праздником на завтрашний день. Не убивал, не перечеркивал — отодвигал.

— Помрет у нас мать-то, — строго предупреждал отец.

Пять лет изо дня в день он приветствовал ее этими словами. Лиза шла во двор задавать корм поросенку, овцам, старому казенному мерину. Умывала, переодевала и кормила с ложечки мать. Готовила обед, прибирала в доме, обходила отцовские квадраты и бегала в ближнее село за хлебом. Подружки ее давно кон-

чили школу, кто уехал учиться, кто уже вышел замуж, а Лиза кормила, мыла, скребла и опять кормила. И ждала завтрашнего дня.

Завтрашний день этот никогда не связывался в ее сознании со смертью матери. Она уже с трудом помнила ее здоровой, но в самое Лизу было вложено столько человеческих жизней, что представлению о смерти просто не хватало места.

В отличие от смерти, о которой с такой нудной строгостью напоминал отец, жизнь была понятием реальным и ощутимым. Она скрывалась где-то в сияющем завтра, она пока обходила стороной этот затерянный в лесах кордон, но Лиза знала твердо, что жизнь эта существует, что она предназначена для нее и что миновать ее невозможно, как невозможно не дожидаться завтрашнего дня. А ждать Лиза умела.

С четырнадцати лет она начала учиться этому великому женскому искусству. Вырванная из школы болезнью матери, ждала сначала возвращения в класс, потом — свидания с подружками, потом — редких свободных вечеров на пяточке возле клуба, потом...

Потом случилось так, что ей вдруг нечего оказалось ждать. Подружки ее либо еще учились, либо уже работали и жили вдали от нее, в своих интересах, которые со временем она перестала ощущать. Парни, с которыми когда-то так легко и просто можно было потолкаться и посмеяться в клубе перед сеансом, теперь стали чужими и насмешливыми. Лиза начала дичиться, отмалчиваться, обходить сторонкой веселые компании, а потом и вовсе перестала ходить в клуб.

Так уходило ее детство, а вместе с ним и старые друзья. А новых не было, потому что никто, кроме дремучих лесников, не заворачивал на керосиновые отсветы их окошек. И Лизе было горько и страшно, ибо она не знала, что приходит на смену детству. В смятении и тоске прошла глухая зима, а весной отец привез на подводе охотника.

— Пожить у нас хочет, — сказал он дочери, — А только где же у нас? У нас мать помирает.

— Сеновал найдется, наверно?

— Холодно еще, — несмело сказала Лиза.

— Тулуп дадите?..

Отец с гостем долго пили на кухне водку. За дощатой стеной надсадно бухала мать. Лиза бегала в погреб за капустой, жарила яичницу и слушала.

Говорил больше отец. Стаканами вливал в себя водку, пальцами хватал из миски капусту, пихал в волосатый рот и, давясь, говорил и говорил:

— Ты погоди, погоди, мил человек. Жизнь, как лес, прореживать надо, чистить, так выходит? Погоди. Сухостой там, большие стволы, подлесок. Так?

— Чистить надо, — подтвердил гость. — Не прореживать, а чистить. Дурную траву с поля вон.

— Так, — сказал отец. — Так, погоди. Ежели лес, то мы, лесники, понимаем. Тут мы понимаем, ежели это лес. А ежели это жизнь? Ежели теплое, бегают да пишишит?

— Волк, например?

— Волк? — взъерошился отец. — Волк тебе мешает? А почему мешает? Почему?

— А потому, что у него зубы, — улыбнулся охотник.

— А он что, виноват, что волком родился? Виноват?.. Не-ет, мил человек, это мы его обвинователи, сами обвинователи, а его не спросили. По совести это?

— Ну, знаешь, Петрович, волк и совесть — понятия несовместимые.

— Несовместимые?.. Ну, а волк и заяц совместимые? Погоди ржать, погоди, мил человек!.. Ладно, приказано считать волков врагами населения. Ладно. Взялись мы за это всенародно и всенародно же перестреляли всех волков по всей России. Всех!.. Что будет?

— Как что будет? — улыбался охотник. — Дичи много будет...

— Мало! — рывкнул отец и со всего маху хватил волосатым кулаком по гулкой столешнице. — Мало, понятно тебе? Бегать им надо, зверью-то, чтоб в здоровье существовать. Бегать, мил человек, понятно? А чтоб бегать, страх нужен, страх, что тебя сожрать могут. Вот. Конечно, можно жизнь в один цвет пустить. Можно. Только зачем? Для спокойствия? Так ведь зайцы зажиреют, обленятся, работать перестанут без волков-то. Что тогда? Своих волков выращивать начнем или за границей покупать для страху?

— А тебя часом не раскулачили, Иван Петрович? — вдруг тихо спросил гость.

— Чего меня кулачить? — вздохнул лесник. — Прибытку у меня два кулака да жена с дочкой. Невыгодно им меня кулачить.

— Им?

— Ну, нам!..— Отец плеснул в стакан, чокнулся.— Я не волк, мил человек, я заяц.— Хватанул остаток из стакана, громыхнул столом, поднимаясь, косматый, как медведь. В дверях остановился.— Спать пойду. А тебя дочка проводит. Укажет там.

Лиза тихо сидела в углу. Охотник был городским, белозубым, еще молодым, и это смущало. Неотрывно рассматривая его, она вовремя отводила глаза, страшась столкнуться с ним взглядом, боялась, что он заговорит, а она не сможет ответить или ответит глупо.

— Неосторожный у вас отец.

— Он красный партизан,— торопливо сказала она.

— Это мы знаем,— улыбнулся гость и встал.— Ну, ведите меня спать, Лиза.

На сеновале было темно, как в погребе. Лиза осталась у входа, подумала, забрала у гостя тяжелый казенный тулуп и комковатую подушку.

— Постойте здесь.

По шаткой лестнице поднялась наверх, ощупью разворошила сено, бросила в изголовье подушку. Можно было спускаться, звать гостя, но она, настороженно прислушиваясь, все еще ползала в темноте по мягкому прошлогоднему селу, взбивая его и раскладывая поудобнее. В жизни она бы никогда не призналась себе, что ждет скрипа ступенек под его ногами, хочет суетливой и бестолковой встречи в темноте, его дыхания, шепота, даже грубости. Нет, никаких грешных мыслей не приходило ей в голову: просто хотелось, чтобы вдруг в полную мощь забилося сердце, чтобы пообещалось что-то туманное, жаркое, помаячило бы — и исчезло.

Но никто не скрипел лестницей, и Лиза спустилась. Гость курил у входа, и она сердито сказала, чтобы он не вздумал закурить на сеновале.

— Я знаю,— сказал он и затоптал окурки.— Спокойной ночи.

И ушел спать. А Лиза побежала в дом убирать посуду. И пока убирала ее, тщательно, куда медленнее обычного вытирая каждую тарелку, опять со страхом и надеждой ожидала стука в окошко. И опять никто не постучал. Лиза задула лампу и пошла к себе, слушая привычный кашель матери и тяжелый храп выпившего отца.

Каждое утро гость исчезал из дому и появлялся только поздним вечером, голодный и усталый. Лиза

кормила его, он ел торопливо, но без жадности, и это нравилось ей. Поев, он сразу же шел на сеновал, а Лиза оставалась, потому что стелить постель больше не требовалось.

— Что это вы с охоты ничего не приносите? — сказала она, набравшись храбрости.

— Не везет, — улыбнулся он.

— Исхудали только, — не глядя, продолжала она. — Разве ж это отдых?

— Это прекрасный отдых, Лиза, — вздохнул гость. — К сожалению, и он кончился, завтра уезжаю.

— Завтра?.. — упавшим голосом переспросила Лиза.

— Да, утром. Так ничего и не подстрелил. Смешно, правда?

— Смешно, — печально сказала она.

Больше они не говорили, но как только он ушел, Лиза кое-как прибрала на кухне и юркнула во двор. Долго бродила вокруг сарая, слушала, как вздыхает и покашливает гость, грызла пальцы, а потом тихо отворила дверь и быстро, боясь передумать, полезла на сеновал.

— Кто? — тихо спросил он.

— Я, — сказала Лиза. — Может, постель поправить?..

— Не надо, — перебил он. — Иди спать.

Лиза молчала, сидя где-то совсем рядом с ним в душной темноте сеновала. Он слышал ее изо всех сил сдерживаемое дыхание.

— Что, скучно?

— Скучно, — еле слышно сказала она.

— Глупости не стоит делать даже со скуки.

Лизе казалось, что он улыбается. Злилась, ненавидела его и себя и сидела. Она не знала, зачем сидит, как не знала и того, зачем шла сюда. Она почти никогда не плакала, потому что была одинока и привыкла к этому, и теперь ей больше всего на свете хотелось, чтобы ее пожалели. Чтобы говорили ласковые слова, гладили по голове, утешали и — в этом она себе не признавалась — может быть, даже поцеловали. Но не могла же она сказать, что последний раз ее поцеловала мама пять лет назад и что этот поцелуй нужен ей сейчас как залог того прекрасного завтрашнего дня, ради которого она жила на земле.

— Иди спать, — сказал он, — Я устал, мне рано ехать,



И зевнул. Длинно, равнодушно, с завыванием. Лиза, кусая губы, метнулась вниз, больно ударилась коленкой и вылетела во двор, с силой хлопнув дверью.

Утром она слышала, как отец запрягал казенного Дымка, как гость прощался с матерью, как скрипели ворота. Лежала, прикидываясь спящей, а из-под закрытых век ползли слезы.

В обед вернулся подвыпивший отец. Со стуком высыпал из шапки на стол колючие куски синеватого колотого сахара, сказал с удивлением:

— А он — птица, гость-то наш! Сахару велел нам отпустить, во как. А мы его в сельпе-то какой уж год не видали. Целых три кило сахару!..

Потом он замолчал, долго хлопал себя по карманам и из кисета достал измятый клочок бумаги.

— Держи.

«Тебе надо учиться, Лиза. В лесу совсем одичаешь. В августе приезжай: устрою в техникум с общежитием».

Подпись и адрес. И больше ничего, даже привета.

Через месяц умерла мать. Всегда угрюмый отец теперь совсем озверел, пил втемную, а Лиза по-прежнему ждала завтрашнего дня, покрепче запирая на ночь двери от отцовских дружков. Но отныне этот завтрашний день прочно был связан с августом, и, слушая пьяные крики за стеной, Лиза в тысячный раз перечитывала затертую до дыр записку.

Но началась война, и вместо города Лиза попала на оборонные работы. Все лето рыла окопы и противотанковые укрепления, которые немцы аккуратно обходили, попадала в окружения, выбиралась из них и снова рыла, с каждым разом все дальше и дальше откатываясь на восток. Поздней осенью она оказалась где-то за Балдаем, прилепилась к зенитной части и поэтому бежала сейчас на 171-й разъезд...

Васков понравился Лизе сразу — когда стоял перед их строем, растерянно моргая еще сонными глазами. Понравилась его твердое немногословие, крестьянская неторопливость и та особая мужская основательность, которая воспринимается всеми женщинами как гарантия незыблемости семейного очага. А случилось так, что вышучивать коменданта стали все: это считалось хорошим тоном. Лиза не участвовала в подобных разговорах, но когда всезнающая Кириянова со смехом объявила, что старшина не устоял перед роскошными

прелестями квартирной хозяйки, Лиза вдруг вспыхнула:

— Неправда это!..

— Влюбилась! — торжествующе ахнула Кирьянова. — Втюрилась наша Бричкина, девочки! В душу военному втюрилась!

— Бедная Лиза! — громко вздохнула Гурвич.

Тут все загалдели, захохотали, а Лиза разревелась и убежала в лес.

Плакала на пеньке, пока ее не отыскала Рита Осянина.

— Ну чего ты, дурешка? Проще жить надо. Проще, понимаешь?

Но Лиза жила, задыхаясь от застенчивости, а старшина — от службы, и никогда бы им и глазами-то не столкнуться, если бы не этот случай. И поэтому Лиза летела через лес как на крыльях.

«После споем с тобой, Лизавета, — сказал старшина. — Вот выполним боевой приказ и споем...»

Лиза думала о его словах и улыбалась, стесняясь того могучего незнакомого чувства, что нет-нет да и шевелилось в ней, вспыхивая на упругих щеках. И, думая о нем, она проскочила мимо приметной сосны, а когда у болота вспомнила о слегах, возвращаться уже не хотелось. Здесь достаточно было бурелома, и Лиза быстро выбрала подходящую жердь.

Перед тем как лезть в дряблую жижу, она затаенно прислушалась, а потом деловито сняла с себя юбку.

Привязав ее к вершине шеста, заботливо подоткнула гимнастерку под ремень и, подтянув голубые казенные рейтузы, шагнула в болото.

На этот раз никто не шел впереди, расталкивая грязь.

Жидкое месиво цеплялось за бедра, волоклось за ней, и Лиза с трудом, задыхаясь и раскачиваясь, продвигалась вперед. Шаг за шагом, цепenea от ледяной воды и не спуская глаз с двух сосенок на островке.

Но не грязь, не холод, не живая, дышащая под ногами почва были ей страшны. Страшным было одиночество, мертвая, загробная тишина, повисшая над бурным болотом. Лиза ощущала почти животный ужас, и ужас этот не только не пропадал, а с каждым шагом все больше и больше скапливался в ней, и она дрожала беспомощно и жалко, боясь оглянуться, сделать лишнее движение или хотя бы громко вздохнуть.

Она плохо помнила, как выбралась на островок. Вползла на коленях, ткнулась ничком в прелую траву и заплакала. Всклипывала, размазывала слезы по толстым щекам, вздрагивая от холода, одиночества и омерзительного страха.

Вскочила — слезы еще текли. Шмыгая носом, прошла островок, прицелилась, как идти дальше, и, не отдохнув, не собравшись с силами, полезла в топь.

Поначалу было неглубоко, и Лиза успела успокоиться и даже повеселела. Последний кусок оставался, и каким бы трудным он ни был, дальше шла суша, твердая родная земля с травой и деревьями. И Лиза уже думала, где бы ей помыться, вспоминала все лужи да бочажки и прикидывала, стоит ли полоскать одежду или уж потерпеть до разъезда. Там ведь совсем пустяк оставался, дорогу она хорошо запомнила, со всеми поворотами, и смело рассчитывала за час-полтора добежать до своих.

Идти труднее стало, топь до колен добралась, но теперь с каждым шагом приближался тот берег, и Лиза уже отчетливо, до трещинок, видела пень, с которого старшина тогда в болото сиганул. Смешно сиганул, неуклюже, чуть на ногах устоял.

И Лиза опять стала думать о Васкове и даже заулыбалась. Споют они, обязательно даже споют, когда выполнит комендант боевой приказ и вернется опять на разъезд. Только схитрить придется, схитрить и выманить его вечером в лес. А там... Там посмотрим, кто сильнее — она или квартирная хозяйка, у которой всего-то достоинств, что под одной крышей со старшиной.

Огромный бурый пузырь вспучился перед ней. Это было так неожиданно, так быстро и так близко от нее, что Лиза, не успев вскрикнуть, инстинктивно рванулась в сторону. Всего на шаг в сторону, а ноги сразу потеряли опору, повисли где-то в зыбкой пустоте, и топь мягкими тисками сдавила бедра. Давно копившийся ужас вдруг разом выплеснулся наружу, острой болью отдавшись в сердце. Пытаясь во что бы то ни стало удержаться, выкарабкаться на тропу, Лиза всей тяжестью навалилась на шест. Сухая жердина звонко хрустнула, и Лиза лицом вниз упала в холодную, жидкую грязь.

Земли не было. Ноги медленно, страшно медленно тащило вниз, руки без толку гребли топь, и Лиза, задыхаясь, извивалась в жидком месиве. А тропа была

где-то совсем рядом — шаг, полшага от нее, — но эти полшага уже невозможно было сделать.

— Помогите!.. На помощь!.. Помогите!..

Жуткий одинокий крик долго звенел над равнодушным ржавым болотом. Взлетал к вершинам сосен, путался в молодой листве ольшаника, падал до хрипа и снова из последних сил взлетал к безоблачному майскому небу.

Лиза долго видела это синее прекрасное небо. Хрипя, выплевывала грязь и тянулась, тянулась к нему, тянулась и верила.

Над деревьями медленно всплыло солнце, лучи упали на болото, и Лиза в последний раз увидела его свет — теплый, нестерпимо яркий, как обещание завтрашнего дня. И до последнего мгновения верила, что это завтра будет и для нее...

## 8

Пока хохотали да закусывали (понятное дело, сухим пайком), противник далеко оторвался. Драпанул, проще говоря, от шумного берега, от звонких баб да невидимых мужиков, укрылся в лесах, затаился — и как не было.

Это Васкову не нравилось. Опыт он имел — не только боевой, но и охотничий — и понимал, что врага да медведя с глазу спускать не годится. Леший его ведет, что он там еще напридумает, куда рванется, где оставит секреты. Тут же выходило прямо как на плохой охоте, когда не поймешь, кто за кем охотится, медведь за тобой или ты за медведем. И, чтобы такого не случилось, старшина девчат на берегу оставил, а сам с Осяниной произвел поиск.

— Держи за мной, Маргарита. Я стал — ты стала, я лег — ты легла. С немцем в хованки играть — почти как со смертью, так что в уши вся влезь. В уши да в глаза.

Сам он впереди держался. От куста к кусту, от скалы к скале. До боли вперед всматривался, ухом к земле прикинул, воздух нюхал — весь был взведенный, как граната. Высмотрев все и до звона наслушавшись, чуть рукой шевелил — и Осянина тут же к нему подбиралась. Молча вдвоем слушали, не хрустнет ли где валежник, не заблажит ли дура сорока, и опять стар-

шина, пригнувшись, тенью скользил вперед, в следующее укрытие, а Рита оставалась на месте, слушая за двоих.

Так прошли они гряды, выбрались на основную позицию, а потом в соснячок, по которому Бричкина утром, немцев обойдя, к лесу вышла. Все было пока тихо и мирно, словно не существовало в природе никаких диверсантов, но Федот Евграфыч не позволял думать об этом ни себе, ни младшему сержанту.

За соснячком лежал мшистый, весь в валунах, пологий берег Легонтова озера. Бор начинался отступя от него, на взгорбке, и к нему вели корявый, березняк да редкие хороводы приземистых елок.

Здесь старшина задержался: биноклем кустарник обшаривал, слушал, а потом, привстав, долго нюхал слабый ветерок, что сползал по откосу к озерной глади. Рита, не шевелясь, покорно лежала рядом, с досадой чувствуя, как медленно намокает на мху одежда.

— Чуешь? — тихо спросил Васков и посмеялся словно про себя. — Подвела немца культура, кофею захотел.

— Почему так думаете?

— Дымком тянет — значит, завтракать уселись. Только все ли шестнадцать?..

Подумав, он аккуратно прислонил к сосенке винтовку, подтянул ремень ту же некуда, присел.

— Подсчитать их придется, Маргарита, не отбилась ли кто. Слушай вот что. Ежели стрельба поднимется, уходи немедленно, в ту же секунду уходи. Забирай девчат, и топайте напрямик на восток, аж до канала. Там насчет немца доложишь, хотя, мыслю я, знать они об этом уже будут, потому как Лизавета Бричкина вот-вот должна до разъезда добежать. Все поняла?

— Нет, — сказала Рита. — А вы?

— Ты это, Осянина, брось, — строго сказал старшина. — Мы тут не по грибы-ягоды ходим. Уж ежели обнаружат меня, стало быть, живым не выпустят, в том не сомневайся. И потому сразу же уходи. Ясен приказ?

Рита промолчала.

— Что отвечать должна, Осянина?

— «Ясен» должна отвечать.

Старшина усмехнулся и, пригнувшись, побежал к ближайшему валуну.

Рита все время смотрела ему вслед, но так и не

заметила, когда он исчез — словно растворился вдруг среди серых замшелых валунов. Юбка и рукава гимнастерки промокли насквозь; она отползла назад и села на камень, вслушиваясь в мирный шум леса.

Ждала она почти спокойно, твердо веря, что ничего не может случиться. Все ее воспитание было направлено к тому, чтобы ждать только счастливых концов: сомнение в удаче для ее поколения равнялось почти предательству. Ей случалось, конечно, ощущать и страх, и неуверенность, но внутреннее убеждение в благополучном исходе было всегда сильнее реальных обстоятельств.

Но как Рита ни прислушивалась, как ни ожидала, Федот Евграфыч появился неожиданно и беззвучно — чуть дрогнули сосновые лапы. Молча взял винтовку, кивнул ей, нырнул в чащу. Остановился уже в скалах.

— Плохой ты боец, товарищ Осянина. Никудышный боец.

Говорил он не зло, а озабоченно, и Рита улыбнулась.

— Почему?

— Растопырилась на пеньке, что семейная тетерка. А приказано было лежать.

— Мокро там очень, Федот Евграфыч.

— Мокро... — недовольно повторил старшина. — Твое счастье, что кофей они пьют, а то бы враз концы навели.

— Значит, угадали?

— Я не ворожея, Осянина. Десять человек пищу принимают — видал их. Двое в секрете, тоже видал. Остальные, полагать надо, службу с других концов несут. Устроились вроде надолго: носки у костра сушат. Так что самое время нам расположение менять. Я тут по камням полазаю, огляжусь, а ты, Маргарита, дуй за бойцами. И скрытно сюда. И чтоб смеху ни-ни!

— Я понимаю.

— Да, там я махорку свою сушить выложил, захвати, будь другом. И вещички само собой.

— Захвачу, Федот Евграфыч.

Пока Осянина за бойцами бегала, Васков все соседние и дальние камни на животе излазал. Всмотрел, выслушал, вынюхал все, но ни немцев, ни немецкого духу нигде не чуялось, и старшина маленько повеселел. Ведь уже по всем расчетам выходило, что Лиза Бричкина вот-вот до разъезда доберется, доложит и

заплетется вокруг диверсантов невидимая сеть облавы. К вечеру — ну, самое позднее к рассвету! — подойдет подмога, он поставит ее на след и... и отведет своих девчат за скалы. Подальше, чтоб мата не слышали, потому как без рукопашной тут не обойдется.

И опять он своих бойцов издала определил. Вроде и не шумели, не брякали, не шептались, а — поди ж ты! — комендант за добрую версту точно знал, что идут. То ли пыхтели они здорово от усердия, то ли одеколоном вперед их несло, а только Федот Евграфыч втихаря порадовался, что нет у диверсантов настоящего охотника-промысловика.

Курить до тоски хотелось, потому как третий, поди, час лазал он по скалам да по рощицам, от соблазну кисет на валуне оставив, у девчат. Встретил их, предупредил, чтоб помалкивали, и про кисет спросил. А Осянина только руками всплеснула:

— Забыла! Федот Евграфыч, миленький, забыла!..

Крякнул старшина: ах ты, женский пол беспамятный, леший тебя растряси! Был бы мужской, чего уж проще: загнул бы Васков в семь накатов с переборами и отправил бы растяпу назад за кисетом. А тут улыбку пришлось пристраивать.

— Ну ничего, ладно уж. Махорка имеется... «Сидор»-то мой не забыли случаем?

«Сидор» был на месте, и не махорки коменданту было жалко, а кисета, потому что кисет тот был подарок, и на нем вышито было: «Дорогому защитнику Родины». И не успел он расстройству своего скрыть, как Гурвич назад бросилась:

— Я принесу! Я знаю, где он лежит!..

— Куда, боец Гурвич?.. Товарищ переводчик!..

Какое там, только сапоги затопали...

А топали сапоги потому, что Соня Гурвич доселе никогда их не носила и по неопытности получила в каптерке на два номера больше. Когда сапоги по ноге, они не топают, а стучат — это любой кадровик знает. Но Сонины семья была штатской, сапог там вообще не водилось, и даже Сонин папа не знал, за какие уши их надо тянуть...

На дверях их маленького домика за Немйгой висела медная дощечка: «ДОКТОР МЕДИЦИНЫ СОЛОМОН АРОНОВИЧ ГУРВИЧ». И хотя папа был простым участковым врачом, а совсем не доктором медицины, дощечку не снимали, так как ее подарил дедушка и

сам привинтил к дверям. Привинтил потому, что его сын стал образованным человеком и об этом теперь должен был знать весь город Минск.

А еще висела возле дверей ручка от звонка, и ее надо было все время дергать, чтобы звонок звонил. И сквозь все Сонино детство прошел этот тревожный дребезг — днем и ночью, зимой и летом. Папа брал чемоданчик и в любую погоду шел пешком, потому что извозчик стоил дорого. А вернувшись, тихо рассказывал о туберкулезах, ангинах и малярии, и бабушка поила его вишневой наливкой.

У них была очень дружная и очень большая семья — дети, племянники, бабушка, незамужняя мамина сестра, еще какая-то дальняя родственница, — и в доме не было кровати, на которой спал бы один человек, а кровать, на которой спали трое, была.

Еще в университете Соня донашивала платья, перешитые из платьев сестер, серые и глухие, как колечуги. И долго не замечала их тяжести, потому что вместо танцев бегала в читалку и во МХАТ, если удавалось достать билет на галерку. А заметила, сообразив, что очкастый сосед по лекциям совсем не случайно пропадает вместе с ней в читальном зале. Это было уже спустя год, летом. А через пять дней после их единственного и незабываемого вечера в Парке культуры и отдыха имени Горького сосед подарил ей тоненькую книжечку Блока и ушел добровольцем на фронт.

Да, Соня и в университете носила платья, перешитые из платьев сестер. Длинные и тяжелые, как колечуги...

Недолго, правда, носила, всего год. А потом надела форму. И сапоги на два номера больше.

В части ее почти не знали, она была незаметной и исполнительной и попала в зенитчицы случайно. Фронт сидел в глухой обороне, переводчиков хватало, а зенитчиц нет. Вот ее и откомандировали вместе с Женькой Комельковой после того боя с «мессерами». И, наверно, поэтому голос ее слышал один старшина.

— Вроде Гурвич крикнула?..

Прислушались — тишина висела над грядой, только чуть посвистывал ветер.

— Нет, — сказала Рита, — показалось.

Далекий, слабый, как вздох, голос больше не слышался, но Васков, напрягшись, все ловил и ловил его, медленно каменея лицом. Станный выкрик этот слов-



но застрял в нем, словно еще звучал, и Федот Евграфыч, холодея, уже догадывался, уже знал, что он означает. Глянул стеклянно, сказал чужим голосом:

— Комелькова, за мной. Остальным здесь ждать.

Васков тенью скользил впереди, и Женька, задыхаясь, еле поспевала за ним. Правда, Федот Евграфыч налегке шел, а она с винтовкой да еще в юбке, которая на бегу всегда оказывается уже, чем следует. Но главное — Женька столько сил отдавала тишине, что на остальное почти ничего и не оставалось.

А старшина весь заостренным был, на тот крик заостренным. Единственный, почти беззвучный крик, который уловил он вдруг, узнал и понял. Слышал он такие крики, с которыми всё отлетает, все растворяется и потому звенит. Внутри звенит, в тебе самом, и звона этого последнего ты уж никогда не забудешь. Словно замораживается он и холодит, сосет, тянет за сердце, и потому так спешил сейчас комендант.

И потому остановился, словно на стену налетел, вдруг остановился, и Женька с разбегу стволом его под лопатку клюнула. А он и не оглянулся даже, а только присел и руку на землю положил — рядом со следом.

Разлапистый след был, с рубчиками.

— Немцы?.. — жарко и беззвучнодохнула Женька.

Старшина не ответил. Глядел, слушал, принимовался, а кулак стиснул так, что косточки побелели. Женька вперед глянула — на осыпи темнели брызги. Васков осторожно поднял камешек — черная густая капля свернулась на нем, как живая. Женька дернула головой, хотела закричать — и задохнулась.

— Неаккуратно, — тихо сказал старшина и повторил: — Неаккуратно...

Бережно положил камешек тот, оглянулся, прикидывая, кто куда шел да кто где стоял. И шагнул за скалу.

В расселине, скорчившись, лежала Гурвич, и из-под прожженной юбки косо торчали грубые кирзовые сапоги. Васков потянул ее за ремень, приподнял чуть, чтоб под мышки подхватить, оттащил и положил на спину.

Соня тускло смотрела в небо полузакрытыми глазами, и гимнастерка на груди была густо залита кровью. Федот Евграфыч осторожно расстегнул ее, принял ухом. Слушал, долго слушал, а Женька без-

звучно тряслась сзади, кусая кулаки. Потом он выпрямился и бережно расправил на девичьей груди липкую от крови рубашку; две узкие дырочки виднелись на ней. Одна в грудь шла, в левую грудь. Вторая — пониже, в сердце.

— Вот ты почему крикнула, — вздохнул старшина. — Ты потому крикнуть успела, что удар у него на мужика был поставлен. Не дошел он до сердца с первого раза — грудь помешала...

Запахнул ворот, пуговики застегнул — все до единой. Руки ей сложил, хотел глаза закрыть — не удалось, только веки зря кровью измарал. Поднялся.

— Полежи тут покуда, Сонечка.

Судорожно всхлипнула сзади Женька. Старшина свинцово полоснул из-под бровей.

— Некогда трястись, Комелькова.

И, пригнувшись, быстро пошел вперед, чутьем угадывая слабый рубчатый отпечаток...

## 9

Ждали немцы Соню или она случайно на них напоролась? Бежала без опаски по дважды пройденному пути, торопясь притащить ему, старшине Васкову, махорку ту, трижды клятую. Бежала, радовалась и понять не успела, откуда свалилась на хрупкие плечи потная тяжесть, почему пронзительной, яркой болью рванулось вдруг сердце. Нет, успела. И понять успела и крикнуть, потому что не достал нож до сердца с первого удара — грудь помешала. Высокая грудь была, тугая.

А может, не так все было? Может, ждали они ее? Может, перехитрили диверсанты и девчат неопытных, и его, сверхсрочника, орден имеющего за разведку? Может, не он на них охотится, а они на него? Может, уж высмотрели все, подсчитали, прикинули, когда кто кого кончат будет?

Но не страх, ярость вела сейчас Васкова. Зубами скрипел от той черной, ослепительной ярости и только одного желал — догнать. Догнать, а там разберемся...

— Ты у меня не крикнешь... Нет, не крикнешь...

Слабый след кое-где печатался на валунах, и Федот Евграфыч уже точно знал, что немцев было двое. И опять не мог простить себе, опять казнился и маял-

ся, что недоглядел за ними, что понадеялся; будто бродят они по ту сторону костра, а не по эту, и сгубил переводчика своего, с которым вчера еще котелок пополам делил. И кричала в нем эта маета, и билась, и только одним успокоиться он сейчас мог — погоней. И думать ни о чем другом не хотел, и на Комелькову не оглядывался.

Женька знала, куда и зачем они бегут. Знала, хоть старшина ничего и не сказал, знала, а страха не было. Все в ней вдруг запеклось и потому не болело и не кровоточило. словно ждало разрешения, но разрешения этого Женька не давала, а потому ничто теперь не отвлекало ее. Такое уже было однажды, когда эстонка ее прятала. Летом сорок первого, почти год назад...

Васков поднял руку, и она сразу остановилась, всеми силами сдерживая дыхание.

— Отдышись, — еле слышно сказал Федот Евграфыч. — Тут где-то они. Близко где-то.

Женька грузно оперлась на винтовку, рванула ворот. Хотелось вздохнуть громко, всей грудью, а приходилось цедить выдох, как сквозь сито, и сердце от этого никак не хотело успокаиваться.

— Вот они, — сказал старшина.

Он смотрел в узкую щель меж камней. Женькаглянула — в редком березняке, что шел от них к лесу, чуть шевелились гибкие вершинки.

— Мимо пройдут, — не оглядываясь, продолжал Васков. — Здесь будь. Как я утицей крикну, шумни чем-либо. Ну, камнем ударь или прикладом, чтоб на тебя они глянули. И обратно замри. Поняла ли?

— Поняла, — сказала Женька.

— Значит, как утицей крикну. Не раньше.

Он глубоко, сильно вздохнул и прыгнул через валун в березняк — наперерез.

Главное дело — надо было успеть с солнца забегать, чтоб в глазах у них рябило. Второе главное дело — на спину прыгнуть. Обрушиться, сбить, ударить и крикнуть не дать. Чтоб как в воду...

Он хорошее место выбрал — ни обойти его немцы не могли, ни заметить. А себя открывали, потому что перед его секретом проплешина в березняке шла. Конечно, он стрелять отсюда спокойно мог, без промаха, но не уверен был, что выстрелы до основной группы не докатятся, а до поры шум поднимать было невыгодно. Поэтому он сразу наган вновь в кобуру сунул,

клапан застегнул, чтоб случаем не выпал, и проверил, легко ли ходит в ножнах финский трофейный нож.

И тут фрицы впервые открыто показались в редком березнячке, в весенних еще, кружевных листьях. Как и ожидал Федот Евграфыч, их было двое, и впереди шел дюжий детина с автоматом на правом плече. Самое время было их из нагана достать, самое время, но старшина опять отогнал эту мысль, но не потому уже, что выстрелов боялся, а потому, что Соню вспомнил и не мог теперь легкой смертью казнить. Око за око, нож за нож — только так сейчас дело решалось, только так.

Немцы свободно шли, без опаски; задний даже галету грыз, облизывая губы. Старшина определил ширину их шага, просчитал, прикинул, когда с ним поравняются, вынул финку и, когда первый подошел на добрый прыжок, крикнул два раза коротко и часто, как утка. Немцы враз вскинули головы, но тут Комелькова грохнула позади них прикладом о скалу, они резко повернулись на шум, и Васков прыгнул.

Он точно рассчитал прыжок: и мгновение точно выбрано было, и расстояние отмерено — тик в тик. Упал немцу на спину, сжав коленями локти. И не успел фриц тот ни вздохнуть, ни вздрогнуть, как старшина рванул его левой рукой за лоб, задирая голову назад, и полоснул отточенным лезвием по натянутому горлу.

Именно так все задумано было: как барана, чтоб крикнуть не мог, чтоб хрипел только; кровью исходя. И когда он валиться начал, комендант уже спрыгнул с него и метнулся ко второму.

Всего мгновение прошло, одно мгновение, второй немец еще спиной стоял, еще поворачивался. Но то ли сил у Васкова на новый прыжок не хватило, то ли промешкал он, а только не достал этого немца ножом. Автомат вышиб, да при этом и собственную финку выронил, в крови она вся была, скользкая, как мыло.

Глупо получилось: вместо боя — драка, кулачки какие-то. Фриц, хоть и нормального роста, цепкий попался, жилистый, никак его Васков согнуть не мог, под себя подмять. Барахтались на мху меж камней и березок, но немец помалкивал куда: то ли одолеть старшину рассчитывал, то ли просто силы берег.

И опять Федот Евграфыч промашку дал: хотел немца половчее перехватить, а тот выскользнуть умел.

дрился и свой нож из ножен выхватил. И так Васков этого ножа убоялся, столько сил и внимания ему отдал, что немец в конце концов оседлал его, сдал ножницами и теперь тянулся и тянулся к горлу тусклым кинжальным жалом. Покуда старшина еще держал его руку, покуда оборонялся, но фриц-то сверху давил всей тяжестью, и долго так продолжаться не могло. Про это и комендант знал, и немец — даром, что ли, глаза сузил да ртом щерился.

И обмяк вдруг, как мешок, обмяк, и Федот Евграфыч сперва не понял, не расслышал первого-то удара. А второй расслышал: глухой, как по гнилому стволу. Кровью теплой в лицо брызнуло, и немец стал запрокидываться, перекошенным ртом хватая воздух. Старшина отбросил его, вырвал нож и коротко ударил в сердце.

Только тогда оглянулся — боец Комелькова стояла перед ним, держа винтовку за ствол, как дубину. И приклад той винтовки был в крови.

— Молодец, Комелькова... — в три приема сказал старшина. — Благодарность тебе... объявляю...

Хотел встать и не смог. Так и сидел на земле, словно рыба глотая воздух. Только на того, первого, оглянулся: здоров был немец, как бык здоров. Еще держался, еще хрипел, еще кровь толчками била из него. А второй уже не шевелился: скорчился перед смертью, да так и застыл. Дело было сделано.

— Ну вот, Женя, — тихо сказал Васков, — на двоих, значит, меньше их стало...

Женька вдруг бросила винтовку и, согнувшись, пошла за кусты, шатаясь, как пьяная. Упала там на колени, тошнило ее, выворачивало, и она, всхлипывая, все кого-то звала — маму, что ли...

Старшина встал. Колени еще дрожали, и сосало под ложечкой, но время терять было уже опасно. Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, преступая через естественный, как жизнь, закон «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена. И это тоже Федот Евграфыч немцам в строку вписал, потому что

преступили они законы человеческие и тем самым сами вне всяких законов оказались. И потому только гадливость он испытывал, обыскивая еще теплые тела, только гадливость: будто падаль ворочал...

И нашел то, что искал: в кармане у рослого, что только-только богу душу отдал, хрипеть перестав,—кисет. Его личный, старшины Васкова, кисет с вышивкой поверх: «Дорогому защитнику Родины». Сжал в кулаке, стиснул. Не донесла Соня... Отшвырнул сапогом волосатую руку, путь его перекрестившую, подошел к Женьке. Она все еще на коленях в кустах стояла, давясь и всхлипывая.

— Уйдите...— сказала.

А он ладонь сжатую к лицу ее поднес и растопырил, кисет показывая. Женька сразу голову подняла — узнала.

— Вставай, Женя.

Помог встать. Назад было повел, на полянку, а Женька шаг сделала, остановилась и головой затрясла.

— Брось,— сказал он.— Попереживала, и будет. Тут одно понять надо: не люди это. Не люди, товарищ боец, не человеки, не звери даже — фашисты. Вот и гляди соответственно.

Но глядеть Женька не могла, и тут Федот Евграфыч не настаивал. Забрал автоматы, обоймы запасные, хотел фляги взять, да покосился на Комелькову и раздумал. Шут с ними, прибыток невелик, а ей все легче, меньше напоминаний.

Прятать убитых Васков не стал: все равно кровящую всю с поляны не соскребешь. Да и смысла не было: день к вечеру склонялся, вскоре подмога должна была подойти. Времени у немцев мало оставалось, и старшина хотел, чтобы время это они в беспокойстве прожили. Пусть помечутся, пусть погадают, кто дозор их порешил, пусть от каждого шороха, от каждой тени пошарахаются.

У первого же бочажка (благо тут их что конопущек у рыжей девчонки) старшина умылся, кое-как рванный ворот на гимнастерке приладил, сказал Евгении:

— Может, ополоснешься?

Помотала головой,— нет, не разговоришь ее сейчас, не отвлечешь... Вздохнул старшина.

— Наших сама найдешь или проводить?

- Найду.
- Ступай. И к Соне приходите. Туда, значит... Может, боишься одна-то?
- Нет.
- С опаской иди все же. Понимать должна.
- Понимаю.
- Ну, ступай. Не мешкайте там, переживать опосля будем.

Разошлись. Федот Евграфыч вслед ей глядел, пока не скрылась: плохо шла. Себя слушала, не противника. Эх, вояки...

Соня тускло глядела в небо полузакрытыми глазами. Старшина опять попытался прикрыть их, и опять у него ничего не вышло. Тогда он расстегнул кармашки на ее гимнастерке и достал оттуда комсомольский билет, справку о курсах переводчиков, два письма и фотографию. На фотографии той множество гражданских было, а кто в центре, не разобрал Васков, — здесь аккуратно нож ударил. А Сону нашел: сбоку стояла в платишке с длинными рукавами и широким воротом; тонкая шея торчала из того ворота, как из хомута. Он припомнил вчерашний разговор, печаль Сонину и с горечью подумал, что даже написать некуда о героической смерти рядового бойца Софьи Соломоновны Гурвич. Потом послюнил ее платочек, стер с мертвых век кровь и накрыл тем платочком лицо.

А документы к себе в карман положил. В левый — рядом с партбилетом. Сел подле и закурил из трижды памятного кисета.

Ярость его прошла, да и боль приутихла, только печалью был полон, по самое горло полон, аж першило там. Теперь подумать можно было, взвесить все, по полочкам разложить и понять, как действовать дальше.

Он не жалел, что прищучил дозорных и тем открыл себя. Сейчас время на него работало, сейчас по всем линиям о них и диверсантах доклады шли, и бойцы, поди, уж инструктаж получали, как с фрицами этими проще покончить. Три, ну, пусть пять даже часов оставалось драться вчетвером против четырнадцати, а это выдержать можно было. Тем более что сбили они немцев с прямого курса и вокруг Легонтова озера наладили. А вокруг озера сутки топать.

Команда его подошла со всеми пожитками; двое ушли — в разные, правда, концы, — а барахлишко их

осталось, и отряд уж обрастать вещичками начал, как та запасливая семья. Галя Четвертак закричала было, затряслась, Соню увидев, но Осянина крикнула зло:

— Без истерик тут!..

И Галя смолкла. Стала на колени возле Сониной головы, тихо плакала. А Рита только дышала тяжело, а глаза сухие были, как уголья.

— Ну, обряжайте,— сказал старшина.

Взял топорик (эх, лопатки не захватил на случай такой!), ушел в камни место для могилки искать. Поискал, потыкался — скалы одни, не подступишься. Правда, яму нашел. Веток нарубил, устелил дно, вернул.

— Отличница была,— сказала Осянина. — Круглая отличница — и в школе, и в университете.

— Да,— сказал старшина,— стихи читала.

А про себя подумал: не это главное. А главное, что могла нарожать Соня детишек, а те бы внуков и правнуков, а теперь не будет этой ниточки. Маленькой ниточки в бесконечной пряже человечества, перерезанной ножом...

— Берите,— сказал.

Комелькова с Осяниной за плечи взяли, а Четвертак за ноги. Понесли, оступаясь и раскачиваясь, и Четвертак все ногой загребала. Неуклюжей ногой, обутой в заново сотворенную чуню. А Федот Евграфыч с Сониной шинелью шел следом.

— Стойте,— сказал он у ямы. — Кладите тут покуда.

Положили у края. Голова плохо легла, все набок заваливалась, и Комелькова подсунула сбоку пилотку. А Федот Евграфыч, подумав и похмурившись (ох, не хотел он делать этого, не хотел!), буркнул Осяниной, не глядя:

— За ноги ее поддержи.

— Зачем?

— Держи, раз велят! Да не здесь, за коленки!..

И сапог с ноги Сониной сдернул.

— Зачем?.. — крикнула Осянина. — Не смейте!

— А затем, что боец босой, вот зачем.

— Нет, нет, нет!.. — затряслась Четвертак.

— Не в цапки же играем, девоньки,— вздохнул старшина. — О живых думать нужно — на войне только этот закон. Держи, Осянина, приказываю, держи. Сдернул второй сапог, кинул Гале Четвертак!



— Обувайся. И без переживаний давай: немцы ждать не будут.

Спустился в яму, принял Соню, в шинель обернул, уложил. Стал камнями закладывать, что девчата подавали. Работали молча, споро. Вырос бугорок, поверх старшина пилотку положил, камнем ее придавил. А Комелькова — веточку зеленую.

— На карте отметим, — сказал он, — После войны памятник ей.

Сориентировал карту, крестик нанес. Глянул, а Четвертак по-прежнему в чуне стоит.

— Боец Четвертак, в чем дело? Почему не обута?

Затряслась Четвертак:

— Нет!.. Нет, нет, нет! Нельзя так! Вредно! У меня мама медицинский работник...

— Хватит врать! — крикнула вдруг Осянина. — Хватит. Нет у тебя мамы. И не было! Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать!..

Заплакала Галя. Горько, обиженно, словно игрушки у ребенка сломали...

## 10

— Ну зачем же так, ну зачем? — укоризненно сказала Женька и обняла Четвертак. — Нам без злобы надо, а то остервенеем. Как немцы, остервенеем...

Смолчала Осянина...

А Галя действительно была подкидышем, и даже фамилию ей в детском доме дали — Четвертак. Потому что меньше всех ростом вышла, в четверть меньше.

Детдом размещался в бывшем монастыре, с гулких сводов сыпались жирные пепельные мокрицы. Плохо замазанные бородатые лица глядели со стен многочисленных церквей, спешно переделанных под бытовые помещения, а в братских кельях было холодно, как в погребах.

В десять лет Галя стала знаменитой, устроив скандал, которого монастырь не знал со дня основания. Отправившись ночью по своим детским делам, она подняла весь дом отчаянным визгом. Выдернутые из постелей воспитатели нашли ее на полу в полутемном коридоре, и Галя очень толково объяснила, что бородатый старик хотел утащить ее в подземелье.

Создалось «дело о нападении...», осложненное тем, что в округе не было ни одного бородача. Галю тер-

пеливо расспрашивали приезжие следователи и домо-рощенные Шерлоки Холмсы, и случай от разговора к разговору обрастал все новыми подробностями. И только старый завхоз, с которым Галя очень дружила, потому что именно он придумал ей такую звучную фамилию, сумел докопаться, что все это выдумка.

Галю долго дразнили и презирали, а она взяла и сочинила сказку. Правда, сказка была очень похожа на «Мальчика-с-пальчик», но, во-первых, вместо мальчика оказалась девочка, а во-вторых, там участвовали бородатые старики и мрачные подземелья.

Слава прошла, как только сказка всем надоела. Галя не стала сочинять новую, но по детскому дому поползли слухи о зарытых монахами сокровищах. Кладискательство с эпидемической силой охватило воспитанников, и в короткий срок монастырский двор превратился в песчаный карьер. Не успело руководство справиться с этой напастью, как из подвалов стали появляться призраки в развевающихся белых одеждах. Призраков видели многие, и малыши категорически отказались выходить по ночам со всеми вытекающими отсюда последствиями. Дело приняло размеры бедствия, и воспитатели вынуждены были объявить тайную охоту за ведьмами. И первой же ведьмой, схваченной с поличным в казенной простыне, оказалась Галя Четвертак.

После этого Галя примолкла. Прилежно занималась, возилась с октябрютами и даже согласилась петь в хоре, хотя всю жизнь мечтала о сольных партиях, длинных платьях и всеобщем поклонении. Тут ее настигла первая любовь, а так как она привыкла все окружать таинственностью, то вскоре весь дом был наводнен записками, письмами, слезами и свиданиями. Зачинщице опять дали нагоняй и постарались тут же от нее избавиться, спровадив в библиотечный техникум, на повышенную стипендию.

Война застала Галю на третьем курсе, и в первый же понедельник вся их группа в полном составе явилась в военкомат. Группу взяли, а Галю нет, потому что она не подходила под армейские стандарты ни ростом, ни возрастом. Но Галя, не сдаваясь, упорно штурмовала военкома и так беззастенчиво врала, что ошалевший от бессонницы подполковник окончательно запутался и в порядке исключения направил Галю в венитчицы.

Существенная мечта всегда лишена романтики. Реальный мир оказался суровым и жестоким и требовал не героического порыва, а неукоснительного исполнения воинских уставов. Праздничная новизна улетучивалась быстро, а будни были совсем не похожи на Галины представления о фронте. Галя растерялась, скинула и тайком плакала по ночам. Но тут появилась Женька, и мир снова завертелся быстро и радостно.

А не врать Галя просто не могла. Собственно, это была не ложь, а желания, выдаваемые за действительность. И появилась на свет мама — медицинский работник, в существование которой Галя почти поверила сама...

Времени потеряли много, и Васков сильно нервничал. Важно было поскорее уйти отсюда, нащупать немцев, сесть им на хвост, а потом пусть дозорных находят. Тогда уже старшина над ними висеть будет, а не наоборот. Висеть, дергать, направлять, куда надо, и... ждать. Ждать, когда наши подойдут, когда облава начнется.

Но... провозились: Соню хоронили, Четвертак уговаривали — время шло. Федот Евграфыч пока автоматы проверил, винтовки лишние — Бричкиной и Гурвич — в укромное место упрятал, патроны поровну поделил. Спросил у Осяниной:

— Из автомата стреляла когда?

— Из нашего только.

— Ну, держи фрицевский. Освоишь, мыслю я. — Показал ей, как управляться, предупредил: — Длинно не стреляй — вверх задирает. Коротко жарь.

Тронулись, слава тебе... Он впереди шел, Четвертак с Комельковой — основным ядром, а Осянина замыкала. Сторожко шли, без шума, да опять, видно, к себе больше прислушивались, потому что чудом на немцев не напали. Чудом, как в сказке.

Счастье, что старшина первым их увидел. Как из-за валуна сунулся, так и увидел: двое в упор на него, а следом остальные. И опоздай Федот Евграфыч ровно на семь шагов, кончилась бы на этом вся их служба. В две бы хорошие очереди кончилась.

Но семь этих шагов были с его стороны сделаны, и потому все наоборот получилось. И отпрянуть успел, и девчатам махнуть, чтоб рассыпались, и гранату из кармана выхватить. Хорошо, с запалом граната была:

шарахнул ею из-за валуна, а когда рвануло, ударил из автомата.

В уставе бой такой встречным называется. А характерно для него то, что противник сил твоих не знает: разведка ты или головной дозор — им это непонятно. И поэтому главное тут — не дать ему опомниться.

Федот Евграфыч, понятное дело, об этом не думал. Это врублено в него было, на всю жизнь врублено, и думал он только, что надо стрелять. А еще думал, где бойцы его: попрятались, залегли или разбежались?

Треск стоял оглушительный, потому что били фрицы в его валун из всех активных автоматов. Лицо ему крошкой каменной иссекло, глаза пылью запорошило, и он почти что не видел ничего — слезы ручьем текли. И утереться времени не было.

Лязгнул затвор его автомата, назад отскочив: патроны кончились. Боялся Васков этого мгновения: на перезарядку секунды шли, а сейчас секунды эти жизнью измерялись. Рванутся немцы на замолчавший автомат, проскочат десяток метров, что разделяли их, — и все тогда. Хана!

Но не сунулись диверсанты. Голов даже не подняли, потому что прижал их второй автомат — Осяниной. Коротко била, прицельно, в упор и дала секундочку старшине. Ту секундочку, за которую потом до гробовой доски положено водкой поить.

Сколько тот бой продолжался, никто не помнил. Если обычным временем считать, скоротечный был бой, как и положено встречному бою по уставу. А если прожитым мерить — силой затраченной, напряжением, опасностью, — на добрый пласт жизни тянуло, а кому и на всю жизнь.

Галя Четвертак настолько испугалась, что и выстрелить-то ни разу не смогла. Лежала, спрятав лицо за камнем и уши руками зажав; винтовка в стороне валялась. А Женька быстро опомнилась: била в белый свет, как в копейку. Попала — не попала, это ведь не на стрельбище, целиться некогда.

Два автомата да одна трехлинейка всего-то огня было, а немцы не выдержали. Не потому, конечно, что испугались, — неясность была. И, постреляв маленько, откатились. Без огневого прикрытия, без заслона, просто откатились. В леса, как потом выяснилось.

Браз смолк огонь, только Комелькова еще стреляла, телом вздрагивая при отдаче. Добила обойму, оставилась. Глянула на Васкова, будто вынырнув.

— Все,— вздохнул Васков.

Тишина могильная стояла, аж звон в ушах. Порохом воняло, пылью каменной, гарью. Старшина лицо отер — ладони в крови стали: посекло осколками.

— Задело вас? — шепотом спросила Осянина.

— Нет,— сказал старшина.— Ты поглядывай там, Осянина.

Сунулся из-за камня — не стреляли. Вгляделся: в дальнем березняке, что с лесом смыкался, верхушки подрагивали. Осторожно скользнул вперед, наган в руке зажав. Перебежал, за другим валуном укрылся, снова выглянул: на разбросанном взрывом мху кровь темнела. Много крови, а тел не было — унесли.

Полазав по камням да кусточкам и убедившись, что диверсанты никого в заслоне не оставили, Федот Евграфыч уже спокойно, в рост, вернулся к своим. Лицо саднило, а усталость была, будто чугуном прижали. Даже курить не хотелось. Полежать бы, хоть бы десять минут полежать, а подойти не успел — Осянина с вопросом:

— Вы коммунист, товарищ старшина?

— Член партии большевиков...

— Просим быть председателем на комсомольском собрании.

Обалдел Васков:

— Собрании?..

Увидел — Четвертак ревет в три ручья. А Комелькова, в копоти пороховой, что цыган, глазищами сверкает:

— Трусость!..

Вот оно что...

— Собрание — это хорошо,— свирепея, начал Федот Евграфыч.— Это замечательно, собрание! Мероприятие, значит, проведем, осудим товарища Четвертак за проявленную растерянность, протокол напишем. Так?..

Молчали девчата. Даже Галя реветь перестала, слушала, носом шмыгая.

— А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится?.. Не годится. Поэтому как старший на и как коммунист тоже отменяю на данное время все собрания. И докладываю обстановку; немцы в

леса ушли. В месте взрыва гранаты крови много, значит, кого-то мы прищучили. Значит, тринадцать их, так надо считать. Это первый вопрос. А второй вопрос — у меня при автомате одна обойма осталась непочатая. А у тебя, Осянина?

— Полторы.

— Вот так. А что до трусости, так ее не было. Трусость, девчата, во втором бою только видно. А это растерянность просто. От неопытности. Верно, боец Четвертак?

— Верно...

— Тогда и слезы, и сопли утереть приказываю. Осяниной вперед выдвинуться и за лесом следить. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать по мере возможности. Нет вопросов? Исполнять.

Молча поели. Федот Евграфыч совсем есть не хотел, а только сидеть, ноги вытянув, но жевал усердно: силы были нужны. Бойцы его, друг на друга не глядя, ели по-молодому — аж хруст стоял. И то ладно: не раскисли, держатся пока.

Солнце уж низко было, край леса темнеть стал, и старшина беспокоился. Подмога что-то запаздывала, а немцы тем сумерком белесым могли либо опять на него выскочить, либо с боков просочиться в горловине между озерами, либо в леса утечь — ищи их тогда. Следовало опять поиск начинать, опять на хвост им садиться, чтобы знать положение. Следовало, а сил не было.

Да, неладно все пока складывалось, очень неладно. И бойца загубил, и себя обнаружил, и отдых требовался. А подмога все не шла и не шла...

Однако отдыху Васков себе отпустил, пока Осянина не поела. Потом встал, засупонился потуже, сказал хмуро:

— В поиск со мной идет боец Четвертак. Здесь Осянина старшая. Задача — следом двигаться на большой дистанции. Ежели выстрелы услышите, затайтесь приказываю. Затайтесь и ждать, покуда мы не подойдем. Ну, а коли не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на запад. До первых людей — там доложите.

Конечно, шевельнулась мысль, что не надо бы с Четвертак в такое дело идти, не надо. Тут с Комельковой в самый раз: товарищ проверенный, дважды за один день проверенный — редкий мужик этим похва-

стать может. Но командир — он ведь не просто военачальник, он еще и воспитателем подчиненных быть обязан. Так в уставе сказано.

А устав старшина Васков уважал. Уважал, знал назубок и выполнял неукоснительно. И поэтому сказал Гале:

— Вещмешок и шинельку здесь оставишь. За мной идти след в след и глядеть, что делаю. И что б ни случилось, молчать. Молчать и про слезы забыть.

Слушая его, Четвертак кивала поспешно и испуганно...

## 11

Почему немцы уклонились от боя? Уклонились, опытным ухом наверняка оценив огневую мощь (точнее сказать — немоощь) противника?

Не праздные это были вопросы, и не из любопытства Васков голову над ними ломал. Врага понимать надо. Всякое действие его, всякое передвижение для тебя яснее ясного быть должно. Только тогда ты за него думать начнешь, когда сообразишь, как сам он думает. Война — это ведь не просто кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Устав для этого и создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, на ту сторону, за противника.

Но как ни вертел события Федот Евграфыч, как ни перекладывал, одно выходило: немцы о них ничего не знали. Не знали, значит, те двое, которых порешил он, не дозором были, а разведкой, и фрицы, не ведая о судьбе их, спокойно подтягивались следом. Так выходило, а какую выгоду он из всего этого извлечь мог, пока было непонятно.

Думал старшина, ворочал мозгами, тасовал факты, как карточную колоду, а от дела не отвлекался. Чутко скользил, беззвучно и только что ушами не прядал по неспособности к этому. Но ни звука, ни запаха не дарил ему ветерок, и Васков шел пока что без задержек. И девка эта непутевая сзади плелась. Федот Евграфыч часто поглядывал на нее, но замечаний делать не приходилось. Нормально шла, как приказано. Только без легкости, вяло, — так это от пережитого, от свинца над головой.

А Галя уж и не помнила об этом свинце. Другое стояло перед глазами; серое, заострившееся лицо

Сони, полузакрытые, мертвые глаза ее и затвердевшая от крови гимнастерка. И... две дырочки на груди. Узкие, как лезвие. Она не думала ни о Соне, ни о смерти — она физически, до дурноты, ощущала проникающий в ткани нож, слышала хруст разорванной плоти, чувствовала тяжелый запах крови. Она всегда жила в воображаемом мире активнее, чем в действительном, и сейчас хотела бы забыть это, вычеркнуть — и не могла. И это рождало тупой, чугунный ужас, и она шла под гнетом этого ужаса, ничего уже не соображая.

Федот Евграфыч об этом, конечно, не знал. Не знал, что боец его, с кем он жизнь и смерть одинаковыми гирями сейчас взвешивал, уже был убит. Убит, до немцев не дойдя, ни разу по врагу не выстрелив...

Васков поднял руку — вправо уходил след. Легкий, чуть заметный на каменных осыпях, тут, на мшанике, он чернел затянутыми водой провалами. Словно оступились вдруг фрицы, тяжесть неся, и расписались перед ним всей разлапистой ступней.

— Жди,— шепнул старшина.

Прошел вправо, след в стороне оставляя. Пригнул кусты — в ложбинке из-под наспех наваленного хвоста чуть проглядывали тела. Васков осторожно сдвинул сушняк — в яме лицами вниз лежали двое. Федот Евграфыч присел на корточки, всматриваясь: у верхнего в затылке чернело аккуратное, почти без крови, отверстие; волосы коротко стриженного затылка курчавились, подпаленные огнем.

«Пристрелили,— определил старшина.— Свои же, в затылок. Раненого добивали: такой, значит, закон...»

Плюнул Васков. На мертвых плюнул, хоть и грех это — самый великий из всех. Но ничего к ним не чувствовал, кроме презрения: вне закона они для него были. По ту сторону черты, что человека определяет.

Человека ведь одно от животных отделяет: понимание, что человек он. А коли нет понимания этого — зверь. О двух ногах, о двух руках и — зверь. Лютый зверь, страшнее страшного. И тогда ничего по отношению к нему не существует — ни человечности, ни жалости, ни пощады. Бить надо. Бить, пока в логово не уподет. И там бить, покуда не вспомнит, что человеком был, покуда не поймет этого.

Еще днем, несколько часов назад, ярость его вела, Простая, как жажда: кровь за кровь. А теперь вдруг отодвинулось все, улеглось, успокоилось даже и... вы-



зрело. В ненависть вызрело, холодную и расчетливую ненависть. Без злобы уже.

«Значит, такой закон?.. Учтем».

И спокойно еще двух вычел: двенадцать осталось. Дюжина.

Вернулся, где Четвертак ждала. Поймал взгляд ее — и словно оборвалось в нем что-то. Боится. По-плохому боится, изнутри, а это — хорошо, если не на всю жизнь. Поэтому старшина вмиг всю бодрость свою собрал, заулыбался ей, как дролюшке дорогой, и подмигнул:

— Двоих мы там прищучили, Галя! Двоих, — стало быть, двенадцать осталось. А это нам не страшно, товарищ боец. Это нам, считай, пустяки!..

Ничего она в ответ не сказала, не улыбнулась даже. Только глядела, в глаза выскакивая. Мужика в таких случаях разозлить надо: матюкнуть от души или по уху съездить — это Федот Евграфыч из личного опыта знал. А вот с этой как быть, не знал. Не было у него такого опыта, и устав по этому поводу тоже ничего не сообщал.

— Про Павла Корчагина читала когда?

Посмотрела на него Четвертак эта, как на помещанного, но кивнула, и Федот Евграфыч приободрился.

— Читала, значит? А я его, как вот тебя, видел. Да. Везили нас, отличников боевой и политической, в город Москву. Ну, там Мавзолей смотрели, дворцы всякие, музеи и с ним встречались. Он, не гляди, что пост большой занимает, простой человек. Сердечный. Усадил нас, чаем угостил: как, мол, ребята, служится?..

— Ну зачем же вы обманываете, зачем? — тихо сказала Галя. — Паралич разбил Корчагина. И не Корчагин он совсем, а Островский. И не видит он ничего, и не шевелится, и мы ему письма всем техникумом писали.

— Ну, может, другой какой Корчагин...

Совестно стало Васкову, даже в жар кинуло. А тут еще комар насекает. Вечерний комар, особенный.

— Ну, может, ошибся. Не знаю. Только говорили, что...

Хрустнула впереди ветка. Явно хрустнула под тяжелой ногой, а он даже обрадовался. Сроду он по своей инициативе во врунах не оказывался, позора от под-

чиненных не хлебал и готов был скорее со всей дюжиной драться, чем укоры от девчонки сопливой терпеть.

— В куст! — шепнул. — И замри!..

В куст сунуть ее успел, ветки оправить, сам за соседний валун завалился — и вовремя. Глянул — опять двое идут, но осторожно, как по раскаленному, держа автоматы наизготовку. И только старшина подивиться успел, до чего же упорно фрицы по двое шастают, как позади этих двух и левее кусты затрепетали, и он понял, что по обе стороны идут дозоры и что немцы всерьез озадачены и неожиданной встречей, и исчезновением своей разведки.

Но он-то их видел, а они его нет, и поэтому козырной туз был все-таки у него. Единственный, правда, козырь, но тем больнее мог он им ударить. Только уж спешить здесь нельзя было, и Федот Евграфыч всем телом в мох впечатывался и даже комаров с потного лба согнать боялся. Пусть крадутся, пусть спину подставят, пусть укажут, куда поиск ведут, а там уж он играть начнет, свой ход сделает. С козырного туза...

Человек в опасности либо совсем ничего не соображает, либо сразу за двоих. И пока один расчет ведет, как дальше поступить, другой об этой минуте заботится: все видит и все замечает. И, думая насчет хода с козырного туза, Васков ни на мгновение диверсантов с глаз не спускал и ни на миг о Четвертак не позабыл. Нет, хорошо она укрыта была, надежно, да и немцы вроде стороной ее обходили, так что опасного здесь не предвиделось. Фрицы как бы ломтями местность резали, и они с бойцом аккурат в середину этих ломтей попадали, хоть, правда, и в разные куски. Значит, отсидеться надо было, дышать перестав, раствориться во мхах да кустарничке, а уж потом действовать. Потом соединиться, цели распределить и шарaxнуть из своей родимой да немецкого автомата.

Судя по всему, фрицы опять тот же путь прощупывали и рано или поздно должны были на Осянину с Комельковой выйти. Конечно, беспокоило это старшину, но не сказать, чтоб слишком: девчата обстрелянными были, соображали, что к чему, и свободно могли либо затаиться, либо отойти куда подальше. Тем более что ход свой он планировал на тот момент, когда немцы, пройдя его, окажутся между двух огней.

Диверсанты напрямую вышли, оставляя куст, где Четвертак пряталась, метрах в двадцати левее. Дозоры,

что по бокам шли, себя не обнаруживали, но Федот Евграфыч уже знал, где они пройдут. Вроде никто на них нарваться не мог, но старшина все же осторожно снял автомат с предохранителя.

Немцы шли молча, пригнувшись и выставив автоматы. Прикрытые дозорами, они почти не глядели по сторонам, цепко всматриваясь вперед и каждый миг ожидая встречного выстрела. Через несколько шагов они должны были оказаться в створе между Четвертак и Васковым, и с этого мгновения спины их уже были бы подставлены охотничьему прищур старшины.

С шумом раздались кусты, и из них порскнула вдруг Галя. Выгнувшись, заломив руки за голову, метнулась через поляну, наперерез диверсантам, уже ничего не видя и не соображая.

— А-а-а...

Коротко ударил автомат. С десятка шагов ударил в тонкую, напряженную в беге спину, и Галя с разлету сунулась лицом в землю, так и не сняв с головы заломленных в ужасе рук. Последний крик ее затерялся в булькающем хрипе, а ноги еще бежали, еще бились, вонзаясь в мох носками Сониных сапог.

Замерло все на поляне. На секунду какую-то замерло, и даже Галины ноги дергались замедленно, точно во сне. И Васков еще недвижимо лежал за своим валуном, не успев даже понять, что все планы его рухнули, что вместо козырного туза на руках оказалась шестерка. И неизвестно, сколько бы он так пролежал и как бы стал действовать дальше, но за спиной раздался треск и топот, и он догадался, что правый дозорный бежит сюда.

Соображать некогда было. Не было уже времени, и Федот Евграфыч только главное решил — увести немцев. Увлечь их за собой, заманить, оттянуть от последних своих бойцов. А решив это, не таясь уже, вскочил, шарахнул по двум фигурам, что над Галей склонились, полоснул очередью по топоту в кустах и, пригнувшись, бросился подальше от Синюхиной гряды, к лесу.

Он не видел, попал ли в кого, не до того было. Сейчас сквозь немцев прорваться надо было, себя в целости до леса донести и девчат уберечь. Уж их-то, последних, непременно уберечь он был должен, обязан был перед совестью своей мужской и командирской.

Хватит тех, что погибли. По горло хватит, до конца жизни.

Давно старшина так не бегал, как в тот вечер. Метался по кустам, юлил меж валунов, падал, поднимался, снова бежал и снова падал, уходя от пуль, что сшибали листву над головой. Жалил в мелькающие повсюду фигуры короткими очередями и шумел. Кусты ломал, топал, орал до хрипоты, потому что не имел он права отходить, фрицев за собой не увлекая. Приходилось заманивать, с огнем играть.

За одно он почти был спокоен: немцы в кольцо взять его не могли. И местности не знали, и маловато их для этого оставалось, и, главное, хорошо они ту внезапную стычку запомнили, тот встречный бой: с оглядкой бежали. Поэтому легко он пока уходил, пока нарочно дразнил фрицев, злил их, чтоб не оставляли погони, чтоб не опомнились и не поняли, что один он здесь, если строго судить. Один.

Опять же туман помогал — та весна туманистой была. Чуть солнце за горизонт уходило, низины словно дымком подергивались, туман слоился, цеплялся за кусты, и в густом том молоке не то что человек — полк свободно бы спрятался. Васков в любой момент мог в облако это нырнуть — и ищи его! Но беда в том была, что белесые языки эти к озерам ползли, а он, наоборот, к лесу норовил фрицев вывести и поэтому нырял в туман тогда лишь, когда уж совсем неведомо становилось. А потом опять выныривал: здрасте, фрицы, я живой...

А в общем, конечно, везло. И в меньших перестрелках, случалось, из человека сито-решето делали, а тут пронесло. Вдосталь в салочки со смертью наигрался, но до леса не один добежал — вся эта компания за ним ввалилась, и тут его автомат щелкнул в последний раз и замолк. Патроны кончились, перезарядить нечем было, и так он старшине руки отмотал, что Федот Евграфыч сунул его под валежник и стал отходить налегке — безоружным.

Тумана здесь не было, а пули в стволы чокали — только щепа летела. Теперь можно было отрываться, теперь о себе подумать самое время настало, но немцы, разъярившись, все-таки взяли его в полукольцо и гнали без передыху, надеясь, видно, прижать к болотам и взять живым. Положение у них такое создалось, что, будь старшина на месте их командира, тоже бы

орденов за «языка» не пожалел, отвалил бы хоть пригоршню.

И только он так подумал, только обрадоваться успел, что целить в него вроде не должны, как тут же в руку ударило. В мякоть, пониже локтя, и Федот Евграфыч впопыхах-то не понял, не разобрался, решил, что сук ненароком зацепил, как теплое по кисти потекло. Не сильно, но густо: пуля вену тронула. Похолодел Васков: с дыркой много не навоюешь. Тут осмотреться нужно, рану перевязать, передохнуть, тут сквозь цепь не попрешь, не оторвешься. Одно оставалось — к болотам отходить. Ног не жалея.

Все он вложил в этот бег без остатка. Сердце уж в глотке где-то булькало, когда к приметной сосне выскочил. Схватил слегу, заметил, что пять их осталось, да размышлять некогда было. Лес трещал под немецкими ногами, звенел немецкими голосами и пел немецкими пулями.

Как через болото до острова брел — начисто из головы выскочило. Опомнился только там, под корявыми сосенками. От холода опомнился: трясло его, било, зубы пересчитывая. И рука ныла. Ломило ее от сырости, что ли...

Сколько времени он тут лежал, Федот Евграфыч вспомнить не мог. Выходило, немало, потому что тишина вокруг стояла мертвая — немцы отошли. Туман уплотнился к рассвету, вниз осел, и от мокряди той пробирало Васкова до самой последней косточки. Однако кровь из раны больше не текла, рука аж до плеча в грязи болотной была, дырку, видать, залепило, и старшина отколупывать ее не стал. Замотал сверху бинтом, что по счастью в кармане оказался, и огляделся.

За лесом уже светало, и высоко над болотом небо поигрывало сполохами, отжимая туман к земле. Но здесь, на дне чаши, было как в ледяном молоке, и Федот Евграфыч, трясаясь в ознобе, с тоской думал о заветной фляжке. Одно спасение было — прыгать, и он скакал, пока пот не прошиб. К тому времени и туман редеть начал. Можно было и оглядеться.

С немецкой стороны ничего опасного не наблюдалось, как Васков ни вглядывался. Конечно, фрицы и затаиться могли, его назад поджидая, но вероятность этого совсем уж была невелика: по их понятиям,

болото непроходимым было, и, значит, старшина Васков давно для них утопленник.

— в нашу сторону, в ту, что к разъезду вела, прямо к Марии Никифоровне, в ту сторону Федот Евграфыч особо не глядел. В той стороне опасностей никаких не было, в той стороне, наоборот, жизнь была: спирта полкружечки, яишенка с салом да ласковая хозяйка. И не глядеть бы ему в ту сторону, отвернуться бы от соблазна, но помощь оттуда что-то не шла и не шла, и поэтому он все-таки туда поглядывал.

Чернело там что-то. Что чернело, не мог старшина разобрать. В миг какой-то даже дойти до пятна этого хотел, посмотреть, но запыхался от подскоков своих и решил отдышаться. А когда отдышался, рассвело уже достаточно, и понял он, что чернеет в болотной топи. Понял и сразу вспомнил, что у приметной сосны осталось теперь пять вырубленных им слег. Пять,— значит, боец Бричкина полезла в топь эту, трижды клятую, без опоры...

И осталась от нее армейская юбка. А больше ничего не осталось, даже надежд, что помощь придет...

## 12

...И вспомнил вдруг Васков утро, когда диверсантов считал, что из лесу выходили. Вспомнил шепот Сони у левого плеча, растопыренные глаза Лизы Бричкиной, Четвертак в чуне из бересты. Вспомнил и громко, вслух сказал:

— Не дошла, значит, Бричкина...

Глухо проплыл над болотом хриплый, простуженный голос, и опять все смолкло. Даже комары без звона садились тут, в гиблом этом месте, и старшина, вздохнув, решительно шагнул в болото. Брел к берегу, налегая на слегу, думал о Комельковой и Осяниной, надеялся, что живы. И еще думал о том, что всего оружия у него один наган на боку.

Оставь тут диверсанты хоть одного человека, лежать бы старшине Васкову носом в гниль, пока не истлеет. С двух шагов могли его снять, потому что шел он грудью на берег и даже упасть нельзя было, укрыться. Но никого немцы не оставили, и Федот Евграфыч без всяких помех до протоки знакомой добрался, помылся кое-как и напился вволю. А потом листок в

кармане отыскал, скрутил из сухого мха цигарку, раздул «катюшу» и закурил. Теперь можно было и подумать.

Выходило, что проиграл он вчера всю свою войну, хоть и выбил верных двадцать пять процентов противника. Проиграл потому, что не смог сдержать немцев, что потерял ровнехонько половину личного состава, что растратил весь боевой запас и остался с одним наганом. Скверно выходило, как ни крути, как ни оправдывайся. А самым скверным было то, что не знал он, в какой стороне искать теперь диверсантов. Горько было Васкову. То ли от голода, то ли от вонючей цигарки, то ли от одиночества и дум, что роились в голове, будто осы. Будто осы: только жалили, а взятка не давали...

Конечно, к своим надо было добираться. Две остались у него девчоночки, зато самые толковые. Втроем они еще силой были, только силе той бить было нечем. Значит, должен был он, как командир, сразу два ответа подготовить: что делать и чем воевать. А для этого одно оставалось: сперва самому обстановку выяснить, немцев найти и оружие добыть.

Вчера в беготне немцы топали, как дома, и следов в лесу было достаточно. Федот Евграфыч шел по ним, как по карте, разбирался, что к чему, и считал. И по счету этому выходило, что немцев бегало за ним никак не более десяти: то ли кто-то с вещами оставался, то ли он еще кого-то прищучить успел. Но все-таки рассчитывать следовало пока на дюжину, потому что накануне целиться было некогда.

Так, по следам, выбрался он на опушку, откуда опять распахнулись и Вось-озеро, и Синюхина гряда, и кустарнички с соснячком, что уходили правее. Тут Федот Евграфыч ненадолго остановился, чтоб осмотреться, но никого — ни своих, ни чужих — заметить не смог. Покой лежал перед ним, затишье, благодать утренняя, и в благодати этой где-то прятались и немецкие автоматчики, и две русские девчоночки с трехлинейками в обнимку.

Как ни заманчиво было девчат в камнях тех отыскать, старшина из лесу не высунулся. Нельзя было ему собой рисковать, никак нельзя, потому что при всей горечи и отчаянии побежденным он себя не признавал даже в мыслях и война для него на этом кончиться не могла. И, наглядевшись на простор и безмя-

тежность, Федот Евграфыч снова нырнул в чащобу и стал пробираться в обход гряды к побережью Легонтова озера.

Тут расчет прост был, как задачка на вычитание. Немцы за ним вчера допоздна бегали, и хоть ночи белыми были, соваться в неясность им было несподручно. Ждать им следовало до рассвета, а ждать этого рассвета удобнее всего было в лесах у Легонтова озера, чтобы в случае чего отход иметь не в болота. Поэтому и потянул Федот Евграфыч от знакомых камней перешейка в неизвестные места.

Здесь шел он осторожно, от дерева к дереву, потому что следы вдруг пропали. Но тихо было в лесу, только птицы поигрывали, и по щебету их Федот Евграфыч понимал, что людей поблизости нет.

Так пробирался он долго; стало уже казаться, что зря, что обманулся он в расчетах и ищет теперь диверсантов там, где их нет. Но не было у него сейчас ориентиров, кроме чутья, а чутье подсказывало, что путь выбран правильно. И только он в чутье собственном охотничьем засомневался, только стал, чтобы обдумать все сызнова, взвесить, как впереди заяц выскочил. Вылетел на полянку и, не чуя Васкова, на задние лапки привстал, назад вглядываясь. Вспуганный заяц был, и испуганный людьми, которых знал мало, и потому любопытничал. И старшина совсем как заяц уши навострил и стал туда же глядеть.

Однако, как он ни вглядывался, как ни слушал, ничего там необыкновенного не обнаруживалось. Уж и заяц в осинник сиганул, и слеза Федота Евграфыча прошибла, а он все стоял и стоял, потому что зайцу этому верил больше, чем своим ушам. И потому тихонько, тенью скользящей, двинулся туда, куда этот заяц глядел.

Ничего вначале он не заметил, а потом забурело что-то сквозь кусты. Странное что-то, лишаями кое-где покрытое. Васков шагнул не дыша, отбел рукой кусты и уперся в древнюю, замшелую стену въехавшей в землю избу.

«Легонтов скит», — понял старшина.

Скользнул за угол, увидел прогнивший сруб колодца, заросшую травой дорогу и косо висевшую на одной петле входную дверь. Вынув наган и до звона вслушиваясь, прокрался к входу, глянул на косяк, на ржавую завесу, увидал примятую траву, невысохший



след на ступеньке и понял, что дверь эту сорвали не более часа назад.

Зачем, спрашивалось? Не из любознательности же немцы дверь в заброшенном скиту выломали: значит, так было нужно. Значит, убежище искали: может, раненые у них имелись, может, спрятать что требовалось. Иного объяснения старшина не нашел, а потому обратно в кусты попятился, особо внимательно глядя, чтоб след ненароком не оставить. Заполз в чащобу и замер.

И только комары к нему пристрелялись, как где-то сорока заверещала. Потом хрустнула ветка, что-то звякнуло, и из лесу к Легонтову скиту один за другим вышли все двенадцать. Одиннадцать поклажу несли (взрывчатка, определил старшина), а двенадцатый сильно хромал, налегая на палку. Подошли к скиту, сгрузили тючки, и раненый сразу сел на ступеньку. Один начал перетаскивать взрывчатку в избу, а остальные закурили и стали о чем-то говорить, по очереди заглядывая в карту.

Жрали комары Васкова, пили кровушку, а он даже моргнуть боялся. Рядом ведь, в двух шагах от немцев сидел, наган в кулаке тиская, все слова слышал и ничего не понимал. Всего-то знал он восемь фраз из разговорника, да и то если их русский произносил — нараспев.

Но гадать не понадобилось: старший, что в центре стоял и к которому они в планшет заглядывали, рукой махнул, и десятка эта, вскинув автоматы, подалась в лес. И пока она в него втягивалась, тот, что тючки таскал, помог раненому подняться и вволок его в дом.

Наконец-то Васков мог дух перевести и с комарами расправиться. Все теперь прояснилось, и дело решало время: немцы не по ягодки к Синюхиной гряде направлялись. Не желали они, стало быть, вокруг Легонтова озера крендели выписывать и упорно целились в перемычку. И шли туда сейчас налетке брешь нащупывать.

Конечно, ничего ему не стоило обогнать их, девчат найти и начать все сначала. Одно держало — оружие. Без него и думать было нечего поперек фрицевского пути становиться.

Два автомата в этой избе сейчас было, за дверью скособоченной. Целых два — богатство, а как взять

это богатство, Васков пока не знал. На рожон лезть после бессонной ночи, с простреленной рукой расчета не было, и потому Федот Евграфыч, прикинув, откуда ветерок тянет, просто ждал, когда немец из избы вылезет.

И дождался. Вылез диверсант этот с распухшей от комаров рожей на верную свою гибель — пить им там, что ли, захотелось. Вылез осторожно, с автоматом под рукой и двумя флягами у пояса. Долго всматривался, слушал, но отклеился-таки от стены и к колодцу направился. И тогда Васков медленно поднял наган, затаил дыхание, как на соревнованиях, и плавно спустил курок. Треснул выстрел, и немца с силой швырнуло вперед. Старшина для верности еще раз выстрелил в него, хотел было вскочить, да чудом уловил вороненый блеск ствола в щели перекошенной двери и замер. Второй — тот, раненый — прикрывал своего, все видел, и бежать к колодцу значило получить пулю.

Похолодел Васков: даст сейчас подбитый этот очередь. Просто так, в воздух, гулкую, тревожную, — и все. Вмиг притапают немцы, прочешут лес, и кончилась служба старшины. Второй раз не убежишь.

Только не стрелял что-то этот немец. Ждал чего-то, водил стволом настороженно и не сигналил. Видел, как товарищ его рылом в сруб уперся, еще дергаясь, видел, а на помощь не звал. Ждал... Чего ждал?..

И понял вдруг Васков. Все понял: себя спасает, шкура фашистская. Плевать ему на умирающего, на приказ, на друзей своих, что к озерам ушли; он сейчас только о том думает, чтоб внимание к себе не привлечь. Он невидимого противника до ужаса боится и об одном лишь молится: как бы втихую отлежаться за бревнами в обхват толщиной.

Да, не героем фриц оказался, когда смерть в глаза заглянула, совсем не героем, и, поняв это, старшина вздохнул с облегчением.

Сунув наган в кобуру, Федот Евграфыч осторожно отполз назад, быстро обогнул скит и подобрался к колодцу с другой стороны. Как он и рассчитывал, раненый фриц на убитого не глядел, и старшина спокойно подполз к нему, снял автомат, сумку с запасными обоймами с пояса и незамеченным вернулся в лес.

Теперь все от его быстроты зависело, потому что путь он выбрал кружной. Тут уж рисковать приходи-

лось, и он рисковал — и пронесло. Вломился в соснячок, что к гряде вел, и только тогда отдышался.

Здесь свои места были, брюхом исползанные. Здесь где-то девчата его прятались, если не подались на восток. Но хоть и велел он им отходить в случае чего, а не верилось сейчас Федоту Евграфычу, что выполнили они приказ его слово в слово. Не верилось и не хотелось верить.

Тут он передохнул, послушал, не слышно ли где немцев, и осторожно двинулся к Синюхиной гряде путем, по которому сутки назад шел с Осяниной. Тогда все еще живы были. Все, кроме Лизы Бричкиной...

Все-таки отошли они. Недалеко, правда, — за речку, где прошлым утром спектакль фрицам устраивали. А Федот Евграфыч про это не подумал и, не найдя их ни в камнях, ни на старых позициях, вышел на берег уже не для поисков, а просто в растерянности. Понял вдруг, что один остался, совсем один, с пробитой рукой, и такая тоска тут на него навалилась, так все в голове спуталось, что к месту этому добрел уже совсем не в себе. И только на колени привстал, чтоб напиться, шепот услышал:

— Федот Евграфыч...

И крик следом:

— Федот Евграфыч!.. Товарищ старшина!..

Голову повернул, а они через речку бегут. Прямо по воде, юбок не подобрал. Кинулся к ним, тут, в воде, и обнялись. Повисли на нем обе сразу, целуют, грязного, потного, небритого...

— Ну что вы, девчата, что вы!..

И сам чуть слезы сдержал. Совсем уже с ресниц свисали: ослаб, видно. Обнял девчат своих за плечи, да так они втроем и пошли на ту сторону. А Комелькова все прижаться норовила, по щеке колючей погладить.

— Эх, девчонки вы мои, девчоночки! Съели-то хоть кусочек, спали-то хоть вполглазика?

— Не хотелось, товарищ старшина...

— Да какой я вам теперь старшина, сестренки? Я теперь вроде как брат. Вот так Федотом и зовите. Или Федей, как маманя звала...

В кустах у них мешки сложены были, скатки, винтовки. Васков сразу к «сидору» своему кинулся. Только развязывать стал, Женя спросила:

— А Галка?..

Тихо спросила, неуверенно: поняли они уж все. Просто уточнение требовалось. Старшина не ответил. Молча мешок развязал, достал черствый хлеб, сало, фляжку. Налил в три кружки, хлеба наломал, сала нарезал. Роздал бойцам и поднял кружку.

— Погибли наши товарищи смертью храбрых. Четвертак — в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, что с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки здесь, в межозерье, противника кружим. Сутки!.. И теперь наш черед сутки выигрывать. А помощи нам не будет, и немцы идут сюда. Так что давайте помянем сестренку наших, а там и бой пора будет принимать. Последний, по всей видимости...

### 13

Бывает горе — что косматая медведица. Навалится, рвет, терзает — света невзвидишь. А отвалит — и ничего, вроде можно дышать, жить, действовать. Как не было.

А бывает пустячок, оплошность. Мелочь, но за собой мелочь эта такое тянет, что не дай бог никому.

Вот такой пустячок Васков после завтрака обнаружил, когда к бою готовиться стали. Весь «сидор» свой перетряхнул, по три раза вещь каждую перещупал — нету, пропала.

Запал для второй гранаты и патроны для нагана мелочью были. Но граната без запала просто кусок железа. Немой кусок, как булыжник.

— Нет у нас теперь артиллерии, девоньки.

С улыбкой сказал, чтоб не расстраивались. А они, дурехи, заулыбались в ответ, засияли.

— Ничего, Федот, отобьемся!

Это Комелькова сказала, чуть на имени споткнувшись. И покраснела. С непривычки, понятное дело, командира трудно по имени называть.

Отстреливаться — три винтаря, два автомата да наган. Не очень-то разгуляешься, как с десятка полоснут. Но, надо полагать, свой лес выручит. Лес да речка.

— Держи, Рита, еще рожок к автомату. Только издаля не стреляй. Через речку из винтовки бей, а автомат побереги. Как форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли?

— Поняла, Федот...

И эта запнулась. Усмехнулся Васков:

— Федей, наверно, проще будет. Имечко у меня не круглое, конечно, но уж какое есть...

Все-таки сутки эти даром для немцев не прошли. Второе они осторожность умножили и поэтому продвигались медленно, за каждый валун заглядывая. Все, что могли, прочесали и появились у берега, когда солнце стояло уже высоко. Все повторялось в точности, только на этот раз лес напротив них не шумел девичьими голосами, а молчал затаенно и угрожающе. И диверсанты, угрозу эту почувствовав, долго к воде не сошлись, хоть и мелькали в кустах на той стороне.

У широкого плеса Федот Евграфыч девчат оставил, лично выбрав им позиции и ориентиры указав. А на себя взял тот мысок, где сутки назад Женька Комелькова собственным телом фрицев остановила. Тут берега почти смыкались, лес по обе стороны от воды начинался, и для форсирования водной преграды лучшего места не было. Именно здесь чаще всего немцы и показывали себя, чтобы вызвать на выстрел какого-либо чересчур уж нервного противника. Но нервных пока не наблюдалось, потому что Васков строго-настрого приказал своим бойцам стрелять тогда лишь, когда фрицы полезут в воду. А до этого — и дышать через раз, чтоб птицы не замолкали.

Все под рукой было, все приготовлено: патроны загодя в каналы стволов досланы, и винтовки с предохранителей сняты, чтобы до поры до времени и сорока не затрещала. И старшина почти спокойно на тот берег глядел, только рука проклятая ныла, как застуженный зуб.

А там, на той стороне, все наоборот было: и птицы примолкли, и сорока надрывалась. И все это сейчас Федот Евграфыч примечал, оценивал и по полочкам раскладывал, чтоб поймать момент, когда фрицам надоест в гляделки играть.

Но первый выстрел не ему сделать довелось, и хоть ждал его старшина, а все же вздрогнул: выстрел — он всегда неожиданный, всегда вдруг. Слева он ударил, ниже по течению, а за ним еще и еще. Васков глянул — на плесе немец из воды к берегу на карачках лез, к своим лез, назад, и пули вокруг него шелкали, а не задевали. И фриц бежал на четвереньках, волоча ногу по шумливому галечнику.

Тут ударили автоматы, прикрывая подбитого, и

старшина совсем уж было вскочить хотел, к своим кинуться, да удержался. И вовремя: сквозь кусты к берегу той стороны сразу четверо скатились, рассчитывая, видно, под огневым прикрытием речушку перебежать и в лесу исчезнуть. С винтовкой тут ничего поделать было нельзя, потому что затвор после выстрела передернуть времени бы не хватило, и Федот Евграфыч взял автомат. И только нажал крючок — напротив в кустах два огонька полыхнули, и пулевой веер разорвал воздух над его головой.

Одно знал Васков в этом бою — не отступать. Не отдавать немцу ни клочка на этом берегу. Как ни тяжело, как ни безнадежно — держать. Держать эту позицию, а то сомнут — и все тогда. И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно именно он, Федот Евграфыч Васков, был ее последним сыном и защитником. И не было во всем мире больше никого — лишь он, враг да Россия.

Только девчат еще слушал каким-то третьим ухом: бьют еще винтовочки или нет? Бьют — значит, живы. Значит, держат свой фронт, свою Россию. Держат!..

И даже когда там гранаты начали рваться, он не испугался. Он уже чувствовал, что вот-вот должна передышка наступить, потому что не могли немцы вести затяжной бой с противником, сил которого не знали. Им тоже оглядеться требовалось, карты свои перетасовать, а уж потом сдавать по новой. Та четверка, что перла прямо на него, тут же и отошла, да так ловко, что он и заметить не успел, подшиб ли кого. Втянулись в кусты, постреляли для острастки и снова замерли, и лишь дымок еще висел над водой.

Несколько минут выиграно было. Счет, правда, сегодня не на минуты должен был бы идти, потому что помощи ниоткуда не предвиделось, но все же куснули они противника, показали зубы, и второй раз он в этом месте так просто не полезет. Он где-то еще попытается щелочку найти — скорее всего выше по течению, потому что ниже плеса каменные лбы срывались круто в реку. Значит, следовало тотчас же перебежать правее, а тут, на своем месте, на всякий случай оставить кого-либо из девчат...

Не успел Васков своей диспозиции додумать — шаги за спиной помешали. Оглянулся — Комелькова прямо, миком сквозь кусты ломит.

— Пригнись!

— Скорее!.. Рита!..

Что Рита, не стал Федот Евграфыч спрашивать: по глазам понял. Схватил оружие, раньше Комельковой домчался. Осянина, скорчившись, сидела под сосной, упираясь спиной в ствол. Силилась улыбнуться серыми губами, то и дело облизывая их, а по рукам, накрест зажавшим живот, текла кровь.

— Чем? — только спросил Васков.

— Граната...

Положил Риту на спину, за руки взял — не хотела принимать, боли боялась. Отстранил мягко и понял, что все... Даже разглядеть было трудно, что там, потому что смешалось все — и кровь, и рваная гимнастерка, и вмятый туда, в живое, солдатский ремень.

— Тряпок! — крикнул. — Белье давай!

Женька трясущимися руками уже рвала свой мешок, уже совала что-то легкое, скользкое.

— Да не шелк! Льняное давай!

— Нету...

— А, леший!... — Метнулся к «сидору», начал развязывать. Затянул, как на грех...

— Немцы... — одними губами сказала Рита. — Где немцы?

Женька секунду смотрела на нее в упор, а потом, схватив автомат, кинулась к берегу, уже не оглядываясь.

Старшина достал рубашку с кальсонами, два бинта запасных, вернулся. Рита что-то пыталась сказать — не слушал. Ножом распорол гимнастерку, юбку, белье, кровью набрякшие, — зубы стиснул. Наискось прошел осколок, живот разворотив. Наложил сверху рубаху, стал бинтовать.

— Ничего, Рита, ничего... Он поверху прошел, кишки целые. Заживет...

Полоснула от берега очередь. И снова застучало все кругом, посыпалась листва, а Васков бинтовал и бинтовал, и тряпки тут же намокали от крови.

— Иди... туда иди... — с трудом сказала Рита. — Женька там...

Рядом прошла очередь. Не поверху — по ним, прицельно, только не зацепила. Старшина оглянулся, вырвал наган, выстрелил дважды по мелькнувшей фигуре: немцы перешли реку.

А Женькин автомат еще бил где-то, еще огрызался, все дальше и дальше уходя в лес. И Васков понял, что

Комелькова, отстреливаясь, уводит сейчас немцев за собой. Уводит, да не всех, еще где-то мелькнул диверсант, и еще раз выстрелил по нему старшина. Надо было уходить, уносить Осянину, потому что немцы кружили рядом и каждая секунда могла оказаться последней.

Он поднял Риту на руки, не слушая, что шепчет она серыми, искусанными губами. Хотел винтовку захватить — не смог и побежал в кусты, чувствуя, что с каждым шагом уходят силы из пробитой ноющей зубной болью левой руки.

Остались под сосной вещмешки, винтовки, скатки да отброшенное старшиной Женькино белье. Молодое, легкое, кокетливое...

Красивое белье было Женькиной слабостью. От многого она могла отказаться с легкостью, потому что характер ее был весел и улыбчив, но подаренные матерью перед самой войной гарнитуры упорно таскала в армейских вещмешках. Хоть и получала за это постоянные выговоры, наряды вне очереди и прочие солдатские неприятности.

Особенно одна комбинашка была — с ума сойти. Даже Женькин отец фыркнул:

— Ну, Женька, это чересчур. Куда готовишься?

— На вечер! — гордо сказала Женька, хоть и знала, что он имел в виду совсем другое.

Они хорошо друг друга понимали.

— На кабанов пойдешь со мной?

— Не пущу! — пугалась мать. — С ума сошел — девочку на охоту таскать.

— Пусть привыкает! — смеялся отец. — Дочка красного командира ничего не должна бояться.

И Женька ничего не боялась. Скакала на лошадях, стреляла в тире, сидела с отцом в засаде на кабанов, гоняла на отцовском мотоцикле по военному городку. А еще танцевала на вечерах «цыганочку» и матчиш; пела под гитару и крутила романы с затынутыми в рюмочку лейтенантами. Легко крутила, для забавы, не влюблялась.

— Женька, совсем ты голову лейтенанту Сергейчуку заморочила. Докладывает мне сегодня: «Товарищ Евг... генерал...»

— Врешь ты все, папка.

Счастливым было время, веселое, а мать все хмурилась да вздыхала: взрослая девушка, барышня уже,



как в старину говорили, а ведет себя... Непонятно ведет: то тир, лошади да мотоцикл, то танцульки до за-ри, лейтенанты с ведерными букетами, серенады под окнами да письма в стихах.

— Женечка, нельзя же так. Знаешь, что о тебе в городке говорят?

— Пусть болтают, мамочка!

— Говорят, что тебя с полковником Лужиным несколько раз встречали. А ведь у него семья, Женечка. Разве ж можно?

— Нужен мне Лужин!.. — Женька передергивала плечами и убегала.

А Лужин был красив, таинствен и героичен: за Халхин-Гол имел орден Красного Знамени, за финскую — Звездочку. И мать чувствовала, что Женька избегает этих разговоров не просто так. Чувствовала и боялась...

Лужин-то Женьку и подобрал, когда она одна-одинешенька перешла фронт после гибели родных. Подобрал, защитил, пригрел и не то чтобы воспользовался беззащитностью — прилепил ее к себе. Тогда нужна была ей эта опора, нужно было приткнуться, выплакаться, пожаловаться, приласкаться и снова найти себя в этом грозном военном мире. Все было как надо — Женька не расстраивалась. Она вообще никогда не расстраивалась. Она верила в себя и сейчас, уводя немцев от Осяниной, ни на мгновение не сомневалась, что все кончится благополучно.

И даже когда первая пуля ударила в бок, она просто удивилась. Ведь так глупо, так несуразно и неправдоподобно было умирать в девятнадцать лет.

А немцы ранили ее вслепую, сквозь листву, и она могла бы затаиться, переждать и, может быть, уйти. Но она стреляла, пока были патроны. Стреляла лежа, уже не пытаясь убежать, потому что вместе с кровью уходили и силы. И немцы добились ее в упор, а потом долго смотрели на ее и после смерти гордое и прекрасное лицо...

## 14

Рита знала, что рана ее смертельна и что умирать она будет долго и трудно. Пока боли почти не было, только все сильнее пекло в животе и хотелось пить. Но пить было нельзя, и Рита просто мочила в лужице тряпочку и прикладывала к губам.

Васков спрятал ее под еловым выворотнем, забросал ветками и ушел. По тому времени еще стреляли, но вскоре все вдруг затихло, и Рита заплакала. Плакала беззвучно, без вздохов, просто по лицу текли слезы: она поняла, что Женьки больше нет...

А потом и слезы пропали. Отступили перед тем огромным, что стояло сейчас перед ней, с чем нужно было разобраться, к чему следовало подготовиться. Холодная, черная бездна распаивалась у ее ног, и Рита мужественно и сурово смотрела в нее.

Она не жалела себя, своей жизни и молодости, потому что все время думала о том, что было куда важнее, чем она сама. Сын ее оставался сиротой, оставался совсем один на руках у болезненной матери, и Рита гадала сейчас, как переживет он войну и как потом сложится его жизнь.

Вскоре вернулся Васков. Разбросал ветки, молча сел рядом, обхватив раненую руку и покачиваясь.

— Женя погибла?

Он кивнул. Потом сказал:

— Мешков наших нет. Ни мешков, ни винтовок. Либо с собой унесли, либо спрятали где.

— Женя сразу... умерла?

— Сразу, — сказал он, и она почувствовала, что он говорит неправду. — Они ушли. За взрывчаткой, видно... — Он поймал ее тусклый, все понимающий взгляд, выкрикнул вдруг: — Не победили они нас, понимаешь? Я еще живой, меня еще повалить надо!

Он замолчал, стиснув зубы, закачался, баюкая руку.

— Болит?

— Здесь у меня болит, — он ткнул в грудь, — здесь свербит, Рита. Так свербит!.. Положил ведь я вас, всех пятерых положил, а за что? За десяток фрицев?

— Ну, зачем так... Все же понятно: война...

— Пока война, понятно. А потом, когда мир будет? Будет понятно, почему вам умирать приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросит: что ж это вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что ж это вы со смертью их оженили, а сами целенькие? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом!

— Не надо,— тихо сказала она.— Родина ведь не с каналов начинается. Совсем не оттуда. А мы ее защищали. Сначала ее, а уж потом канал.

— Да...— Васков тяжело вздохнул, помолчал.— Ты лежи покуда, я вокруг погляжу. А то наткнут-ся — и концы нам,— Он достал наган, зачем-то старательно обтер его рукавом.— Возьми. Два патрона, правда, осталось, но все-таки спокойнее с ним.

— Погоди,— Рита глядела куда-то мимо его лица, в перекрытое ветвями небо.— Помнишь, на немцев я у разъезда наткнулась? Я тогда к маме в город бежала. Сыночек у меня там, три годика. Аликом зовут, Альбертом. Мама больна очень, долго не проживет, а отец мой без вести пропал.

— Не тревожься, Рита, понял я все.

— Спасибо тебе.— Она улыбнулась бесцветными губами.— Просьбу мою последнюю выполнишь?

— Нет,— сказал он.

— Бессмысленно это, все равно ведь умру. Только намучаюсь.

— Я разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся.

— Поцелуй меня,— вдруг сказала она.

Он неуклюже наклонился, застенчиво ткнулся губами в лоб.

— Колючий...— еле слышно сказала она, закрыв глаза.— Иди. Завали меня ветками и иди.

По серым, проваленным щекам ее медленно текли слезы. Федот Евграфыч тихо поднялся, аккуратно прикрыл Риту ветками и быстро зашагал к речке, навстречу немцам.

В кармане тяжело покачивалась бесполезная граната. Единственное его оружие...

Он скорее почувствовал, чем расслышал, этот слабый, утонувший в ветвях выстрел. Замер, вслушиваясь в лесную тишину, а потом, еще боясь поверить, побежал назад, к огромной вывороченной ели.

Рита выстрелила в висок, и крови почти не было. Синие порошинки густо окаймили пулевое отверстие, и Васков почему-то особенно долго смотрел на них. Потом отнес Риту в сторону и начал рыть яму в том месте, где она до этого лежала.

Здесь земля мягкой была, податливой. Рыхлил ее палкой, руками выгребал наружу, рубил корни ножом. Быстро вырыл, еще быстрее зарыл и, не дав себе

отдыха, пошел туда, где лежала Женя. А рука ныла без удержу, по-дурному ныла, накатами, и Комелькову он схоронил плохо. И все время думал об этом, и жалел, и шептал пересохшими губами:

— Прости, Женечка, прости...

Покачиваясь и оступаясь, он брел через Синюхину гряду навстречу немцам. В руке мертво был зажат наган с последним патроном, и он хотел сейчас только, чтоб немцы скорее повстречались и чтоб он успел свалить еще одного. Потому что сил уже не было. Совсем не было сил — только боль. Во всем теле...

Белые сумерки тихо плыли над прогретыми камнями. Туман уже копился в низинах, ветерок сник, и комары тучей висели над старшиной. А ему чудились в этом белесом мареве его девчата, все пятеро, и он все время шептал что-то и горестно качал головой. А немцев все не было. Не попадались они ему, не стреляли, хотя шел он грозно и открыто и искал этой встречи. Пора было кончать эту войну, пора было ставить точку, и последняя эта точка хранилась в сизом канале его нагана.

Правда, была еще граната без взрывателя. Кусок железа. И спроси, для чего он таскает этот кусок, он бы не ответил. Просто так таскал, по старшинской привычке беречь военное имущество.

У него не было сейчас цели, было только желание. Он не кружил, не искал следов, а шел прямо, как заведенный. А немцев все не было и не было...

Он уже миновал соснячок и шел теперь по лесу, с каждой минутой приближаясь к скиту Легонта, где утром так просто добыл себе оружие. Он не думал, зачем идет именно туда, но безошибочный охотничий инстинкт вел его именно этим путем, и он подчинялся ему. И, подчиняясь только ему, он вдруг замедлил шаги, прислушался и скользнул в кусты.

В сотне метров начиналась поляна с прогнившим колодезным срубом и въехавшей в землю избой. И эту сотню метров Васков прошел беззвучно и невежимо. Он знал, что там враг, знал точно и необъяснимо, как волк знает, откуда выскочит на него заяц.

В кустах у поляны он замер и долго стоял не шевелясь, глазами обшаривая сруб, возле которого уже не было убитого им немца, покосившийся скит, темные кусты по углам. Ничего не было там особенного, ничего не замечалось, но старшина терпеливо ждал. И ког-

да от угла избы чуть проплыло смутное пятно, он не удивился. Он уже знал, что именно там стоит часовой.

Он шел к нему долго, бесконечно долго. Медленно, как во сне, поднимал ногу, невесомо опускал ее на землю и не переступал — переливал тяжесть по капле, чтоб не скрипнула ни одна веточка. В этом странном, птичьим танце он обошел поляну и оказался за спиной неподвижного часового. И еще медленнее, еще плавнее двинулся к этой широкой темной спине. Не пошел — поплыл. И в шаге остановился. Он долго сдерживал дыхание и теперь ждал, пока успокоится сердце. Он давко уже сунул в кобуру наган, держал в правой руке нож сейчас и, чувствуя тяжелый запах чужого тела, медленно, по миллиметру, заносил финку для одногоединственного, решающего удара.

И еще копил силы. Их было мало. Очень мало, а левая рука уже ничем не могла помочь.

Он все вложил в этот удар, все, до последней капли. Немец почти не вскрикнул, только странно, тягуче вздохнул и сунулся на колени. Старшина рванул собачьенную дверь, прыжком влетел в избу:

— Хенде хох!..

А они спали. Отсыпались перед последним броском к железке. Только один не спал, в угол метнулся, к оружию, но Васков уловил этот прыжок и почти в упор всадил в немца пулю. Грохот ударил в низкий потолок, немца швырнуло в стену, а старшина забыл вдруг все немецкие слова и только хрипло кричал:

— Лягайт!.. Лягайт!.. Лягайт!..

И ругался черными словами. Самыми черными, какие знал...

Нет, не крика они испугались, не гранаты, которой размахивал старшина. Просто подумать не могли, в мыслях представить даже, что один он, на много верст один-одинешенек. Не вмещалось это понятие в фашистские их мозги, и потому на пол легли. Мордами вниз, как велел. Все четверо легли: пятый, приткий самый, уж на том свете числился.

И повязали друг друга ремнями, аккуратно повязали, а последнего Федот Евграфыч лично связал и заплакал. Слезы текли по грязному, небритому лицу, он трясся в ознобе, и смеялся сквозь эти слезы, и кричал:

— Что, взяли?.. Взяли, да?.. Пять девчат, пять девочек было всего, всего пятеро!.. А не прошли вы, никуда не прошли и сдохнете здесь, все сдохнете!.. Лично

каждого убью, лично, даже если начальство помилует! А там пусть судят меня! Пусть судят!..

А рука ныла, так ныла, что горело все в нем и мысли путались. И потому он особо боялся сознание потерять и цеплялся за него, из последних силенок цеплялся...

Тот последний путь он уже никогда не мог вспомнить. Колыхались впереди немецкие спины, болтались из стороны в сторону, потому что шатало Васкова, будто в доску пьяного. И ничего он не видел, кроме этих четырех спин, и об одном только думал: успеть выстрелить, если сознание потеряет. А оно на последней паутинке висело, и боль такая во всем теле горела, что рычал он от боли той. Рычал и плакал: обессилел, видно, вконец.

И лишь тогда он сознанию своему оборваться разрешил, когда окликнули их и когда понял он, что на встречу идут свои. Русские...

## ЭПИЛОГ

«...Привет, старик!

Ты там доходишь на работе, а мы ловим рыбешку в непыльном уголке. Правда, комары проклятые донимают, но жизнь все едино райская! Давай, старик, цыгань отпуск и рви к нам. Тут полное безмашинье и безлюдье. Раз в неделю шлепает к нам моторка с хлебушком, а так хоть телешом весь день гуляй. К услугам туристов два шикарных озера с окунями и речка с хариусами. А уж грибов!..

Впрочем, сегодня моторкой приехал какой-то старикан, седой, коренастый, без руки, и с ним капитан-ракетчик. Капитана величают Альбертом Федотычем (представляешь?), а своего старикана он именует посконно и домотканно — тятей. Что-то они тут стали разыскивать — я не вникал...

...Вчера не успел дописать, кончаю утром.

Здесь, оказывается, тоже воевали... Воевали, когда нас с тобой еще не было на свете.

Альберт Федотыч и его отец привезли мраморную плиту. Мы разыскали могилу — она за речкой, в лесу. Отец капитана нашел ее по каким-то своим приметам. Я хотел помочь им донести плиту и — не решился.

А зори-то здесь тихие-тихие, только сегодня разглядел...»

# НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ

РОМАН

---







## От автора

*Когда я вхожу в лес, я слышу Егорову жизнь. В хлопотливом лепете осинников, в сосновых вздохах, в тяжелом взмахе еловых лап. И я ищу Егора.*

*Я нахожу его в июньском краснолесье — неустойчивого и неунывающего. Я встречаю его в осенней мокряди — серьезного и взъерошенного. Я жду его в морозной тишине — задумчивого и светлого. Я вижу его в весеннем цветении — терпеливого и нетерпеливого одновременно. И всегда поражаюсь, каким же он был разным — разным для людей и разным для себя.*

*И разной была его жизнь — жизнь для себя и жизнь для людей.*

*А может быть, все жизни разные? Разные для себя и разные для людей? Только всегда ли есть сумма в этих разностях? Представляясь или являясь разными, всегда ли мы едины в своем существе?*

*Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным — ни лучше, ни хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть.*

## 1

Егора Полушкина в поселке звали бедоносцем. Когда утерялись первые две буквы, этого уже никто не помнил, и даже собственная жена, обалдев от хронического невезения, иступленно кричала въедливым, как комариный звон, голосом:

— Нелюдь заморская заклатье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов...

Кричала она на одной ноте, пока хватало воздуха, и знаков препинания не употребляла. Егор горестно вздыхал, а десятилетний Колька, обижаясь за отца, плакал где-то за сараюшкой. И еще потому он плакал, что уже тогда понимал, как мать права.

А Егор от криков и ругани всегда чувствовал себя виноватым. Виноватым не по разуму, а по совести. И потому не спорил, а только казнился.

— У людей мужики так уж добытчики так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!..

Харитина Полушкина была родом из Заонежья и с ругани легко переходила на причитания. Она считала себя обиженной со дня рождения, получив от пьяного попа совершенно уже невозможное имя, которое ласковые соседки сократили до первых двух слогов:

— Харя-то наша опять кормильца своего критикует.

А еще то ей было обидно, что родная сестра (ну, кадушка кадушкой, ей-богу!), так родная сестра Марья белорыбицей по поселку плавала, губы поджимала и глаза закатывала:

— Не повезло Тине с мужиком. Ах, не повезло, ах!..

Это при ней — Тина и губки гузкой. А без нее — Харя и рот до ушей. А ведь сама же в поселок их сманила. Дом заставила продать, сюда перебраться, от людей насмешки терпеть.

— Тут, Тина, культура. Кино показывают.

Кино показывали, но Харитина в клуб не ходила. Хозяйство хворобное, муж в дурачках, и надеть почти что нечего. В одном платьишке каждый день на людях маячить — примелькаешься. А у Марьицы (она, стало быть, Харя, а сестрица — Марьица, вот так-то!), так у Марьицы платьев шерстяных — пять штук, костюмов суконных — два да костюмов джерсовых — три целых. Есть в чем на культуру поглядеть, есть в чем себя показать, есть что в ларь положить.

А причина у Харитины одна: Егор Савельич, муж дорогой. Супруг законный, хоть и невенчаный. Отец сыночка единственного. Кормилец и добытчик, козел его забадай.

Между прочим, друг-приятель приличного человека

Федора Ипатовича Бурьянова, Марьиного мужа. Через два проулка — дом собственный, пятистенный. Из клейменных бревен: одно в одно, без сучка, без задоринки. Крыша цинковая: блестит — что новое ведро. Во дворе — два кабанчика, овец шесть штук да корова Зорька. Удойстая корова — в дому круглый год масленица. Да еще петух на коньке крыши, как живой. К нему всех командировочных водили:

— Чудо местного народного умельца. Одним топором, представьте себе. Одним топором сработано, как в старину.

Ну, правда, чудо это к Федору Ипатовичу отношения не имело: только размещалось на его доме. А сделал петуха Егор Полушкин. На забавы у него времени хватало, а вот как бы для дельного чего...

Вздыхала Харитина. Ох, не доглядела за ней матушка-покойница, ох, не уходил ее вожжами отец-батюшка! Тогда б, глядишь, не за Егора бы выскочила, а за Федора. Царицей бы жила.

Федор Бурьянов сюда за рублем приехал тогда еще, когда здесь леса шумели — краю не видать. В ту пору нужда была, и валили этот лес со смаком, с грохотом, с прогрессивкой.

Поселок построили, электричество провели, водопровод наладили. А как ветку от железной дороги дотянули, так и лес кругом кончился. Бытие, так сказать, на данном этапе обогнало чье-то сознание, породив комфортабельный, но никому уже не нужный поселок среди чахлах остатков некогда звонкого краснолесья. Последний массив вокруг Черного озера областные организации и власти с превеликим трудом сумели объявить водоохранным, и работа заглохла. А поскольку перевалочная база с лесопилкой, построенной по последнему слову техники, при поселке уже существовала, то лес сюда стали теперь возить специально. Возили, сгружали, пилили и снова грузили, и вчерашние лесорубы заделались грузчиками, такелажниками и рабочими при лесопилке.

А вот Федор Ипатович за год вперед все в точности Марье предсказал:

— Хана прогрессивкам, Марья: валить вскорости нечего будет. Надо бы подыскать чего поспособнее, пока еще пилы в ушах журчат.

И подыскал: лесником в последнем охранном массиве при Черном озере. Покосы бесплатно, рыбы

навалом, и дрова задарма. Вот тогда-то он себе пяти-стенок и отгрохал, и добра понапас, и хозяйство развел, и хозяйку одел — любо-дорого. Одно слово — голова. Хозяин.

И держал себя в соответствии: не елозил, не шебаршился. И рублю и слову цену знал: уж ежели ронял их, то со значением. С иным за вечер и рта не раскроет, а иного и поучит уму-разуму:

— Нет, не обратал ты жизнь, Егор,— она тебя обратала. А почему такое положение? Вникни.

Егор слушал покорно, вздыхал: ай, скверно он живет, ай, плохо. Семью до крайности довел, себя уронил, перед соседями стыдоба — все верно Федор Ипатыч говорит, все правильно. И перед женой совестно, и перед сыном, и перед людьми добрыми. Нет, надо кончать ее, эту жизнь. Надо другую начинать: может, за нее, за будущую светлую да разумную, Федор Ипатыч еще рюмочку нальет, сдобрится?..

— Да, жизнь обратал — хозяином стать, так-то старики баивали.

— Правда твоя, Федор Ипатыч. Ой, правда!

— Топор ты в руках держать умеешь, не спорю. Но — бессмысленно.

— Да уж. Это точно.

— Руководить тобою надо, Егор.

— Надо, Федор Ипатыч. Ой, надо!..

Вздыхал Егор, сокрушался. И хозяин вздыхал, задумывался. И все тогда вздыхали. Не сочувствуя — осуждая. И Егор под их взглядами еще ниже голову опускал. Стыдился.

А вникнуть если, то стыдиться-то было нечего. И работал Егор всегда на совесть, и жил смирно, без баловства, а получалось, что кругом был виноват. И он не спорил с этим, а только горевал сильно, себя ругая на чем свет стоит.

С гнезда насиженного, где жили в родном колхозе если не в достатке, так в уважении, с гнезда этого в одночасье вспорхнули. Будто птицы несмышленные или бобыли какие, у которых ни кола ни двора, ни детей, ни хозяйства. Затмение нашло.

Тем мартом — метельным, ознобистым — теща померла, Харитины да Марьицы родная маменька. Аккурат к Евдокии преставилась, а на похороны родня в розвальнях съезжалась: машины в снегах застревали. Так и Марьица прибыла — одна, без хозяина, Отплака-

ли маменьку, отпели, помянули, полный чин справили. Сменила Марыца черный плат на пуховую шаль да и брякнула:

— Отстали вы тут от культурной жизни в своем навозе.

— То исть как? — не понял Егор.

— Модерна настоящего нету. А у нас Федор Ипатыч новый дом ставит: пять окон на улицу. Электричество, универмаг, кино каждый день.

— Каждый день — и новое? — поразилась Тина.

— А мы на старое и не пойдем, надо очень. У нас этот... Дом моделей, промтовары заграничные.

Из темного угла строго смотрели древние лики. И мать божья уже не улыбалась, а хмурилась, да кто глядел-то на нее с той поры, как старуха душу отдала? Вперед все глядели, в этот, как его... в модерн.

— Да, ставит Федор Ипатыч дом — картинка. А старый освобождается — так куда ж его? Продавать жалко: гнездо родимое, там Вовочка мой по полу ползал. Вот Федор Ипатыч и наказал вам его подарить. Ну, пособи́те, конечно, сначала новый поставить, как водится. Ты, Егор, плотничать наострился.

Подсобили. Два месяца Егор от зари до зари топором тюкал. А зори-то северные: растыкал их господь по дню далеко друг от друга. До звона намахаешься, покуда стемнеет. А тут еще Федор Ипатович пособляет:

— Ты еще вон тот уголок, Егорушка, притеши. Не ленись, работничек, не ленись: я тебе дом задарма отдаю, не конуру собачью.

Дом, правда, отдал. Только вывез оттуда все, что еще червь не сточил, даже пол в горнице разобрал. И навес над колодцем. И еще погреб раскатал да выволол: бревна там в дело могли пойти. За сараюшку было взялся, да тут уж Харитина не выдержала:

— Змей ты подколодный кровопивец неистовый выжига перелютая!

— Ну, тихо, тихо, Харитина. Свои ведь, чего шуметь? Не обижаешься, Егор? Я ведь по совести.

— Дык это... Стало быть, так, раз оно не этак.

— Ну и славно. Ладно уж, пользуйтесь сараюшкой. Дарю.

И пошел себе. Ладный мужик. И пиджак на нем бостоновый,

Помирились. В гости заходили. Робел Егор в гостях-то в этих, хозяина слушал.

— Свет, Егор, на мужике стоит. Мужиком держится.

— Верно, Федор Ипатыч. Правильно.

— А разве есть в тебе мужичество настоящее? Ну, скажи, есть?

— Дык ведь как... Вон баба моя...

— Да не про то я, не про срам! Тьфу!..

Смеялись. И Егор со всеми вместе хихикал: чего ж над глупым-то не посмеяться? Это над Федором Ипатовичем не посмеешься, а над ним-то — да на здоровье, граждане милые! С полным вашим удовольствием!..

А Тина только улыбалась. Из всех сил улыбалась гостям дорогим, сестре родимой да Федору Ипатовичу. Этому — особо: хозяин.

— Да, направлять тебя надо, Егор, направлять. Без указания ты ничего не спроворишь. И жизнь самолично никогда не осмыслишь. А не поймешь жизни — жить не научишься. Так-то, Егор Полушкин, бедоносец божий, так-то...

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак...

## 2

Но зато был Колька.

— Чистоглазый мужичок растет, Тинушка. Ох, чистоглазик парень!

— Ну и глупо, что так, — ворчала Харитина (она всегда на него ворчала. Как председатель сельсовета поздравил с законным браком, так и заворчала). — Во все времена чистоглазым одно занятие: на себе пахать вместо трактора.

— Ну что ты, что ты! Напрасно так-то, напрасно.

Колька веселым рос, добрым. К ребятам тянулся, к старшим. В глаза заглядывал, улыбался — и во все верил. Чего ни сокрут, чего ни выдумают — верил тотчас же. Хлонал глазами, удивлялся:

— Ну-у?..

Простодушие в этом «Ну-у?» на пол-России хватило бы, коли б в нем нужда оказалась. Но спроса на простодушие что-то пока не было, на иное спрос был:

— Колька, ты чего тут сидишь? Тятку твоего самосвалом переехало — кишки изо рта торчат!

— А-а!..

Бежал куда-то Колька, кричал, падал, снова бежал. А мужики хохотали:

— Да куда ты, куда? Живой он, тятка твой. Шутим мы так, парень. Шутим, понял?

От счастья, что все хорошо закончилось, Колька забывал обижаться, а только радовался. Очень радовался, что тятка его жив и здоров, что не было никакого самосвала и что кишки у тятки на месте — в животе, где положено. И поэтому звонче всех смеялся, от всего сердца.

А вообще нормальный малец был. В речку с обрыва нырял и ласточкой, и топориком. В лесу не плутал и не боялся. Собак самых злющих в два слова утихомиривал, гладил, за уши их дергал как хотел. И цепной пес, пену с клыков не сбросив, комнатной собачонкой у ног его ластился. Ребята очень этому удивлялись, а взрослые объясняли:

— Отец у него собачье слово знает.

Правда тут была: Егора собаки тоже не трогали.

И еще Колька терпеливым рос. Как-то с березы сорвался (скворечник вешал, да ветка надломилась), до земли сквозь все сучья просквозил, и нога на сторону. Ну, вправили, конечно, швы на бок наложили, йодом вымазали с головы до ног — только кряхтел. Даже докторша удивилась:

— Ишь, мужичок с ноготок!

А потом, когда срослось все да зажило, Егор во дворе слышал: ревет сынок в сараюшке (Колька спал там, когда сестренка народилась. Горластая больно народилась-то — вся в маменьку). Заглянул: Колька лежал на животе, только плечи тряслись.

— Ты чего, сынок?

Колька поднял зареванное лицо — губы прыгали.

— Ункас...

— Чего?

— Ункаса убили. В спину ножом. Разве ж можно — в спину-то?

— Какого Ун... Ункасу?

— Последнего из могикан. Самого последнего, тятка!..

Следующей ночью отец и сын не спали. Колька ходил по сараюшке и сочинял стихи:

— Ункас преследовал врага, готовый с ним сразиться. Настиг и начал биться....

Дальше стихи не получались, но Колька не сдавался. Он метался в тесном проходе меж поленицей и топчаном, бормотал разные слова и размахивал руками. За дощатой стеной заинтересованно хрюкал поросенок.

А Егор сидел на кухне в кальсонах и бязевой рубахе и, шевеля губами, читал книгу про индейцев. Над странными именами шумели знакомые сосны, под таинственной пирогой металась та же рыба, а томагавком можно было запросто наколоть к самовару лучины. И поэтому Егору уже казалось, что история эта происходила не в далекой Америке, а здесь, где-то на Печоре или на Вычегде, а хитрые имена придуманы просто так, чтобы было завлекательнее. Из сеней тянуло ночным холодком, Егор сучил застывшими ногами и читал, старательно водя пальцем по строчкам. А через несколько дней, осилив наконец-таки эту самую толстую в своей жизни книгу, сказал Кольке:

— Хорошая книжка.

Колька подозрительно всхлипнул, и Егор уточнил:

— Про добрых мужиков.

Вообще Колькины слезы недалеко были спрятаны. Он плакал от чужого горя, от бабьих песен, от книг и от жалости, но слез этих очень стеснялся и потому старался реветь в одиночестве.

А вот Вовка — погодок, двоюродный братишка — только от обиды ревел. Не от боли, не от жалости — от обиды. Сильно ревел, до трясучки. И обижался часто. Иной раз ни с того ни с сего обижался.

Вовка книг читать не любил: ему на кино деньги давали. Кино он очень любил и смотрел все подряд, а если про шпионов, то и по три раза. И рассказывал:

— А он ему — хрясь, хрясь! Да в поддых, в поддых!..

— Больно, поди! — вздыхал Колька.

— Дура! Это ж шпионы.

И еще у Вовки была мечта. У Кольки, к примеру, мечта каждый день была иная, а у Вовки — одна на все дни:

— Вот бы гипноз такой открыть, чтоб все-все заснули. Ну все! И тогда б я у каждого по рублику взял.

— Чего ж только по рублику?

— А чтоб не заметил никто. У каждого по рублику — это ого! Знаешь, сколько? Тыщи две, наверное.



Поскольку денег у Кольки сроду не водилось, он о них и не думал. И мечты у него поэтому были безденежные: про путешествия, про зверей, про космос. Легкие мечты были, невесомые.

— Хорошо бы живого слона поглядеть. Говорят, в Москве слон каждое утро по улице ходит.

— Бесплатно?

— Так по улице же.

— Врут. Бесплатно ничего не бывает.

Вовка увесисто говорил, как сам Федор Ипатович. И глядел так же — с прищуром. Особый такой прищур, бурьяновский. Федору Ипатовичу это нравилось.

— Ты, Вовка, скрозь гляди. Сверху все лжа.

Вовка и старался глядеть скрозь, но Колька все же с братиком водился. Не спорил, не дрался, но, правда, и особо не слушался. Если уж очень Вовка нажимал — уходил. Одного не прощал только: когда тот над отцом его, над Егором Полушкиным, подхикивал. Здесь и до крайности порой доходило, но мирились быстро; все-таки родная кровь.

А про слона, который каждое утро в Москве по улицам ходит, Кольке отец рассказал. Уж где он про этого слона разузнал, неизвестно, потому что телевизора у них не было, а газет Егор не читал, но говорил точно, и Колька не сомневался. Раз тятка сказал — значит, так оно и есть.

А вообще-то слонов они только на картинках видели и один раз в кино. Там показывали цирк, и слон стоял на одной передней ноге, а после очень смешно кланялся и хлопал ушами. Сутки целые они тогда про слонов говорили.

— Умная животная.

— Тять, а в Индии пашут на них?

— Нет.— Егор не очень знал, что делают слоны в Индии, но прикидывал.— Здоров он больно для пахоты-то. Плуг выдернет.

— А чего ж они там делают?

— Ну как чего? Тяжелое всякое. На лесоповале, к примеру.

— Вот бы нам сюда слона, а, тять? Он бы штабеля грузил, рудостойку, пиловочник.

— Да-а. Жрет много. Сенов не напасешься.

— А в Индии как же?

— Дык у них с кормами порядок, Лето сплошное — траву хоть двадцать раз коси.

— И валенки не нужны, да, тять? Вот красота-то, наверно!

— Ну, не скажи. У нас получше будет. У нас — Россия. Самая страна замечательная.

— Самая-самая?

— Самая, сынок. Про нее песни поют по всей земле. И все иностранные люди нам завидуют.

— Значит, мы счастливые, тять?

— Это не сомневайся. Это точно.

И Колька не сомневался: раз тятька сказал, стало быть, так оно и есть. Тем более что сам Егор истово в это верил. Ну а уж если Егор во что-то там верил истово, то и говорил об этом особо, и мнения своего не менял, и даже с самим Федором Ипатовичем спорил крепко.

— Глупый ты мужик, Егор, раз такое мелешь. Ну, какая на тебе рубаха? Ну, скажи?

— Синяя.

— Синяя! Дерьмовая на тебе рубаха: с третьей стирки на подтирку. А у меня — заграница. Простирнул, встряхнул — и гладить не надо, и как новая!

— А мне и в этой ладно. Она к телу ближе.

— Ближе! Твоей рубахой рыбу ловить сподручно: к ветру она ближе, а не к телу.

— А ты скажи, Федор Ипатыч, с тебя во тьмах-то, как рубаху сймаешь, искры сыпятся?

— Ну?

— Вот. Потому — чужая она, рубаха-то твоя. И от противности электричество вырабатывает. А у меня с рубахи ни единой искорки не спадет. Потому — своя, к телу льнет, ластится.

— Бедоносец ты, Егор. Пра слово: бедоносец! Природа обидела.

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак...

Улыбался Егор. Смирно улыбался. А Колька негодовал. Люто негодовал, но при старших спорить не смел: при старших спорить — отца позорить. Наедине возмущался:

— Ты чего смалчиваешь, тять? Он тебя всяко, а ты смалчиваешь.

— Бранчливых, Коля, сон не любит. Тяжко спят они. Маются. Так-то, сынок.

— С мяса они маются! — сердился Колька.

Сердился он потому, что Егор врал. Врал, сопел при этом, глаза прятал: Колька этого не любил. Не любил

отца вот такого, жалкого. И Егор понимал, что сын стыдится его и мучается от стыда этого, и мучился сам.

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

А мучения все эти, стыд дневной и полуночный, крики жены да соседские ухмылочки — все от одного корня шли, и корнем тем была Егорова трудовая деятельность. Не задалась она у него, деятельность эта, на новом-то месте, словно вдруг заколодило ее, словно вдруг руки Егору отказали или соображение в гости утекло. И мыкался Егор, и лихорадило его, и по ночам-то спал он не в пример хуже бранчливого Федора Ипатовича.

— Руководить тобою нужно, Егор. Руководить!

Но зато был Колька. Ни у кого такого Кольки не было. Мужичка такого чистоглазого!..

### 3

Не задалась у Егора Полушкина на новом месте привычная работа. Правда, первых два месяца, когда топориком для Федора Ипатовича от солнышка до солнышка позванивал, все вроде нормально шло. Федор Ипатович хоть и руководил им, однако взащей не подталкивал, свою выгоду соблюдая. Мастера торопить нельзя, мастер — сам себе голова, это всякий хозяин сообразит. И хоть и бегал вокруг, и кипятил кровь, а особо подгонять не решался. И Егор работал, как сердце велело: где поднажать, где передохнуть, а где и отойти, присесть на бревнышко, на работу со стороны глянуть. Да не торопливо, не в задыхе — спокойно, вглядчиво, на три сигарки. За эту работу кормили его с семейством ежедневно, штаны старые дали и домишко. В общем, Егор не сетовал, не обижался: по закону, по сговору все было сделано. Полмесяца он в новом жилье устраивался, неделю радовался, а потом пошел работу искать. Не за ради дома да удобства родственника — за ради хлебушка.

Плотник есть плотник: за ним всегда работа бежит — не он за работой. Тем более что весь поселок труд Егоров видел, да и петух тот, его топором сработанный, с конька на весь белый свет кукарекал. Так что взяли Егора, можно сказать, с поясным поклоном в плотниц-

кую бригаду местной строительной конторы. Взять-то взяли, а через полмесяца...

— Полушкин! Ты сколько дён стенку лизать будешь?

— Дык ведь это... Доска с доской не сходится.

— Ну и хрен с ними, с досками! Тебе, что ль, тут жить? У нас план горит, премиальные...

— Дык ведь для людей жа...

— Слазь с лесов! Давай на новый объект!

— Дык ведь щели.

— Слазь, тебе говорят!..

Слезал Егор. Слезал, шел на новый объект, стыдясь оглянуться на собственную работу. И с нового объекта тоже слезал под сочную ругань бригадира, и снова куда-то шел, на какой-то самоновейший объект, снова делал что-то где-то, топором тюкал, и снова волокли его, не давая возможности сделать так, чтобы не маялась совесть. А через месяц вдруг швырнул Егор казенные рукавицы, взял личный топор и притопал домой за пять часов до конца работы.

— Не могу я там, Тинушка, ты уж не серчай. Не дело у них — понарошка какая-то.

— Ах горе ты мое бедоносец юродивый!..

— Да уж что уж. Стало быть, так, раз оно не этак.

Откочевал он в другую бригаду, потом в другую контору, потом еще куда-то. Мыкался, маялся, ругань терпел, но этой поскаковской работы терпеть никак не мог научиться. И мотало его по объектам да бригадам, пока не перебрал он их все, что были в поселке. А как перебрал, так и отступился — в разнорабочие пошел. Это, стало быть, куда пошлют да чего велят.

И здесь, однако, не все у него гладко сходило. В мае — только земля вздохнула — определили его траншею под канализацию копать. Прораб лично по веревке трассу ему отбил, колышков натыкал, чтоб линия была, по лопате глубину отметил:

— Вот до сих, Полушкин. И чтоб по ниточке.

— Ну, понимаем.

— Грунт в одну сторону кидай, не разбрасывай.

— Ну, дык...

— Нормы не задаю: мужик ты совестливый. Но чтоб...

— Нет тут вашего беспокойства.

— Ну, добро, Полушкин. Приступай.

Поплевал Егор на руки, приступил. Землица сочная была, пахучая, лопату принимала легко и к полотну не липла. И тянуло от нее таким родным, таким ласковым, таким добрым теплом, что Егору стало вдруг радостно и на душе уютно. И копал он с таким старанием, усердием да удовольствием, с каким работал когда-то в родимой деревеньке. А тут майское солнышко, воробы озоруют, синь небесная да воздух звонкий! И потому Егор, про перекуры забыв, и дно выглаживал, и стеночки обрезал, и траншея за ним еле поспевала.

— Молоток ты, Полушкин! — бодро сказал прораб, заглянувший через три часа ради успокоения. — Не роешь, а пишешь, понимаешь!

Писал Егор из рук вон плохо и потому похвалу начальства не очень чтобы понял. Но тон уловил и надедал изо всех сил, чтобы только угодить хорошему человеку. Когда прораб явился в конце рабочего дня, чтобы закрыть наряд, его встретила траншея трехдневной длины.

— Три смены рванул! — удивился прораб, шагая вдоль канавы. — В передовики выходишь, товарищ Полушкин, с чем я тебя и...

И замолчал, потому что ровная, в нитку траншея делала вокруг ничем не примечательной кочки аккуратную петлю и снова бежала дальше, прямая как стрела. Не веря собственным глазам, прораб долго смотрел на загадочную петлю и не менее загадочную кочку, а потом потыкал в нее пальцем и спросил почти шепотом:

— Это что?

— Мураши, — пояснил Егор.

— Какие мураши?

— Такие, это... Рыжие. Семейство, стало быть. Хозяйство у них, детишки. А в кочке, стало быть, дом.

— Дом, значит?

— Вот я, стало быть, как углядел, так и подумал...

— Подумал, значит?

Егор не уловил ставшего уже зловещим рефрена. Он был очень горд справедливо заслуженной похвалой и собственной инициативой, которая позволила в неприкосновенности сохранить муравейник, случайно попавший в колею коммунального строительства. И поэтому разъяснил с воодушевлением:

— Чего зря зорить-то? Лучше я кругом окопаю...

— А где я тебе кривые трубы возьму, об этом ты не подумал? На чьей шее я чугунные трубы согну? Не сообразил? Ах ты, растудит твою...

Про петлю вокруг муравьиной кучи прораб растрезвонил всем, кому мог, и проходу Егору не стало. Впрочем, он еще терпел по великой своей привычке к терпению, еще ласково улыбался, а Колька ходил сплошь в синяках да царапинах. Егор сразу заметил синяки эти, но сына не трогал, вздыхал только. А через неделю учительница пришла.

— Вы Егор Савельич будете?

Нечасто Егора отчеством величали, ох нечасто! А тут — пигалица, девчоночка, а уважительно.

— Знаете, ваш Коля пятый день в школу не ходит.

— Как так получается?

— Наверное, обидел его кто-то, Егор Савельич. Сначала он дрался очень, а потом пропал. Я его вчера на улице встретила, хотела расспросить, но он убежал.

— Неуважительно.

— Вы поговорите с ним, Егор Савельич. Поласковее, пожалуйста: он мальчик чуткий.

— Конечно, как водится. Спаси бог за беспокойство ваше.

Поздним вечером, когда в окнах засветились телеэкраны, Егор застал Кольку в сараюшке. Колька было прикинулся спящим, засопел почище поросенка, но отец будить его не стал, а просто сел на топчан, достал кисет и начал скручивать сигарку.

— Учителька твоя приходила давеча. Обходительный человек.

Примолк Колька. И поросенок тоже примолк.

— Ты ее не тревожь, сынок, не беспокой. У ней, поди, и без нас хлопот-то.

Повернулся Колька, сел, глаза вытаращил. Злющие глазищи, сухие.

— А я Тольке Безуглову зуб вышиб!

— Ай, ай! Что же так-то?

— А смеется.

— Ну, дык и хорошо. Плакать нехорошо. А смеяться — пусть себе.

— Так над тобой же! Над тобой!.. Как ты трубы гнул вокруг муравейника.

— Гнул, — сознался Егор. — А что чугунные-то не гнутся, об этом не додумал. Жалко, понимаешь, мурашей-то: семейство, детишки, место обжитое.

— Ну а что кроме смеху-то, что? Все равно ведь канаву спрямили — только зря ославился.

— Не то, сынок, что ославился, а то, что... — Егор вздохнул, помолчал, собирая в строй разбежавшиеся мысли. — Чем, думаешь, работа держится?

— Головой!

— И то. И головой, и руками, и сноровкой, а главное — сердцем. По сердцу она — человек горы свернет. А уж коли так-то, за ради хлебушка, то и не липнет она к рукам-то. Не дается, сынок, утекает куда-то. И руки тогда — как крюки, и голова — что пустой чугунок. И не дай тебе господь, сынок, в месте своем ошибиться. Потому место все определяет для сердца-то. А я тут, видать, не к месту пришелся: не лежит душа, топорщится. И шумно тут, и народ дерганный, и начальство все спешит куда-то, все гонит, подталкивает да покрикивает. И выходит, Коля, выходит, что я себя маленько потерял. И как найти — не удумаю, не умыслю. Никак не удумаю — вот главное. А что смеются, так пусть себе смеются в полное здравие. На людей, сынок, обижаться не надо. Последнее это дело — на людей обиду держать. Самое последнее.

Говорил он это не сыну в учение, а по совести. Сам-то он на людей обижаться не умел, обиды прощал щедро и даже на прораба того, что по поселку его ославил и от работы всенародно отстранил, никакого зла не держал. Сдал очередные казенные рукавицы и опять пошел в отдел найма.

— Ну, что мне с тобой, Полушкин, делать? — вздыхал начальник. — И тихий ты, и старательный, и непьющий, и семья опять же, а на одном месте больше двух недель не держишься... Куда тебя теперь?..

— Воля ваша, — сказал Егор. — Какое будет распоряжение.

— Распоряжение!.. — Начальник долго пыхтел, чесал в затылке. — Слушай, Полушкин, тут у нас лодочная станция на пруду открывается. Может, лодочником тебя, а? Что скажешь?

— Можно, — сказал Егор. — И грести умеем, и конопатить, и смолить. Это можно.

Прошлым летом речку под поселком запрудили. Разлилась, ложки затопила, углом к лесу подобралась — к тому, последнему, что вокруг Черного озера еще сохранился. Ожили старые вырубки, березняком закудрявились, ельником да сосенником заштитили.

лись. И уж не только свои, поселковые,— из центра туристы наезжать стали. Из самой даже вроде бы Москвы.

Вот тогда-то и сообразило местное начальство свою выгоду. Туристу, а особо столичному, что надо? Природа ему нужна. По ней он среди асфальта да многоэтажек своих бетонных с осени тосковать начинает, потому что отрезан он от земли камнем. А камень — он не просто душу холодит, он трясет ее без передыху, потому как не способен камень грохот уличный угадать. Это тебе не дерево — теплое да многотерпеливое. И грохот тот городской, шарахаясь от камней да бетона, мечется по улицам и переулкам, проползает в квартиры и мотает незащитное человеческое сердце. И уже нет этому сердцу покоя ни днем ни ночью, и только во сне видит он росные зори и прозрачные закаты. И мечтает душа человеческая о покое, как шахтер после смены о тарелке щей да куске черного хлеба.

Но чистой природой горожанина тоже не ухватишь. Во-первых, мало ее, чистой, осталось, а во-вторых, балованный он, турист-то. Он суетиться привык, поспешать куда-то, и просто так над речушкой какой от силы два часа высидит, а потом либо транзистор запустит на всю катушку, либо, не дай бог, за поллитрой потянется. А где поллитра, там и вторая, а где вторая, там и безобразия. И чтобы ничего этого не наблюдалось, надо туриста отвлечь. Надо лодку ему подсунуть, рыбалку организовать, грибы-ягоды, удобства какие нити. И две выгоды: безобразий поменьше да денег из туристского кармана в местный бюджет все же просочится, потому что за удовольствия да за удобства всякий свою копеечку выложит. Это уж не извольте сомневаться.

Все эти разъяснения Егор получил от заведующего лодочной станцией Якова Прокопыча Сазанова. Мужик был пожилой, сильно от жизни уставший — и говорил тихо, и глядел просто. Был он в прошлом бригадиром на лесоповале, да как-то оплошал: под матерую сосну угодил в полную натуру. Полгода потом по больницам валялся, пока все в нем на прежние места не вернулось. А как оклемался маленько, так и определили его сюда, на лодочную станцию.

— Какая твоя, Полушкин, будет забота? Твоя забота — это перво-наперво ремонт. Чтоб был порядок:



банки на месте, стлани годные, весла в порядке и воды чтоб в лодках не боле кружки.

— Сухо будет,— заверил Егор.— Ясно-понятно нам.

— Какая твоя вторая забота? Твоя вторая забота — пристань. Чтоб чисто было, как в избе у совестливой хозяйки.

— Это мы понимаем. Хоть ешьте с нее, с пристани-то, так сделаем.

— Есть с пристани запрещаю,— устало сказал Яков Прокопыч.— Под навесом столики сообразим и ларек без напитков. Ну, может, чай. А то потопнет кто — затаскают.

— А если свое привезут?

— Свое нас не касается: они люди вольные. Однако если два своих-то, придется отказать.

— Ага!

— Но — обходительно.— Яков Прокопыч важно поднял палец: — Обходительность — вот третья твоя забота. Турист — народ нервный, больной, можно сказать, народ. И с ним надо обходительно.

— Это уж непременно, Яков Прокопыч. Это уж будет в точности.

С заведующим разговаривать было легко: не орал, не матерился, не гнал. Разумные вещи разумным голосом говорил.

— Лодки, когда напрокат, это я отпускать буду. Но ежели перевезти на ту сторону подрядят, тогда тебе идти. Пристанешь, где велят, поможешь вещи сгрузить и отчалишь, только когда спасибо скажут.

— До спасибо, значит, ждать?

— Ну, это к примеру я, Полушкин, к примеру. Скажут: свободен, мол,— значит, отчаливай.

— Ясно-понятно.

— Главное тут — помочь людям. Ну, может, костер им сообразить или еще что. Услужить, словом.

— Ну, дык...

Яков Прокопыч посмотрел на Егора, прикинул, потом спросил:

— На моторе ходил когда?

— Ходил! — Егор очень обрадовался вопросу, потому что это выходило за рамки его плотницких навыков. Это было нечто сверх нормы, сверх обычного, и этим он гордился.— Ну, дык, ходил, Яков Прокопыч! Озера у нас в деревне неоглядные! Бывало, пошлет председатель...

— Какие знаешь?

— Ну, это... «Ветерок», значит, знаю. И «Стрелу».

— У нас «Ветерок», три штуки. Вещь ценная, понимать должен. И на мне записана. Их особо береги: давать буду лично под твою прямую ответственность. И только для перевозок в дальние концы, в ближние и на веслах достигнешь.

— На моторе хожено-езжено! Это не беспокойтесь! Это мы понимаем!

Но в моторах нужды пока не было, потому что дальний турист ныне что-то запаздывал. А ближних туристов да местную молодежь интересовали только лодки напрокат, для прогулки. Этими делами занимался сам Яков Прокопыч, а Егор с увлечением конопатил, чинил и красил обветшавший за зиму инвентарь. И уставал с удовольствием, и спал крепко, и улыбаться начал не так — не поспешно, не второпях, а с устатку...

#### 4

Теперь Колька ходил в школу аккуратно. За полчаса появлялся, раньше учительниц. И на уроках сидел степенно, а когда что-нибудь интересное рассказывали — ну, про зверей или про историю с географией, — рот разевал. Все этого момента ждали, весь класс. И как только случалось — враз замирали, и Вовка тайком от учительницы трубочку поднимал. Из бузины трубочка: напихаешь в нее шариков из промокашки, прицелишься, дунешь — точно Кольке в рот разинутый. Вот уж веселья-то!

Сколько раз Колька на это попадался — и счет потеряли. Пока помнил, крепко рот зажимал, губа к губе. А как начнет учительница про древних героев рассказывать или стихи читать — забывался. Забывался, ловил каждое слово и рот, наверное, для того и разевал, чтобы слов этих не упустить. Вот тут-то в него и стреляли. И если удачно, Оля Кузина в ладоши хлопала, а Вовка куражился:

— Снайпер я. Я в кого хочешь камнем за сто шагов попасть могу!

Оля Кузина на него широкими глазами смотрела. Только ресницы вздрагивали. Из-за таких ресниц любой бы в драку полез, а Кольке все не до того было.

— Слыхал, что Нонна Юрьевна про богатыря Илью Муромца рассказывала? Сиднем, говорит, тридцать три года сидел, а как пришли калики перехожие...

— Так ты и рот разинул! А я в него — жеванкой!

— С чернилами жеванка-то? — восторгалась Оля Кузина.

— Ты разиня, а я снайпер! Правда, Оля?

Очень важничал Вовка. А два дня назад уж так разважничался, что и про плевательную трубку свою забыл. Ходил, живот выставив:

— Папку в область вызывают. Удочку бамбуковую привезти обещался.

Федора Ипатовича провожали по-родственному — со столом да с поклонами. Пути желали счастливого, возвращения быстрого, дела удачливого. Федор Ипатович брови супонил, задумывался:

— С чего бы это приспичило им?

— А для совета, — подсказывала Харитина. — Для совета, Федор Ипатыч, для совещания с вами.

— Совещания? — Вздыхал хозяин почему-то. — М-да...

— Путь вам тележный, ямщик прилежный, кобылка поигривистой да песня позаливистой, Федор Ипатыч!

Чокался хозяин, благодарил. Но не пил, в сторону стакан отставлял, хмурился:

— И с чего бы это им вызывать меня, а?

Отбыл чин чином: и сыт, и хмелен, и ус в табаке. Недельку отсутствовал и вернулся без предупреждения: ни письма, ни телеграммы вперед не выслал. Марьяца всполошилась:

— Ахти мне, гостей за пустой стол сажать!

— Погоди, Марья. Не надо гостей.

— Как же не надо, Федя? Обычай ведь. Не нами заведено.

Крякнул Федор Ипатыч:

— Ну, зови. Черт их с обычаями...

Гостей Федор Ипатыч любил принять широко, с простором и с временем. Но и с выбором тоже: кого ни попадя за стол не сажал. Из райисполкома инструктор наведывался (рыбалку любил пуще молодой жены!), из поссовета кое-кто заглядывал. Ну, конечно, завторг, завмаг, завгар: на земле живем, не на небе. И (а куда его денешь?) свояк, Егор Полушкин с Харей своей разлюбезной.

— Будь здоров, Федор Ипатыч, с прибытием! Как ездилося-путешествовалось по областной нашей столице? Что на рынке слышно насчет вздорожания, что в кругах говорят насчет космоса?

Федор Ипатыч с ответами не спешил. Доставал чемодан заграничный, при гостях ремни расстегивал:

— Не обессудьте, примите в подарок. Не на пользу — так, для памяти.

Всех одаривал, никого не забывал. И Егору с Хариотиной перепадало: а что ты сделаешь? Даже Кольке компас подарил:

— Держи, племяш. Чтоб не блудить.

Хохотали все почему-то. А Колька от счастья светился, как ранняя звездочка: компас ведь! Настоящий — со стрелкой, с югом-севером.

«Эй, там, на руле! Четыре румба к весту! Так держать!»

«Есть так держать!»

Вот о чем компас ему рассказывал. А насчет того, чтобы не заблудиться, так Колька в лесу — как вы в своих квартирах. С какой стороны кора шершавее? Не знаете? А Колька знает, так что для леса компас ему не нужен. Он ему для путешествий очень даже нужен. Прямо позарез нужен.

«Эй, на Марсе! Не видно ли земли обетованной?»

«Не видно, капитан! Одно море бурное кругом!»

«Так держать! Будет земля впереди!»

Это он, конечно, про себя выкрикивал: зачем зря людей пугать? Не поймут — расстроятся.

А Вовка складную удочку получил, трехколенку. Хвастался:

— Навалом рыбки будет! Тебе, пап, какую поймать?

— Понавесистей! — кричали. — С подкожным жирком!

Улыбался Федор Ипатыч. Гладил сына по ершистой голове, а улыбался невесело. И когда самые важные гости ушли, не выдержал:

— Лесничий новый вызывал. Столичная штучка-дрючка. Почему, говорит, лес неустроенный? Где, говорит, акты на порубку? Где, говорит, профилактика против вредителей? А сам в карту глядит: в лесу нашем еще и не бывал. А уж грозит.

— Ай, ай! — вздыхал Егор; это ему Федор Ипатыч жаловался, потому что некому больше жаловаться

было, а хотелось.— У меня, знаешь, тоже это... Неприятности.

Но неприятности Егора мало волновали Федора Ипатыча: своих забот хватало.

— Да-а. Ну, ничего, обомнется. Жизнь, она и не с таких пух да перо берет, верно? Обомнется, мне же поклонится. Без меня тут никакому лесничему не усидеть, я все ходы-выходы да переходы знаю. И кто с кем по субботам водочкой балуется, тоже мне известно. Кто с кем пьет да как потом выглядит.

— Да, выглядит, это точно. Кто как выглядит, это правильно,— бормотал Егор.

Он выкушал два лафитничка и страдал о своем. Потому страдал, что впервые вызвал гнев усталого Якова Прокопыча и теперь очень боялся потерять тихую, уважительную, с такими мытарствами обретенную пристань.

— Я, значит, чтоб понятней было, какая где. Чтоб не искать и чтоб красиво.

— Счетов на проданный лес не поступало? — гнул свое хозяин.— Ладно, сделаем вам счета. Будут вам все счета, раз считаться хотите. А считаться начнем, не больно долго-то в кабинете своем продержитесь. Нет, недолго...

— А он говорит: в голубое, мол, пускай. А если все в голубое пустить или, скажем, все в розовое — это, что тогда получится? Это получится полное равнодушие...

— Равнодушие? — Федор Ипатыч поморгал красными глазками (перехватил маленько с огорчения-то).— Это ты верно, свояк, насчет равнодушия. Ну, я ему это равнодушие покажу. Я ему припомню равнодушие-то, я...

— Во-во,— закивал Егор.— Красота — это разве когда все одинаковое? Красота — это когда разное все! Один, скажем, синий, а другой, обратно же, розовый. А без красоты как же можно? Без красоты — как без праздника. Красота — это...

— Ты чего мелешь-то, бедоносец чертов? Какая красота? Деньги он с меня за дом требует, деньги, понятно тебе? А ты — красота! Тьфу!..

Заюлил Егор, захихикал: чего зря хозяина гневить? Но — расстроился. Сильно расстроился, потому что так и не удалось ему огорчением своим поделиться. А с огорчением спать ложиться да еще после двух

лафитничков — шапетиков во сне увидишь. Натуральных — с хвостиком, с рожками и с копытцами. Тяжелый сон: душить будут шапетики, так старые люди говорят. А они знают, что к чему. Они, поди, лафитничков-то этих за свою жизнь напринимались — с озеро Онегу. И с радости, и с огорчения.

И опять ворочался Егор в постели, опять вздыхал, опять казнил. Ох, непутевый он мужичонка, ох, бедоносец, божий недогляд!

Старался Егор на этой работе — и про перекуры забывал. Бегом бегал, как молодой. Заведующий только-только рот разинет:

— Ты, Полушкин...

— Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

И — бежал. Угадал — хорошо, не угадал — обратно бежал: за разъяснениями. Но старание было как у невесты перед будущей свекровью.

— Лодки ты хорошо проконопатил, Полушкин. И засмолил хорошо, хвалю... Стой, куда ты?

— Я, это...

— Дослушай сперва, потом побежишь. Теперь лодки эти следует привести в праздничную внешность. В голубой цвет. А весла — лопасти только, понял? — в красный: чтоб издаля видно было, ежели кто упустил. А на носу у каждой лодки номер напишешь. Номер — черной краской, как положено. Вот тебе краски, вот тебе кисти и вот тебе бумажка с номерами. Срисуюсь один номер — зачеркни его, чтобы не спутаться. Другой срисуюсь — другой зачеркни. Понял, Полушкин?

— Понял, Яков Прокопыч. Как тут не понять?

Схватил банки — только пятки засверкали. Потому засверкали, что сапоги Егор берег и ходил в них от дома до пристани да обратно. А на работе босиком поспешал. Босиком и удобства больше, и выходит спорее, и сапоги зря не снашиваются.

Три дня лодки в голубой колер приводил. Какие там восемь часов — пока работалось, не уходил. Уж Яков Прокопыч все хозяйство свое пересчитает, замки повесит, оглядит все, домой соберется, а Егор всю еще старается.

— Закругляйся, Полушкин.

— Счас я, счас, Яков Прокопыч.

— Пятый час время-то. Пора.

— А вы ступайте, Яков Прокопыч, ступайте себе.

За краску и кисточки не беспокойтесь: я их домой отнесу.

— Ну, как знаешь, Полушкин.

— До свидания, Яков Прокопыч! Счастливого пути и семейству поклон.

Даже не поворачивался, чтоб время зря не терять. В два слоя краску накладывал, сопел, язык высывал — от удовольствия. Пока лодки сохли, за весла принимался. Здесь особо старался: красный цвет поспешаловки не любит. Переборщишь — в холод уйдет, в густоту; недоборщишь — в розовый ударится. А цвет Егор чувствовал: и малярить приходилось, и нутро у него на цвета настроено было особо, от купели, что называется. И так он его пробовал и этак — и вышло, как хотел. Горели лопасти-то у весел, далеко их было видеть.

А вот как за номера взялся, как расписал первых-то два (№ 7 и № 9 — по записочке), так и рука у него провисла. Скучно — черное на голубом. Номер — он ведь номер и есть, и ничего за ним больше не проглядывает. Арифметика одна. А на небесной сини арифметика — это ж расстроиться можно, настроение потерять. А человек ведь с настроением лодку-то эту брать будет — для отдыха, для удовольствия. А ему — номер девять, черным по голубому. Как на доме — сразу про тещу вспомнишь. И от праздничка в душе — пар один.

И тут Егора словно вдруг ударило. Ясность вдруг в голову пришла, такая ясность, что он враз кисть бросил и забегал вокруг своих лодок. И так радостно ему вдруг сделалось, что от радости этой — незнакомой, волнующей — вроде затрясло его даже, и он все никак за кисть взяться не мог. Словно вдруг испугался чего-то, но хорошо как-то испугался, весело.

Конечно, посоветоваться сперва следовало — это он потом сообразил. Но посоветоваться тогда было не с кем, так как Яков Прокопыч уже подался восвояси, и поэтому Егор, покулив и не успокоившись, взял кисть и для начала закрасил на лодках старательно выписанные черные номера «7» и «9». А потом, глубоко вздохнув, вновь отложил кисть и разыскал в кармане огрызок плотницкого карандаша.

В тот раз он до глубокой ночи работал, благо ночи светлые. Благоверная его уж за ворота пять раз выбегала, уж голосить пробовала для тренировки: не утопи, часом, муженек-то? Но Егор, пока задуманного

не совершил, пока кисти не вымыл, пока не прибрался да пока вдосталь не налюбовался на дело рук своих, домой не спешил.

— Господи где ж носило-то тебя окаянного с кем гулял-блуждал ночью темною изверг рода ты непотребного...

— Работал, Тина,— спокойно и важно сказал Егор.— Не шуми: полезную вещь сделал. Будет завтра радость Якову Прокопычу.

Чуть заря занялась — на пристань прибежал: не спалось ему, не терпелось. Еще раз полюбовался на труд свой художественный и с огромным, радостным нетерпением стал ожидать прихода заведующего.

— Вот! — сказал вместо «здравствуйте». — Глядите, что удумал.

Яков Прокопыч глядел долго. Основательно глядел, без улыбки. А Егор улыбался от уха до уха, аж скулы ломило.

— Так,— уронил наконец Яков Прокопыч.— Это как понимать надо?

— Оживление,— пояснил Егор.— Номер — он что такое? Арифметика он голая. Черное на голубом — издалека-то и не разберешь. Скажем, велели вы седьмой номер выдать. Ладно-хорошо: ищи, где он, седьмой-то этот. А тут — картинка на носу: гусенок. Человек сразу гусенка углядит.

Вместо казенных черных номеров на небесной сини лодок были ярко намалеваны птицы, цветы и звери: гусенок, щенок, георгин, цыпленок. Егор выписал их броско, мало заботясь о реализме, но передав в каждом рисунке безошибочную точность деталей: у щенка — вислые уши и лапа; у георгина — упругость стебля, согнутого тяжелым цветком; у гусенка — веселый разинутый клюв.

— Вот и радостно всем станет,— живо продолжал Егор.— Я — на цыпленке, а ты, скажем, на поросенке. Ну-ка, догоняй! Соревнование.

— Соревнование? — переспросил озадаченный Яков Прокопыч.— Гусенка с поросенком? Так. Дело. Ну а если перевернется кто, не дай бог? Если лодку угонят, тоже не дай бог? Если ветром унесет ее (твоя вина будет, между прочим)? Что я, интересное дело, милиции сообщать буду? Спасайте цыпленка? Ищите поросенка? Георгинчик сперли? Что?!

— Дык, это...



— Дык это закрасить к едреной бабушке! Закрасить всех этих гусенков-поросенков, чтобы и под рентгеном не просвечивали! Закрасить сей же момент, написать номера, согласно порядку, и чтоб без самовольности! Тут тебе не детский сад, понимаешь ли, тут тебе очаг культуры — его из райкома посетить могут. Могу я секретаря райкома на георгин посадить, а? Могу?.. Что они про твоих гусенков-поросенков скажут, а? Не знаешь? А я знаю: абстракт. Абстракт они скажут, Полушкин.

— Чего скажут?

— Не доводи меня до крайности, Полушкин, — очень проникновенно сказал Яков Прокопыч. — Не доводи. Я, Полушкин, сосной контуженный, у меня справка есть. Как вот дам сейчас веслом по башке...

Ушел Егор. Скучно и долго закрашивал произведения рук своих и сердца, вздыхал. А упрямые гусятки-поросята вновь вылезали из-под слоя просохшей краски, и Егор опять брал кисть и опять закрашивал зверушек, веселых, как в сказках. А потом холодно и старательно рисовал черные номера. По бумажке.

— Опасный ты человек, Полушкин, — со вздохом сказал Яков Прокопыч, когда Егор доложил, что все сделано.

Яков Прокопыч пил чай из термоса. На термосе были нарисованы смешные пузатые рыбы с петушиными хвостами. Егор глядел на них, переступая босыми ногами.

— Предупреждали меня, — продолжал заведующий. — Все прорабы предупреждали. Говорили: шепутой ты мужик, с фантазиями. Однако не верил.

Егор тихо вздыхал, но о прощении помалкивал. Чувствовал, что должен бы попросить — для спокойствия дальнейшей жизни, — что ждет этого Яков Прокопыч, но не мог. Себя заставить не мог, потому что очень был сейчас не согласен с начальником. А с термосом — согласен.

— Жить надо как положено, Полушкин. Велено то-то — делай то-то. А то, если все начнут фантазировать... знаешь, что будет?

— Что? — спросил Егор.

Яков Прокопыч дожеввал хлебушко, допил чай. Сказал значительно:

— Про то даже думать нельзя, что тогда будет.

— А космос? — спросил вдруг Егор (и с чего это

понесло его?).— Про него сперва фантазии были — я по радио слышал. А теперь...

— А мат ты слышал?

— Приходилось,— вздохнул Егор.

— А что это такое? Мат есть брань нецензурная, понял? А еще есть — цензурная. Так? Вот и фантазии тоже: есть цензурные, а есть нецензурные. У тебя — нецензурная.

— Это поросенок-то с гусенком нецензурные? — усомнился Егор.

— Я же в общем смысле, Полушкин. В большом масштабе.

— В большом масштабе они гусем да свиньей будут.

— А гусь свинье не товарищ!..— затрясся вдруг Яков Прокопыч.— И марш с глаз моих, покуда я тебя лично нецензурной фантазией не покрыл!..

Вот аккуратно после этого разговора Федор Ипатыч-то и прибыл, и встречали его тогда всем миром с возвращеньцем. Вот почему и завздыхал-то Егор всего с двух лафитничков, заскучал, заопасался.

Но опасаться, как вскорости выяснилось, было еще преждевременно. Усталый Яков Прокопыч зла в сердце не держал, как выкричался, а вскоре и вообще позабыл об этом происшествии. И снова радостно заулыбался Егор, снова забегал, сверкая голыми пятками.

— Ясно-понятно нам, Яков Прокопыч!

С другой стороны беда подкрадывалась. Тяжелая беда, что туча на Ильин день. Но про беду собственную человеку вперед знать не дано, и потому бьет она всегда из-за угла. И потом только вздыхать остается да в затылке почесывать:

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!..

## 5

Водка во всем виновата оказалась. Впрочем, не водка даже, а так, не поймешь что. Невезуха, одним словом.

Вообще-то Егор пил мало: и денег сроду у него не водилось, и вкуса он к ней особого не чувствовал. Нет, не отказывался, конечно, упаси бог: на это ума хватало. Но не предлагали, правда, чести не оказывали. Разве что свояк Федор Ипатыч угощал. По случаю.

Случаев было мало, но пьянел Егор быстро. То ли струна басовая в нем не настроена была, то ли болезнь какая внутренняя, то ли просто слаб был, картошечку капусткой который год заедая. И Егор хмелел быстро, и Харитина от него тоже не отставала: с полрюмочки маковым цветом цвела, а с рюмочки уж и на песню ее потягивало. Песен-то она знала великое множество, но с водочки, бывало, только припевки пела. И не припевки даже, а припевку. Одну-единственную, но печальную:

Ох, тягры-тягры-тягры.  
Ох, тягры да вытягры!  
Кто б меня, младу-младену,  
Да из горя б вытягнул...

Так, стало быть, хмель ее направлял — в печальную сторону. Хмель, он ведь кому куда кидается: кому — в голос, кому — в кулак, кому — в сердце, кому — в голову, а Егору — в ноги. Не держали они его, гнулись во всех направлениях и путались так, будто не две их у него, а штук восемь, как у рака. На Егора это обстоятельство действовало всегда одинаково: он очень веселился и очень всех любил. Впрочем, он всегда очень всех любил. Даже в трезвом состоянии.

В тот день с утра раннего первый турист припожаловал: трое мужиков да с ними две бабеночки. Изда-лека, видать, пожаловали: мешков у них было навалом. И сами не по-местному выглядели: мужики сплошь без кепок и в штанах с заклепками, а бабенки их, наоборот: в белых кепках. И в таких же штанах, только в облипочку. В такую облипочку, что Егор все время на них косился. Как забудется маленько, так и косится: было, значит, на что коситься.

— Доброго здравия, гости дорогие. — Яков Прокопыч пел — не говорил. И кепку снял уважительно. — Откуда это будете, любопытно узнать?

— Отсюда не видно, — ответили. — На ту сторону перевезете?

— На ту сторону можно. — Яков Прокопыч и кепку надел, и улыбку спрятал. — Перевезем, согласно тарифу на лодке с мотором. Прошу оплатить проезд в оба конца.

— А почему же в оба?

— Лодка вас, куда потребуется, доставит, а обратно порожняком пойдет.

— Справедливо, — сказал второй и за кошельком полез.

Егор этих мужиков по мастям сразу распределил: сивый, лысый да плешивый. И бабенок соответствен: рыжая и пегая. Они в дело не встrevали: разговоры сивый с плешивым вели. А лысый окрестностями любовался.

— Как, — спросил, — рыбка ловится у вас?

Бабенки возле мешков своих щебетали, а Колька рядом вертелся. В школе занятия кончились, так он иногда сюда заглядывал, отцу помогал. Бабенки на него внимания не обращали, потому что кружил он в отдалении, но когда рыжая из мешка бинокль (настоящий бинокль-то!) вытащила, его вмиг подтянуло. Точно лебедкой.

— Ах, какой мальчуган славный! — сказала пегая. — Тебя как зовут, мальчик?

— Колькой, — охрип вдруг Колька — басом представился.

— А грибы у вас растут, Коля?

— Рано еще грибам, — прохрипел Колька. — Сыроеги прут кой-где, а масляткам слой не вышел.

— Что не вышло масляткам? — Рыжая даже бинокль опустила.

— Слой им не вышел, — пояснил Колька, и ноги его сами собой шаг к этому биноклю совершили. — Грибы слоями идут: сперва маслятки, потом — серяки, за ними — красноголовик с боровиком пойдут. Ну а следом настоящему грибу слой: груздям и волнухам.

— Слой — это когда много их, да?

— Много. Тогда и берут. А так — баловство одно.

И еще шаг к биноклю сделал, почти что животом в него уперся. И глядеть никуда не мог, только на бинокль. Настоящий ведь бинокль, товарищи милые!

— Хочешь посмотреть?

Колька «да» хотел сказать, рот разинул, а вместо «да» бульканье какое-то произошло. Непонятное бульканье, но рыжая бинокль все-таки протянула:

— Только не урони.

— Не-а.

Пока тятка мотор получал да наставления от Якова Прокопыча выслушивал, Колька в бинокль смотрел. Если в маленькие окошечки глядеть — большое все видится. А если в большие окошечки, то все, на-

оборот, маленькое. Непонятно совершенно: должно же большое, если в большое, и маленькое, если в маленькое, правда? А тут все не так. Не так, как положено. И это обстоятельство Кольку куда больше занимало, чем прямое назначение бинокля, он все время вертел его и глядел на ворону с разных концов.

— Зачем же ты его вертишь? — спросила рыжая. — Смотреть надо в окуляры, вот сюда.

— Я знаю, — тихо сказал Колька.

— А для чего же вертишь?

— Так, — застеснялся Колька. — Интересно.

— Сынок! — позвал Егор. — Подсоби-ка мне тут, сынок.

Сунул Колька бинокль в руки рыжей, хотел «спасибо» сказать, но из глотки опять сип какой-то вылез, и пришлось убежать без благодарности. А пегая сказала:

— Туземец.

— Оставь, — лениво отмахнулась рыжая. — Обычный плохо воспитанный ребенок.

Под недреманным оком Якова Прокопыча Егор нацепил «Ветерок» на корму «девятки» (бывший «Утенок» — пузатенький, важный, Егор про это помнил), установил бачок с горючим. Колька весла приволок, уключины, черпачок — все, что положено.

— Все ладно-хорошо, Яков Прокопыч, — доложил Егор.

— Опробуй сперва, — сказал заведующий и пояснил туристам: — Первая моторная навигация, можно сказать. Чтоб ошибок не было.

— Нельзя ли поживее повернуть весь этот ритуал? — ворчливо поинтересовался лысый.

— Так положено, граждане туристы: техника безопасности. Давай, Полушкин, отгребайся.

Про технику безопасности Яков Прокопыч с ходу выдумал, потому что правил таких не было. Он про свою безопасность беспокоился.

— Заведи, Полушкин, мотор на моих глазах. Кружок сделай и обратно пристань, где я нахожусь.

— Ясно-понятно нам.

Колька на веслах отгреб от причала. Егор поколдовал с мотором, посовал в него пальцы и завел с одного рывка. Прогрел на холостых оборотах, ловко включил винт, совершил для успокоения заведующего несколь-

ко кругов и без стука причалил. Хорошо причалил: на глаз прикинул, где обороты снять, как скорость погасить. И — заулыбался:

— В тютельку, Яков Прокопыч!

— Умеешь, — сказал заведующий. — Разрешаю грузиться.

Егор с сыном на пристань выскочили, быстренько мешки погрузили. Потом туристы расселись, Колька — он на носу устроился — от пристани оттолкнулся, Егор опять завел «Ветерок», и лодка ходко побежала к дальнему лесистому берегу.

О чем там в пути туристы толковали, ни Егор, ни тем более Колька не слышали. Егор — за моторным грохотом, а Колька потому, что на носу сидел, видел, как волны разбегаются, как медленно, словно с неохотой, разворачиваются к нему другой стороной: дальние берега. И Кольке было уже не до туристов: вперёдсмотрящим он себя чувствовал и только жалел, что, во-первых, компас дома остался, а во-вторых, что рыжая тетенька дала ему поглядеть в бинокль преждевременно. Сейчас бы ему этот бинокль!

А туристы калякали о том, что водохранилище новое и рыбы тут особой быть не может. До Егора иногда долетали их слова, но значения им он не придавал, всецело поглощенный ответственным заданием. Да и какое было ему дело до чужих людей, сбежавших в тишину и покой на считанные денечки! Он свое дело знал: доставить, куда прикажут, помочь устроиться и отчалить, только когда отпустят.

— К обрывчику! — распорядился сивый. — Произведем небольшую разведочку.

Разведочку производили в трех местах, пока наконец и рыжая и пегая не согласовали своих пожеланий. Тогда приказали выгружаться, и Егор с сыном помогли туристам перетащить пожитки на облюбованное под лагерь место.

Это была веселая полянка, прикрытая разросшимся ельничком. Здесь туристы быстро поставили просторную ярко-желтую палатку на алюминиевых опорах, с пологом и навесом, поручили Егору приготовить место для костра, а Кольке позволили надуть резиновые матрасы. Колька с восторгом надувал их, краснея от натуги и очень стараясь, чтобы все было ладно. А Егор, получив от плешивого топорик, ушел в лесок нарубить сушняка.

— Прекрасное место! — щебетала пегая. — Божественный воздух!

— С рыбалкой тут, по-моему, прокол, — сказал си-  
вый. — Эй, малец, как тут насчет рыбки.

— Ерши, — сказал Колька, задыхаясь (он аккурат  
дул четвертый матрас).

— Ерши — в уху хороши. А путная рыба есть?

— Не-а.

Рыба, может, и была, но Колька по малости лет  
и отсутствию снасти специализировался в основном на  
ершах. Кроме того, он был целиком поглощен процес-  
сом надувания и беседе вести не решался.

— Сам-то ловишь? — поинтересовался лысый.

— Не-а.

Колька отвечал односложно, потому что для ответа  
приходилось отрываться от дутья и воздух немедлен-  
но утекал из матраса. Он изо всех сил зажимал дыр-  
ку пальцами, но резина в этом месте была толстой, и  
сил у Кольки не хватало.

— А батька-то твой ловит?

— Не-а.

— Чего же так?

— Не-а.

— Содержательный разговор, — вздохнула пегая. —  
Я же сказала: типичный туземец.

— Молодец, Коля, — похвалила вдруг рыжая. —  
Ты очень хорошо надуваешь матрасы. Не устал?

— Не-а.

Колька не очень понял, почему он «типичный тузе-  
мец», но подозревал обидное. Однако не расстраивал-  
ся: и некогда было, и рыжая тетенька уж очень  
вовремя похвалила его. А за похвалу Колька готов  
был не пять — пятьдесят пять матрасов надуть без  
отдыха.

Но уже к пятому матрасу Колька настолько от  
стараний уморился, что в голове гудело, как в пустом  
чугунке. Он сопел, краснел, задыхался, но дутья это-  
го не прекращал: дело следовало закончить, да и не  
каждый день матрасы-то надувать приходится. Это  
ведь тоже ценить надо: матрас-то — для путешествий.  
И от всего этого он очень пыхтел и уже не слышал, о  
чем говорят эти туристы. А когда осилил последний,  
заткнул дырочку пробкой и маленько отдышался —  
тятяка его из ельника выломился. Ель сухую на дрова  
приволок и сказал:

— Местечко-то мы не очень-то ласковое выбрали, граждане милые. Муравейник тут за ельничком — беспокоить мураши-то будут. Надо бы перебраться куда.

— А большой муравейник-то? — спросил сивый

— А с погреб, — сказал Егор. — Крепкое семейство, хозяйственное.

— Как интересно! — сказала рыжая. — Покажите, пожалуйста, где он.

— Это можно, — сказал Егор.

Все пошли муравейник смотреть, и Колька тоже: на ходу отдышаться куда как легче. Только за первые елочки заглянули: гора. Что там погреб — с добрую баньку. Метра два с гаком.

— Небоскреб! — сказал плешивый. — Чудо природы.

Муравьев кругом бегало — не счесть. Крупные муравьи — черноголовики. Такой тяпнет — сразу подскочишь, и Колька (босиком ведь) на всякий случай подальше держался.

— Вот какое беспокойство вам будет, — сказал Егор. — А там подальше чуть — еще поляночка имеется, я наглядел. Давайте пособию с пожитками-то: и вам покойно, и им привычно.

— Для ревматизма они полезные, муравьи-то, — задумчиво сказал плешивый. — Вот если у кого ревматизм...

— Ой! — взвилась пегая. — Кусаются, проклятые!..

— Дух чуют, — сказал Егор. — Они мужики самостоятельные.

— Да, — вздохнул лысый. — Неприятное соседство. Обидно.

— Чепуха! — Сивый махнул рукой: — Покорим! Тебя как звать-то, Егором? Одолжи-ка нам бензинчику, Егор. Банка есть?

Не сообразил Егор, зачем бензинчик-то понадобился, но принес: банка нашлась. Принес, подал сивому:

— Вот.

— Молоток мужик, — сказал сивый. — Учтем твою сообразительность. А ну-ка отойдите подальше.

И плеснул всю банку на муравейник. Плеснул, чиркнул спичкой — ракетой взвилось пламя. Завыло, загудело, вмиг обняв весь огромный муравьиный дом.

Заметались черноголовики, скрючиваясь от невыносимого жара, затрещала сухая хвоя, даже старая ель, десятки лет прикрывавшая лапами муравьиное



государство, качнулась и затрепетала от взмывшего в поднебесье раскаленного воздуха.

А Егор с Колькой молча стояли рядом. Загораживаясь от жара руками, глядели, как корчились, сгорая, муравьи, как упорно не разбегались они, а, наоборот, презирая смерть, упрямо лезли и лезли в самое пекло в тщетной надежде спасти хоть одну личинку. Смотрели, как тает на глазах гигантское сооружение, терпеливый труд миллионов крохотных существ, как завивается от жара хвоя на старой ели и как со всех сторон бегут к костру тысячи муравьев, отважно бросаясь в огонь.

— Фейерверк! — восхитилась пегая. — Салют победы!

— Вот и все дела, — усмехнулся сивый. — Человек — царь природы. Верно, малец?

— Царь?.. — растерянно переспросил Колька.

— Царь, малец. Покоритель и завоеватель.

Муравейник догорал, оседая серым, мертвым пеплом. Лысый пошевелил его палкой, огонь вспыхнул еще раз, и все было кончено. Не успевшее погибнуть население растерянно металось вокруг пожара.

— Отвоевали место под солнцем, — пояснил лысый. — Теперь никто нам не помешает, никто нас не беспокоит.

— Надо бы отпраздновать победку-то, — сказал плешистый. — Сообразите что-нибудь по-быстрому, девочки.

— Верно, — поддержал сивый. — Мужика надо угостить.

— И муравьев помянуть! — захохотал лысый.

И все пошли к лагерю.

Сзади плелся потерянный Егор, неся пустую банку, в которой с такой готовностью сам же принес бензин. Колька заглядывал ему в глаза, а он избегал этого взгляда, отворачивался, и Колька спросил шепотом:

— Как же так, тятка? Ведь живые же они...

— Да вот, — вздохнул Егор. — Стало быть, так, сынок, раз оно не этак...

На душе у него было смутно, и он хотел бы тотчас же уехать, но ехать пока не велели. Молча готовил место для костра, вырезал рогульки, а когда закончил, бабенки клеенку расстелили и расставили закуски.

— Идите, — позвали. — Перекусим на скорую руку.

— Да мы... это... Не надо нам.

— Всякая работа расчета требует, — сказал сивый. — Мальцу — колбаски, например. Хочешь колбаски, малец?

Против колбаски Колька устоять не мог: не часто он видел ее, колбаску-то эту. И пошел к накрытой клеенке раньше отца: тот еще вздыхал да хмурился. А потом поглядел на Кольку и тихо сказал:

— Ты бы руки сполоснул, сынок. Грязные руки-то, поди.

Колька быстренько руки вымыл, получил булку с колбасой, наслаждался, а в глазах мураши бегали. Суетливые, растерянные, отважные. Бегали, корчились, падали, и брюшки у них лопались от страшного жара.

И Егор этих мурашей видел. Даже глаза тер, чтоб забылись они, чтоб из памяти выскочили, а они — копошились. И муторно было на душе у него, и делать ничего не хотелось, и к застолью этому садиться тоже не хотелось. Но подсел, когда еще раз позвали. Молча подсел, хоть и полагалось слова добрые людям за приглашение сказать. Молча подсел и молча принял от сивого эмалированную кружку.

— Пей, Егор. С устатку-то употребляешь — по глазам видно. Употребляешь ведь, а?

— Дык, это... Когда случается.

— Считай, что случилось.

— Ну, чтоб жилось вам тут, значит. Чтоб отдыхалось.

Не лезли слова из него, никак не лезли. Черно на душе-то было, и опрокинул он эту кружку, никого не дожидаясь.

— Вот это по-русски! — удивился плешивый.

Сроду Егор такую порцию в себя не вливал. Да и пить-то пришлось что-то куда как водки позабористее: враз голову закружило, и все муравьи куда-то из нее подевались. И мужики эти показались ему такими своими, такими добрыми да приветливыми, что Егор и стесняться перестал, и заулыбался от уха до уха, и разговорился вдруг:

— Тут у нас природа кругом. Да. Это у нас тут — пожалуйста, отдыхайте. Тишина, опять же спокой. А человеку что надобно? Спокой ему надобен. Всякая животи́на, всякая муравья́тина, всякая елка-березонька — все по покою своему тоскуют. Вот и мураши, обратнo же, они, это... Тоже.

— Философ ты, Егор, — хохотал сивый. — Давай излагай программу!

— Ты погоди, мил человек, погоди. Я чего хочу сказать? Я хочу, этого...

— Спирту ты хочешь!

— Да погоди, мил человек...

Когда Егор выкушивал такую порцию, он всех величал одинаково: «мил человек». Это, так сказать, на первом этапе. А на втором теплел — «мил дружок» обращался. Моргал ласковыми глазками, улыбался, любил всех бесконечно, жалел почему-то и все пытался хорошее что-то сказать, людей порадовать. Но мысли путались, суетились, как те черноголовики, а слов ему сроду не хватало — видно, при рождении обделили. А уж когда вторую-то кружечку опрокинул — и совсем затуманился.

— Страдает человек. Сильно страдает, мил дружки вы мои хорошие. А почему? Потому сиротиночки мы: с землей-матушкой в разладе, с лесом-батушкой в ссоре, с речкой-сестричкой в разлуке горькой. И стоять не на чем, и прислониться не к чему, и освежиться нечем. А вам, мил дружки мои хорошие, особо. Особо вы страдаете, и небо над вами серое. А у нас — голубое. А можно разве черным по голубому-то, а? По сини небесной — номера? Не-ет, мил дружок, нехорошо это: арифметикой по небу. Оно для другого дадено, оно для красоты, для продыху душе дадено. Вот!

— Да ты поэт, мужик. Сказитель!

— Ты погоди, мил дружок, погоди. Я чего хочу сказать-то? Я хочу, чтоб ласково всем было, вот. Чтоб солнышка всем теплого вдосталь, чтоб дождичка мягкого в радость, чтоб травки-муравки в удовольствие полное. Чтоб радости, радости чтоб поболе, мил дружки вы мои хорошие! Для радости да для веселия души человек труд свой производить должен.

— Ты лучше спляши нам для веселья-то. Ну?.. Ай люли, ай люли! «Светит месяц, светит ясный...»

— Не надо! — крикнула было рыжая. — Он же на ногах не стоит, что вы!

— Кто не стоит? Егор не стоит? Да Егор у нас — молсток!

— Давай, Егорушка! Ты нас уважаешь?

— Уважаю, хорошие вы мои!

— Не надо, тятка!

— Надо, Колюшка. Уважить надо. И — радостно.

Всем — радостно! А что мурашей вы пожгли, то бог с вами. Бог с вами, мил дружки мои хорошие!

Захлопал плешивый:

— «Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягодка малинка, малинка моя!..» Шевелись, Егор!

Пели, в ладоши хлопали, только сынок да рыжая смотрели сердито, но Егор их сейчас не видел. Он видел неуловимые, расплывающиеся лица, и ему казалось, что лица эти расплываются в счастливых улыбках.

— Эх, мил дружки вы мои хорошие! Да чтоб я вас не уважил?..

Три раза вставал — и падал. Падал, хохотал до слез, веселился, и все хохотали и веселились. Кое-как поднялся, нелепо затоптался по поляне, размахивая не в лад руками. А ноги путались и гнулись, и он все совался куда-то не туда, куда хотел. Туристы хохотали на все лады, кто-то уже плясал вместе с ним, а рыжая обняла Кольку и конфетами угощала.

— Ничего, Коля, ничего. Это сейчас пройдет у него, это так, временно.

Не брал Колька конфет. И смотрел сквозь слезы. Злые слезы были, жгучие.

— Давай, Егор, наяривай! — орал сивый. — Хорошо гуляем!

— Ах, мил дружок, да для тебя...

Кривлялся Егор, падал — и хохотал. От всей души хохотал, от всего сердца: весело ему было, очень даже весело.

— Ай люли, ай люли! Два притопа, три прихлопа!..

— Не надо!.. — закричал, затрясся вдруг Колька, вырвавшись из рук рыжей. — Перестань, тятка, перестань!

— погоди, сынок, погоди. Праздник ведь какой! Людей хороших встретили. Замечательных даже людей!

И опять старался: дрыгался, дергался, падал, поднимался.

— Тятка, перестань!.. — сквозь слезы кричал Колька и тащил отца с поляны. — Перестань же!..

— Не мешай гулять, малец! Давай, давай отсюда.

— Шевели ногой, Егор! Хорошо гуляем!

— Злые вы! — кричал Колька. — Злые, гадкие! Вы нас, как мурашей тех, да? Как мурашей?..

— Егор, а сынок-то оскорбляет нас. Нехорошо.

— Покажи отцовскую власть, Егор!

— Как не стыдно! — кричала рыжая. — Он же не соображает сейчас ничего, он же пьяный, как же можно так?

Никто ее не слушал — веселились. Орали, плясали, свистели, топали, хлопали. Колька, плача навзрыд, все волок куда-то отца, а тот падал, упирался.

— Да дай ты ему леща, Егор! Мал еще старшим указывать.

— Мал ты еще старшим указывать... — бормотал Егор, отталкивая Кольку. — Ступай отсюда. Домой ступай, берегом.

— Тятка-а!..

— Ы-ых!..

Размахнулся Егор, ударил. Первый раз в жизни сына ударил и сам испугался — обмер вроде. И все вдруг замолчали. И пляска закончилась. А Колька вдруг перестал плакать, словно выключили его. Молча поднялся, отер лицо рукавом, поглядел в мутные отцовские глаза и пошел.

— Коля! Коля, вернись! — закричала рыжая.

Не обернулся Колька. Шел вдоль берега сквозь кусты и слезы. Так и скрылся.

На поляне стало тихо и неуютно. Егор покачивался, икал, тупо глядя в землю. Остальные молчали.

— Стыдно! — громко сказала рыжая. — Очень стыдно!

И ушла в палатку. И все засовестились вдруг, глаза начали прятать. Сивый вздохнул:

— Перебор. Давай, мужик, отваливай. Держи трояк, садись в свое корыто — и с океанским приветом.

Зажав в кулаке трешку, Егор, шатаясь, побрел к берегу. Все молча глядели, как летел он с обрыва, как брел по воде к лодке, как долго и безуспешно пытался влезть в нее. Пегая сказала брезгливо:

— Алкоголик.

Егор с трудом взобрался в лодку, кое-как, путаясь в веслах, отгреб от берега. Поднялся, качаясь, на ноги, опустил в воду мотор, с силой дернул за пусковой шнур и, потеряв равновесие, полетел через борт в воду.

— Утонет!.. — взвизгнула пегая.

Егор вынырнул: ему было по грудь. Со лба свисали осклизлые космы тины. Уцепился за борт, пытаясь влезть.

— Не утонет, — сказал сивый. — Тут мелко.

— Эй, мужик, ты бы лучше на веслах! — крикнул лысый. — Мотор не трогай, на веслах иди!

— Утенок! — вдруг весело отозвался Егор. — Утеночек это мой! Соревнование утенка с поросенком!

Борт был высок, и, для того чтобы влезть, Егор изо всех сил раскачивал лодку. Раскачав, навалился, но лодка вдруг кувырнулась из-под него, перевернувшись килем вверх. По мутной воде плыли веселые весла. Егор опять скрылся под водой, опять вынырнул, отфыркиваясь, как лошадь. И, уже не пытаясь переворачивать лодку, нащупал в воде веревку и побрел вдоль берега, таща лодку за собой.

— Эй, может, помочь? — окликнул лысый.

Егор не отозвался. Молча пер по грудь в воде, весь в тине, как водяной. Оступался, падал, снова вставал, мотая головой и отплевываясь. Но веревку не отпускал, и перевернутая килем вверх лодка тяжело волочилась сзади.

А мотора на корме не было. Ни мотора, ни бачка с бензином, ни уключин — все ушло на дно. Но Егор не оглядывался и ничего сейчас не соображал. Просто болок лодку вокруг всего водохранилища в хозяйство усталого Якова Прокопыча.

## 6

«Где дурак потерял, там умный нашел» — так-то старики говаривали. И они многое знали, потому как дураков на их веку было нисколько не меньше, чем на нашем.

Федор Ипатыч в большой озабоченности дни проживал. Дело не в деньгах было — деньги имелись. Дело было в том, что не мог разумный человек с деньгами своими добровольно расстаться. Вот так вот, за здорово живешь, выложить их на стол, под чужую руку. Невыносимая для Федора Ипатыча это была задача.

А решать ее приходилось, невыносимую-то. Приходилось, потому что новый лесничий (вежливый, язвиг его!), так новый лесничий этот при первом же знакомстве отчеты полистал, справочки просмотрел и спросил:

— Во сколько же вам дом обошелся, товарищ Бурьянов?

— Дом? — Дошлый был мужик Федор-то Ипатыч: сразу смикитил, куда щеголь этот городской оглоблю

гнет.— А прежний за него отдал. Новый мне свой ставил, так я ему за это прежний свой уступил. Все честь по чести — могу заявление заверенное...

— Я не о строительстве спрашиваю. Я спрашиваю: сколько стоит лес, из которого выстроен ваш новый дом? Кто давал разрешение на порубку в охранной зоне и где это разрешение? Где счета, ведомости, справки?

— Так ведь не все сочтешь, Юрий Петрович. Дело наше лесное.

— Дело ваше уголовное, Бурьянов.

С тем и расстались, с веселым разговором. Правда, срок лесничий установил: две недели. Через две недели просил все в ажур привести, не то...

— Не то хана, Марья. Засудит.

— Ахти нам, Феденька!

— Считаться хотите? Ладно, посчитаемся!

Деньги-то имелись, да расстаться с ними сил не было. Главное, дом-то уже стоял. Стоял дом — картинка, с петухом на крыше. И задним числом за него деньгу гнать — это ж обидно до невозможности.

Поднажал Ипатыч. Пару сотен за дровишки выручил. Из того же леса, вестимо: пока лесничий в городе в карту глядел, лыко драть можно было. Грех лыко не драть, когда на лапти спрос. Но разворачиваться вовсю все же опасался: о том, что лесничий строг, и до поселка слух дополз. В другие возможности кинулся. И сам искал, и сына натаскивал:

— Нюхай, Вовка, откуда рублем тянет.

Вовка и унюхал. Невелика, правда, пожива: три десяточки всего за совет, разрешение да перевозку. Но и три десяточки — тоже деньги.

Тридцатку эту Федор Ипатыч с туристов содрал. Заскучали они на водохранилище тем же вечером: рыба не брала. Вовка первым про то дознался (братика искать послали, да до братика ли тут, когда рублем веет!), дознался и отцу доложил. Тот прибыл немедленно, с мужиками за руку поздоровался, папироску у костра выкурил, насчет клева посокрушался и сказал:

— Есть одно местечко: и рыбно, и грибно, и ягодно. Но запретное. Потому-то и щуки там — во!

Долго цену набивал, отнекивался да отказывался. А как стемнело, лично служебную кобылу пригнал и перебросил туристов за десять километров на берег Черного озера. Там и вправду пока еще клевало, и клев

этот обошелся туристам ровнехонько в тридцаточку. Умел жить Федор Ипатыч, ничего не скажешь!

Вот потому-то Егор, через два дня опамятававшись и в соображение войдя, припомнил, где был, но туристов тех на месте не обнаружил. Кострище обнаружил, банки пустые обнаружил да личную скорлупу.

А туристы сгнули. Как сквозь землю.

И мотор тоже сгинул. Хороший мотор, новый — «Ветерок», восемь сил лошадиных да одна Егорова. И мотор сгинул, и бачок, и кованые уключины. Весла, правда, остались: углядел их Егор в тростниках. Лопастя-то у них огнем горели, издалека видать было.

Но это все он потом выискал, когда опамятавался. А по первости в день тот развеселый хохотал только. К солнышку закатному лодку до хозяйства Якова Прокопыча доволот, смеху вместо объяснений шесть охапок вывалил и трудно, на шатких ногах домой направился. И собаки за ним увязались.

Так в собачьей компании ко двору и притопал. Это обыкновенных пьяных собаки не любят, а Егора всякого любили. Лыка ведь не вязал, ноги не держали, а псы за ним перли, как за директорской Джильдой. И говорят, будто не сам он в калитку стучал, а кто-то из приятелей его лично лапой сигнал отстукал.

Ну, насчет этого, может, и привирают...

А Харитина, с превеликим трудом Егора в сарай затолкав и заперев его там от греха, первым делом к своей бросилась, к Федору Ипатычу, сообщить, что пропал, исчез Колька.

— Погоди заявлять, Тина, с милицией связаться всегда поспеем. Искать твоего Кольку надо — может, заигрался где.

Вовку в поиск отрядил: вдоль берега, вдоль Егоровой бурлацкой дорожки. Побегал Вовка, покричал, поаукался и на «ау» к туристам вышел. Кепку издаля скинул, как отец учил:

— Здравствуйте, дяденьки и тетеньки тоже. Братика ищут. Братик мой двоюродный пропал, Коля. Не видели, часом?

— Посещал нас твой кузен. Утром еще.

«Кузен» — это для смеха, а всерьез — так все рассказали. И как тут дядя Егор напился, и как безобразничал, и как драку затеял.

— Он такой, — поддакивал Вовка, — Он у нас шептун, дяденька.



А Харитина, слезами исходя, все по поселку бегала и про причитания свои забыла. Всклипывала только:

— Колюшку моего не видали, люди добрые? Колюшку, сыночка моего?..

Никто не видел Колюку. Пропал Коляка, а дома ведь еще и Ольга имелаась. Ольга и Егор, но Егор храпел себе в сараюшке, а Ольга криком исходила. И крик этот Харитину из улицы в улицу, из проулка в проулок, из дома в дом сопровождал: доченька-то горла-стенная была. И пока слышала она ее, так хоть за доченьку душа не болела: орет — значит, жива. А вот как стихла она вдруг, так Харитина чуть на ногах устояла:

— Придушили!

Кто придушил, об этом не думалось. Гванулась назад — только платок взвился. Ворвалась в дом: у кровати Колякина учительница стоит, Нонна Юрьевна, а в кровати Ольга на все четыре зуба сияет.

— Здравствуйте, Харитина Макаровна. Вы не волнуйтесь, пожалуйста, Коля ваш у меня.

— Как так у вас? Какое же такое право имеете чужих детей хитить?

— Обидели его очень, Харитина Макаровна. А кто обидел, не говорит, только трясется весь. Я ему валерьянки дала, чаем напоила — уснул. Так что, пожалуйста, не волнуйтесь и Егору Савельевичу скажите, чтобы тоже не волновался зря.

— Егор Савельич с кабанчиком беседу ведут. Так что особо не волнуйтесь.

— Устроится все, Харитина Макаровна. Все устроится, завтра разберемся.

Не поверила Харитина — лично с Нонной Юрьевой Колюку глядеть побежала. Действительно, спал Коляка на раскладной кровати под девичьим одеялом. Крепко спал, а на щеках слезы засохли. Нонна Юрьевна будить его категорически запретила и Харитину после смотрин этих назад наладила. Да Харитине не до того тогда было, не до скандалов.

Наутро Коляка не явился, а Егор, хоть и проспался, ничего вспомнить так и не смог. Лежал весь день в сараюшке, воду глотал и охал. Даже к Якову Прокопычу, когда тот самолично во двор заявился, не вышел. Не соображал еще, что к чему, кто такой Яков Прокопыч и зачем он к ним прибыл, по какому делу.

А дело было страшное.

— Мотор, бачок да уключины. Триста рублей.

— Три ста?..

Сроду Харитина таких денег не видала и потому все суммы больше сотни именovala уважительно и раздельно: три ста, четыре ста, пять ста...

— Три ста?.. Яков Прокопыч, товарищ Сазанов, помилуй ты нас!

— Я-то милую — закон не милует, товарищ Полушкина. Ежели через два дня на третий имущества не обрету — милицию подключим. Акт составлять буду.

Ушел Яков Прокопыч. А Харитина в сарай кинулась: трясла муженька, дергала, ругала, била даже — Егор только мычал. Потом с превеликим трудом рот разинул, шевельнул языком:

— А где я был?

Тут уж не до Кольки: тот у Нонны Юрьевны обретается, не пропадет. Тут все разом пропасть могли, со всеми потрохами, и потому Харитина, ушат воды мужу в сараюшку затащив, вновь заперла его там и опять кинулась к родне единственной — к сестрице Марьице да Федору Ипатычу:

— Спасите, родненькие! Три ста рублей требовали!

— По закону, — сказал Федор Ипатыч и вздохнул круто. — Закон, Тина, не объегоришь.

— По миру ведь пойдем-то! По миру, сестрица!

— Ну уж, чего уж зря уж. С нас вон тоже требуют. И не три сотни, куда поболее. Так не бегаем ведь, в ногах не валяемся. Так-то, Харя моя миленькая, так-то.

Весь день Харитина куда-то металась, кому-то плакала, да так ни с чем домой и вернулась. Крутилась-вертелась, а день прошел — и словно не было его: все на своих местах осталось. И мотор на дне, и три сотни на шее, и муж у поросенка, и Колька в чужом дому.

За ночь Егор ушат высушил, проспался и к утру окончательно вернулся в образ. Вышел из сараюшки тише прежнего, хотя тише вроде и некуда уже было. А Харитина, за ночь в хвощ высохнув, тоже вдруг потишела и об одном лишь упрашивала:

— Ты вспомни, где был-то, Егорушка. С кем пил да как шел потом...

Кое-что она, правда, знала: не от Кольки — тот

молчал и асмерть. Только голову отворачивал. От Вовки-племянника:

— Туристы ему поднесли, тетя Тина.

— Туристы?.. — Мутно было в голове у Егора. Мутно, пусто и неуютно: словно все мысли впопыхах в другой дом съехали, оставив после себя рухлядь да мусор. — Какие такие туристы?

— Ты к Сазанову иди, к Якову Прокопычу, Егорушка. Он все знает. И мотор этот найди. Господом с богородицей тебя заклинаю и детьми нашими: найди!

Полдня Егор «Ветерок» тот да бачок с уклучинами на дне искал. Нырлял, шарил, бродил по воде, дно ногами ощупывая. Трясся в ознобе на берегу, выкуривал сигарку, снова в воду лез. Не помнил он, где лодку-то перевернул, а указать некому было: турист тот уже на Черном озере рыбкой баловался. И, продрогнув до костей да пачку махорки выкурив, Егор прекратил ныряния. Уклучину в тине нашел да два весла в тростниках и с тем к Якову Прокопычу и прибыл.

— Дайте лодку, Яков Прокопыч. С лодки я багром нащупаю, а то знобко. Сильно знобко там ногами-то тину топтать.

— Нет тебе лодки, Полушкин. Из доверия ты моего вышел. Доставай имущество, тогда поглядим.

— Куда поглядим-то?

— На твое дальнейшее поведение.

— В больнице будет мое поведение. Холод ведь, Яков Прокопыч. Обезножу.

— Нет, Полушкин, и не проси. Принцип у меня такой.

— Ничего с вашим принципом не сделается, Яков Прокопыч. Богом клянусь.

— Принцип, Полушкин, это, знаешь...

— Знаю, Яков Прокопыч. Все я теперь знаю.

Покивал Егор, постоял, повздыхал маленько. Заведующий опять занудил чего-то — длинное, унылое, — он не слушал. Смахнул с белых ресниц две слезинки непрошенные, сказал вдруг невпопад:

— Ну, катайтесь.

И зашвырнул ту единственную уклучину, что полдня искал, обратно в воду. И — пошел. Яков Прокопыч вроде онемел сперва, вроде поглупел с внешности, вроде челюсть даже отвесил. Потом только заорал:

— Полушкин! Стой, говорю, Полушкин!..

Остановился Егор. Поглядел, сказал тихо:

— Ну, чего орешь, Сазанов? Триста рублей начету на меня? Будут тебе триста рублей. Будут. Это уж мой такой принцип.

Домой шагал, под ноги глядя. И дома глаз не поднимал — бровями белесыми занавесился, и как Харитина ни старалась, взгляда его так и не встретила.

— Не нашел, Егорушка? Мотор тот не сыскал, спрашиваю?

Не ответил Егор. Прошел к столу кухонному, ящик из него выдернул и вывалил все ложки-плошки прямо на столешницу.

— Еще полденька у нас, полденька, Егорушка, завтрашних. Может, вместе пойдем искать? Может, донышко все ощупаем?

Молчал Егор. Молча ножи осматривал: какой меньше гнется. Выбрал, брусок с полки достал, плюнул на него и начал жало ножу наводить. Обмерла Харитина:

— Ты зачем ножичек-то востришь, Егор Савельич?

Молча шаркал Егор ножом по брусочку: вжиг да вжиг. И брови в линию свел. Выгоревшие брови были, нестрашные, а свел.

— Егор Савельич...

— Воду вскипяти, Харитина. И тазы готовь.

— Это зачем же?

— Кабанчика кончать буду.

Харитина насадкой вскинулась:

— Что?!

— Делай, что велел.

— Да ты... Ты что это, а? Ты опомнись, опомнись, бедоносец несчастный! Кабанчика под нож пустим, чем зиму прокормимся? Чем? Подаянием Христовым?

— Я тебе все сказал.

— Не дам! Не дам, не позволю! Люди добрые!..

— Не ори, Харитина. У меня тоже свой принцип есть, не у него одного.

Сроду он этих кабанчиков не колол — всегда просил у кого глаз пожестче... А тут озверел словно: всхлипывал, вздрагивал, ножом бил, не глядя. Все горло кабанчику исполосовал, но кончил. И кабанчик тот сразу у них просолился, потому что слезы на него из четырех глаз капали.

Хорошо еще, Кольки не было. У учительницы Колька отсиживался, у Нонны Юрьевны. Спасибо, добрая душа встретилась, хотя и девчоночка совсем еще одинокая. Из города.

К ночи разделали: мясо в мешки увязали, потроха себе оставили. Взялил Егор мешки на загорбок и в ночь на станцию ушел. Надеялся в город к рассвету попасть и занять на рынке местечко какое побойчей, потому как на собственную бойкость уже не рассчитывал. И так не больно-то боек мужик был, а теперь и подавно: вглубь вся живость его ушла, как рыба в холода.

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!

## 7

Так случилось, что Колька Полушкин ни разу в жизни ни с кем всерьез не ссорился. Ни поводов не встречалось, ни драчливых приятелей, и хоть боли самой разнообразной натерпелся предостаточно, боль эта только телом задевала. А вот душу никто еще доселе не трогал, никто не задевал, и потому к обидам она была непривычна. Нетренированная душа у парня была: большой, конечно, недостаток для жизни, если жизнь эту мерками дяденьки его отмерять, Федора Ипатьевича Бурьянова.

Но Колька своими мерами руководствовался, и поэтому отцовская оплеуха угольком горела в нем. Горела и жгла, не затухая. Пустяк, казалось бы, чепуховина: родная ведь рука по загривку прошлась, не соседская. Станешь объяснять кому, засмеют:

— Не блажи, малец! На отца ведь кровного губы-то дуешь, сообрази.

Но одного соображения тут, видно, было недостаточно, как Колька ни соображал. Чего-то еще требовалось, и потому он, от слез ослепнув, пошел туда, где — верил он — и без соображений все поймут, разберутся и помогут.

— А они говорят: «Дай ты ему леща!» А он и ударил.

Нонна Юрьевна хорошо умела слушать. Глядела как на взрослого, всерьез глядела, и именно от этого взгляда Колька оковы вдруг все растерял и заплакал навзрыд. Заплакал, уткнулся Нонне Юрьевне в коленки лбом, и она утешать его не стала. Ни утешать, ни уговаривать, что, мол, пустяки это все, забудется: отец же приложил, не кто-нибудь. Очень Колька разговоров сейчас боялся, но вместо разговоров Нонна Юрьевна

сладким чаем его напоила, лекарства дала и спать уложила:

— Завтра, Коля, разговаривать будем.

Наутро Колька немного успокоился, но обида не прошла. Она, обида-то эта, словно внутрь него залезла, так залезла, что он мог теперь на обиду эту как бы со стороны глядеть. Будто в клетке она сидела, как зверек какой. И Колька все время зверька этого неуживчивого в себе чувствовал, изучал — и не улыбался. Дело было серьезным.

— Если бы он сам собой меня ударил. Ну, сам собой, Нонна Юрьевна, от досады. А то ведь подучили. Зачем же он до этого себя допускает? Зачем же?

— Но ведь добрый же он, отец-то твой, Коля. Очень добрый человек. Ты согласен?

— Ну так и что, что добрый?

Нонна Юрьевна не спорила: спорить тут было трудно, так как этот-то предмет Колька знал куда лучше. Намекнула осторожно: может, с отцом переговорить? Но Колька намек этот встретил воинственно:

— А кто виноват, тот пусть первым и приходит!

— Можно разве от старших такое требовать?

— А раз старший, так пример показывай: так ведь вы учили? А он какой пример показывает? Будто он крепостной, да? Ну а я крепостным ни за что не буду, ни за что!

Вздохнула Нонна Юрьевна. Где-то там, в недостижимом, почти сказочном Ленинграде, осталась одинокая мать-учительница. Единственная из большой, шумной семьи пережившая блокаду и в мирные дни потерявшая мужа. Такая же тихая, старательная и исполнительная, как и Нонна Юрьевна: велено было дочери после учебы ехать сюда, в глухомань, на работу, — только поплакала.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Нонна Юрьевна в поселке мышонком жила: из дома — в школу, из школы — домой. Ни на танцы, ни на гулянья, будто не двадцать три ей, а всех шестьдесят восемь.

— Хочешь песню про Стеньку Разина послушать?

Пластинок у Нонны Юрьевны целых два ящика. А книг еще больше. Хозяйка даже опасалась:

— Сроду вы, Нонна Юрьевна, замуж не выйдете.

— Почему вы так решили?

— А на книжки больно тратитесь. Себя бы хоть пожалели: мужики книжных не любят.

Мужики, может, и не любили, а вот Колька очень любил. И целый тот день они пластинки слушали, стихи читали, про зверей разговаривали и снова пластинки слушали.

— Ну голосище, да, Нонна Юрьевна? Аж лампочка вздрагивает!

— Это Шаляпин, Коля. Федор Иванович Шаляпин, запомни, пожалуйста.

— Обязательно даже запомню. Вот уж, наверно, силен был, да?

— Трудно сказать, Коля. Родину оставить и умереть в чужой стране — это как, сила или слабость? Мне думается, что слабость.

— А может, он от обиды?

— А разве на родину можно обижаться? Родина всегда права, Коля. Люди могут ошибаться, могут быть неправыми, даже злыми, но родина злой быть не может, ведь правда? И обижаться на нее неразумно.

— А тятка говорит, что у нас страна самая замечательная. Ну прямо самая-самая!

— Самая-самая, Коля!

Грустно улыбалась Нонна Юрьевна, но Кольке не понять было, почему она так грустно улыбается. Он не знал еще, ни что такое одиночество, ни что такое тоска. И даже первая его встреча с обычной человеческой несправедливостью, первая его настоящая обида была все-таки ясна и понятна. А грусть Нонны Юрьевны была подчас непонятна и ей самой.

На второй день Колька не выдержал добровольного затворничества и сбежал. Пока его тятка бесчисленные разы нырял за мотором, Колька задами, чтоб на мать не наткнуться, выбрался из поселка. Тут перед ним три дороги открывались, как в сказке: на речку, где ребяшня поселковая купалась, в лес, через плотину, и на лодочную станцию, куда он совсем еще недавно бегал с особым удовольствием. И, как витязь в сказке, Колька тоже потоптался, тоже поразмыслил, тоже по-вздыхал и свернул налево — в хозяйство Якова Прокопыча.

— Ну, что скажешь? — спросил Яков Прокопыч в ответ на Колькино «здравствуйте». — Какие еще огорчения сообщишь?

Очень волнуясь и даже малость заикаясь от этого волнения, Колька торопливо, взхлеб рассказал заведующему про весь позавчерашний день. Про то, как ладно бежала лодка и как разворачивались дальние берега. Про то, как старательно помогал Егор туристам. Про матрасы и костер, про муравьиный пожар и желтую палатку. Про колбасу с булкой и две эмалированные кружки, которые опрокинул тятка с устатку под настойчивые просьбы приехавших. И еще как плясал он потом, как падал...

Яков Прокопыч слушал внимательно, не перебивая, только моргал сердито. В конце уточнил:

— И ты, значит, ушел?

— Ушел,— вздохнул Колька, так и не решившись поведать о пощечине.— Я ушел, а он остался. С мотором еще.

— Значит, ты невиновен,— сказал, помолчав, заведующий.— А я тебя и не привлекаю: не ты у меня работаешь.

— Я же не для того,— вздохнул Колька.— Я же все, как было, рассказал. Он же переживает, дяденька Яков Прокопыч.

— Он бесплатно переживает, а я — за деньги. Ладно... Все ясно. Мал еще учить. Мал. Ступай отсюда. Ступай и не появляйся: запрещаю.

Ушел Колька. Без особых, правда, огорчений ушел, потому что ни на что не рассчитывал, разговор этот затеяв. Просто не мог он не поговорить с Яковым Прокопычем, не мог не рассказать ему, как все было, зная, что тятка про то никогда и никому не расскажет. А то, что Яков Прокопыч, про все узнав, просто-напросто прогонит его, Колька предчувствовал и поэтому не удивился и не расстроился. Задумался только и опять пошел к учительнице.

— Почему это люди такие злые, Нонна Юрьевна?

— Неправда, Коля, люди добрые. Очень добрые.

— А почему же тогда обижают?

— Почему?..

Вздохнула Нонна Юрьевна: легко вам вопросы задавать. Можно было не ответить, конечно. Можно было и отделаться: мол, вырастешь — узнаешь, мал еще. Можно было и на другое разговор этот перевести. Но Нонна Юрьевна в глаза Кольке заглянула и лукавить уже не могла. Чистыми глаза были. И чистоты требовали,



— О том, что такое зло, Коля, и почему совершается оно, люди давно думают. Сколько существуют на свете, столько над этим и бьются. И однажды, чтобы объяснить все разом, дьявола выдумали, с хвостом, с рогами. Выдумали дьявола и свалили на него всю ответственность за зло, которое в мире творится. Мол, не люди уже во зле виноваты, а дьявол. Дьявол их попутал. Да не помог людям дьявол, Коля. И причин не объяснил, и от зла не уберег и не избавил. А почему — как по-твоему?

— Да потому, что снаружи все искали! А зло — оно в человеке, внутри сидит.

— А еще что в человеке сидит?

— Живот! Из-за живота-то и зло. Всяк за живот свой опасается и всех кругом обижает.

— Кроме живота есть еще и совесть, Коля. А это такое чувство, которое созреть должно. Созреть и окрепнуть. И вот иногда случается, что не вызревает в человеке совесть. Крохотной остается, зеленой, несъедобной. И тогда человек этот оказывается словно бы без советчика, без контролера в себе самом. И уже не замечает, где зло, а где добро: все у него смещается, все перепутывается. И тогда, чтобы рамки себе определить, чтобы преступлений не наделать с глухой-то своей совестью, такие люди правила себе выдумывают.

— Какие правила?

— Правила поведения: что следует делать, а что не следует. Выносят, так сказать, свою собственную малюсенькую совесть за скобки и делают ее несгибаемым правилом для всех. Ну, они, например, считают, что нельзя девушке жить одной. А если она все-таки живет одна, значит, что-то тут неладно. Значит, за ней надо особо следить, значит, подозревать ее надо, значит, слухи о ней можно самые нелепые...

Остановилась Нонна Юрьевна. Опомнилась, что свое понесла, что из общего и целого вывод сделала частный и личный. И даже испугалась:

— Господи, у меня же плитка на кухне не выключена!

Выбежала, а Колька этого и не заметил. Сидел, брови насупив, думал, прикидывал. Слова Нонны Юрьевны к своему житью-бытью примерял.

Насчет правил точно все сходилось. Видал Колька таких, что жили по своим правилам, а тех, кто этих

правил не придерживался, считали либо дураками, либо хитрюгами. И если правила, по которым жил Яков Прокопыч, были простыми и неизменными, то правила родного дядюшки Федора Ипатьевича решительно расходились с ними. Они были куда изощреннее и куда гибче прямолинейных пунктиков контуженного сосной Якова Прокопыча Сазанова. Они все могли оправдать и все допустить — все, что только нужно было в данный момент самому Федору Ипатьевичу.

И еще были тяткины правила. Простые: никому и никогда никаких правил не навязывать. И он не навязывал. Он всегда жил тихо и застенчиво: все озирался, не мешает ли кому, не застит ли солнышка, не путается ли в ногах. За это бы от всей души спасибо ему сказать, но спасибо никто ему не говорил. Никто.

Хмурил Колька брови, размышлял, по каким правилам ему жить. И как бы сделать так, чтобы никаких правил вообще больше бы не было, а чтобы все люди вокруг поступали бы только по совести. Так, как тятка его поступал.

А пока Колька ломал голову над проблемами добра и зла, учительница Нонна Юрьевна тихонечко плакала на кухне. Хозяйка ушла, и можно было, не таясь и не прилаживая дежурных улыбок, вдоволь посокрушаться и над своей незадачливой судьбой, и над своими очками, и над ученой угловатостью, и над затянувшимся одиночеством.

А может, и правда, что мужчины книжных девушек не любят?..

## 8

Поезд прибыл в областной центр в такую рань, что Егор оказался возле рынка в пять утра. Рынок был еще закрыт, и Егор остановился возле ворот, положив мешки на асфальт. Сам же подпер плечом соседний столб, свернул сигарку вместо завтрака и начал с опаской раздумывать о предстоящей торговой операции. Сроду он в купцах не ходил, да и руки у него под топориче приспособлены были, не под навески-разновески. Дома, в горячке, он чересчур уж уверовал в собственные способности и теперь, хмуясь и вздыхая, сильно жалел об этом.

Чего греха таить: побаивался Егор базара. Побайвался, не доверял ему и так считал, что все равно об-

манут. Все равно на чем-нибудь да объегорят, и мечтать тут надо о том лишь, как бы не на все килограммы разом объегорили. Как бы хоть что-то выручить, хоть две из тех трех сотенных, что нависли над ним, как ненастье.

А тем временем и город зашевелился: машины зафыркали, дворники зашаркали, ранние дамочки каблуками зацокали. Егор на всякий случай поближе к мешкам подобрался, променяв удобный дальний столб на неудобный ближний, но вокруг колхозного рынка пока особой активности не наблюдалось. Мелькали, правда, отдельные личности, но облюбованных Егором ворот никто не отпирал.

— Эт-то что такое?

Оглянулся Егор: начальник. В шляпе, в очках, при портфеле. И пальцем в мешки целится.

— Эт-то что, спрашиваю вас?

— Свининка это,— поспешно пояснил Егор.— Свеженькая, значит, личная убойнка.

— Убойнка? — Под шляпой грозно заерзали брови: вверх-вниз, вверх-вниз.— Кровь это! Кровь по асфальту струится антисанитарно, вот что я вижу отчетливо и небооруженно.

Из-под мешков действительно сочилась жалкая струйка сукровицы. Егор поглядел на нее, на строгого начальника, ничего не понял и поспешно захлопал глазами.

— За такие фортели рыночную продукцию бракуют,— строго продолжал начальник с портфелем.— Какая, говорите, у вас продукция?

— У меня? У меня никакая не продукция. Убойнка у меня. Поросячья.

— Тем более блюсти обязан. О холере наслышан? Нет? Чистота — залог здоровья! Фамилия?

— Мое?

— Фамилия, спрашиваю вас?

— Это... Полушкин.

— Пол-ушкин.— Гражданин в шляпе вынул книжечку и аккуратно занес в нее Егорову фамилию, что очень озадачило Егора.— Снизим оценочный балл, гражданин Полушкин. Знаете, за что именно. Вывод сделайте сами.

Спрятал книжечку в карман, пошел не оглядываясь, а вслед ему Егор ошалело хлопал глазами. Потом к мешкам сунулся, хотел уж подхватить их, чтобы все

было санитарно, да не успел. Двое из-за рынка вытомились: один уж в годах, а второй — середник. Пожилей завздыхал, зацокал:

— Ах самоуправство, ах паразит!

— Чего? — спросил Егор.

— Знаешь, кто это был? — спросил середник. — Главный по инспекции. Он штампы на мясо ставит.

— Штампы?

— Не поставит — хана товару. И продавать не разрешат, и в холодильник не допустят. Стухнет то-варец.

— Чего? — спросил Егор.

— Строгачи кругом, страшное дело! — завздыхал пожилой. — Строгачи-перестраховщики: эпидемия, слышал?

— Чего?

— Жмут нашего брата...

Закручинились прохожие, завздыхали, застрекотали: гигиена, санинспекция, эпидемия, категория, штампы, холодильник. Один справа стоял, другой слева расположился, и Егор, слушая их, все башкой вертел. Аж шею заломило.

— Да-а, влип ты, мужик.

— Вот он в прошлом месяце, — пожилой в середника ткнул, — на три сотни он накрылся.

— Чего?

— Накрылся. С приветом, значит, три сотенных. Как те ласточки-касаточки.

— Чего?

— Да-а, было дело, было... У тебя чего тут, телятинка?

— Поросятинка. — Егор, разинув рот, глядел то на правого, то на левого. — Что же делать-то мне, мужики, а? Присоветуйте.

— А чего тут присоветуешь? Забирай свои мешки да дуй до дому. Сдашь в родном колхозе по рублю за килограмм.

— По рублю?

— По рублю не возьмут, — сказал середник. — За чем им по рублю? От силы по семь гривен.

— Семь гривен? Нельзя мне по семь-то гривен, никак нельзя. Начет на меня. Три сотенных начет.

— Да-а, дела, — вздохнул пожилой. — Обидно, конечно, но раз он твою фамилию записал, то все.

— Ну-у?

— Помог бы ты мужику-то, а? — попросил за Егора середник. — Видишь, и начет на него, и поросятинка! тухнет.

— Трудно, — закручинился пожилой. — Ой, трудное это дело. Немыслимо!

— Мы понимаем! — зашептал, озираясь, Егор. — Мы это, трудности-то ваши, как говорится, учтем. Учтем ваше беспокойство.

— Это — лишнее, — строго сказал пожилой. — Я к тебе всей, можно сказать, душой, а ты — деньги. Обижаешь.

— Обижаешь, — подтвердил середник.

— Да что вы, что вы! — перепугался Егор. — Это так я, так! Сболтнул я, граждане.

— Сболтнул он, — сказал середник. — Может, уважим?

— Главное тут, как начальство объехать, — размышлял пожилой. — Фамилия-то известна: записана фамилия-то. Вот в чем сложность. Может, лучше сразу все продать, а? Продать все чохом. Оптом, как говорится: полтора рубля за килограмм.

— Полтора? — ахнул Егор. — Да что вы, граждане милые! Грабиловка полная получается.

— Грабиловка, говоришь? А то, что фамилию твою на цугундер взяли, это как называется? Сам ты во всем виноват, раскорячился тут антисанитарно, а потом орешь: грабиловка! Да на что ты нам сдался, спрашивается? Мы же помочь тебе хотели, по-товарищески.

— Не хошь — как хошь, — сказал середник. — Ходи грязный.

И пошли оба. Заскучал Егор, замаялся, не выдержал:

— Мужики! Эй, мужики!

Остановились.

— Два рубля с полтинничком...

— Пошел ты!

И сами пошли. Заметался Егор пуще прежнего:

— Мужики! Граждане милые, не бросайте!

Опять остановились:

— Ну, чего тебе? Мы же тебе уважение оказываем, мы тебе помощь, можно сказать, за здорово живешь предлагаем, а ты — верть да круть, круть да верть.

— Несерьезный ты мужик. Так оно получается.

— Да куда же вы, граждане-товарищи? А я как же?

— А как хочешь.

К углу направились, за рынок. Закричал Егор:

— Стойте! Ладно уж, чего там гадать да выгадывать. Давай за все про все две сотенных да тридцаточку.

Знал ведь, что хитрят мужики. Хитрят, врут, изворачиваются, и от всего этогоросло в его душе какое-то очень усталое открытие. Он вдруг вспомнил и Федора Ипатовича, выгадывавшего на чужом горе себе бревнышко, и Якова Прокопыча, беспокоившегося только о том, чтобы его, его лично не коснулось чье-то несчастье, и туристов, и этих ловкачей, и еще многих других — таких же мелких, жадных и думающих только о себе. Вспомнил он обо всем этом и сказал:

— Давай за все про все...

— Ну, знаешь, это сперва прикинуть требуется. Во-локи на весы свою продукцию.

Прикинули. Домой Егор с двумя сотнями возвращался. Зато без мяса и — с подарками. Кому — ножичек, кому — платочек: всех одарил, никого не забыл. И на водку денег хватило. С порога объявил:

— Гостей покличь, Харитина. Всех зови: бригадиров, прораба, Якова Прокопыча, родню любезную. Зови всех: Егор Полушкин мир угощать желает.

— Ты о чем это думал-выдумал, о чем размышлял-разнежился?

Не дал он Харитине до полного дыху дойти. Сел в красном углу под образами, сапог не снявши, ладонью по столу постучал:

— Все! Хоть день, да беспечно!

— Да ведь начету три ста. А ты за всего кабанчика — два ста. А где еще один ста?

— Я голова, я удумаю.

— Ты голова, а я шея — на мне хомут-то семейный...

Выхватил Егор из кармана деньги, затряс:

— Из-за бумажек этих да чтоб печаловаться? Жизни красоту ими измерять? Слезы утирать? Да спалить их всенародно в жгучем пламени! Спалить и на пепле впредь плясать! Хоровод вокруг пламени этого! Чтоб застывшие согрелись, чтоб ослепшие прозрелись! Чтоб ни бедных, ни богатых, ни долгов, ни одолжений! Чтоб... Да я, я первый свои последние в купель ту огненную...

— Егорушка-а!

Повалилась Харитина в ноги: спалит ведь последнее, с него станется. Спалит, отведет душеньку, а потом либо за решетку тюремную, либо на осину горькую.

— Не губи семью, Егорушка, деток не губи. Все, как велишь, исполню, всех покличу, напарю-нажарю и выпить поднесу. Только отдай ты мне денежки эти от греха. Отдай, христом богом молю.

Обмяк вдруг Егор, словно воздух из него выпустили. Кинул на стол двадцать рыночных десяточек, сказал:

— Водки чтоб вволю. Чтоб хоть залились ею.

Закивала Харитина, мышью в дверь юркнула. А Егор сел на лавку, достал кисет и начал советницу свою свертывать, сигарку-самопалку. Медленно свертывал, старательно. И не потому, что махорку жалел — ничего он сейчас не жалел! — а потому, что очень уж ему хотелось подумать. Но мысли эти его не слушались, разбегались по всем углам, и он пытался собрать их одна к одной, как махорочные крошки в обрывок газеты.

О многом хотелось подумать. Хотелось понять, что же такое произошло с ним, почему и — главное — за что. Хотелось рассудить, кто прав и кто виноват. Хотелось решить, как быть дальше, где достать еще сотню и где отыскать завтрашний заработок. Хотелось помечтать о торжестве справедливости, о наказании всех неправых, злых и жадных. Хотелось счастья и радости, покоя и тишины. И — уважения. Хоть немного.

И еще очень хотелось плакать, но плакать Егор не умел и потому просто сумрачно курил, уставясь в стол. А когда оторвался от него и глянул окрест, то вдруг увидел, что у дверей стоит Колька.

— Сынок... — И встал. И голову опустил. А потом сказал тихо: — Кабанчика-то я прирезал, сынок. Вот, значит.

— Я знаю.

Колька прошел к столу и сел на материно место — на табурет. А Егор все еще стоял, виновато склонив голову.

— Ты сядь, тятя.

Егор послушно опустил на лавку. Тыкал вслепую окурком в герань на окошке — только махра трещала. И глазами кругом бегал — вокруг Кольки. Колька поглядел на него, по-взрослому поглядел: пристально. А потом сказал:

— Ни в чем ты не виноват, тятя. Это я виноват.

— Ты? Как так выходит?

— Не остановил тебя вовремя, — вздохнул Колька. — Ты ведь у меня заводной товарищ, верно?

— Верно, сынок. Правильно.

— Вот. А я не остановил. Стало быть, я и виноват. И ты в стол не гляди. Ты на меня гляди, ладно? Как прежде.

Прыгнули у Егора губы — не поймешь, улыбнуться хотел или свистнуть. Еле-еле совладал:

— Чистоглазик ты мой...

— Ну ладно, чего там, — сердито сказал Колька и отвернулся.

И правильно, что отвернулся, потому что у Егора в носу вдруг засвербило и сами собой две слезы по небритости проползли. Он смахнул их, заулыбался и заново начал свертывать сигарку. И пока свертывал ее, пока прикуривал, оба молчали — и отец, и сын. А потом Колька повернулся, сверкнул глазами:

— Какого я мужичищу у Нонны Юрьевны слушал, ну тятя! Голосище! Прямо как у слона.

К вечеру Харитина поросячьей утробы нажарила, напарила и на стол выставила. Егор в чистой рубашке в красном углу сидел: слева — подарки, справа — поллитры. Каждого подарком встречал и граненым стаканчиком (лафитничков в обзаведении не имелось):

— Будь здоров, гость дорогой. Пей от горла, ешь от пуза, на подарочек радуйся.

Бригадиров и прорабов Харитина не собрала (а может, и не хотела), но Яков Прокопыч приперся.

— Зла на тебя, Полушкин, не держу, потому и пришел. Но закон уважаю сердечно. И тебя, значит, уважаю, и закон уважаю. Такая у меня постановка вопроса.

— Садись, Яков Прокопыч, товарищ Сазанов. Испробуй нашего угощения.

— С нашим полным удовольствием. Все должно быть соблюдено, верно? Все, что положено. А что не положено, то фантазии. Бензином бы их полить да и сжечь.

Федор Ипатыч тоже присутствовал. Но в себе был весь, сумраком занавешенный. И потому помалкивал — ел да пил. Но Якову Прокопычу ответил:

— Всем на чужом пожаре занятие по душе найдется. Кому тушить, кому глазеть, а кому руки греть.



Вскинулся Яков Прокопыч:

— Как понимать, Федор Ипатыч, это примечание?

— Законников надо жечь, а не фантазии. Собрать бы всех законников да и сжечь. На очень медленном огне.

Разгореться бы тут спору, да Марьица не дала. Задержала мужа:

— Не спорь. Не встривай. Наше дело — сторона-сторонушка.

И Вовка с другого уха поддакнул:

— Может, лодка когда понадобится...

А Егор и не слышал ничего из своего красного угла. Подарки раздавал, водкой заведовал. Сам пил, других угощал:

— Пейте, гости дорогие! Федор Ипатыч, свояк дорогой, мил дружок мой единственный, что нахмурился-засупонился? Улыбнись, взгляни бархатно, молви слово свое драгоценное.

— Слово? Это можно. — Поднял Федор Ипатыч стакан: — С прибылью, хозяин, тебя, и с догадкой: раз кругом все такие законники, без догадки не проживешь. Вот вывернулся ты, значит, и молодец. Да. Хвалю. Чиста душа в рай глядит.

— В рай? — закручинилась Харитина. — Там, где рай, не наш край. Нам до рая ста рублей не хватает.

Удивилась Марьица:

— Ты что это, Тина, каких таких ста? Кабанчика, поди, не без выгоды...

Крепилась Харитина. Весь день крепилась, а тут сдала. Взыла вдруг по-упокойному:

— Ой сестрица ты моя Марьица, ой братец ты мой Федор Ипатович, ой вы гости мои ласковые...

— Да ты что, что, Тина? Да погоди голосить-то.

— Да ведь два ста рублей — вся убоинка.

— Двести?.. — Федор Ипатыч даже хлебушек уронил. — Двести рублей? Это ж как так получается? Это почему же килограмм идет?

— А почему же ни шел, да весь вышел, — сказал Егор. — Пейте-ешьте, гости...

— Нет, погоди! — строго прервал Федор Ипатыч. — Свежая свининка не баранинка. Да в это время, да в городе. Да по четыре рубля килограмм — вот как она идет! По четыре целковых — это я точно говорю.

Онемели за столом. А Яков Прокопыч поддакнул:

— Ескруг этой цены супруга моя рассказывала.

— Господи! — ахнула Харитина. — Господи, люди добрые!

— погоди! — Федор Ипатыч ладонью пристукнул: забыл с огорчения, что в гостях, не дома. — Так выходит, что на две сотни сам ты себя нагрел, Егор. Это ж при долгах, при начете, при семействе да при бедности — две сотни чужому дяде? Бедоносец ты чертов!..

Ахнул Егор суковатым своим кулаком по столешнице — аж стаканы подпрыгнули:

— Замолчь! Считаете все, да? Выгоды подсчитываете, убытки вычитываете? Так не смей в моем доме считать да высчитывать, ясно-понятно всем? Я здесь хозяин, самолично. А я одно считать умею: кому избу сложить, кому крышу покрыть, кому окно прорубить — вот что я считаю. И сыну своему это же самое в жизни считать наказываю. Три сотки у меня земли, и эти три сотки по моим законам живут и моими счетами считают. А закон у меня простой: не считай рубли — считай песенки. Ясно-понятно всем? Тогда пой, Харитина, велю.

Молчали все как пришибленные. Глядели на Егора, рты раззявив. Кольке это очень смешным показалось — он из-за стола в сени выскочил, чтоб отсмеяться там вволюшку.

— Спой, Тина, — сказал Егор. — Хорошую песню спой.

Всхлипнула Харитина. Подперла щеку рукой, пригорюнилась как положено и... И опять двинуло ее совсем не в ту сторону:

Ой, тягры да вытягры!  
Ой, тягры-тягры-тягры,  
Кто б меня, младу-младену,  
Да из горя б вытягнул...

## 9

А на другой день на заготконторе объявление появилось. С газету размером. Печатными буквами всем гражданам сообщалось, что областные заготовители будут брать у населения лыко липовое. Отмоченное и высушенное, по полтинничку за килограмм. Пятьдесят копеечек звонкими.

Егор долго объявление читал. Прикидывал: полтина за кило — это, стало быть, рублевка за два. Восемь

рублей пуд: деньги. Большие суммы можно заработать, если каждый день по пять пудов из лесу таскать.

А Федор Ипатыч ничего не прикидывал. Некогда было: как только узнал об этом, так и запрягать побежал. Сел на казенную тележку и в лес подался вместе с Вовкой. И с ножами наостренными: ему-то о разрешении на лыкодрание не хлопотать стать. Да и в липняки сквозь завалы не ломиться: первый, известное дело, сливочки пьет, не снятое молочко. Вот так-то.

Ну а Егор тем временем хлебал пустые щи и рассуждал, как хозяин:

— Восемь, стало быть, рубликов пуд. Это по-старому — восемьдесят. Зарплату в день заработать можно, ежели, значит, подналечь.

Харитина не спорила: с поросячьих поминок притишела она. По дому сновала, по поселку суетилась, по знакомым бегала. Хлопотала чего-то, добивалась, о чем-то просила. Егор был не в курсе: не вводили его в этот курс, а расспрашивать не годилось. Годилось гордость мужскую соблюдать в нерушимости.

А насчет лыка обману не было. Брали, кто пошустрее, разрешение у лесника — это у Федора, стало быть, Ипатыча, — в субботу-воскресенье спозаранку в лес отправлялись. Туда — спозаранку, оттуда — с вязанкой. Конечно, с вязанкой на горбу да впоперек буреломов много рублей не вытянешь, это понятно. Но если у кого мотоцикл — до двадцати пяти килограммов выхватывали. Неделю мочили, сучили, сушили и — в контору. Пожалуйста взвешивать.

Ну, Федор Ипатыч на мелочи не разменивался: в первую же ночь воз из лесу выкачал. Еле лошадь доперла. И — вот голова мужик! — не в поселок, не к дому-пятистеночке: зачем лишнее обозрение? В воду кобылу загнал, там ее распряг, а воз вместе с лыком мокнуть оставил: телега не мотоцикл, ничего ей не делается. И кобыле облегчение, и разговоров никаких, и вода продукцию прямо в телеге до кондиции доводит. Доведет — впряжем лошадь и все разом на берег. Распрясти да просушить — это и Марыца делает. Тем более в лесном его хозяйстве еще одна телега имела — только лошадь перепрягай да дери это лыко, покуда серебро звякает.

Три веза Федор Ипатыч таким манером из лесу доставил, пока свояк его умом раскидывал. Уставал, конечно: работа поту требует. И Вовку измучил, и себя

извел, и кобылу издергал. Вовка прямо у порога падал, и мать его, сонного, в кровать волокла. А сам исключительно настоечкой держался: на укропе настоечка. Укрепляет. И только лафитничек опрокинул (Марьица и графинчик-то со стола убрать не поспела), только, значит, принял во здравие: здрасте вам, Егор Полушкин. Собственной небритой персоной.

— Приятного вам угощения.

Крякнул Федор Ипатыч, нет, не с лафитничка, — с огорчения.

— Садись к столу, свояк дорогой, купец знаменитый.

Это в насмешку, но Егор на насмешку и внимания не обратил, на другое его внимание устремилось. Закивал, благодарил, заулыбался и к дверям оборотился — кепку повесить. А когда повесил и к столу шагнул, пиджак одергивая, то аж заморгал: нету графинчика-то. Ни графинчика, ни лафитничка: одна картошка на столе. Правда, с салом.

— Я ведь по делу-то к тебе, Федор Ипатыч.

— Ты поешь сперва. Дело обождет.

Поели. Марьица чай подала. Попили. Потом закурили и к делу подошли:

— Справку мне, свояк, надо бы. Насчет, значит, лыка. Полтинник за килограмм.

— Полтинник? — поразился Федор Ипатыч. — Богатая у нас держава: направо — полтина, налево — полтина.

— Так ведь пока дают.

Посопел Федор Ипатыч. Повздыхал строго.

— Бесхозяйственность, — сказал. — Лес тот запovedный, водоохранным называется. А мы его голим.

— Дык ведь...

— Обдерешь ты, скажем, липку. А она засохнет. Тебе прибыль, а государству что? Государству — потеря.

— Верно-правильно. Только ведь как драть. Если умеючи...

— Не думаем о государстве, — опять закручинился хозяин. — О России не думаем совершенно. А надо бы нам думать.

— Надо, Федор Ипатыч. Ой надо!

Вздохнули оба, задумались. В сигарки устались.

— Лыко умеючи драть надо, это ты, свояк, верно

сказал. Но и с перспективой. Чтоб, значит, в грядущес. Об этом думать надо.

— Это мы понимаем, Федор Ипатыч.

— Ну ладно, так и быть. По-свойски отпущу тебе такую бумажку. Учитывая бедственное положение.

Правильно Федор Ипатыч учитывал: было такое положение. Хоть и расплатился уже Егор сполна за утопленный мотор, но на прежней работе — на тихой да уважительной пристани — не остался. Сам ушел, по собственному желанию:

— Такой, стало быть, мой принцип, Яков Прокопыч.

И опять бегал, куда пошлют, делал, что велят, исполнял, что прикажут. И старался, как мог. Даже и не старался: стараются — это когда специально, когда себя насилуют, чтоб только все нормально сошло. А у Егора и в мыслях не было что-либо плохо сделать, где-либо словчить, на авось сотворить, кое-каком отделаться. Работал он всю жизнь и за страх и за совесть, а что не всегда все ладно выходило, так то не вина его была, а беда. Талант, стало быть, такой у него был, какой отроду достался.

Но в субботу — только туман рваться начал, над землей всплывая, — взял Егор веревок побольше, ножи наострил, топоришко за пояс засунул и подался в заповедный тот лес. За лыком, что денился по полтиннику за килограмм. И Кольку с собой прихватил: лишний пуд — лишние восемь целковых. Впрочем, лишнего у него ничего еще не бывало.

— Липа — дерево важное, — говорил Егор, шагая по заросшей лесной дороге. — Она в прежние-то времена, сынок, пол-России обувала, с ложечки кормила да сладеньким потчевала.

— А чего у нее сладкое?

— А цвет. Мед с цветку этого особый, золотой медок. Пчела липняки уважает, богатый взятки берет. Самое полезное дерево.

— А береза?

— Береза — она для красоты.

— А елка?

— Это для материала. Елка, сосна, кедр, лиственница. Избу срубить или, скажем, какое полезное строение. Каждое дерево, сынок, оно для пользы: бездельных природа не любит. Кто для человека растет, на его нужду, а кто для леса, для зверья всякого или для

гриба, скажем. И потому, прежде чем топором махать, надо поглядеть, кого обидишь: лося или зайца, гриб или белку с ежиком. А их обидишь — себя накажешь: уйдут они из леса-то порубленного, и ничем ты их назад не заманишь.

Хорошо было им идти по этой глухой дорожке, шлепать босыми ногами по росистой траве, слушать птиц и говорить об умной природе, которая все предусмотрела и все сберегла на пользу всему живому. К тому времени уж и солнышко вынырнуло, шишки на елях вызолотив, и шмели в траве запели. Колька на каждом повороте на компас смотрел:

— К западу свернули, тятя.

— Скоро дойдем. Я почему, сынок, в дальний-то липняк наостряюсь? А потому, что ближний-то больно уж красив. Больно в силе он состоит, цветущ больно, и трогать его не надо. Лучше вглубь сходим: ног нам не жалко. А липняк этот пусть уж цветет пчелам га радость да народу на пользу.

— Тятя, а шмели к липе летят?

— Шмели? Шмели, сынок, все больше понизу стараются: тяжелы больно. Клевера обхаживают, цветы всякие. В природе тоже свои этажи имеются. Скажем, трясогузка, она по земле шастает, а ястреб в поднебесье летает. Каждому свой этаж отпущен, и потому никакой тебе суеты, никакой тебе толкотни. У каждого свое занятие и своя столовка. Природа — она никого не обижает, сынок, и все для нее равны.

— А мы, как природа, не можем?

— Дык это... Как сказать, сынок. Должны бы, конечно, а не выходит.

— А почему не выходит?

— А потому, что этажи перепутаны. Скажем, в лесу все понятно: один родился ежиком, а другой — белкой. Один на земле шурует, вторая с ветки на ветку прыгает. А люди, они ведь одинаковыми рождаются. Все, как один, голенькие, все кричат, все мамкину титьку требуют да пеленки грязнят. И кто из них, скажем, рябчик, а кто кобчик — неизвестно. И потому все на всякий случай орлами быть желают. А чтоб орлом быть, одного желания мало. У орла и глаз орлиный и полет соколиный... Чуешь, сынок, каким духом тянет? Липовым. Вот аккурат за поворотом этим...

Аккурат завернули они за поворот, и замолк Егор. Замолк, остановился в растерянности, глазами моргая.

И Колька остановился. И молчали оба, и в знойной тишине утра слышно было, как солидно жужжат мохнатые шмели на своих первых этажах.

А голые липы тяжело роняли на землю увядающий цвет. Белые, будто женское тело, стволы тускло светились в зеленом сумраке, и земля под ними была мокрой от соков, что исправно гнали корни из земных глубин к уже обреченным вершинам.

— Сгубили, — тихо сказал Егор и снял кепку. — За рубли сгубили, за полтиннички.

А пока отец с сыном, потрясенные, стояли перед загубленным липняком, Харитина в намеченной ею самой дистанции последний круг заканчивала. К финишу рвалась, к заветной черте, за которой чудилась ей жизнь если и не легкая, то обеспеченная.

При всей горластости характеру ей было отпущено не так уж много: на мужа кричать — это пожалуйста, а кулаком в присутственный стол треснуть — это извините. Боялась она страхом неизъяснимым и столов этих, и людей за столами, и казенных бумаг, и казенных стен, увешанных плакатами аж до потолка. Входила робко, толкалась у порога: и требовать не решалась, и просить не умела. И, испариной от коленок до мозжечка покрываясь, талдычила:

— Мне бы место какое. Зарплата чтоб. А то семья.

— Профессией какой владеете?

— Какая у меня профессия? За скотом ходила.

— Скота у нас нет.

— Ну мужики-то есть? За ними уход могу. Помыть, постирать.

— Ну, да у вас, Полушкина, редчайшая профессия! Паспорт с собой? — В документ глядели, хмурились. — Дочка у вас ясельная.

— Олька.

— Яслей-то у нас нет. Ясли — в ведении Петра Петровича. К нему ступайте: как решит.

Шла к Петру Петровичу — на второй круг. От Петра Петровича к Ивану Ивановичу — на третий. А оттуда...

— Ну вот что: как начальник скажет. Я в принципе не возражаю, но детей много, а ясли одни.

Этот круг был последним, финишным: к черте подводил. И за той чертой — либо твердая зарплата два раза в месяц, либо конец всем мечтам. Конца этого

Харитина очень пугалась и потому с утра готовилась к свиданию с последним начальником со всей женской гродуманностью. Платье новое по коленки окоротила, нагладилась, причесалась как сумела. И еще сумочку с собой прихватила, сестрицы подарок, Марьицы, к именинам. А Ольгу учительнице Нонне Юрьевне подкинула: пусть тренируется. Своих пора заводить, чего там. Выгулялась.

Ни жива ни мертва Харитина дверь заветную тронула: будто к царю Берендею шла или к Кощею Бесмертному. А за дверью вместо Кощея с Берендеем — дева с волосами распущенными. И коготки по машинке бегают.

— Мне к начальнику. Полушкина я.

— Идемте.

Умилилась Харитина: до чего вежливо. Не «обождите», не «проходите», а «идемте». И сама в кабинет проводила.

Начальник — пожилой уже, в черных очках — за столом сидел, как положено. Перед собой смотрел, но строго ли — не поймешь: в очках ведь, как в печных заслонках.

— Товарищ Полушкина, — сказала дева. — По вопросу трудоустройства.

И вышла, облаком сладким Харитину обдав. А начальник сказал:

— Здравствуйте, товарищ Полушкина. Присаживайтесь.

И руку поперек стола простер. Не ей — она с краю стояла, — а точнехонько поперек, и Харитине шаг в сторону пришлось сделать, чтобы руку эту пожать.

— Значит, никакой специальности у вас нет?

— Я по хозяйству больше.

К тому, что в каждом новом месте, у каждого нового начальника ее об одном и том же спрашивали, Харитина быстро привыкла. И частила сейчас:

— По хозяйству больше. Ну, в колхозе пособляла конечно. А так — дети ведь. Двое. Олька — младшенькая: не оставишь. А тут кабанчика зарезать пришлось...

Слушал начальник, головой не ворочал, а куда смотрел — неизвестно и как смотрел — тоже неизвестно. И потому путалась Харитина, плела словеса вместо сути и до того доплелась, что и остановиться не могла. И детей, и мотор, и кабанчика, и непреклонного



товарища Сазанова, и собственного мужа-бедоносца — всех в одну вязь повязала. И сама в ней запуталась.

— Так что вам надо, товарищ Полушкина? Ясли или работа?

— Так ведь без яслей не наработаешь: дочку девать некуда. Не вечно ж мне Нонну-то Юрьевну беспокоить.

Ох, знать бы, куда смотрит да как поглядывает!

— Ну а если мы дочку вашу в ясли определим, куда устроиться хотите? Специальность получить или так, разнорабочей?

— Как прикажете. Сторожить чего или в чистоте содержать.

— Ну а желание-то у вас есть хоть какое-нибудь? Ведь есть же, наверно?

Вздохнула Харитина:

— Одно у меня желание: хлеба кусок зарабатывать. Нет у меня больше на мужа моего надежды, а детишек ведь одеть-обуть надо, прокормить, обучить надо да на ноги поставить. Да Олька мне руки повязала: не оставлять же ее ежедень на Нонну Юрьевну.

Улыбнулся начальник:

— Устроим вашу Ольку. Где тут заявление-то ваше? — И вдруг руками по столу захлопал, головы не поворачивая. Нашарил бумажку: — Это?

Встала Харитина:

— Господи, да ты никак слепой, милый человек?

— Что подедаешь, товарищ Полушкина, отказало мне зрение. Ну а хлеб, как вы говорите, зарабатывать-то надо, правда?

— Учеба, поди, глазыньки-то твои съела?

— Не учеба — война. Сперва-то я еще видел маленько, а потом все хуже да хуже. И — до черноты. Так это ваше заявление?

Запрыгали у Харитины губы, запричитать ей хотелось, завывать по-бабьи. Но сдержалась. И руку начальнику направила, когда он резолюцию накладывал, по-прежнему уставя свои черные очи в противоположную стену кабинета.

А пришла домой — муженек с сынком, как святые, сидят, не шелохнутся.

— А лыко?

— Нету лыка. Липа голая стоит, ровно девушка. И цвет с нее осыпается.

Не закричала Харитина почему-то, хоть и ждал Егор этого. Вздохнула только:

— Обо мне слепой начальник больше заботы оказывает, чем родной мужик.

Обиделся Егор ужасно. Вскочил даже:

— Лучше бы лесу он заботу оказывал! Лучше бы видел он ограбيلовку эту поголовную! Лучше б лыкодралов тех да за руку!..

Махнул рукой и ушел во двор. Покурить.

## 10

Мысль обмануть судьбу на лыковом поприще была у Егора последней вспышкой внутреннего протеста. И то ли оттого, что была она последняя и в запасе больше не имелось протестов, то ли просто потому, что крах ее больно уж был для него нагляден, Егор поставил жирный крест на всех работах разом. Перестал он верить в собственное везенье, в труд свой и в свои возможности, перестал биться и за себя и за семью и — догорал. Ходил на работу исправно, копал, что велели, зарывал, что приказывали, но делал уже все нехотя, вполсилы, стараясь теперь, чтоб и велели поменьше и приказывали не ему. Смирно сидел себе где-либо подальше от начальства, курил, жмурился на солнце и ни о чем уже не хотел думать. Избегал дум, шарахался от них. А они лезли.

А они лезли. Мелкие думы были, извилистые, черные, как пиявки. Сосали они Егора, и не поспевал он смахивать одну, как впивалась другая, отбрасывал другую, так присасывалась третья, и Егор только и делал, что отбивался от них. И не было душе его покоя, а вместо покоя — незаметно, исподволь — росло что-то неуловимо смутное, то, что сам Егор определил одним словом: за чем? Много было этих самых «за чем?», и ни на одно из них Егор не знал ответа. А ответ нужен был, ответ этот совесть его требовала, ответ этот пиявки из него высасывали, и, чтоб хоть маленько забиться, чтоб хоть как-то приглушить шорох этот в сердце своем, Егор начал попивать. Потихонечку, чтоб супруга не ругалась, и по малости, потому что денег не было. Но если раньше он каждую копейку норовил в дом снести, как скворец какой, то теперь он и по руб-

лебочке из дому потаскивал. Потаскивал и на тронх соображал.

И враз друзья объявились: Черепок да Филя. Черепок лысым сплошь был, как коленка, нос имел — огурец семенной да два глаза — что две красные смородины. И еще — рот, из которого мат лился и в который — водка. С хлястом она туда лилась, будто не глотка у Черепка была, а воронка для заправки. Без пробки и без доньшка.

Филя так не умел. Филя стакан наотмашь относил и палец оттопыривал:

— Не для пьянства пьем, а только чтоб не отвыкнуть.

Филя над стаканом поговорить любил, и это всегда Черепка раздражало: он к заправке рвался. Но Филя ценил не результат, а процесс и потому старался пить последним, чтоб на пятки не наступали. Выливал остаточки, бутылкой до тринадцатой капли над стаканом тряс и рассуждал:

— Что в ей находится, в данной жидкости? В данной жидкости — семь утопленниц: горе и радость, старость и младость, любовь да совет, да восемнадцать лет. Все я вспоминаю, как тебя выпиваю.

А Егор пил молча. Жадно пил, давясь: торопился, чтоб пиявки повыскочили. Не затем, значит, чтоб вспомнить, а затем, чтоб забыть. У кого что болит, тот от того и лечится.

Помогало, но ненадолго. А поскольку продлить хотелось — деньги требовались. Шабашить научился: Черепок на это мастак был великий. То машину разгрузить подрядится, то старушке какой забор поправить, то еще что-нибудь удумает. Шустрый был, пока тверезый. А Егор злился:

— На работу бы тебя наладить с ускоком твоим, не на шабашку.

— Работа не убежит: ополоснемся — доделаем. А недоделаем, так и...

И пояснял, что следовало. А Филя черту подводил:

— Машины должны работать. А люди — умственно отдыхать.

Однако случалось, что и сам Черепок не мог шабашки организовать. Тогда делали, что велено, ругались, ссорились, страдали, а пиявки так донимали Егора, что бросал он лопату и бежал домой. Благо Харитина теперь судомойкой в столовке работала и засечь

его не могла. Тянул Егор с места заветного рублевку, а то и две — и назад, к друзьям-товарищам.

— Что в ей находится, в данной жидкости?

Слезы там находились: как ни занята была Харитина домом, детьми да работой, а рублевки считала. И понять не могла, куда утекли они, и на Кольку накинута под горячую руку:

— Ах ты вор, хулиган ты бессовестный!..

И ну драть. За волосы, за уши — всяко, за что ни попадя. И сама ревет, и Оля ревет, и Колька ойкает. Егору бы смолчать тут, да больно глаз-то у сына растерянный был. Больно уж в душу глядел глаз-то этот.

— Я деньги те взял, Тина.

Сказал и испугался. Прямо до онемения: чего врать дальше-то? Чего придумывать?

— За-ачем?

Слава богу, не сразу спросила, а как бы в два приема. И Егору сообразить время дала, и Кольку выпустила. Утер Колька нос, но не убежал. На отца глядел.

— Я это... Мужiku одолжил знакомому. Надобно ему очень.

— Ему надобно, а нам? Нам-то, господи, на что хлеб-соль покупать? Нам-то жить на что, бедоносец ты чертов? Молчишь? А ну сей момент надевай шапку, к нему устремляйся да и стрей!

Вот устрой бабу на работу, и враз она в дому командовать начнет. Это уж точно.

— Кому сказано, тому велено!

Надел Егор шапку, вышел за ворота. Куда податься? К свояку разве, к Федору Ипатычу, в ноги бухнуться? Тогда, может, и даст, но ведь запилит. Занудит ведь. Стерпеть разве? А ну как не даст, а потом Харитине же и расскажет? Ну а еще куда податься? Ну а еще некуда податься.

Размышляя так, Егор совершил по поселку круг и назад домой прибыл. Скинул шапку и бухнул с порога:

— Утек он, мужик этот. Уволился из нашего населения.

Набрала Харитина в грудь воздуху — аж грудь та выпятилась, как в те сладкие восемнадцать лет, про которые в песне поется да которые Филя в стаканчике ищет, на доньшке. И понесла:

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов...

Понурил Егор голову, слушал, на сына поглядывал. Но Колька не на него глядел и не на мать — на компас. Глядел на компас и не слышал ничего, потому что завтра должен был компас этот бесценный отдать за здорово живешь.

А всему виной Оля была. Не сестренка Олька, а Оля Кузина, с ресницами и косичкой. Вовка ее часто за эту косичку дергал, а она смеялась. Сперва ударит, будто всерьез, а потом зубки покажет. Очень Кольке нравилось, как она смеется, но о том, чтоб за косу ее потрогать, об этом он даже помечтать не решался. Только смотрел издали. И глаза отводил, если она ненароком взглядывала.

Теперь они редко встречались: каникулы. Но все же встречались — на речке. Правда, она за кустами купалась с девчонками, но смех ее и оттуда Колькиных ушей достигал. И тогда Кольке очень хотелось что-нибудь сделать: речку переплыть, щуку за хвост поймать или спасти кого-нибудь (лучше бы Олю, конечно) от верной гибели. Но речка была широкой, щука не попадалась, и никто не тонул. И потому он только нырянием хвастался, но она на ныряния его внимания не обращала.

А вчера они с Вовкой на новое место купаться пошли, и Оля Кузина за ними увязалась. На берегу первой платишко скинула — и в воду. Вовка за ней навострился, а Колька в штанине запутался и на траву упал. Пока выпутывался, они уж в воде оказались. Хотел он за ними броситься, поглядел и не полез. Отошел в сторону и сел на песок. И так муторно ему вдруг стало, так тошно, что ни вода его не манила, ни солнышко. Помрачнел мир, будто осенью. Вовка Олю эту Кузину плавать учил. И показывал, и поддерживал, и рассказывал, и кричал:

— Дура ты глупая! Чего ты сразу всем дрыгаешь? Давай поддержку уж. Так и быть.

И Олька его слушалась, будто и впрямь душой была. Знала ведь, что Колька куда как получше Вовки плавает и глубины не боится, а вот пожалуйста. У Вовки и училась да еще хихикала.

Так Колька в воду и не полез. Слушал смехи эти да Вовкины строгости, придумывал, что ответить, если Оля все же опомнится и в воду его позовет. Но Оля не опомнилась: бултыхалась, пока не замерзла, а потом выскочила, схватила платье и в кусты побежала тру-

сики выжимать. А Вовка к нему подскочил. Шлепнулся на живот, глаза вытаращив:

— А я Ольку за титьки хватал!

Сколько там в Колькином теле крови было — неизвестно, а только вся она сейчас в лицо ему ударила. Аж под ложечкой защемило от бескровия.

— У ней же нету их...

— Ну и что? А я там, где будут!

Бога Колька молил, чтоб снег пошел, чтоб гроза вдруг ударила, чтоб ветер-ураганище. И помогло: ничего такого, правда, не произошло, но Оля в воду больше не полезла, как Вовка ни настаивал.

— Нет и нет. Мне мама не велит.

Много ли радости человеку надо? «Нет» сказала, и Колька сразу все позабыл: и купание, и смехи ее, и Вовкины нехорошие слова. Врал Вовка, ну конечно же врал, вот и все! И Колька по берегу уже не молчком шагал, а рассказывал про жаркие страны. Про моря, на которых никогда не был, и про слонов, которых никогда не видал. Но так рассказывал, будто и был и видел, и Олины глазки еще шире раскрывались.

А Вовка очень сердился и поэтому шел сзади. И не след в след — вот еще, охота была! — а сбоку, прямо по кустам. Нарочно ломал их там и шумел тоже нарочно.

— Они знаешь какие умные, слоны-то? Они все-все понимают, да! Они и на работу по гудку, как люди, и на обед.

— Надо же! — Это так Олина мама удивлялась, ну и Оля тоже. — А их едят?

Вздыхнул Колька: ох, не о том ты спрашиваешь, что интересно. Подумал:

— Дорого.

— Вот бы меня кто слоном угостил! Ну, ничего бы ему не пожалела за это, ну ничегошеньки!

Нет, даже за такую сказочную плату Колька не стал бы губить для нее слона. Нет, не для того слоны на свете живут, чтобы их девчонки ели. Даже если и очень красивые.

Это он подумал так. А сказал политично:

— У нас совсем этого достать невозможно. Ни за какие деньги.

— Слона нашел! — вдруг заорал Вовка. — Местного!

Из кустов выломился и щенка приволок. Худой щенок был, заброшенный, и ухо ему кто-то оборвал.

По морде то ли вода текла, то ли слезы, а языком он все норовил Вовкину руку лизнуть. Маленьким языком. Неумелым.

— Гадость какая паршивая! — Оля Кузина даже за Кольку спряталась. — Шелудивый он. Дохляк.

— Утопим, — сказал Вовка с удовольствием. — Может, он бешеный.

— А как же утопишь? — Оля из-за Кольки высулась, и в глазах ее зажглось что-то остренькое. — В воду бросишь?

— Чай, выплывет, если так-то. Подержи-ка, я каменья поищу.

Он щенка Кольке сунул, но Колька попятился и руки спрятал. И еще сказать что-то пытался, но слова вдруг провалились куда-то. И пока Вовка со щенком в руках на берегу камень искал, Колька все время слова вспоминал. Очень нужные слова, горячие очень — только не было их.

И камней тут тоже не было, как Вовка ни старался. Колька уж обрадовался тихонечко, уж сказал сдавленно: «Жалко...», как Вовка заорал радостно:

— Не надо мне никакой кирпичины, не надо! Я в воду залезу, а его ко дну прижму. Он враз наглотается!

И к берегу побежал. А у Кольки опять горло перехватило, и опять слова провалились куда-то. И тогда он просто догнал Вовку и за трусы схватил у самой воды.

— Пусти! — Вовка рванулся, аж резинка его позаду щелкнула. — Я нашел, я и зачурался, вот! И что хочу теперь, то с ним и сделаю.

— Он нашел, он и зачурался, — подтвердила Оля Кузина. — И теперь что хочет, то с ним и сделает. И пусть уж лучше утопит: интересно.

— Герасим и Муму! — объявил Вовка и опять в воду полез.

— Отдай, — попросил Колька тихо. — Отдай мне его. Отдай, а! Я тебе что хочешь за него дам. Ну, что сам захочешь.

— А что у тебя есть-то? — пренебрежительно спросил Вовка, но, однако, остановился, не полез вглубь. — Ничего у вас теперь нету, кроме долгов: папка так говорит.

— Кроме долгов! — засмеялась Оля Кузина (а смех у нее — будто бубенчик проглотила). — Ничего у них нет, ничегошеньки, даже кабанчика!

— Отдай.— Колька вдруг дрожать стал, словно только-только из воды вылез, нанырившись.— Ну, хочешь... Хочешь, я компас тебе за него отдам, а? Насовсем отдам, не топи только животную. Жалко.

— Жалко ему! — засмеялась Оля Кузина.— Жалко у пчелки!..

Но Вовка не засмеялся, а поглядел.

— Насовсем? — спросил: недоверчив был, весь в Федора Ипатовича.

— Честное-железное,— подтвердил Колька.— Чтоб мне не купаться никогда.

Молчал Вовка. Соображал.

— Да на что ему компас-то твой? — спросила Оля Кузина.— Очень он ему нужен, компас-то! И всего-то он, поди, копеек восемьдесят пять стоит. А щенок знаешь сколько? Ого! И не купишь, вот сколько.

— Я не за щенка,— пояснил Колька, а на сердце так скверно стало, что хоть заплачь. И компаса жалко, и щенка жалко, и себя почему-то тоже жалко, и еще чего-то жалко, а вот чего — никак Колька понять не мог. И добавил: — Я за то только компас дам, чтоб не топил ты его никогда.

— Это конечно,— солидно сказал Вовка.— Компас за щенка мало.

И щенка на руке покачал, будто прикидывая.

— Я не насовсем,— вздохнул Колька.— Пусть у тебя живет, если хочешь. Я за то только, чтоб ты не топил.

— Ну, за это...— Вовка похмурился по-отцовски, повздыхал.— За это можно. Как считаешь, Олька?

— За это можно,— сказала.

И слов-то у нее своих не было — вот что особо горько. Его слова повторяла, как тот попугай говорящий, про которого Колька читал в книжке «Робинзон Крузо».

— Ладно, только пусть покуда у меня живет,— важно сказал Вовка.— А компас завтра принесешь: Олька свидетельница.

— Свидетельница я,— сказала Олька.

На том и порешили. Вовка щенка домой отволок, Олька к маме убежала, а Колька с компасом пошел прощаться. Глядел, как стрелка вертится, как дрожит она, куда указывает.

На север она указывала.



Без кола да без двора — бобыль человек. Таких и Федор Ипатыч не уважал, и Яков Прокопыч побаивался. Если уж и двора нет, так что есть, спрашивается? Одни фантазии.

А у Нонны Юрьевны и фантазий никаких не было. Ничего у нее не было, кроме книжек, пластинок да девичьей тоски. И поэтому всем она чуточку завидовала — даже Харитине Полушкиной: у той Колька за столом щи наворачивал да Олька молочко потягивала. С таким прикладом и мужа-бедоносца стерпеть можно было, если бы был он, муж этот.

Никому в зависти этой — звонкой, как первый снежок, — никому Нонна Юрьевна не признавалась. Даже себе самой, потому что зависть эта в ней жила независимо от ее существа. Сама собой жила, сама соками наливалась, в жар кидала и по ночам мучила. И если бы кто-нибудь Нонне Юрьевне про все это в глаза сказал, она бы, наверно, с ходу окочурилась. Кондратий бы ее хватил от такого открытия. Ну а хозяйка ее, у которой она комнату снимала — востроносенькая, востроглазенькая да востроухонькая, — так та хозяйка все это, конечно, знала и обо всем этом, конечно, по всем углам давным-давно языком трясла:

— Подушки грызет, товарочки, сама в щелку видела, вот те крест. Кровь в ней играет.

А товарочки головами согласно кивали:

— Пора бы уж: перестоится девка. Мы-то первых своих когда рожали-то? Ай-ай, по бабьим срокам ей бы уж третьего в зыбке качать.

Вот с таких-то разговоров да шепотков Нонне Юрьевне и житье-то пошло не в житье, а в вытье. Никогда она для себя ничего добиваться не решалась и не пыталась, а тут вдруг понесло ее по всем начальникам. И откуда терпение взялось да настойчивость — не сдавалась. Все инстанции прошла, что положено, и добилась.

— Выделим вам отдельную комнату. Только, к сожалению, в аварийном фонде.

— В каком угодно!

Душа продрогшая о крыше не думает: ей стены нужны. Ей от глаз-сосулук укрыться нужно, и если при этом сверху капает — пусть себе капает. Главное, стены есть. Есть, где отплакаться.

Отплакалась Нонна Юрьевна с огромным удовольствием и большим облегчением: даже улыбаться начала. А как слезки высохли, так и сверху полило: дождь начался и без всяких препон комнаты ее собственной достиг. Все тазы и все кастрюли переполнил и породил в почти безмятежной голове Нонны Юрьевны мысли вполне практического направления.

Однако направление это, как выяснилось, в тупик вело:

— На ремонт все лимиты исчерпаны.

— Но у меня протекает потолок. Просто как душ, знаете.

Улыбнулись покровительственно:

— То не потолок протекает, то крыша. Потолок течь не может, он для другого приспособлен. А крыша, она, конечно, может. Все правильно, в будущем году ставим вас на очередь.

— Но послушайте, пожалуйста, там же совершенно невозможно жить. Там с потолка ручьем течет вода и...

— А мы вас насчет аварийного состояния предупреждали, у нас и документик имеется на этот счет. Так что сами вы во всем виноваты.

Вот так и перестал человек улыбаться: не до улыбок тут, когда в комнате — собственной, выстраданной, вымечтанной и выплаканной! — в комнате этой опять растут. Хоть соли их и грузи бочками в прекрасный город Ленинград. Маме.

Но повезло. Правда, втайне Нонна Юрьевна считала себя счастливой и поэтому даже не удивилась везению. Просто встретился ей у этого лишенного лимитов тупика некий очень приветливый гражданин. Лысый и великодушный, как древний римлянин.

— Эка невидаль, что течет. Покроем!

И покрыл. Так покрыл, что хоть святых выноси. Но и к этому способу общения Нонна Юрьевна как-то уже притерпелась. И даже научилась не краснеть.

— У меня бригада — ух, работает за двух, жрет за трех, а пьет, сколь поднесут. Так что готовь бутылку для заключения трудового соглашения.

Спиралью от древнего римлянина несло — комары замертво падали. Оно, конечно, правильно: человечество по спирали развивается, но эта, конкретная, такой пахучей была, что Нонна Юрьевна на всякий случай переспросила:

— Какую бутылку, говорите?

— Натуральную-минеральную, раскудри ее в колдобину и распудри в порошок!..

Пока Нонна Юрьевна за натуральной бегала, гражданин древний римлянин на носках к пустырю припустил:

— Есть шабашка, мужики, раскудрить вашу, распудрить. Дуру какую-то бог нанес: хата у нее текет. Дык мы ее поллитрами покроем, родимую. Пофронтальному, в три наката. Чтоб и не капала, зараза, на хорошего человека!..

День тот в смысле просветления душ с утра не задался, и мужики были злыми. Пока Черепок насчет шабашки колбасился, землю на пустыре для какого-то туманного назначения перелопачивали и цапались:

— Ты стенку-то оглаживай. Оглаживай, говорят тебе!

— А чего ее оглаживать? Не баба.

— А того, что осыплется, вот чего!

— Ну и хрен с ней, с осыпленной. Ты бы, Егор, за место указаний в смыслах оглаживания данной канавы домой бы смотался и супругу бы законную огладил бы на пару рубликов. И природа бы нам за это улыбнулась.

Промолчал Егор. Хмуро стенку свою оглаживал, землю со дна выгребал. Но хоть и оглаживал по привычке, и выгребал по аккуратности, а той легкости, за поя того рабочего, что двигал им когда-то мимо перекуров да переболтов, восторга того неистового перед делом рук своих он уже не испытывал. Давно не испытывал и делал ровнехонько настолько, чтоб наряд закрыли, даже если и с руганью.

А молчал он потому, что после того случая с враньем про неизвестного мужика, который утек из местного населения с якобы одолженными ему рублями, после Харитининых слез да Колькиных глаз зарекся он копейчку из дому брать. Сам себе слово такое дал и даже перекрестился тайком, хотя в бога не веровал. И пока держался. Держался за слово свое да за тайное крестное знамение, как за последний спасательный круг.

Ну, а тут Черепок прибежал и вестью радостной огорошил. Насчет крыши, что над дурой девкой так вовремя протекла.

— Шабаш, мужики!

Враз пошабашили. Обрадовались, лопаты в канаву покидали и к речке ударились — умыться. А умыв-

шись, подались заключать трудовое соглашение, заранее ощущая в животах волнуемую пустоту.

Издали еще Егор пятистеночку эту угадал: половина шифером крыта, половина травой заросла и их, стало быть, теперь касалась. Сруб глазом окинул: гнилью, однако, еще не тронуло сруб-то, и при умелом то-поре да добром взгляде обновить домишко этот труда особого не составляло. Крышу перекрыть да полы перестелить — и вся недолга.

Это он думал так, плотническим глазом работу прикидывая. Думал да помалкивал, потому что это не просто работа была, а шабашка, и говорить об истинном размере труда тут не приходилось. Тут полагалось раздуть любое хозяйское упущение до масштаба бедствия, пугать полагалось и стричь с испугу этого дикую шабашскую деньгу. Не учитываемый ни государством, ни бухгалтерией, ни фининспекцией, ни даже женами мужской подспудный доход.

А еще он подумал, что надо бы крыльцо поправить и косяки заменить. И навес над крыльцом надо бы уделить по-людски и... И тут дверь кособокая распахнулась, и Черепок сказал радостно:

— Бригада-ух! Здравствуй, хозяйка, кажи неудобства, раскудрить их...

— Здравствуйте,— очень приветливо сказала хозяйка.— Проходите, пожалуйста.

Все прошли, а Егор на крыльце застрял. В полном онемении: Нонна Юрьевна. Это к ней тогда Коляка прибежал — к ней, не к родимой матери. Пластинки слушал: голос, говорит, как у слона...

Затоптался Егор — и в хату не шел, и бежать не решался. И совестно ему было, что в такой компании в дом ее вваливается, да с таким делом, и думалось где-то, что хорошо еще — он в плотницкой работе соображение имеет.

— Егор Савельич, что же вы не проходите?

Узнала, значит. Вдохнул Егор, сдернул с головы кепку и шагнул в прогнившие сени.

Натуральную трескали. Под какого-то малька в томате, что ныне важно именовался частичком. Филя палец оттопыривал:

— Сколько их, земных неудобств, или, сказать, неудовольствий: кто счесть может? Мы можем, рабочие люди. Потому как всякое неудобство и неудовольствие жизни через наши руки проходит. Ну а что руки по-

щупали, того и голова не забудет — так, что ли, молодая хозяйшкa? Хе-хе. Так что выпьем, граждане-друзья-товарищи, за наши рабочие руки. За поильцев наших и частично кормильцев.

Черепок молча пил. Обрушивал стакан в самый зев, кричал оглушительно и рукавом утирался. Доволен был. Очень он был доволен: редкая шабашка попалась. Дура дурой, видать.

Но Егор пить не стал.

— Благодарствую на угощении.— И кружку отодвинул.

— Что же вы так категорически отказываетесь, Егор Савельич?

— Рано,— сказал.

И на Филю — тот уже второй раз мизинец оттопыривать примеривался,— на Филю в упор посмотрел. И добавил:

— За руки рабочие выпить — это мы можем. Это с полным нашим уважением. Только где они, руки эти? Может, мои это руки? Нет, не мои. Твои, может, или Черепка? Нет, не ваши. Шабашники мы, а не рабочие. Шабашники. И тут не радоваться надо вовсе, а слезой горючей умываться. Слезой умываться от стыда и позора.

Нонна Юрьевна так смотрела, что глаза у нее стали аккурат в очковины размером. Филя лоб хмурил, соображая. А Черепок... Ну, Черепок, он Черепок и есть: второй стакашек в прорву свою вылил и рукавчиком закусил.

— Осуждаешь, значит? — спросил наконец Филя и рассмеялся, но не от веселья, а от несогласия.— Вот, товарищ учительница, вот, товарищ представитель передовой нашей интеллигенции, какая, значит, у нас здоровая самокритика. И действует она ядовито. До первого стаканчика. А после данного стаканчика самокритику мы забываем, и начинается у нас одна сплошная критика. Что скажешь, бывший рабочий человек Егор Полушкин?

Испугалась вдруг Нонна Юрьевна. Чего испугалась, не понял Егор, а только увидел: испугалась. И заулыбалась торопливо, и глазками заморгала, и захлопотала, себя даже маленько роняя:

— Закусывайте, товарищи, закусывайте. Наливайте, пожалуйста, наливайте. Егор Савельич, очень я вас прошу, выпейте рюмочку, пожалуйста.

Посмотрел на нее Егор. И столько тоски в глазах его было, столько боли и горечи, что у Нонны Юрьевны аж в горле что-то булькнуло. Как у Черепка после стаканчиков.

— Выпить мне очень даже хочется, Нонна Юрьевна, учителька дорогая. И пью я теперь, когда случай выйдет. И если б вдруг тыщу рублей нашел — все бы, наверно, враз и пропил. Пока бы не помер, все бы пил и пил и других бы угощал. Пейте, говорил бы, гости дорогие, пока совесть ваша в вине не захлебнется.

— Ну, дык, найди, — сказал вдруг Черепок. — Найди, раскудрить ее, эту тыщу.

Глянул Егор на Нонну Юрьевну, глаз ее перепуганный уловил, руки задрожавшие и все понял. Понял и, взяв кружечку отодвинутую, сказал:

— Позвольте за здоровье ваше, Нонна Юрьевна. И за счастье тоже, конечно.

И выпил. И мальком этим, что по несуразности в томате плавал вместо заводи какой-нибудь, закусил.

И кружку поставил, как точку.

Потом пятистеночек осматривали. Объект, так сказать, приложения сил, родник будущих доходов.

Тут роли были распределены заранее. Черепку полагалось пугать, Филю — зубы заговаривать, а Егору — делом заниматься. Прикидывать, во что все это может обернуться, и умножать на два. И уж после этого умножения Черепок черту подводил. Во сколько, значит, влетит хозяину означенная работа.

Так и здесь предполагалось: Филя уж речи готовил потуманистей, Черепок уж заранее угрюмился, за столом еще.

— Ну, хозяйюшка, спасибо на угощении. Выкладывай теперь свои неудобства жизни.

Ходили, судили, рядили, пугали — Егор помалкивал. Все вроде бы по плану шло, все как надо, а уж о чем думал Егор, неудобства эти оглядывая, о том никто не догадывался. Ни Черепок, ни Филя, ни Нонна Юрьевна.

А думал он, во что это все девчоночке встанет. И о том еще думал, что хозяйства у нее — одна раскладушка, на которой когда-то сын его обиженный ночевал. И потому, когда сложил он все, что работы требовало, когда материал необходимый прикинул, то не умножил на два, а разделил:

— Полста рублей.

— Что? — Черепок даже раскудриться позабыл от удивления.

— Упился, видать, — сказал Филя и на всякий случай похихикал: — Невозможное произнес число.

— Пятьдесят рублей со всем материалом и со всей нашей работой, — строго повторил Егор. — Меньше не уложимся, извиняемся, конечно...

— Да что вы, Егор Савельич...

— Ах, раскудрить твою...

— Замолчь! — крикнул Егор. — Не смей тут выражения говорить, в дому этом.

— А на хрена мне за полстни да еще вместе с материалом?

— И мне, — сказал Филя. — Отказываемся по несурзности.

— Да как же, товарищи милые? — перепугалась Нонна Юрьевна. — Что же тогда?..

— Тогда в тридцатку все обойдется, — хмуро сказал Егор. — И еще я вам, Нонна Юрьевна, полки сделаю. Чтoб книжки на полу не лежали.

И пошел, чтoб мата черепковского не слышать. Так и ушел, не оглядываясь. На пустырь тот вернулся и снова взялся за лопату. Канаву оглаживать.

Били его на том пустыре. Сперва в канаве, а потом наверх выволокли и там тоже били.

А Егор особо и не отбивался: надо же мужикам злобу свою и обиду на ком-то выместить. Так что он, Егор Полушкин, бывший плотник — золотые руки, лучше других, что ли?

## 12

Федор Ипатович со всеми долгами расплатился, все в ажур привел, все справочки раздобыл, какие только требовались. Папку с тесемками в культтоварах купил, сложил туда бумажки и в область подался. Новому лесничему отчитываться.

В копеечку домик-то въехал. В круглую копеечку. И хоть копеечку эту он не у собственных детей изо рта вытянул, обидно было Федору Ипатовичу. Ох как обидно! До суровости.

Вот почему за всю дорогу Федор Ипатович и рта не раскрыл. Думы свои свинцовые кантовал с боку на бок и сочинял разные обидные слова. Не ругательные: их до него тьмы тем насочиняли, а особо обидные.

Сверху чтоб вроде обыкновенные, а внутри — чтоб отравя. Чтоб мучился потом лесничий этот, язви его, две недели подряд, а привлечь бы не мог. Никак.

Трудная это была проблема. И Федор Ипатович на соседей-попутчиков не растрачивался. Не отвлекался пустыми разговорами.

Думал он о встрече с новым лесничим Юрием Петровичем Чуваловым. Думал и боялся этой встречи, так как ничего не знал о нем, о новом лесничем.

Жизнь Юрия Петровича сложилась хоть и самостоятельно, но не очень счастливо. Отец пережил победу ровнехонько на один год и в сорок шестом отправился туда, где молчаливые батальоны ждали своего командира. А вскоре умерла и мать, измученная ленинградской блокадой и тысячедневным ожиданием фронтовых писем. Умерла тихо, как и жила. Умерла, кормя его перед сном, а он и не знал, что ее уж нет, и проворно сосал остывающую грудь.

Об этом ему рассказала соседка много лет спустя. А тогда... Тогда она просто перенесла его из вымершей комнаты в свою, хоть и пустую, хоть и вдовью, но живую, и целых шестнадцать лет он считал матерью только ее. А когда он, загодя приготовив справки, собрался торжественно прибыть в милицию за самым первым в своей жизни паспортом и попросил у нее метрику, она почему-то надолго вдруг замолчала, старательно обтирая худыми, жесткими пальцами тонкие, бескровные губы.

— Ты что, мам?

— Сынок... — Она вздохнула, достала из скрипучего шкафчика старую тетрадку с пожелтевшими солдатскими треугольниками, похоронками, счетами на электричество и метриками вперемежку, отыскала нужную бумажку, но не отдала. — Сядь, сынок. Сядь.

Он послушно сел, не понимая, что происходит с ней, но чувствуя, что что-то происходит. И опять спросил, улыбнувшись ласково и неуверенно:

— Ты что, мам?

А она все еще молчала и глядела на него без улыбки. А потом сказала:

— Ты, Юра, мне сыночком всегда был и всегда будешь, пока жива я. Пока жива, Юра. Только в свидетельстве этом, в метрике, значит, там другие записа-



ны. И мама другая, и папка. И ты паспорт, сынок, на ихнюю фамилию получай, ладно? Она очень даже хорошая фамилия, и люди они были очень даже хорошие. Очень даже. И не Семенов ты теперь будешь, а Чувалов. Юра Чувалов, сыночек мой...

Так Юра в шестнадцать лет стал Чуваловым, но эту малограмотную, тихую солдатку по-прежнему и называл и считал мамой. Сначала привычно и чуть небрежно, потом с великим почтением и великой любовью. После института он много разъезжал, работал в Киргизии и на Алтае, в Сибири и Заволжье, но где бы ни был и кем бы ни работал, каждое воскресенье писал письмо:

«Здравствуй, моя мамочка!»

Писал очень неторопливо, очень старательно и очень большими буквами. Чтобы сама прочитала.

И она тотчас же отвечала ему, аккуратно сообщая о своем здоровье (в письмах к нему она никогда ничем не болела, ни разу) и обо всем небогатом запасе новостей. И только последнее время все чаще и чаще стала ссторожно, чтоб — упаси бог! — не обидеть и не расстроить его, намекать на безрадостное житье и одинокую свою старость:

«У Марфы Григорьевны уж внучат двое, и жизнь у нее теперь звонкая...»

Но Юрий Петрович все отшучивался. Пока почему-то отшучивался и разговоры переводил все больше на здоровье. Береги, дескать, себя, мамочка, а там посмотрим, у кого она звончее сложится, эта самая жизнь. Поживем, как говорится, увидим, вот такие дела. Целую крепко.

Федор Ипатович ничего про это, конечно, не знал. Сидел напротив, глядел на хлюста этого столичного из-под бровей, как из двух дотов, и ждал. Ждал, что скажет, папку с бумажками пролистав.

И еще искося — чуть-чуть — вокруг поглядывал: как живет. Поскольку новый лесничий принимал его на сей раз не в служебном кабинете, а в гостиничном номере. И Федор Ипатович все время думал, к чему бы эта домашность. Может, ждет чего от него-то, от Федора Ипатовича, а? С глазу на глаз.

Ой нельзя тут ошибиться было, ой нельзя! И поэтому Федор Ипатович особо напряженно первого вопро-

са ждал. Как прозвучит он, какой музыкой? То ли в барабан ударит, то ли скрипочкой по сердцу разольется — все в первом вопросе заключалось. И Федор Ипатович аж подобрался весь, аж мускулы у него свело от этого ожидания. И уши сами собой выросли.

— Ну, а где же все-таки разрешение на порубку строевого леса в охранной зоне?

Вон какая музыка пошла. Из милицейского, значит, свистка. Понятно. Федор Ипатович, тоску спрятав, перегнулся через стол, попридержал дыхание для вежливости — аж в кипяток его сунуло, ей-богу, в кипяток! — и пальцем потыкал:

— А вот.

— Это справка об оплате. Справка. А я говорю о разрешении на порубку.

— Так прежний-то лесничий уехал уже.

— Так разрешение вы же не вчера брать должны были, а год назад, когда строились. Не так ли?

Засопел Федор Ипатович, заскучал. Замаялся.

— Мы с ним, с тем лесничим-то, душа в душу жили. Попросту, как говорится. Можно — значит, можно, а нельзя — так уж и нельзя. И без бумажек.

— Удобно.

— Ну за что же вы мне не верите, Юрий Петрович? Я же все бумажечки, как вы велели...

— Хорошо, проверим ваши бумажечки. Можете возвращаться на участок.

— А папочка моя?

— А папочка ваша у меня останется, товарищ Бурьянсов. Всего доброго.

— Как так у вас?

— Не беспокойтесь, не пропадут ваши справки. Счастливого пути.

С тем Федор Ипатович и отбыл, со счастливым, значит, путем. И весь обратный путь этот тоже молчал, как рыба, но не потому уже, что обидные слова придумывал, а со страху. То потел он со страху этого, то дрожать начинал, и, уж только к поселку подъезжая, все свои силы мобилизовал, и с огромным трудом привел себя в соответствие. В вид солидный и задумчивый.

А под всем этим задумчиво-солидным видом одна мысль в припадке билась: куда лесничий папочку его со всеми справочками понесет? А ну как в милицию,

а? Сгорит ведь тогда он, Федор Ипатович-то, сгорит. Синим пламенем сгорит на глазах у друзей-приятелей, а те и пальцем не шевельнут, чтоб его из пламени этого вытащить. Точно знал, что не шевельнут. По себе знал.

Но терзался Федор Ипатович напрасно, потому что новый лесничий папку эту никуда не собирался передавать. Просто неприятен ему был этот угрюмый страх, эта расплата задним числом и этот человек тоже. И никак он не мог отказать себе в удовольствии оставить Федора Ипатовича со страхом наедине. Пока без выводов.

Только один вывод для себя сделал: посмотреть на все своими глазами. Пора уж было глянуть и на этот уголок своих владений, но нагрянуть туда он решил неожиданно и поэтому ничего Федору Ипатовичу не сказал. Отложил эту папку, очень крупными буквами написал матери внеочередное — когда тут вернешься, неизвестно — письмо и стал собираться в дорогу. А когда открыл чемодан, в который — так уж случилось — почти не заглядывал с момента отъезда из Ленинграда, то на самом дне обнаружил вдруг маленькую посылочку. И со стыдом вспомнил, что посылочку эту передали ему в Ленинграде через третьи руки с просьбой при случае вручить ее учительнице в далеком поселке. В том самом, куда только-только собрался поехать.

Повертел Юрий Петрович эту посылочку, подумал, что растапа он и эгоист при этом, и положил ее в рюкзак. На сей раз на самый верх, чтобы вручить по прибытии, еще до того, как отправится на Черное озеро. А потом пошел в читальный зал и долго копался там в старых книгах.

А Нонне Юрьевне в эту ночь никакие сны так и не приснились. Вот оно как в жизни бывает. Без знамений и чудес.

## 13

Теперь у Егора опять пошла быстрая полоса. Все на бегу делал, что велено было, как во времена Якова Прокопыча. А закончив этот торопливый, без перекуров и перерывов, обязательный труд, умывался, причесывался, рубаху одергивал и шел к аварийной пятистеночке Нонны Юрьевны. Ходко шел, а вроде бы и не

семенил, торопился, а себя не ронял. Мастером шел. Особой походкой: ее ни с чем не спутаешь.

Правда, мастеровитость эта к нему недавно вернулась. А поначалу, синяков еще не растеряв, что Филя с Черепком ему наставили, затосковал Егор, замаялся. Ночь целую не спал — не от боли, нет! С болью-то он давно договорился на одном топчане спать — ночь не спал, вздыхал да ворочался, сообразив, что обманул он робкую Нонну Юрьевну. Не выходило там в тридцаточку, как ни кумекал Егор, как ни раскидывал. Не взял он того в соображение, что не было у Нонны Юрьевны во дворе ни доски, ни бревнышка и весь лес, значит, предстояло добывать на стороне. И пахло тут совсем не тридцаточкой.

Однако Нонну Юрьевну бессонницей своей он беспокоить не стал: его промах — его и беспокойство. Побегал, поглядел, посуетился, со сторожем лесосклада о ревматизме покалякал, покурил с ним...

Вот кабы для себя он лес добывал этот, то на том бы ревматизме все бы и закончилось. Не смогло бы Егорово горло никаких других слов произнести, просто физически не смогло бы — сдавило бы его, и конец всякому разговору. Скорее он бы хату свою собственной кожей покрыл, чтоб не текла, проклятая, чем о лесе бы заикнулся, скорее столбом бы в углу перекошенном замер, но в аварийной квартире Нонны Юрьевны вместо столба замереть было невозможно, и поэтому Егор, языком костеня, брякнул на том перекуре:

— Тесу бы разжиться. А?..

«А» это таким испуганным было, что аж пригнулось, из Егоровой глотки выскочив. Но сторож ничего такого не заметил, поскольку размышлял напрямик:

— Сколько?

Никогда в жизни Егор так быстро не соображал. Много сказать — напугается и не даст. Мало сказать — себя наказать. Так как же тут говорить-то без опыта?

— Дюжину... — глянул, как брезью мужик тот шевельнет, и добавил быстренько: — И еще пять штук.

— Семнадцать, значит, — сказал сторож. — Округляем до двадцати и делим напополам. Получается две поллитры.

Совершив эту математическую операцию, он умирился и присел на брезнышко. А Егор пока прикидывал:

— Ага. Ясно-понятно нам. В каком, значит, виде?  
— Одну — натурально, другую — денежно. Про запас.

— Ага! — сказал Егор. — А как тес вынесу?

— Считай от угла четвертый столб. Насчитал? От него обратно к углу — третья доска. Висит на одном гвозде. Не, не репетируй: начальство ходит. Ночью. Машину оставь за два квартала.

— Ага! — сказал Егор: упоминание о машине почему-то вселило в него уверенность, что с ним договариваются всерьез. — За три оставлю.

— Тогда гони пеллитру. И денежное способие на вторую.

— Счас, — сказал Егор. — Ясно-понятно нам. Счас сбегает.

И выбежал со склада очень радостно. А когда пробежал квартальчик, когда запыхался, тогда и радоваться перестал. И даже остановился.

В карманах-то его который уж год авось с небóсем только и водились. И еще махорка. А больше ничего: все свои деньги он всегда в кулаке носил. Либо получку — до дому, либо пай в тройственном согласии — из дома. А тут целых восемь рублей требовались. Восемь рубликов, как за пуд лыка.

Приуныл Егор сильно. С Нонны Юрьевны требовать — в тридцаточку не уложимся. У знакомых занять — так не даст же никто. На земле найти — так не отыщутся. Певздыхал Егор, покручинился и вдруг решительно зашагал прямо к собственному дому.

То все в субботу происходило, и Харитина поэтому шуровала по хозяйству. В избе пар стоял — не проглянешь: стирка, понятное дело. И сама над корытом — потная, красная, взлохмаченная — и поет. Мурлычет себе чего-то, но не «тягры» свои, и потому Егор прямо с порога и брякнул:

— Давай восемь рублей, Тина. Тес приторговал я для Нонны Юрьевны.

Знал, что будет сейчас, очень точно знал. Вмиг глаза у нее высохнут, выпрямится она, пену с рук смахнет, грудь свою надует и — на четыре квартала в любую сторону. И он уж подготовился к воплям этим, уже стерпеть все собирался, но не отступать, а в перерывах, когда она воздух для новой порции заглатывать начнет, втолковывать ей, кто такая Нонна Юрьевна и как нужно помочь ей во что бы то ни

стало. И так он был ко всему этому готов, так на одно и устремлен и заряжен, что поначалу даже ничего и не понял. Не сообразил.

— Тес-то добрый ли?

— Чего?

— Гнили бы не подсунули: обманщики кругом.

— Чего?

Руки о подол вытерла — большие руки-то, тяжелые, синими жилами опутанные, — руки вытерла и из-за Тихвинской божьей матери (маменьки ее благословение) коробку из-под конфет достала.

— Хватит восьми-то?

— Столковались так.

— Либо машину, либо подводу каку нанимать придется.

И еще трояк приложила к тем-то, к восьми. И вздохнула. И опять к корыту вернулась. Посмотрел Егор на деньги, враз пустоту — волнующую, знакомую — в животе ощутив. Посмотрел, сглотнул слюну и взял ровно восемь рублей:

— Допру.

И вышел. А она и не обернулась: только опять запела что-то. Чуть только погромче вроде бы. Вот почему, передавая сторожу бутылку и четыре рубля чистыми, Егор посуровистей свел выгоревшие свои брови и спросил построжу:

— Не обманешь?

— А кого? — очень лениво спросил сторож. — Бухгалтера нет, директора нет, инспектора тоже нет. Так кого обманывать? Себя? Невыгодно. Тебя, что ли? Обратно невыгодно: второй раз не придешь.

— Ладно-хорошо. Ночью, стало быть, третья доска. Не стрельни с дремоты-то.

— Она у меня незаряженная.

Весь вечер Егор и двух минут на месте усидеть не мог: вскакивал, поспешал куда-то, хотя поспешать было еще не время. Он был чудовищно горд своей инициативой и деловой хваткой, но где-то рядом с гордостью шевелилась большая черная пиявка. Поднимала тупую голову, нацеливая присоску в самое больное, и тогда Егор вдруг вскакивал и метался, и, чем меньше оставалось времени до воровского часа, тем все чаще поднимала пиявка эта свою голову и тем все быстрее и суматошнее метался Егор.

Заплатить бы ему за этот тес не поллитрой, а сколь

там положено. Лучше бы он сапоги свои последние загнал и расплатился бы честь по чести, чем вот эта вот пиявка, что ворочалась где-то возле самого сердца. Но выписать тес этот через контору, оплатив его по государственной цене, было немыслимо не только потому, что никто не купил бы у Егора его заветных сапог, а потому лишь, что контора эта имела право продавать частным гражданам только «неликвиды» — продукцию загадочную и по содержанию и по форме, из которой при самой великой хитрости можно было бы выстроить разве что малогабаритный нужник. Вот почему все изыскания заднего Егорова ума, — а он им был особо крепок, — все эти изыскания носили, так сказать, характер отвлеченно-теоретический. А практический выход тут был один: через третью доску обратно к углу.

Но, несмотря на пытки отвлеченной теорией, а может, как раз-то и благодаря им, Егор Кольку в ночной тот разбой не взял, ни единым словом об этом деле не обмолвился и Харитине своей велел молчать. Впрочем, это она и без него сообразила и еще загодя сказала:

— Кольку не пуцу.

— Верно, Тина, правильно. Чистоглазик парень-то... — У Егора горло вдруг перехватило, и кончил он почти что шепотом: — Ну и слава богу!

Нельзя сказать, что рос Егор ухарем, но особо ничего не боялся. И на медведя хаживал, и тонул, и спасал, и пьяных разнимал, и собак успокаивал. Слово «надо» для него всегда было — что было не удивительно, а вот что до сих пор сохранилось! — всегда было самым главным словом, и когда звучало оно — в нем ли самом или со стороны, — тогда и страх, и слабость, и все его немощи отступали на седьмой план. Тогда он шел и делал то, что надо. Без страха и без суеты.

Здесь тоже было «надо», звучало в полную силу, а страх почему-то не проходил. И чем ближе подползали стрелки ходиков к намеченному сроку, тем сильнее колотился в нем этот странный, безадресный, обезоруживающий его страх. И чтобы унять его, чтобы заставить самого себя шагнуть за порог в темную ночь, Егор, дождавшись, когда Харитина из горницы вышла, трижды перекрестился вдруг на Тихвинскую божью мать. Неумело, торопливо и нескладно. А прошептал уж совсем несурзное:

— Господи, не ворую вѣдь, а краду только. Ей-богу, украду разик, а больше никогда не буду. Честное слово, крест святой. Разреши уж, царица небесная, не расстраивайся... Для хорошего человека беру.

Тут Харитину вынесло, и молитву пришлось прервать. И поэтому Егор пошел на разбойное свое дело со смущенной душой.

Двенадцать часов выбрал, полночь, самое воровское время. Тишина в поселке стояла, только псы перебрехивались. И ни людей, ни скотов, будто вымерли все.

Шесть раз он мимо той доски прошел. Шесть раз сердце в нем обрывалось: нет, не со страху, не потому, что попасться боялся, а потому, что преступал. Через черту преступал, и то смятение, которое испытывала сейчас душа его, было во сто крат горше любых наказаний.

А как доски со склада за восемь улиц к Нонне Юрьевне волок, об этом вроде забыл потом. Силился вспомнить и не мог. И понять не мог, как же это он один двадцать дюймовых досок в шесть метров длиной допереть умудрился и не надорвался при этом. И сколько раз бегал, тоже не помнил. Должно, много: враз больше трех не упрешь. Пробовал.

Только помнил, что на складе ни души не было и через ту третью доску свободно можно было не двадцать — двести штук выволочь. Но он-то ровно двадцать взял, как договаривались. Отволок, свалил у Нонны Юрьевны на задах — место это он еще загодя доглядел — и домой пошел. Коленками, как говорится, назад.

А наутро — воскресное утро было, ласковое! — наутро надел Егор чистую рубаху, взял личный топор и вместе с Колькой отправился к Нонне Юрьевне. И так ему было радостно, так торжественно, что он оставивал каждого встречного и маленько калякал. И хоть никому не было дела до забот Егора Полушкина, Егор сам на свои заботы любой разговор поворачивал:

— За грибками ты, значит, наострился! Ну, везет, стало быть, отдыхай. А у меня дела. Работа, понимаешь ли, серьезный вопрос.

А Колька отмалчивался, только вздыхал. Он вообще примолк что-то последнее время. После того, как выменял компас на собачью жизнь. Но Егор молчаливости этой оценить никак не мог, так как весь был



поглощен предстоящей работой. Не шабашкой, а плотницкой. Для души. Потому-то он и Кольку с собою взял, а вот на шабашки не брал никогда. Там чему научишь-то? Деньгу зашибать? А тут настоящее дело ожидалось, и учение тоже должно было быть настоящим.

— В работе, сынок, без суеты старайся. И делай как душа велит: душа меру знает.

— А почему, тять, ты про душу-то все говоришь? В школе вон учат, что души вовсе никакой нету, а есть рефлексy.

— Чего есть?

— Рефлексy. Ну, это — когда чего хочется, так слюнки текут.

— Правильно учат,— сказал Егор, подумав.— А вот когда не хочется, тогда чего текет? Тогда, сынок, слезы горючие текут, когда ничего больше уж и не хочется, а велят. И не по лицу текут-то слезы эти, а внутри. И жгут. Потому жгут, что душа плачет. Стало быть, она все-таки есть, но, видать, у каждого своя. И потому каждый должен уметь ее слушать. Чего она, значит, ему подсказывает.

Говорили они неспешно, и слова обдумывая и дела, поскольку беседы вели за работой. Колька держал, где требовалось, пилил, что отмерено, и гвозди приловчился с двух ударов вгонять по самую шляпку. Первый удар — аккуратно, чтоб направить только, а второй — с маху, так, чтоб шляпка утопла. Споро работали: крышу перекрыли, крыльцо поставили, пол перебрали. А из остатков Егор начал сооружать полки, чтобы книжки на полу не валялись. Особо когда ту обнаружил, про индейцев.

Колька под рукой у него ходил. Помогал чем мог, сам учился и очень старался. Но раз в день непременно исчезал куда-то часа на два, а возвращался обязательно хмурый. Егор все приглядывался, хмурость эту замечая, но не расспрашивал: парень был самостоятельный и сам решал, что ему рассказывать, а о чем молчать. И потому старался о другом говорить:

— Главное дело, сынок, чтоб у тебя к работе всегда приятность была. Чтоб петь тебе хотелось, когда ты труд свой совершаешь. Потому тут хитрость такая: сколько радости пропето, столько обратно и вернется. И тогда все, кто работу твою увидит, тоже петь захотят.

— Если бы так было, все бы только и голосили.

Сердитым Колька в то утро с исчезновением-то своего вернулся. И говорил сердито.

— Нет, сынок, не скажи. Радостной ложкой и пустые щи хлебать весело.

— Если с мясом щи-то, так я и без ложки не заплачу.

— Есть, Коля, для живота веселье, а есть — для души.

— Обратно для души! — рассердился вдруг Колька. — Какой тут может быть серьезный разговор, когда ты все про дух какой-то говоришь, про религию!

Нонна Юрьевна — а они в ее комнате доски-то для полок строгали — в разговор не встревала. Но слушала с вниманием, и внимание это Егор ценил больше разговора. Потому при этих словах он на нее глянул и, рубанок отложив, за махоркой полез. А Нонна Юрьевна, взгляд его растерянный поймав, спросила вдруг:

— А может, не про религию, Коля, а про веру?

— Про какую еще веру?

— Верно-правильно, Нонна Юрьевна, — сказал Егор. — Очень даже человек верить должен, что труд его на радость людям производится. А если так он, за ради хлебушка, если сегодня, скажем, рой, а завтра — зарывай, то и тебе без веселья, и людям без радости. И ты уж не на то смотришь, чтоб сделать, как оно по-лучше-то, как посовестливее, а на солнышко. Где висит, да скоро ли спрячется. Скоро ль каторге этой да стыду твоему смертному отпущение настанет. Вот тут-то о душе-то и вспомнишь. Обязательно даже вспомнишь, если не бессовестный ты шабашник, если жив в тебе еще настоящий рабочий человек. Мастер жив уважаемый. Мастер!..

Голос его вдруг задрожал, Егор поперхнулся, в махорку свою уставился. А когда сигарку сворачивать стал, то пальцы у него сразу не послушались: махорка с листика сыпалась, и листик тот никак сворачиваться не хотел.

— Вы здесь курите, Егор Савельич, — сказала Нонна Юрьевна. — Курите здесь, пожалуйста.

Улыбнулся Егор ей. Аж губы подпрыгнули.

— Да уж, стало быть, так, Нонна Юрьевна. Стало быть, так, раз оно не этак,

А Колька молчал все время. Молчал, смотрел сердито, а потом спросил неожиданно:

— А сколько раз в день щенков кормить надо, Нонна Юрьевна?

— Щенков? — растерялась Нонна Юрьевна от этого вопроса. — Каких щенков?

— Собачьих, — пояснил Колька.

— Н-не знаю, — призналась она. — Наверно...

И тут в дверь постучали. Не кулаком: костяшками, по-городскому. И Нонне Юрьевне от этого стука еще раз растеряться пришлось:

— Да-да! Кто там? Войдите!

И вошел Юрий Петрович Чувалов. Новый лесничий.

### От автора

*Вот тут бы и точку поставить, читатель досочинит. Непременно досочинит счастливый конец и навсегда отложит эту книжку. Может, зевнет даже. Но простит, наверно: счастливые концы умилительны, а от умиления до прощения — рукой подать.*

*Только Егор не простит. Молча смотрит он на меня светлыми, как родное небо, глазами, и нет во взгляде его ни осуждения, ни порицания, ни гнева: несогласие есть.*

*И поэтому я продолжаю. Песню, которую начал, надо допеть до конца.*

### 14

Никогда в жизни не было у Кольки своей собаки. Знакомых — весь поселок, а вот своей собственной, от щенка вскормленной, такой не было. И учить ее не приходилось, а дрессировать — тем более. Обидно, конечно.

А вот у Вовки собаки не переводились. Не успеет Федор Ипатыч одну пристрелить, как тут же другую заводит. Прямо в тот же день, а может, даже и раньше.

Федор Ипатыч собак собственных уничтожал не по жестокости сердца и не по пьянке, а совсем на трезвую голову. Собака — это ведь не игрушка, собака расходов требует и, значит, должна себя оправдывать. Ну а коли состарилась, нюх потеряла или злобу порастратила, тогда не обессудь: за что кормить-то тебя? Кормить, конечно, не за что, но чтобы она, собака эта, с голоду

во дворе не издохла, Федор Ипатыч ее самолично на собственном огороде из ружья пристреливал. Из гуманных, так сказать, соображений. Пристреливал, шкуру собачникам сдавал (шестьдесят копеек платили!), а тушу под яблоней закапывал. Урожайные были яблоньки, ничего не скажешь.

И нынче у них во дворе здоровенная псина на цепи билась. Нёбо черное, глаза красные, рык с надрывом и клыки что два ножа. Даже Вовка Пальмы этой остервенелой побаивался, даром что выросли рядышком. Не то чтобы совсем боялся, но остерегался. Береженного бог бережет — эту пословицу Вовка еще в зыбке выучил: часто повторяли.

На цепи, значит, перед входом Пальма металась, а на задах, за банькой, в старой железной бочке Цуцик жил. Тот самый, чью жизнь не часы, а компас отмеривал: пока нравился компас этот Вовке, жив был Цуцик. Мог и хвостом помахать, и косточке порадоваться.

Правда, хвостом махать куда чаще приходилось, чем косточкам радоваться. И не потому, что Вовка извергом каким-то там рос: забывал просто, что собаки тоже есть каждый день хотят. Забывал, а глаза собачьи ничего напомнить ему не могли, потому что в глазах читать — это тоже уметь надо. Тут одной грамоты мало, чтобы в глазах тоску собачью прочесть. Тут что-то еще требовалось, но ни Вовку, ни тем более Федора Ипатовича эти «что-то» никогда не интересовали, а потому и не беспокоили.

Ну а Оля Кузина, чьи косички сердца Колькиного однажды коснулись да так и присохли к нему, — так Оля эта Кузина только с Вовкиного голоса говорить могла. И слова у нее Вовкины были, и мысли. А вот почему так получилось, Колька никак понять не мог: гонял ведь Вовка девчонку эту, за косы дергал, хватал за что ни попадя, раз прибил даже, а она все равно за ним бегала и ни на кого другого смотреть не желала. Все ей были уроды.

А еще Вовка сказал однажды:

— Может, я его, Цуцика этого, все-таки утоплю, Надоест компас твой — и утоплю. Пользы от него никакой не получишь.

Колька как раз щенка кормил, язычок его на руке своей чувствовал. Но смолчал.

— Если он ценный, так ты мне цену давай.

— Какую цену? — не понял Колька.  
— Настоящую. — Вовка солидно вздохнул.  
— Так денег нету. — Колька подумал немного —  
Может, я какую книжку в библиотеке стащу?  
— Зачем мне книжка? Ты вещь давай.

Вещей у Кольки не было, и разговор тот так ничем и не кончился. Но Колька о нем каждый день думал, каждый день страхом за Цуцика этого горемычного окутывался, а придумать ничего не мог, Мрачнел только. А тут еще Оля Кузина...

Вот почему в этот день он самого главного-то и не услышал. О ценке думал, о Вовке, о ценной вещи, которой у него не было, и об Оле Кузиной, у которой были глазки, смех и косички. Ничего не слышал, хоть и сидел за столом рядом с Нонной Юрьевной напротив нового лесничего.

А разговор за столом вот как складывался.

— Больно уж легко теперь человек с места вспархивает, — говорил тятка его Егор Полушкин. — Враз куда-то устремляется, прибегает в задыхе, вершит, чего попало, и обратно устремляется. И все кругом ему — случай... А из отрезанных кусков каравая не сложишь, Юрий Петрович.

— Люди интересную работу ищут. Это естественно.

— Значит, коль естественно, то и ладно, так выходит? Несогласный я с вами. Всякое место — оно все равно наше, общее то есть. А что выходит, если по жизни смотреть? А то выходит, что от поспешаловки мы про все это забываем. Вот приехал я, скажем, сюда, в поселок. Ладно-хорошо. Но и здесь, однако, лес да река, поля да облака. Чьи они? Старые люди толкуют: божьи. А я так мыслю, что если бога нет, то они мои. А мои, стало быть, береги свое-то. Не допускай разору: твоя земля. Уважай. Вот.

— Согласен с вами полностью, Егор Савельич.

Слушали здесь Егора — вот что удивительно было! Слушали, именем-отчеством величали, собственные ответы взвешивали. Егору это не то чтобы нравилось — он ведь не понравиться стремился! — а ворошило все в нем. Он уж и чай не пил, а только ложечкой в стакане помешивал, и говорил то, что казалось ему и нужным и важным:

— Человек отдыхает, зверь отдыхает, пашня отдыхает. Всем отдыхать положено не для удовольствия, а для скопления сил, Чтоб, значит, обратно работать,

так? А раз так, то и лес — он тоже подремать хочет. От людей забыться, от топоров залечиться, раны смолой затянуть. А мы обратно — лыко с него. Порядок это? Непорядок. Беспокойство это и липнякам полная смерть. Зачем?

— С липняками полностью моя вина, — сказал Юрий Петрович. — На охранные леса это разрешение не распространяется.

— Не в том дело, чья вина, а в том, чья беда...

Нонна Юрьевна тихо по хозяйству шебаршилась: чайку налить да хлебца подрезать. Слушала и Егора и лесничего, а сама примолкла. Как Колька.

— Много липняка погибло?

— Это есть. — Егор вздохнул, вспомнив свой незадачливый поход. — Деньги сулили, так что уж... Топор не остановишь, коль полтина за килограмм.

— Да, — вздохнул Чувалов. — Жаль. В старых книгах указано, что в лесах наших было когда-то множество диких пчел.

— Мы ведь это... — Егор покосился на упорно молчавшего Кольку и опять вздохнул. — Мы тоже за лыком-то наострились. Да. А как глянули, что в лесу от стволов бело, так и назад. И жалко и совестно.

До чего же хорошо и покойно было ему в этот день! И разговор тек неспешно, и новый лесничий казался приветливым, и сам Егор Полушкин — умным и вполне даже самостоятельным мужиком. Колька, правда, пыхтел да хмурился, но на его хмурое сопенье Егору не хотелось обращать внимания: он берег впечатления от встречи с лесничим и нес их домой неторопливо и бережно, точно боялся расплескать.

— Уважительный человек лесничий новый, — сказал он Харитине, как спать улеглись. — Простая, видать, душа и к сердцу отзывчивая.

— Вот бы на работу ему тебя взять — это отзывчиво.

— Ну зачем так-то, Тина, зачем?

О том, чтоб работать у Юрия Петровича, Егор даже думать боялся. То есть, конечно, думал, поскольку мечта эта заветная в нем уже поселилась, но вслух выражать ее не хотел. Не верил он больше в свое счастье и даже самые несбыточные мечты опасался до времени спугнуть или сглазить. И поэтому добавил политично:

— Он сюда не для работы приехал, а для туризма.

— А коль для туризма, так людям голову не морочь. А то обратно на три ста нагорим с туризмом с ихним.

Очень хотелось Егору защитить хорошего человека, но он только вздохнул и на другой бок повернулся. С женой спорить — бестолочь одна. Все равно последнее слово за ней останется.

А новый лесничий Юрий Петрович Чувалов, до вчерашнего просидев у Нонны Юрьевны, в тот день, естественно, ни в какой поход не пошел. И не только потому, что время уже было позднее, а и по соображениям, не счел пока ясным для него самого.

Все началось с проводов. Поскольку лесничий нагрянул в поселок внезапно и от огласки воздерживался, то и ночевать пошел не к подчиненному Федору Ипатьевичу Бурьянову, а к директору школы по рекомендации Нонны Юрьевны. И Нонна Юрьевна к директору этому в тот вечер его и провожала.

С директором у Нонны Юрьевны отношения были хорошие. С директором хорошие, а с товарищами по школе, с преподавательским, как говорится, коллективом, никаких отношений не сложилось. То есть, конечно, кое-что сложилось, но и не то и не так, как хотелось бы Нонне Юрьевне.

Надо сказать, что встретили молодую учительницу, прибывшую в поселок из города Ленинграда, и по-доброму и по-семейному. Всяк помочь рвался и помогал — и делом и советом. И все было отрадно аж до торжественного вечера накануне 8 Марта. Праздник этот отмечался особо, поскольку, кроме директора, мужчин в школе не имелось, и Международный женский день был воистину женским. Все к этому вечеру загодя и в глубокой тайне шили себе наряды.

А Нонна Юрьевна явилась в брючном костюме. Нет, не ради демонстрации, а потому что искренне считала этот костюм вершиной собственного гардероба, надевала его до сей поры один раз, на выпускной институтский вечер, и все девчонки тогда ей завидовали. А тут получился конфуз и поджатые губы.

— Не воскресник у нас, милочка, а праздник. Наш, женский. Международный, между прочим.

— А по-моему, это нарядно, — пролепетала Нонна Юрьевна. — И современно.

— Насчет современности вам, конечно, виднее, только если вы в этой современности позволяете себе

на торжественном вечере появляться, то извините. Мы тут, значит, не доросли.

Нонна Юрьевна к двери подалась, директор — за ней. Догнал на третьем повороте.

— Вы напрасно, Нонна Юрьевна.

— Что напрасно? — всхлипнув, спросила Нонна Юрьевна.

— Напрасно так реагируете.

— А они не напрасно реагируют?

Директор промолчал. Шел рядом с разгневанно шагавшей девушкой, думал, что следует сказать. Сказать следовало насчет примера, который обязан являть собою педагог, насчет буржуазных веяний, чуждой нам моды и тому подобное. Следовало все это сказать, но сказал он это про себя, а вслух поведал совсем иное:

— Да завидуют они вам, Нонна Юрьевна! Так, знаете, чисто по-женски. Вы молодая, фигура у вас, извините, конечно. А у них заботы, семьи, мужа, хозяйство, а вы — завтрашнее утро. Так что пощадите вы их великодушно.

Нонна Юрьевна глянула сквозь слезки и улыбнулась:

— А вы хитрый!

— Ужасно, — сказал директор.

На вечер Нонна Юрьевна не вернулась, но с директором подружилась. Даже иногда на чай заходила. И поэтому вела сейчас к нему лесничего без предупреждения.

А вечер теплый выдался и застенчивый. Вдалеке, возле клуба, музыку наяривали, в небе облака розовели. А ветра не было, и каблучки Нонны Юрьевны с особенной четкостью постукивали по деревянным тротуарам.

— Тихо-то как у вас, — сказал Чувалов.

— Тихо, — согласилась Нонна Юрьевна.

Не ладился у них разговор. То ли лесничий с дороги притомился, то ли Нонна Юрьевна от разговоров отвыкла, то ли еще какая причина, а только шагали они молча, страдали от собственной немоты, а побороть ее и не пытались. Выдавливали из себя слова, как пасту из тюбика — ровнехонько зубки почистить.

— Скучно здесь, наверно?

— Нет, что вы. Работы много.

— Сейчас же каникулы.



— Я с отстающими занимаюсь: знаете, пишут плохо, с ошибками.

— В Ленинград не собираетесь?

— Может быть, еще съезжу, Маму навестить.

И опять — полста шагов молча. Будто зажженные свечи перед собой несли.

— Вы сами эту глухомань выбрали?

— Н-нет. Назначили.

— Но ведь, наверно, могли бы и в другое место значить?

— Дети — везде дети.

— Интересно, а кем вы мечтали стать? Неужели учительницей?

— У меня мама — учительница.

— Значит, семейная профессия?

Разговор становился высокопарным, и Нонна Юрьевна предпочла не отвечать. Юрий Петрович почувствовал это, в душе назвал себя индюком, но молчать ему уже не хотелось. Правда, он не очень-то умел болтать с малознакомыми девушками, но идти молчком было бы совсем глупо.

— Литературу преподаете?

— Да. А еще веду младшие классы: учителей не хватает.

— Читают ваши питомцы?

— Не все. Коля, например, много читает.

— Коля — серьезный парнишка.

— Им трудно живется.

— Большая семья?

— Нормальная. Отец у него странный немного. Нигде ужиться не может, мучается, страдает. Плотник хороший и человек хороший, а с работой ничего у него не получается.

— Что же так?

— Когда человек непонятен, то проще всего объявить его чудаком. Вот и Егора Савельевича бедоносом прямо в глаза зовут, ну а Коля очень больно переживает это. Простите.

Нонна Юрьевна остановилась. Опершись о забор, долго и старательно вытряхивала из туфель песок. Песку-то, правда, немного совсем набилось, но мысль, которая пришла ей в голову, требовала смелости, и вот ее-то и копила в себе Нонна Юрьевна. И фразы сочиняла, как бы изложить эту мысль полнее.

— Вы один на Черное озеро собираетесь? — Сказала и испугалась: подумает еще, что навязывается. И добавила совсем уж невпопад: — Страшно одному. И скучно. И...

И замолчала, потому что объяснения завели ее совсем не в ту сторону. И с отчаяния брякнула без всякой дипломатии:

— Возьмите Полушкина в помощь. Его отпустят: он разнорабочим тут числится.

— Знаете, я и сам об этом думал.

— Правда? — Нонна Юрьевна улыбнулась с явным облегчением.

— Честное слово. — Юрий Петрович тоже улыбнулся. И тоже почему-то с облегчением на душе.

А на самом-то деле до ее неловких намеков ни о каком Егоре Полушкине лесничий и не помышлял. Он много и часто бродил по лесам один, ценил одиночество, и никакие помощники ему были не нужны. Но захотелось вдруг сделать что-то приятное этой застенчивой и нескладной маминой дочке, безропотно и честно исполнявшей свой долг в далеком поселке. И, увидев, как вспыхнуло ее лицо, добавил:

— И парнишку с собой захватим, если захочет.

— Спасибо, — сказала Нонна Юрьевна. — Знаете, мне иногда кажется, что Коля станет поэтом. Или художником.

Тут они наконец добрались до крытого железом директорского дома, и разговор сам собой прекратился. Возник он случайно, развивался мучительно, но Юрий Петрович его запомнил. Может быть, как раз поэтому.

Передав нового лесничего с рук на руки директору, Нонна Юрьевна тут же убежала домой, потому что ей очень хотелось о чем-то подумать, только она никак не могла понять, о чем же именно. А директор распухвал самовар и полночи развлекал Чувалова разговорами, особо упирая на то, что без помощи лесничества школе и учителям будет очень сложно с дровами. Юрий Петрович соглашался, гонял чай и все время видел худенькую девушку в больших важных очках. И улыбался не к месту, вспоминая ее странную фразу: «Вы один на Черное озеро собираетесь?»

Утром он зашел в контору и договорился, что для ознакомления с водоохранным массивом ему, лесничему Чувалову, отрядят разнорабочего Полушкина в качестве подсобной силы сроком на одну неделю,

Заулыбались в конторе новому лесничему. Оно и понятно: край-то северный, а зимы вьюжные.

— Полушкина отчетливо знаем. С онерами!

— Шebutной он мужик, товарищ лесничий. Не советуем: сильно шebutной!

— Мотор утопил, представляете?

— Говорят, спьяну.

— Говорят или видели? — мимоходом спросил Чувалов, расписываясь в добровольном согласии на получение шebutного мужика Егора Полушкина со всеми его онерами.

— Брехня, она впереди человека...

— Брехня впереди собаки. И то если собака эта за глаза брехать натаскана.

Спокойно высказался. Но так спокойно, что конторские деятели до вечера в собственной конторе шепотом разговаривали.

А Юрий Петрович из конторы направился к Нонне Юрьевне. Она только встала, встретила его в халатике и смутилась до онемения:

— Извините, я...

— Айда с нами на Черное озеро, — сказал он вместо «здравствуйте». — Надо же вам, преподавателю, знать местные достопримечательности.

Она ничего ответить не успела, да он и не ждал ответа. Кинул на крыльцо рюкзак, спросил деловито:

— Где Полушкин живет? Ладно, вы пока собирайтесь, а я за ним сбегая. И за парнишкой!

И действительно побежал. Бегом, несмотря что новый лесничий.

## 15

Как Юрий Петрович один в походе со всеми делами управиться рассчитывал, этого ни Егор, ни Колька понять не могли. С самого начала, как только они в лес окунулись, работы оказалось невпроворот.

Колька, например, всю живность, в пути замеченную, должен был в тетрадку заносить, в «Журнал наблюдений за фауной». Встретил, скажем, трясогузку — пиши, где встретил, во сколько времени, с кем была она да чем занималась. Сперва Колька, конечно, путался, вопил на весь лес:

— Юрий Петрович, серенькая какая-то на ветке!

Серенькая, понятное дело, улетала, не дожидаясь,

пока ее в журнал занесут, и Егор поначалу побаивался, что за такую активность лесничий Кольку живо назад наладит. Но Юрий Петрович всякий раз очень терпеливо объяснял, как эта серенькая научно называется и что про нее надо писать, и к вечеру Колька уже кое-что соображал. Не орал, а, дыхание затаив и язык высунув, писал в тетрадке:

«17 часов 37 минут. Маленькая птичка лесной ко-нек. Сидел на березе».

Тетрадку эту после каждой записи Колька отцу показывал, чтоб тот насчет ошибок проверял. Но насчет ошибок Егор не очень разбирался, а вспоминал всякий раз про одно:

— Часы, сынок, не потеряй.

Часы Кольке Юрий Петрович выдал. На время, конечно, для точности наблюдений.

«17 часов 58 с половиной минут. Мышка. Куда-то бежала, а откуда, не видал».

— Точность для исследователя — самое главное, — говорил Юрий Петрович. — Это писатель может что-нибудь присочинить, а нам сочинять нельзя. Мы с тобой, Николай, мученики науки.

— А почему мученики?

— А потому, что без мучений ничего в науке уже не откроешь. Что легко открывалось, то давно настезь пооткрывали, а что еще закрыто, то мучительного труда требует. Так-то, Николай Егорыч.

Юрий Петрович говорил весело и всегда громче, чем требовалось. Сперва Колька не понимал, зачем это он так старается, а потом сообразил: чтоб Нонна Юрьевна слышала. Для нее Юрий Петрович горло надсаживал, как сам Колька для Оли Кузиной.

А Нонна Юрьевна весь день этот пребывала точно в полусне. Все представлялось ей странным, почти нереальным: и улыбки Юрия Петровича, и старательные Егоровы брови, и Колькин разинутый от великого усердия рот, и тяжесть новенького рюкзака, и запах хвои, и шелест листвы, и хруст валежника под ногами. Она все видела, все слышала, все чувствовала обостреннее, чем всегда, но словно бы со стороны, словно это не она шагала сейчас по звонкому, залитому земляничным настоем заповедному бору, а какая-то иная, вроде бы даже незнакомая девушка, на которую и сама-то Нонна Юрьевна смотрела с недоверчивым удивлением. Да если бы кто-либо еще вчера сказал ей, что она уйдет к

Черному озеру с чужим человеком и Егором Полушкиным, она бы, наверно, рассмеялась. А сегодня пошла. Без всяких уговоров. Прибежал лесничий от Полушкиных, спросил недовольно:

— Почему не готовы? Да какой там, к дьяволу, чемодан — рюкзак у вас есть? Ничего у вас нет? А магазин где? За углом? Ладно, завтрак готовьте, сейчас сбегаяю.

Нонна Юрьевна и моргнула-то всего два раза, а Юрий Петрович уже вернулся с покупкой. Потом они завтракали, и он уговаривал ее поесть поплотнее. А потом пришли Полушкины: Егор и Колька. А потом... Потом Юрий Петрович вскинул свой неподъемный рюкзак и улыбнулся:

— Командовать парадом буду я.

Нонна Юрьевна и опомниться не успела, как оказалась в лесу. Да еще в брюках, которые с того памятного школьного вечера валялись на самом дне чемодана. За год они стали чуточку узки, и это обстоятельство весьма смущало Нонну Юрьевну. Она вообще еще дичилась, еще старалась держаться в одиночестве или на крайний случай где-либо возле Кольки, еще молчала, но уже слушала.

В институте ее по-школьному звали Хорошисткой. Прозвище прилипло с первой недели первого курса, когда на первом комсомольском собрании энергичный представитель институтского комитета спросил:

— Вот, например, у тебя, девушка — да не ты, в очках которая! — какие у тебя были общественные нагрузки?

— У меня? — Нонна встала, старательно одернув старенькое ученическое платье. — У меня были разные общественные нагрузки.

— Что значит разные? Давай конкретнее. Кем ты была?

— Я? Я — хорошистка.

Тут Нонна не оговорилась: она и впрямь была хорошисткой не только по отметкам, но и по сути, по нравственному содержанию, приобретенному в доме, где никогда не бывало мужчин. Поэтому жизнь здесь текла с женской размеренностью, лишенная резких колебаний и встрясок, столь свойственных мужскому началу. Поэзия заменяла живые контакты, а симфонические концерты вполне удовлетворяли туманные представления Нонны о страстях человеческих. Хорошист-

ка каждый вечер спешила домой, неуютно чувствовала себя среди звонких подружек и старательно гасила смутные душевные томления обильными откровениями великих гуманистариёв.

Так и бежали дни, ничем не замутненные, но и ничем не просветленные. Все было очень правильно и очень разумно, а вечера почему-то становились все длиннее, а тревога — странная, беспричинная и безадресная тревога — все росла, и Нонна все чаще и чаще, отложив книгу, слушала эту нарастающую в ней, непонятную, но совсем не пугающую, добрую тревогу. И тогда подолгу не переворачивались страницы, невидящие глаза смотрели в одну точку, а рука сама собой рисовала задумчивых чертиков на чистых листах очередного реферата по древнерусской литературе.

На их факультете было мало юношей, да и тех, кто был, более дальновидные подружки уже прибрали к рукам. На танцы Хорошистка не ходила, случайных знакомств побаивалась, а иных способов пополнить круг друзей у нее не было. И тянулись бесконечно длинные ленинградские вечера, коротать которые приходилось — увы! — с мамой.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Кто знает, сколько надежд и сколько страха было вложено в эти последние слова, которыми обменялись они, когда поезд уже тронулся. Поезд тронулся, мама семенила рядом с подножкой, все ускоряя и ускоряя шаг, а Нонна улыбалась, мобилизовав для этой улыбки все свои силы. Впрочем, мама улыбалась тоже, и ее улыбка была похожа на улыбку дочери, как две слезинки.

— Береги себя, доченька.

— Береги себя, мамочка.

Преодолев три сотни километров и пережив две пересадки, Хорошистка добралась-таки до места назначения, получила класс, уроки, две машины дров и комнату за счет народного просвещения. Написала маме очень длинное и изю всех сил веселое письмо, ответила на добрую сотню вопросов квартирной хозяйки, беззвучно проревела полночи в подушку, а утром явилась в класс и стала Нонной Юрьевной. И постепенно все то, что осталось позади: лекции и мамины пирожки, концерты и ленинградские мосты, БДТ и чаепития у дальних родственников, — постепенно все это тускло,

бледнело, покрывалось прошлым и становилось почти нереальным. Реальным было настоящее: горластые перемены, детские глаза, поселковая пыль, скрипучие тротуары, заботы о собственном жилье и житье. А будущее... Будущего не было, потому что то, о чем мечтала Нонна Юрьевна, ничем не отличалось от прошлого либо настоящего: она мечтала о свидании с мамой и Ленинградом и о том, чтобы всем хватило учебников в будущем учебном году.

А еще она мечтала о том, о чем мечтает всякая девушка. Но мечты эти были настолько тайными, что более или менее связно рассказать о них просто не представляется возможным.

И вот сейчас она шагала по глухому лесу с неприличным рюкзаком за плечами. И туфли ее — обычные городские туфли на низком каблуке, при виде которых Юрий Петрович подозрительно хмыкнул, — то проваливались в мох, то вообще с ног сваливались. И модные брюки (которые, к великому ее ужасу, оказались вдруг такими неприлично тесными!) мокли в росе, и смола к ним липла. И нейлоновая ее курточка, в которой она бегала в школу, все время цеплялась за сучья и стволы. И сама Нонна Юрьевна в походе оказалась такой нескладной, что ее каждую секунду кидало из жара в холод и обратно. И все-таки она упорно тащилась сквозь бурелом и заросли, хотя и чувствовала себя ненужной и несчастной.

К полудню она окончательно выбилась из сил, но Юрий Петрович своевременно распорядился сделать привал. С облегчением скинув рюкзак, Нонна Юрьевна тут же вызвалась готовить, чтобы хоть таким образом оправдать свое участие в походе. Правда, о полевых обедах Нонна Юрьевна имела довольно отвлеченные представления, но принялась за дело с таким энтузиазмом, что через полчаса каша уже лезла из ведра, еще не успев довариться. Нонна Юрьевна суматошно запихивала ее обратно, шепотом приговаривая какие-то женские заклинания, но каша упрямо стремилась в костер.

— На Маланьину свадьбу, — улыбнулся Юрий Петрович. — Ну и аппетит же у вас, Нонна Юрьевна!

— Сладим, — сказал Егор.

Сладили. До доньшка выскребли всю посуду, тогда только и отвалились. Нонна Юрьевна побежала к ручью ложки с плоскими мыть. Егор Кольку в помощь

ей отрядил, и мужчины остались одни у затухающего огня.

— В семейных состоите или в бобылях? — вежливо поинтересовался Егор.

Юрий Петрович странно посмотрел на него и еще более странно промолчал. Егор почувствовал неладное и засуетился:

— Извиняюсь, конечно, насчет любопытства. Но мужчина вы молодой, при должности, вот я, значит, и... того.

— А я, Егор Савельич, и сам не знаю, в каком звании состою: в семейных или в холостых.

— Как так получается?

— Да вот получилось.

Замолчал Юрий Петрович. Сигареты достал, Егора угостил. С одного уголька прикурили. Егор, уж о любопытстве своем сто раз пожалев, о чем-то калякать пытался, вскохотнул даже раза четыре, но Юрий Петрович был по-прежнему хмур и задумчив и отвечал невпопад.

Нонна Юрьевна посуду в ручье мыла, тоже хмурясь и о своем думая, а рядом Колька журчал без умолку. Пока он о зверье да о птицах журчал, Нонна Юрьевна не слушала, но Колька вдруг замолчал, проежей не договорив. Подумал, повздыхал, спросил сердито:

— Вы что, с этим, с Юрием Петровичем, уедете, да?

— Куда уеду? — У Нонны Юрьевны вроде внутри оборвалось что-то, холодок к ногам подкатился. — Зачем, Коля?

— Ну, женитесь и в город уедете, — очень агрессивно пояснил Колька. — Все так делают.

— Женюсь? Женюсь, да? — Нонна Юрьевна изо всех сил хохотать принялась, Кольку водой обрызгала и ложку утопила. — Вы слышите, Юрий Петрович? Слышите?

Нарочно громко кричала, чтобы все слышали. И все действительно слышали: и Егор, и лесничий. Только молчали почему-то, и радость с Нонной Юрьевой делить не торопились. И Нонна Юрьевна смешком собственным, кое-как сляпанным, враз подавилась, краснеть начала и ложку в воде шарить.

— Что же вы не отвечаете? — спросил мучитель Колька. — Значит, и вправду от нас удерете, раз отвечать не хотите.



— Глупости это, Коля, глупости. Замолчи сейчас же и никогда об этом не говори.

А почему не говорить, когда все крутом так делают? Вот и его прежняя учительница женилась — и привет родному дому.

Вздыхнул Колька. А Нонна Юрьевна, вздох этот недоверчивый уловив, закричала вдруг. Ни с того ни с сего, а будто бы со слезой:

— Я никогда не женюсь! Никогда, никогда, слышишь?

Так закричала, что Колька ей поверил. Без сомнения, не женится. Это уж точно.

## 16

Хоть и взял новый лесничий Егора с собой, хоть и исполнил тем самым затаенную мечту его, а вот прежняя Егорова живость, прежний — звонкий и радостный — оптимизм его уже никак и ни в чем не проявлялись. То ли устал Егор от всех мытарств, то ли не верил больше ни во что хорошее, то ли слишком уж непривычной и какой-то не очень, что ли, мужицкой представлялась ему новая его деятельность, а только радости особой он не испытывал.

Сколько желания сделать доброе человеку на жизнь отпущено? Сколько раз он, побитый и осмеянный, вновь подняться может, вновь улыбнуться труду своему, вновь силами с ним помериться? Сколько? Кто это знает? Может, на раз кого хватит, может, на сто раз? Может, уж исчерпал Егор весь запас жизнестойкости своей, все закрома до донышка выскреб, все зерно в муку перемолол и осталась в нем теперь одна половина? Где они, запасы-то эти, кто измерял их, кто испытывал, и не пора ли махнуть на все рукой, стянуть у Юрия Петровича трояк да дунуть сызнова к Филе да Черепку?

Кто знает, может, и махнул бы Егор на это свое везение. Махнул бы, потому что боялся в него поверить, боялся в себя поверить и в нового лесничего тоже боялся поверить. Удрал бы он отсюда, от новых попыток стать на ноги, поглядеть в себя, заслужить уважение людей и уверенность, что не совсем он, Егор Полушкин, пропащая душа. Удрал бы, да Колька рядом шаггал. Радовался, дурачок, лесу и зверью и радостно

верил, что вот это и есть самая распрекрасная жизнь. И, глядя на радость эту, Егор понимал, что не сможет ее предать. И больше всего, больше самой лютой смерти боялся, что кто-то вообще может предать такую радость. Глаза эти предать, что смотрят в тебя незамутненно и доверчиво. И от незамутненности и доверия даже моргают-то через раз.

— Тять, я правильно про синичку написал?

— Часы, сынок, не потеряй.

— Да знаю я!

Зачем птичек-мурашек пересчитывать, кому они нужны? Для смеху если, так Колька же в полезность верит. Глаза ведь у него огнем горят, душа наострилась, верит он во все ваши штучки, и, если вы нас опять, как тех мурашей, то обождите лучше маленько. Надо мной — это пожалуйста, это сколько угодно, а над мальцом...

— Кольке тетрадку дали для дела или так, для забавы?

— Почему для забавы?

— Посмеетесь, поди, у костра-то?

Юрий Петрович ответил не сразу. Подумал, на Егора поглядел. И враз перестал улыбаться:

— Мне не птички нужны, Егор Савельич, не перепись зверья. Мне сам Колька нужен, понимаете? Чтоб в лес он входил не как гость, а как хозяин: знал бы, где что лежит, где кто живет да как называется. А у костра... Что ж, у костра, Егор Савельич, вместе посидим, вместе и посмеемся. Только не над работой: работа, какая б ни была она, есть труд человеческий. А над трудом не смеются.

Нельзя сказать, чтоб эти слова сразу Егора на другие мысли перевели: мысли — не паровоз. Но в отношении Кольки как-то успокоили, и Егор маленько приободрился. Над сыном никто вроде смеяться пока не собирався, а насчет себя самого он мало беспокоился.

Но смеяться вечером им не пришлось, потому что пропала Нонна Юрьевна. Пропала, как стояла, аккуратно после ужина, оставив после себя грязную посуду, и вместо сладкого перекура вышла потная бегодня.

А вышла бегодня эта потому, что Нонне Юрьевне понадобилось уединение. Улучив момент, когда прилипала Колька куда-то отвлекся, Нонна Юрьевна шмыгнула в кусты и со всех ног кинулась подальше от костра, от малознакомых мужчин и — главное! — от

Кольки. Бежала, покуда слышны были голоса, а поскольку Колька как раз в этот момент решил спеть, то бежать ей пришлось долго. И думала она на бегу не о том, как будет возвращаться, а о том, как бы кто ее не заметил.

Ну а потом, когда надобность в одиночестве отпала, лес на все триста шестьдесят градусов оказался настолько одинаковым, что Нонна Юрьевна, повращавшись, решила опираться только на интуицию и отважно шагнула куда-то вперед.

Хватились ее, по счастью, быстро. Колька исполнял песню специально для нее и нуждался в оценке. Однако слушателя нигде не оказалось, и после недолгих поисков Колька доложил об этом отцу.

— Сейчас вернется, — сообразил Егор и пошел вместо Нонны Юрьевны мыть посуду.

Он старательно перемыл все ложки-плошки, а учителька все не появилась. Егор два раза аукнул, ответа не получил и доложил о пропаже по команде.

— Наверно, так надо, — сказал Юрий Петрович.

— Всякое «надо» полчаса назад должно было кончиться, — сказал Егор. — А она не откликается.

— Нонна Юрьевна! — бодро крикнул лесничий. — Вы где?

Послушали. Только лес шумел. По-вечернему шумел, басовито и таинственно.

— Что за черт! — нахмурился Юрий Петрович. — Нонна!.. Э-гей! Где вы там?

— Вот, — сказал Егор, прислушавшись. — Могила.

— Чего? — озадаченно спросил Юрий Петрович.

— Может, она домой пошла? — тихо предположил Колька. — Обиделась и пошла себе.

— Далеко домой-то, — усомнился Егор.

Юрий Петрович побегал по окрестностям, поборал, посвистел. Вернулся озабоченным:

— Искать придется. Коля, от костра чтоб ни на шаг! Не боишься один-то?

— Не-а, — вздохнул Колька. — Ведь надо.

— Надо, сынок, — подтвердил Егор и трусцой побежал в лес. — Ау, Юрьевна!

Аукали, пока хрип из глоток не пошел. Юрий Петрович сперва жалел, что ружья не прихватил, а потом — что девицу эту с собой пригласить надумал. Дернула же нелегкая! Но об этом особо погоревать ему не пришлось, потому что в непонятных лесных сүмер-

ках мелькнуло вдруг что-то совсем не лесное, что-то не-  
лестное, жалкое, плачущее навзрыд. Мелькнуло — и  
Юрий Петрович не успел сообразить, что это за виде-  
ние, как Нонна Юрьевна повисла у него на шее.

— Юрий Петрович! Миленкий!

Ревела она еще по-детски: громко и некрасиво,  
Шмыгала носом, размазывала ладонями слезы и взды-  
хала.

— Дура вы чертова! — с удовольствием сказал ей  
Юрий Петрович. — Это ведь не Кировский парк куль-  
туры и отдыха.

Нонна Юрьевна покорно кивала, всхлипывая уже  
по инерции. Юрий Петрович радовался, что в лесу тем-  
но и что Нонна Юрьевна не видит ни его смеющихся  
глаз, ни улыбок, которые он старательно прятал.

— Классный руководитель заблудился в трех ша-  
гах от палатки. Да если я расскажу об этом вашим уче-  
никам...

— А вы не говорите.

— Я-то уж, так и быть, пощажу вас. А Колька?

Нонна Юрьевна промолчала. Они продирались по  
темному лесу: Юрий Петрович шел впереди, обламы-  
вая сучья, чтобы Нонна не напоролась. Сухие ветки  
трещали на всю округу.

— Мы идем сквозь револьверный лай, — сказал  
Юрий Петрович и смутился, подумав, что щеголяет  
начитанностью не к месту и не ко времени.

— Я идиотка? — доверительно спросила Нонна  
Юрьевна.

— Есть немного.

Нонна хотела объяснить, как все получилось, но тут  
раздался грохот, и прямо на них вывалился Егор По-  
лушкин.

— Нашлась! Слава те... Тут, это, медведей нет, но  
заблудить недолго. Жалко, Колька компас свой поте-  
рял, а то бы вам его.

Вопреки тайному опасению Нонны Юрьевны Коль-  
ка встретил ее очень радостно и никаких вопросов не  
задавал. Проворчал только:

— Без меня чтоб ни шагу теперь.

— Достукались? — улыбнулся Юрий Петрович. —  
Ну, спать. Дамы и пажи — в палатку, рыцари — под  
косматую ель.

Колька и головы до подушки не донес: как свалил-  
ся, так и засопел. А вот Нонне Юрьевне не спалось дол-

го, хоть и расстарался Егор, наломав ей под бочок самого нежного лапника.

Кажется, она все-таки поцеловала Юрия Петровича. В страхе и слезах она не давала отчета в своих поступках и, не колеблясь, повисла бы на шее у Фили или у Черепка, если бы им случилось найти ее. Но случилось это Юрию Петровичу, и Нонна Юрьевна до сей поры чувствовала на губах жесткую, выдубленную солнцем и ветром щетину, тихонько трогала пальцами эти грешные губы и улыбалась.

Мужчины уснули сразу. Егор храпел, завалив голову, а Юрий Петрович вздыхал во сне и хмурился. То ли видел что-то сердитое, то ли недоволен был звонким Егоровым соседством.

Проснулся он рано: Егор, выбираясь из-под плащ-палатки, которой они оба укрывались, потянул не за тот край.

— Куда? Рано еще.

— Так...— Егор почему-то засмущался.— Погляжу пойду. Вы спите.

Юрий Петрович глянул на часы — было около пяти, — повернулся на другой бок, смутно подумал, как там спится Нонне Юрьевне, и уснул, будто провалился. А Егор взял чайник и пошел к реке.

Легкий туман еще держался кое-где над водой, еще цеплялся за мокрые кусты лозняка, и в тихой воде четко отражалось все, что гляделось в нее в это утро. Егор зачерпнул чайник, по воде разбежались круги, отражение закачалось, померкло на мгновение и снова возникло: такое же неправдоподобно четкое и глубокое, как прежде. Егор всмотрелся в него, осторожно, словно боясь спугнуть, вытащил полный чайник, тихо поставил его на землю и присел рядом.

Странное чувство полного, почти торжественного спокойствия вдруг охватило его. Он вдруг услышал эту тишину и понял, что вот это и есть тишина, что она совсем не означает отсутствия звуков, а означает лишь отдых природы, ее сон, ее предрассветные вздохи. Он всем телом ощутил свежесть тумана, уловил его запах, настоящий на горьковатом мокром лозняке. Он увидел в глубине воды белые стволы берез и черную кроху ольхи — они переплетались с всплывающими навстречу солнцу кувшинками, почти неуловимо размываясь у самого дна. И ему стало вдруг грустно от сознания, что пройдет миг и все это исчезнет, исчезнет

навсегда, а когда вернется, то будет уже иным, не таким, каким увидел и ощутил его он, Егор Полушкин, разнорабочий коммунального хозяйства при поселковом Совете. И он вдруг догадался, чего ему хочется: зачерпнуть ладонями эту нетронутую красоту и бережно, не замутив и не расплескав, принести ее людям. Но зачерпнуть ее было невозможно, а рисовать Егор не умел и ни разу в жизни не видел ни одной настоящей картины. И потому он просто сидел над водой, боясь шелохнуться, забыв о чайнике и о куреве, о Кольке, и о Юрии Петровиче, и обо всех горестях своей нелепой жизни.

Совсем рядом раздался шорох. Егор поднял голову; что-то белое колыхнулось за кустом, кто-то вздохнул, осторожно, вполвздоха. Он вытянул шею и сквозь листву увидел Нонну Юрьевну: она только что сняла халатик и белой ногой осторожно, как цапля, пробовала воду. Егор подумал, что надо бы взять чайник и уйти, но не ушел, потому что и этот полувздох и эти плавные женские движения тоже были отсюда, из той картины, над которой он вдруг замер, забыв обо всем на свете.

А Нонна Юрьевна сняла все, что еще оставалось на ней, и пошла в воду. Она шла медленно, ощупывая дно, гибкая и неуклюжая одновременно. И с тем же чувством спокойствия, с каким он глядел на реку, Егор смотрел сейчас на молодую женщину, на длинные бедра и покатые худенькие плечи, на маленькие, девчачьи груди и на тяжелые, важные очки, которые она так и не решилась оставить на берегу. И, глядя, как она тихо плещется на мелководье, он понимал, что не подглядывает, что в этом нет ничего зазорного, а есть то же, что у этой реки, у берез, у тумана, — красота.

Наплескавшись, Нонна Юрьевна пошла к берегу, и по мере того как вырастала она из воды, тело ее словно наполнялось пугливой стыдливостью, а чтобы прикрыть все, что хотелось, рук у нее не хватало, и она изгибалась, изо всех сил вытягивая тонкую шею и настороженно оглядывая кусты большими очками, на стеклах которых слезинками серебрились капли. И Егор совсем было собрался уходить, но на берегу она спокойно занялась волосами, старательно отжимая и вытирая их, и вновь изогнулась, но уже не испуганно, а свободно, раскованно, и Егор чуть не охнул от вдруг охватившего его непонятного восторга. И опять пожа-

дел о том, что нельзя, невозможно, немыслимо сохранить для людей и этот миг, донеся его до них в своих заскорузлых ладонях.

А потом он опомнился и, подхватив чайник, нырнул в кусты и прибежал к костру раньше Нонны Юрьевны совсем с другой стороны. Потом они завтракали, разбирали палатку, укладывали пожитки, а Егор все время видел тихую речку и белую гибкую фигуру, отраженную в ясной воде. И вздыхал почему-то.

К обеду вышли на берег Черного озера. Оно и впрямь было черным: глухое, затаенное, с нависшими над застывшей водой косматыми елями.

— Вот и прибыли,— сказал Юрий Петрович, с удовольствием сбросив рюкзак.— Располагайтесь, а мы с Колей насчет рыбки побеспокоимся.

Он достал складной спиннинг, коробочку с блеснами и пошел к воде. Колька забежал сбоку, во все глаза глядя на непонятную металлическую удочку.

— На червя, дядя Юра?

— На блесну. Щучку или окуня.

— Ну! — усомнился Колька.— Баловство это, поди?

— Может, и баловство. Отойди-ка, Николай Егорыч.

На пятом забросе леска резко натянулась, и двухкилограммовая щука свечой взмыла вверх.

— Ключула! — заорал Колька.— Тятка! Нонна Юрьевна! Щуку тащим!

— Погоди кричать, еще не вытащили.

Берег был низким, болотистым, заросшим осокой, и Юрий Петрович легко выволок серо-зеленую щуку с широко разинутой черной пастью. Белое брюхо проехало по осоке, Юрий Петрович прижал щуку носком сапога, вырвал из зева блесну и отбросил рыбу гдальше от берега.

— Вот и обед.

— А мне... — Колька даже слюной подавился от волнения.— Попробовать, а?

— Учись,— сказал Юрий Петрович.

Он показал мальчику, как забрасывать спиннинг, и, поддев щуку сучком, пошел к костру. А Колька остался на берегу. Забросы пока не получались, блесна летела куда ей вздумается, но Колька старался.

— Поди, денег стоит,— озабоченно сказал Егор.— Сломает еще.

— Починим,— улыбнулся Юрий Петрович, и Нонна Юрьевна тотчас же улыбнулась ему.

Колька стегал Черное озеро до вечера. Вернулся хмурым, но с открытием:

— За мыском кострище чье-то. Банок много пустых. И бутылок.

Все пошли смотреть. Высокий берег был вытоптан и частично выжжен, и свежие пни метили его, как оспины.

— Туристы,— вздохнул Юрий Петрович.— Вот тебе и заповедный лес. Ай да товарищ Бурьянов!

— Может, не знал он об этом,— тихо сказал Егор.

Туристы умудрились вывернуть из земли и спалить межевой столб — осталась яма да черная голозня.

— Хорошо гуляли! — злился Юрий Петрович.— Столб придется новый поставить, Егор Савельич. Займитесь этим, пока мы вокруг озера обойдем — поглядим, нет ли где еще такого же веселья.

— Сделаем,— сказал Егор.— Гуляйте, не беспокойтесь.

Вечером допоздна засиделись у костра. Утомленный спиннингом, Колька сладко сопел в палатке. Нонну Юрьевну упоенно жрали комары, но она терпела, хотя никакого интересного разговора так и не возникло. Глядели в огонь, перебрасываясь словами, но всем троим было хорошо и спокойно.

— Черное озеро,— вздохнула Нонна Юрьевна.— Слишком мрачно для такой красоты.

— Теперь Черное,— сказал Юрий Петрович.— Теперь Черное, а в старину — я люблю в старые книжки заглядывать — в старину оно знаете как называлось? Лебяжье.

— Лебяжье?

— Лебеди тут когда-то водились. Особенности какие-то лебеди — их в Москву поставляли, для царского стола.

— Разве ж их едят? — удивился Егор.— Грех это.

— Когда-то ели.

— Вкусы были другими,— сказала Нонна Юрьевна.

— Лебедей было много,— улыбнулся Юрий Петрович.— А сейчас пожалуйста — Черное. И то чудом спасли.

На предложение обойти озеро Колька отмахнулся: он спозаранку уже покидал спиннинг, убедился, что



до совершенства ему далеко, и твердо решил тренироваться. Юрий Петрович встретил его отказ спокойно, а Нонна Юрьевна перепугалась и с перепугу засуетилась неимоверно:

— Нет, нет, Коля, что ты говоришь! Ты должен непременно пойти с нами, слышишь? Это и с познавательной точки зрения, и вообще...

— Вообще я хочу шуку поймать,— сказал Колька.

— Потомймаешь, после. Вот вернемся и...

— Да, вернемся! Мне тренироваться надо. Юрий Петрович вон на пятьдесят метров бросает.

— Коля, но я прошу тебя. Очень прошу пойти с нами.

Юрий Петрович, сдерживая улыбку, следил за струсившей Нонной Юрьевной. Потом сжалился:

— Мы с тобой спиннинг возьмем, Егорыч. Тут ты уже всех щук распугал.

Аргумент подействовал, и Колька бросился собираться. А Юрий Петрович сказал:

— А вы, оказывается, трусишка, Нонна Юрьевна.

Нонна Юрьевна вспыхнула — хоть прикуривай. И смолчала.

Оставшись один, Егор неторопливо принялся за дело. Углубил яму саперной лопаткой запасливого Юрия Петровича. Наглядел осину для нового столба, покурил подле, а потом взял топор и затопал вокруг обреченной осины, прикидывая, в какую сторону ее сподручнее свалить. В молодой осинник — осинок жалко. В ельник — так и его грех ломать. На просеку — так убирать придется, мороки часа на три. На четвертую разве сторону?

На той, четвертой стороне ничего примечательного не было — торчал остаток давно сломанной липы. Видно, с тростиночки еще липа эта горяхватила: изогнулась вся, борясь за жизнь. Сучья почти от комля начинались и росли странно, растопыркой, и тоже извивались в самых разных направлениях. Егор глянул на нее вскользь, потом — еще вскользь, чтоб прицелиться, как осину класть. Потом на руки поплевал, топор поднял, замахнулся, еще раз глянул и... И топор опустил. И, еще ни о чем не думая, еще ничего не поняв, пошел к той изломанной липе.

Что-то он в ней увидел. Увидел вдруг, разом, словно при всплеске молнии, а теперь забыл и растерянно

глядел на затейливое переплетение изогнутых ветвей. И никак не мог понять, что же он такое увидел.

Он еще раз закурил, присел в отдалении и все смотрел и смотрел на эту раскоряку, пытаюсь сообразить, что в ней заключено, что поразило его, когда он уже замахнулся на осину. Он приглядывался и справа и слева, откидывался назад, наклонялся вперед, а потом с внезапной ясностью вдруг мысленно отсек половину ветвей и словно прозрел. И вскочил, и заметался, и забегал вокруг этой коряги в непонятном радостном возбуждении.

— Ладно, хорошо, — бормотал он, до физического напряжения всматриваясь в перепутанные ветви. — Тело белое, как у девушки. Это она голову запрокинула и волосы вытирает, волосы...

Он проглотил подкативший к горлу ком, поднял топор, но тут же опустил его и, уговаривая сам себя не торопиться, отступил от липы и снова присел, не сводя с нее глаз. Он уже забыл и про межевой столб, и про нового лесничего, и про Нонну Юрьевну, и даже про Кольку — он забыл обо всем на свете и ощущал сейчас только неудержимое, мощно нарастающее волнение, от которого дрожали пальцы, туго стучало сердце и покрывался испариной лоб. А потом поднялся и, строго сведя выгоревшие свои бровки, решительно шагнул к липе и занес топор.

Теперь он знал, что рубить. Он увидел лишнее.

Лесничий с учительницей и Колькой вернулись через сутки. Возле давно потухшего костра сидел взъерошенный Егор и по-собачьи посмотрел им в глаза.

— Тятя, а я окуня поймал! — заорал Колька на подходе. — На спиннинг, тятя!

Егор не шелохнулся и будто ничего не слышал. Юрий Петрович ковырнул осевшую золу, усмехнулся.

— Придется, видно, нам его и зажарить. На четверых.

— Я кашу сварю, — торопливо сказала Нонна Юрьевна, со страхом и состраданием поглядывая на странного Егора. — Это быстро.

— Кашу так кашу, — недовольно сказал Юрий Петрович. — Что с вами, Полушкин? Заболели?

Егор молчал.

— Столб-то хоть поставили?

Егор обреченно вздохнул, дернул головой и поднялся:

— Идемте. Все одно уж.

Пошел к просеке, не оглядываясь. Юрий Петрович посмотрел на Нонну Юрьевну, Нонна Юрьевна посмотрела на Юрия Петровича, и оба пошли следом за Егором.

— Вот,— сказал Егор.— Такой, значит, столб.

Тонкая, гибкая женщина, заломив руки, изогнулась, словно поправляя волосы. Белое тело матово светилося в зеленом сумраке леса.

— Вот,— тихо повторил Егор.— Стало быть, так вышло.

Все молчали. И Егор сокрушенно умолк и опустил голову. Он уже знал, что должно было последовать за этим молчанием, уже готов был к ругани, уже жалел, что снова увлекся, и сам ругал себя последними словами.

— Баба какая-то! — удивленно хмыкнул подошедший Колька.

— Это — чудо,— тихо сказала Нонна Юрьевна.— Ничего ты, Коля, еще не понимаешь.

И обняла его за плечи. А Юрий Петрович достал сигареты и протянул их Егору. Когда закурили оба, спросил:

— Как же ты один дотащил-то ее, Савельич?

— Значит, сила была,— тихо ответил Егор и заплакал.

## 17

В то утро, когда Егор круги на воде считал да ненароком Нонной Юрьевной любовался, у продовольственного магазина встретились Федор Иванович с Яковом Прокопычем. Яков Прокопыч по пути на свою водную станцию всегда в магазин заглядывал аккуратно к открытию: не выбросили ли чего любопытного? А Федор Ипатович приходил по сигналам сверху: ему лично завмаг новости сообщал. И сегодня он сюда за селедочкой наострился: забросили в эту точку баночную селедочку. Деликатес. И за этим деликатесом Федор Ипатович первым в очереди угнезвился.

— Здорово, Федор Ипатыч,— сказал Яков Прокопыч, заняв очередь девятнадцатым: у завмага да продащиц не один Федор Ипатович в знакомых ходил.

— Наше почтение,— отозвался Федор Ипатович и газету развернул — показать, что в разговоры вступать не готовится.

В другой бы день Яков Прокопыч, может, и обратил бы внимание на непочтение это, может, и обиделся бы. А тут не обиделся, потому что новость нес обжигающую и спешил ее с души сложить.

— Что о ревизии слыхать? Какие эффективности?

— О какой такой ревизии?

— О лесной, Федор Ипатыч. О заповедной,

— Не знаю я никакой ревизии, — сказал Федор Ипатыч, а строчки в газете вдруг забежали, буквы запрыгали, и ни единого слова уже не читалось.

→ Тайная, значит, ревизия, — сделал вывод Яков Прокопыч. — А свояк ничего не сообщает?

— Какой такой свояк?

— Ваш. Егор Полушкин.

Совсем у Федора Ипатовича в глазах зарябило: какая ревизия? При чем Егор? И спросить хочется, и солидность терять боязно. Сложил газету, сунул ее в карман, похмурился.

— Известно, значит, всем.

А что известно — и сам бы узнать не прочь. Да как?

— Известно, — согласился Яков Прокопыч. — Известны только выводы.

— Какие выводы? — Федор Ипатович насторожился. — Не будет выводов никаких.

— Видать, не в полном вы курсе, Федор Ипатыч, — сказал вьедливый Сазанов. — Будут строгие выводы. На будущее. Для тех выводов учительницу и включили.

Какая комиссия? Какая учительница? Какие выводы? Совсем уж Федор Ипатович намеками истерзался, совсем уж готов был в открытую у Якова Прокопыча все расспросить, да как раз в миг этот магазин открыли. Все туда потекли, вдоль прилавков выстраиваясь, и разговор оборвался.

И уж только потом, когда полностью оторвались, возобновился: Федор Ипатович специально на улице поджидал.

— Яков Прокопыч, чего-то я недопонял. Где, говорите, Полушкин-то обретается?

— В лесу он обретается: комиссию ведет. В ваши заповедные кварталы.

Туча тучей Федор Ипатович домой вернулся. На Марьицу рывкнул, что та чуть стакан в руках удержала. Сел к завтраку — кусок в горло не лез. Ах Егор Полушкин! Ах змея подколодная! Недаром, видать, с

учителкой любезность разводил — под должность ко-  
пает. Под самый корешок.

Весь день молчал, думы свои чугунные ворочал. И комиссия не праздничек, и ревизия не подарок. Но это еще так-сяк, это еще стерпеть можно, а вот то, что свой же родственник, друг-приятель, бедоносец чертов, корень жизни твоей вагой поддел,— это до глухоты обидно. Огнем это жжет, до боли непереносимой. И простить этого Федор Ипатович не мог. Никому бы этого не простил, а Егору — особо.

Два дня сам не свой ходил и ел через раз. На Марью рычал, на Вовку хмурился. А потом отошел вроде, даже заулыбался. Только те, кто хорошо Федора знал, улыбку эту, навеки застывшую, по достоинству оценили.

Ну а Егор Полушкин про эту улыбку и знать ничего не знал и не догадывался. Да если бы и знал, внимания бы не обратил. Не до чужих улыбок ему было — сам улыбался от уха до уха. И Колька улыбался, не веря собственному счастью: Юрий Петрович ему на всеобщих радостях спиннинг подарил.

— Главное, я не сразу углядел-то! — в сотый раз с неиссякаемым восторгом рассказывал Егор. — Сперва, значит, вроде ударило меня, а потом позабыл, чего ударило-то. Глядел, глядел, значит, и углядел!

— Учиться вам надо, Егор Савельич,— упрямо талдычила Нонна Юрьевна.

— Вам оно, конечно, виднее, а меня ударило! Ударило, поверите ли, мил дружки вы мои хорошие!

Так, радостно вспоминая о своем внезапном озарении, он и притопал в поселок. И на крайней улице вдруг остановился.

— Что стал, Егор Савельич?

— Вот что,— серьезно сказал Егор и вздохнул.— Не обидите, а? Радость во мне сейчас расставаться не велит. Может, ко мне пожалуете? Не ахти, конечно, угощение, но, может, честь окажете?

— Может, лучше потом, Егор Савельич? — замялась Нонна Юрьевна.— Мне бы переодеться...

— Так хороши,— сказал Юрий Петрович.— Спасибо, Егор Савельич, мы с удовольствием.

— Да мне-то за что, господи? Это вам спасибо, вам!

День был будним, о чем Егор за время своей вольной жизни как-то позабыл. Харитина работала, Оляка

в яслях забавлялась, и дома их встретило только кошкино неудовольствие. Егор шарахнул по всем закромам, но в закромах было пусто, и он сразу засуетился.

— Счас, счас, счас. Сынок, ты картошечки спроворь, а? Нонна Юрьевна, вы тут насчет хозяйства сообразите. А вы, Юрий Петрович, вы отдыхайте покуда, отдыхайте.

— Может, хозяйку подождем?

— А она аккурат и поспеет, так что отдыхайте. Курите тут, умойтесь. Сынок покажет.

Торопливо бормоча гостеприимные слова, Егор уже несколько раз успел слазить за Тихвинскую богоматерь, ощупать пустую коробку из-под конфет и сообразить, что денег в доме нет ни гроша. Это обстоятельство весьма озадачило его, добавив и без того нервной суетливости, потому что параллельно с бормотанием он лихорадочно соображал, где бы раздобыть десятку. Однако в голову, кроме сердитого лица Харитины, ничего путного не приходило.

— Отдыхайте, значит. Отдыхайте. А я, это... Сбегаю, значит. В одно место.

— Может, вместе сбегает? — негромко предложил Юрий Петрович, когда Нонна Юрьевна вышла вместе с Колькой. — Дело мужское, Егор Савельич.

Егор строго нахмурился. Даже пальцем погрозил:

— Обижаешь. Ты гость, Юрий Петрович. Как положено, значит. Вот и сиди себе. Кури. А я похлопочу.

— Ну а если по-товарищески?

— Не надо, — вздохнул Егор. — Не портить праздник.

И выбежал.

Одна надежда была на Харитину. Может, с собой она какие-никакие капиталы носила, может, одолжить у кого-нито могла, может, присоветовать что путное. И Егор с пустой кошелкой, на дне которой сиротливо перекачивалась пустая бутылка, перво-наперво рванул к своей благоверной.

— А меня спросил, когда приглашал? Вот сам теперь и привечай, как знаешь.

— Тинушка, невозможное ты говоришь.

— Невозможное? У меня вон в кошельке невозможного — полтора целковых до получки. На хлеб да Ольке на молоко.

Красная она перед Егором стояла, потная, взлохмаченная. И руки, большие, распаренные, перед собой на животе несла. Бережно, как кормильцев дорогих.

— Может, одолжим у кого?

— Нету у нас одалживателей. Сам звал, сам и хлопил. А я твоих гостей в упор не вижу.

— Эх, Тинушка!..

Ушла. А Егор вздохнул, потоптался в парном коридоре, что вел на кухню, и вдруг побежал. К последней пристани и последней надежде — к Федору Ипатовичу Бурьянову.

— Так, так,— сказал, выслушав все, Федор Ипатович.— Значит, в полном удовольствии лесничий пре- бывал?

— В полном, Федор Ипатыч,— подтвердил Егор.— Улыбался.

— К Черному озеру ходили?

— Ходили. Там... это... туристы, побывали. Лес пожгли маленько, набедили.

— И тут он улыбался, лесничий-то?

Егор вздохнул, опустил голову, с ноги на ногу пере- мялся. И надо было бы соврать, а не мог.

— Тут он не улыбался. Тут он тебя поминал.

— А когда еще поминал?

— А еще порубку старую на обратном конце на- шли. В матером сосеннике.

— Ну и какие же такие будут выводы?

— Насчет выводов мне не сказано.

— Ну а на порубку-то кто их вывел? Компас, что ли?

— Сами вышли. На обратном конце.

— Сами, значит? Умные у них ноги. Ну-ну.

Федор Ипатович сидел на крыльце в старой рубашке без ремня и без пуговиц — враспах. Подгонял топоры под топоры — штук десять топоров перед ним ле- жало. Егор стоял напротив, переступая с ноги на ногу: в кошелке брякала пустая поллитра.

Стоял, переминался, глаза отводил — тот, кто в долг просит, тот загода виноват.

— Все, значит, сами. И туристов сами нашли, и по- рубки старые — ловко. Умные, выходит, люди, а?

— Умные, Федор Ипатыч,— вздохнул Егор.

— Так, так. А я глянь чего делаю. Я инвентарь чи- ню: его по описи передавать придется. Ну, так как ска- жешь, Егор, зря я его чиню или не зря?

— Так чинить — оно не ломать. Оно всегда полезное дело.

— Полезное, говоришь? Тогда слушай мой вывод. Еон со двора моего сей же момент, пока я Пальму на тебя не науськал! Чтoб и не видел я тебя более и слыхом не слыживал. Ну, чего стоишь, переминаешься, бе-доносец чертов? Вовка, спускай Пальму! Куси его, Пальма, цапай! Цапай!

Тут Пальма и впрямь голос подала, и Егор ушел. Нет, не от Пальмы: сроду еще собаки его не трогали. Сам собой ушел, сообразив, что денег тут не одолжат. И очень поэтому расстроился.

Вышел со двора, постоял, поглядел на петуха, что топором его был сработан. Улыбнулся ему, как знакомому, и враз расстройство его пропало. Ну, не добыл он денег на угощение, ну, стоит ли из-за этого печаловаться, раз с крыши петух орет, а в лесу дева белая волосы расчесывает? Нет, Федор Ипатыч, не достигнешь ты теперь до обиды моей, потому что во мне покой поселился. Тот покой, который никогда не посетит тебя, никогда тебе не улыбнется. А что денег нет и людей принять не могу, так то пустое. Раз деву они мою поняли, так и это они поймут.

И, подумав так, он с легким сердцем и пустой кошелкой потрусил к собственному дому. И пустая бутылка весело брякала в такт.

— Товарищ Полушкин! Полушкин!

Оглянулся: Яков Прокопыч. С лодочной, видать, станции: ключи в руке несет.

— Здоров, товарищ Полушкин. Куда поспешаешь-то?

Сказал Егор, куда поспешает.

— Гость важный, — отметил Яков Прокопыч. — А кошелка пустая. Нескладность.

— Чайком побалуются.

— Нескладность, — строго повторил Яков Прокопыч. — Однако, если по-соседски, то можно рассудить. Я имею непочатую банку селедки и заход в магазин с твоей пустой кошелкой. А ты имеешь важного гостя. Пойдет?

— Что пойдет-то? — не понял Егор.

Яков Прокопыч с упреком посмотрел на него. Вздыхнул даже, коря за несообразительность.

— Знакомство.



— Ага! — сказал Егор. — С тобой, что ли?

— Я прихожу со всем припасом из магазина. Ты мне радуешься и знакомишь. Как бывшего справедливого начальника.

— Ага, — с облегчением сказал Егор, уразумев наконец всю сложность товарообмена. — Это пойдет.

— Это ты молодец, товарищ Полушкин, — с чувством отметил Яков Прокопыч, забирая у Егора пустую кошелку. — Лесничий — птица важная. Ежели она не перелетная, конечно.

С тем они и расстались. Егор припустил домой, где уже вовсю кипела картошечка. А через полчаса появился и сам Яков Прокопыч с тяжелой кошелкой, в которой уже не брякало, а булькало. На Якове Прокопыче был невероятно новый костюм и соломенная шляпа с дырочками.

А фокус состоял в том, что Яков Прокопыч очень любил знакомиться с людьми, занимающими пост. И чем выше был пост, тем больше любил. Даже хвастался:

— У меня секретарь знакомый. И два председателя.

И неважно для него было, чего они там председатели, а чего — секретари. У него свой табель был.

И нового лесничего он точно вычислил: чуть выше директора совхоза и чуть ниже инструктора райкома. А личные качества Юрия Петровича Чувалова не интересовали Якова Прокопыча. Ну зато, правда, он никаких благ от него получать и не рассчитывал. Он бескорыстно знакомился.

— Строгости соблюдаем мало, — говорил он за столом. — Много стало отвлечения в нашем народе. А вот берем мою жизнь: что в ней главное? Главное в ней — что велено. Но я же один, и мне не радостно. Что-то мне, дорогой, уважаемый товарищ, не радостно. Может, я чего не достиг, может, я чего недопонял, не знаю. Знаю, что вхожу в возраст, сказать научно, без полного к себе уважения. Непонятность.

Юрий Петрович с трудом поддерживал его возвышенную беседу, а Егор и вовсе не слушал. Он счастлив был, что в его доме сидят хорошие, веселые люди и что Харитина, с работы вернувшись, грудь свою выпятила совсем по другому поводу.

— Гости вы наши дорогие, здравствуйте! Нонна Юрьевна, красавица ты моя, зарумянилась-то как на

нашем солнышке! Налилась девушка, что яблочко, вызрела!

И с Нонной расцеловалась, и Егора уважительно звала, и из тайников своих конфеты с печеньем выгребла. А потом увела Нонну Юрьевну на кухню. О чем они там говорили, он не знал, но не пугался, потому что в хорошее верил торопливо и радостно. Не знал, что строгая, шумная и сильная жена его на табурет рухнула и заплакала вдруг тихо и жалобно:

— Силушек моих нет, Нонна ты моя дорогая Юрьевна. Измотал меня муж мой, измучил и снов лишил. Пусть бы лучше пил он каждый день, пусть бы лучше бил он меня, пусть бы лучше на чужие юбки поглядывал. Годы идут, дети растут, а крепости в жизни нашей нету. Никакой нету крепости, девушка. И сегодня нету, и завтра не будет. А можно ли без семейной крепости да людской уважительности детей выпестовать? Мать тело питает, отец — душу, так-то мир держится. А коли в семье разнотык, коли я, баба темная да немудрая, и за мать и за отца, и хлебом кормлю и душу креплю, так беда ведь то, Нонна Юрьевна, горе горькое! Не скрепим мы, бабы, душ сынов наших. Крикливы мы, да отходчивы, слезливы, да ненаходчивы. Весь день в стирках да стряпне, в тряпках да белье, а на кухне мужика не вырастишь.

Так она плакала, а для Егора всё было распрекрасно, все было правильно, и после третьей рюмочки он не выдержал:

— Спой, Тина, а? Уважь гостей дорогих.

Сказал и испугался: опять «тягры» свои понесет. А Харитина грудь надула, голову откинула, поднатужилась и завела — аж стекла задребезжали:

Зачем вы, девочки, красивых любите...

И Юрий Петрович, брови сдвинув, подпевать ей принялся. А за ним и Нонна Юрьевна: тихонечко, себя стесняясь. А там и Егор с Колькой. Харитина песню вела, а они пели. Уважительно и с бережением.

Только Яков Прокопыч не пел — хмурился. И жалел, что угощение зря потратил: если начальник песни вторым голосом поет, разве это начальник? Нет, такой долго не продержится, это точно. Сгорит.

Весь поселок слышал, какие песни пели у Полушкина. Как потом всем застольем Нонну Юрьевну провожали, как смеялась она и как Егор лично ей спел свою любимую:

Ах, люди добрые, поверьте.  
Ды расставанье, ды хуже смерти!

А Юрий Петрович вернулся ночевать к Егору. Кольке в доме постелили, а мужчины легли в сараюшке. И вот, о чем они говорили, об этом никто не слышал, потому что разговор тот был серьезным.

— Егор Савельич, что, если я вам этот лес поручу?

— А как же свояк? Федор Ипатыч?

— Жук ваш Ипатыч. Жук и прохвост: сами видели. Ну а если по совести? Если лесником вас — будет порядок?

Егор помолчал, поразмыслил. Недельку бы назад он за такое предложение горло бы свое надсадил, заверяя, что и порядок будет, и работа, и все, что положено. А сейчас — странное дело! — сейчас вроде бы и не очень обрадовался. Нет, обрадовался, конечно, но радости своей не высказал, а спокойно обдумал все, взвесил и сказал, как солидный мужик:

— Порядок будет полный.

— Ну, спасибо, Егор Савельич. Завтра все и решим. Спокойной ночи.

Юрий Петрович набок повернулся и сонно задышал, а Егор долго лежал без сна. Лежал, думал хорошие думы, чувствовал полный, торжественный покой, прикидывал, что он сделает в лесу доброго и полезного. И думы эти совсем незаметно перешли в сон, и уснул он крепко и глубоко, как парнишка. Без тревог и волнений.

А вот Федор Ипатыч спал плохо: всхрапывал, метался, просыпался вдруг и собаку слушал. Пальма цепью звякала, рвалась куда-то, лаяла на всю округу, и Федор Ипатыч жалел, что не старая она собака. Злился, ворочался с боку на бок, а потом решил, что жалко не жалко, а весной все равно ее пристрелит. И с этим радостным решением кое-как протянул до утра в тягостной полудремоте,

Завтракать сел без всякого аппетита. Ковырял яшенку вилкой, хмурился, на Марьицу ворчал. А потом в окно поглядел и чуть вилку не выронил.

Перед домом его стояли Егор Полушкин и новый лесничий Юрий Петрович Чувалов. Егор чего-то на пелуха показывал и смеялся. Зубы щерил.

— Убери-ка все это, Марьица,— сказал Федор Ипатыч.

— Что все, Феденька?

— Жратву убери! — рявкнул он вдруг. — Все, чтоб дочиста на столе!

Не успела Марьица стол вытереть — дверь распахнулась и оба вошли. Поздоровались, но рук не подали. Ну, Егору-то первому и не положено вроде, а вот что Чувалов от бурьяновского пожатия свою уберег — это Федора Ипатовича насторожило.

— Славный у вас домик,— сказал Юрий Петрович. — Не тесно втроем-то?

— Это кому тесно? Это нам тесно? Это в родном-то доме... — начала было Марьица.

— Годи! — крикнул хозяин. — Ступай отсюда. У нас свой разговор.

Вышла Марьица к сыну в соседнюю комнату. А Вовка знак ей там сделал и опять ухом к щели замочной припал.

— И полы тесаные. Богато.

— Все уплачено. Все — по закону.

— Насчет закона мы суд спросим. А пока займемся делом: вот вам новый лесник, товарищ Полушкин Егор Савельич. Прошу в моем присутствии по акту передать ему имущество и документацию.

— Приказа не вижу.

— С приказом не задержу.

— Когда будет, тогда и передам.

— Не осложняйте своего положения, Бурьянов. Передадите сейчас, приказ получите завтра. Все ясно? Вот и приступим. Как, Егор Савельич?

— Приступим,— сказал Егор.

— Ну, добро.— Федор Ипатович как пуд уронил.— Приступим.

Два дня Егор имущество принимал, каждый топор, каждый хомут осматривал. А потом проводил Юрия Петровича в город, запряг поступившую в его распоряжение казенную кобылу и вместе с Колькой подался в заповедный лес. Наводить порядок.

— Когда вернетесь-то? — спросила Харитина.

— Не скоро, — сказал. — Пока все там не уделаем, как требуется, не вернемся.

Колька вожжами подергал, почмокал — поехали. А Юрий Петрович тем временем, в город прибыв, написал сразу два приказа: о снятии с работы Бурьянова Ф. И. и о назначении на должность Полушкина Е. С. Потом оттащил начальнику угрозыска папочку Федора Ипатовича, сочинил заявление, какое требовалось для возбуждения дела, а придя домой, сел за письмо. Крупными буквами написал:

«Здравствуй, дорогая мамочка!»

Закончив письмо, долго сидел, сдвинув брови и уставясь в одну точку. Потом взял ручку, решительно вывел: «Дорогая Марина!» — подумал, зачеркнул «дорогая», написал «уважаемая», зачеркнул и «уважаемую» и бросил ручку. Письмо не складывалось, аргументы казались неубедительными, мотивы неясными, и вообще он еще не решил, стоит ли писать это письмо. И не написал.

А Егор упоенно чистил лес, прорубал заросшие просеки, стаскивал в кучи валежник и сухостой. Он соорудил шалаш, где и жил вместе с Колькой, чтобы не тратить зря время на поездки домой. И все равно времени ему не хватало, и он был счастлив оттого, что ему не хватает времени, и если бы сутки были вдвое длиннее, он бы и тогда загрузил их от зари до зари. Он работал с азартом, с изнуряющим, почти чувственным наслаждением и, засыпая, успевал подумать, какой он счастливый человек. И спал с улыбкой, и просыпался с улыбкой, и весь день ходил с нею.

— Сынок, ты стихи сочинять умеешь?

Колька сердито засопел и не ответил. Егор, не сдаваясь, спросил еще раз. Колька опять засопел, но ответил:

— Про это не спрашивают.

— Я для дела, — пояснил Егор. — Понимаешь, сынок, турист все едино сюда проникнет, потому как весь лес не огородишь, а один я не услежу. И будет снова Юрию Петровичу расстройство. Ну, конечно, можно надписи туристу сделать: мол, то разрешено, а это запрещено. Только ведь скучно это, надписи-то в лесу, правда? Вот я и удумал: стихи. Хорошие стихи о порядке. И туристу будет весело, и нам покойно.

— Ладно,— вздохнул Колька.— Попробую.

После оды на смерть Ункаса Колька написал только одно стихотворение — про девочку с косичками и про любовь до гроба,— но ничего хорошего из этого не вышло. Оля Кузина показала стихи Вовке Бурьянову, Вовка с гоготом зачитал их классу, и Кольку долго дразнили женихом. Он сильно расстроился и решил навсегда порвать с творчеством.

— Для дела разве что. А так — баловство это, тять.

— Ну, не скажи,— усомнился Егор.— А песни как же тогда?

— Ну, что песни, что песни... Не будешь же ты песни туристам петь, правда?

— Не буду,— согласился Егор.— Некогда. Мы их... это... выжжем.

На другой день Колька не пошел с отцом в кварталы и подальше отложил спиннинг. Достал тетрадку, карандаш и, хмурясь и сердито шевеля губами, начал сочинять стихи. Дело оказалось трудным, Колька взмок и уморился, но к вечеру выдал первую продукцию.

— Ну, слушай, тять,— Колька в поисках вдохновения посмотрел в вечернее небо, откашлялся и зачистил:

Граждане туристы,  
чтобы было чисто,  
не палите по лесу  
множество костров.  
Вы найдите лучше,  
где дровишек куча  
и кострище сделано  
лесником.

— Ага,— сказал Егор.— Про кострище — это хорошо, а то еще, не дай бог, лес попалят. Это пойдет, сын, молодец.

— У меня еще про муравьев есть,— объявил Колька, явно польщенный отцовским признанием.— Так, значит:

Я муравей.  
Я — житель лесной,  
и дом мой стоит  
под высокой сосной.  
Ты мимо пройди  
и не трогай его,  
нам больше не надо  
от вас ничего.

— Вот это да! — с чувством сказал Егор. — Это ты здорово сочинил. И складно.

— Я завтра еще сочиню! — закричал Колька вдохновенно. — Я, может, целую поэму сочиню!

— Надо, чтоб коротко, — уточнил Егор. — Коротко и ясно. Вот как про мурашей.

— Будет коротко, — подтвердил Колька. — Коротко и звонко.

Оставив Кольку сочинять звонкие стихи, Егор на другой день отправился домой. Настругал досок, сколотил из них щиты, погрузил все на телегу, и многотерпеливая казенная кобыла уже к вечеру тронулась в обратный путь к шалашу возле Черного озера.

Старая кобыла шла степенным шагом. Егор сосредоточенно бил комаров и размышлял, что бы еще такое уделать в подведомственном лесу. Может, матерые деревья переметить, чтоб — упаси бог! — не повалил кто на дровишки или на материал. Может, еще что сообразить для туристов, которые, пронюхав про заповедный уголок, теперь уж ни за что не оставят его в покое. А может, действительно переписать всю лесную живность в толстую тетрадь и подарить эту тетрадь Юрию Петровичу — то-то, поди, удивится!

И так он трясся на телеге по торной лесной дороге и думал свои думы, пока тягучий треск падавшего дерева не привлек его внимания. С тяжким вздохом упало это дерево на землю, на миг стало тихо, а Егор, натянув вожжи, спрыгнул с телеги и побежал. И пока бежал, все отчетливее стучали торопливые воровские топоры, и он бежал на этот стук.

Подле поваленного ствола копошились двое, обрубая сучья. Но Егор сейчас не считал порубщиков: двое — так двое, пятеро — так пятеро. Он осознал свое право, и это сознание делало его бесстрашным. И поэтому он просто забежал со стороны просеки, чтоб дорогу им отсечь, сквозь кусты выломился и заорал:

— Стой и с места не сходи! Фамилия?

Обернулись те двое: Филя и Черепок. И Егор остановился, точно на пень набежал.

— Во! — сказал Филя. — Помощник пришел.

А Черепок глядел злыми красными глазками. И молчал.

— Какое интересное получается явление, — продолжал Филя, улыбаясь еще приветливее, чем прежде, в

дружеские времена.— Историческая называется встреча. На высоком уровне за круглым пеньком.

— Зачем повалили? — тупо спросил Егор, пнув ногой лесину.— Кто это велел валить?

— Долг,— вздохнул Филя, но улыбку не спрята. — Зачем, интересуешься спросить? А в фонд. Отгрузим завтра три пустых поллитры — пусть жгут танки империализма бензиновым огнем.

— Кто велел, спрашиваю? — Егор изо всех сил сдвинул брови, чтоб стать строгим хоть маленько.— Опять шабашка ваша дикая, так понимать, да?

— Понимай так, что три поллитры.— Филя сладко причмокнул и зажмурился.— Одну можем тебе подарить, если поспособствуешь.

Егор поглядел на странно сопевшего Черепка, сказал:

— Топоры давайте.

— Топоры мы тебе не дадим,— сказал Филя.— А дадим либо поллитру, либо по шее. Сам выбирай, что тебе сподручнее.

— Я как официальный лесник тутошнего массива официально требую...

— А фамилия моя сегодня будет Пупкин,— вдруг глухо, как из бочки, сказал Черепок.— Так и запиши, полицей проклятый.

Замолчал, и сразу стало тихо-тихо, только стрекоты звенели. И Егор услышал и этот звон, и эту тишину. И вздохнул:

— Какой такой полицей? Зачем так-то?

— В начальство вылез? — захрипел Черепок.— Вылез в начальники и уже измываешься? Уже фамилию спрашиваешь? А это ты видал? Видал, мать твою перемать...

Он картинно рванул на груди перепревшую, ветхую рубаху, и она распалась от плеча до пупка, распалась вдруг, без звука, как в немом кино. Черепок, выскользнув из рукавов, повернулся и подставил Егору потную спину:

— Видал?

Грязная, согнутая колесом спина его была вся в бугристых сизых шрамах. Шрамы шли от бока до бока, ломаясь на худой, острой хребтине.

— Художественно расписано,— сказал Филя, ухмыляясь.— Видно руку мастерства.

— Все тут расписаны, все! — кричал Черепок, не



разгибаясь.— И полицаи, и эсэсы, и жандарма немецкая. Ты тоже хочешь? Ну, давай! Давай расписывайся!

— Жену с малыми детьми у него полицаи в избе сожгли,— тихо и неожиданно серьезно сказал Филя.— Укройся. Укройся, Леня, не перед тем выставляешься.

Черепок покорно накинул разодранную рубаху, вскрикнул и сел на только что сваленную сосну. Невзирая на зной, его трясло, он все время тер корявыми ладонями небритое лицо и повторял:

— А жить-то когда буду, а? Жить-то когда начну?

И опять Егор слышал звон стрекоз и звон тишины. Постоял, ожидая, когда схлынет с сердца тягостная жалость, посмотрел, как вздрагивает в непонятном ознобе Черепок, и гулко сглотнул, потому что сжало вдруг горло Егорово, аж подбородок затрясся. Но он проглотил этот ком и тихо сказал:

— При законе я состою.

— А кто знать-то будет? — спросил Филя.— Что он, считанный, лес-то твой?

— Все у государства считано,— сказал Егор.— И потому требую из леса утечь. Завтра акт на порубку составлю. Топоры давайте.

Руку к топорам протянул, но Филя враз перехватил тот, какой поближе. И на руке взвесил:

— Топор тебе? А топором не желаешь? Лес глухой, Егор, а мы люди темные...

— Отдай ему топор,— сказал вдруг Черепок.— Света я не люблю. Я темь люблю.

И пошел сквозь кусты, рубахи не подобрав. И разорванная, перепревшая рубаха волочилась за ним, цепляясь за сучья.

— Ну, Егор, не обижайся, когда впотьмах встретимся!

Это Филя на прощанье сказал, топоры ему швырнув. А Егор заклеил поваленные деревья, забрал топоры и вернулся к сонной кобыле. Сел в телегу, вжарил вдруг кнутом по неповинной казенной спине и затрясся к озеру. Только топоры о щиты брякали.

У озера Колька ждал со стихами про хорошее поведение. И это было единственным, о чем хотел сейчас думать Егор.

С каждым днем Нонна Юрьевна все острее ощущала необходимость съездить в город. То ли за книжками, то ли за тетрадками. Сперва мыкалась, а потом пошла к директору школы и многословно, волнуясь, сообщила ему, что учебного года без этой поездки начать невозможно. И что она хоть сейчас готова поехать и привезти все, что требуется.

— А что требуется? — удивился директор. — Ничего, слава богу, не требуется.

— Глобус, — сказала Нонна Юрьевна. — У нас совсем никудышный глобус. Вместо Антарктиды — дыра.

— Нет у меня лимитов на ваши Антарктиды, — проворчал директор. — Они глобусами в футбол играют, а потом дыра. Кстати, с точки зрения философской дыра — это тоже нечто. Это некое пространство, окруженное материальной субстанцией.

— Могу и футбол купить, — с готовностью закивала Нонна Юрьевна. — И вообще. Инвентарь.

— Ладно, — согласился директор. — Если в тридцатку уложите — отпущу. Дорога за ваш счет.

В городе проходило какое-то областное совещание, и мест в гостиницах не оказалось. Однако это обстоятельство скорее обрадовало Нонну Юрьевну, чем огорчило. Она тут же позвонила Юрию Петровичу, сказала, что ее насильно отправили сюда в командировку, и не без тайного злорадства сообщила, что мест в гостиницах нет.

— Вы человек авторитетный, — говорила она, улыбаясь телефонной трубке. — Походатайствуйте за командировочного педагога из дремучего угла.

— Походатайствую, — сказал Юрий Петрович бодро. — Голодная, поди? Ну, приходите, что-нибудь сообразим.

— Нет... — вдруг пискнула Нонна Юрьевна. — То есть приду.

Именно в этот момент Нонна вдруг обнаружила, что в ней до сего времени мирно уживались два совершенно противоположных существа. Одним из этих существ была спокойная, уверенная в себе женщина, выбившая липовую командировку и ловко говорившая по телефону. А другим — трусливая девчонка, смертельно боявшаяся всех мужчин, а Юрия Петро-

вича особенно. Та девчонка, что пискнула в трубку «нет».

А Юрий Петрович вместо ходатайства в буфет бросился. Накупил булочек, молока, сладостей, заказал чай горничной. Только успел в номере прибрать и накрыть на стол, как постучала сама Нонна Юрьевна.

— Извините. Вам не удалось помочь мне, Юрий Петрович?

— Что? Ах да, с устройством. Я звонил. Обещали к вечеру что-нибудь сделать, но без гарантии. Вот чайку попьем — еще позвоню.

Врал Юрий Петрович с некоторым прицелом, хотя никаких заранее обдуманых намерений у него не было. Просто ему очень нравилась эта застенчивая учительница, и он не хотел, чтобы она уходила. Номер был двухкомнатный, и втайне мечталось, что Нонна Юрьевна вынуждена будет остаться здесь до утра. Вот и все, а остальное он гнал от себя искренне и настойчиво. И потому угощать Нонну Юрьевну мог с чистой совестью.

Проголодавшаяся путешественница поглощала бутерброды с недевичьим аппетитом. Юрий Петрович лично сооружал их для нее, а сам довольствовался созерцанием. И еще расспрашивал: ему нравилась ее детская привычка отвечать с набитым ртом.

— Значит, вы считаете исполнительность положительным качеством современного человека?

— Безусловно.

— А разве тупое «будет сделано» не рождает бездумного соглашательства? Ведь личность начинается с осознания собственного «я», Нонна Юрьевна.

— Личность сама по себе еще не идеал: Гитлер тоже был личностью. Идеал — интеллигентная личность.

Нонна Юрьевна была максималисткой, и это тоже нравилось Юрию Петровичу. Он все время улыбался, хотя внутренне подозревал, что эта улыбка может выглядеть идиотской.

— Под интеллигентной личностью вы понимаете личность высокообразованную?

— Вот уж нет. Образование — количественная оценка человека. А интеллигентность — оценка качественная. Конечно, количество способно переходить в качество, но не у всех и не всегда. И для меня,

например, Егор Полушкин куда более интеллигент, чем некто с тремя дипломами.

— Суровая у вас шкала оценки.

— Зато правильная.

— А еще какое качество вы хотели бы видеть в людях?

— Скромность, — сказала она, вдруг потупившись.

Юрий Петрович подумал, что этот ответ скорее реакция на ситуацию, чем точка зрения, но развивать эту тему не решился. К этому времени Нонна Юрьевна съела все пирожные и теперь послушно дохлебывала пустой чай.

— Вы не позабудете позвонить насчет гостиницы?

— Ах да! — спохватился Юрий Петрович. — Конечно, конечно.

Он прошел к телефону и, пока Нонна Юрьевна убирала со стола, набрал несуществующий номер. В трубке сердито гудело, и Юрий Петрович боялся, что она услышит этот гудок. И говорил громче, чем требовалось:

— Коммунхоз? Мне начальника отдела. Здравствуйте, Петр Иванович, это Чувалов. Да-да, я звонил вам. Что? Но это невозможно, Иван Петрович! Что вы говорите? Послушайте, я очень вас прошу...

По неопытности Юрий Петрович не только путал имя начальства, но и не делал пауз между предложениями, и если бы Нонна Юрьевна слушала, что он бормочет, она бы сразу все поняла. Но Нонна Юрьевна была погружена в свои думы, предоставляя Юрию Петровичу возможность наивно врать в гудящую телефонную трубку.

Секрет заключался в том, что Нонна Юрьевна впервые в жизни была в гостях у молодого человека.

Пока шел студенческий ужин с молоком и пирожными, девчонка, уживавшаяся в ее обществе рядом с женщиной, чувствовала себя вполне в своей тарелке. Но когда чаепитие закончилось, а за окном сгустились сумерки, девчонка стала пугливо отступать на второй план. А на первый все заметнее выходила женщина — это она сейчас оценивала поведение Юрия Петровича, это она чувствовала, что нравится ему, это она настойчиво вспоминала, что никто не заметил, как Нонна Юрьевна прошла в этот номер.

И еще эта женщина сердито говорила сейчас Нонне: «Не будь душой». Нонна очень пугалась этого голоса, но он звучал в ней все настойчивее: «Не будь душой. Ты же ради него организовала эту командировку, так не будь же идиоткой, Нонка». И Нонна очень пугалась этого голоса, но не спорила с ним.

Вот почему она и не разобралась в наивной игре Юрия Петровича с телефонной трубкой. А очнулась только, когда он сказал:

— Знаете, Нонна, а мест действительно нет. Ни в одной гостинице.

Женщина возликовала, а девчонка перетрусилась. И Нонна никак не могла сообразить, что же делать ей-то самой: радоваться или пугаться?

— Боже мой, но у меня в городе нет знакомых.

— А я? — Юрий Петрович спросил сердито, потому что боялся, как бы Нонна не заподозрила его в тайных намерениях. — Номер «люкс», места хватит.

— Нет, нет... — сказала Нонна Юрьевна, но эти два «нет» прозвучали, как одно «да», и Юрий Петрович молча пошел стелить себе на диване.

Теперь, когда молчаливо решилось, что Нонна останется, они вдруг перестали разговаривать и вообще старались не видеть друг друга. И пока сидевшая в Нонне девчонка замирала от страха, женщина вела себя с горделивой невозмутимостью.

— Можно воспользоваться ванной?

— Пожалуйста, пожалуйста. — Юрий Петрович вдруг засуетился, потому что это спросила женщина, и он мгновенно почувствовал себя мальчишкой. — Полотенце только сегодня меняли. Вот...

— Благодарю вас.

И женщина гордо проследовала мимо, перебросив через руку свой самый нарядный халатик. Юрий Петрович еще не успел прийти в себя от неожиданного тона, как трусливая девчонка тут же высунула голову из ванной комнаты:

— Тут задвижки нет!

— Я знаю, не беспокойтесь, — улыбнулся Юрий Петрович, почувствовав некоторое облегчение.

Надо сказать, что в отличие от Нонны Юрьевны он попадал в сходные ситуации, но всегда все его женщины сами решали, как им поступать, и Юрию Петровичу оставалось только не быть идиотом. Но женщина, кото-

рая вдруг выглядывала из Нонны Юрьевны, скорее играла в какую-то игру, и лесничий никак не мог сообразить, сколь далеко игра эта заходит. И поэтому ему было и легче и проще, когда на смену этой таинственной женщине приходила знакомая девчонка с круглыми от страха глазами.

— Ой! — сказала эта девчонка, старательно заправляя халатик. — У вас и дверей нет.

Спальня двухкомнатного номера отделялась от гостиной портьерой, и сейчас Нонна Юрьевна в растерянности топталась на пороге.

— Стул поставьте, — посоветовал Юрий Петрович. — Если я спросянок перепутаю, куда идти, то наткнусь на стул. Он загремит, и вы успеете заорать.

— Благодарю вас, — холодно отпарировала Нонна Юрьевна женским голосом. — Спокойной ночи.

Юрий Петрович ушел в ванную, нарочно долго умывался, чтобы Нонна Юрьевна успела не только улечься, но и успокоиться. Затем погасил свет, на цыпочках прокрался к дивану, и старый диван завопил всеми пружинами, как только он на него уселся.

— Ч-черт! — громко сказал он.

— Вы еще не спите? — вдруг тихо спросила Нонна Юрьевна.

— Нет еще. — Юрий Петрович снимал рубашку, но тут же надел ее снова. — Что вы хотели, Нонна?

Нонна промолчала, а его сердце забилося легко и стремительно. Он вскочил, шагнул в соседнюю комнату, с грохотом оттолкнув стоявший на пороге стул.

— Ч-черт!..

Нонна Юрьевна тихо засмеялась.

— Вам смешно, а я рассадил ногу.

— Бедненький.

В густых сумерках он увидел, что она сидит на кровати, по-прежнему кутаясь в халатик. И сразу остановился.

— Вы так и будете сидеть всю ночь?

— Может быть.

— Но ведь это глупо.

— А если я дура?

Она говорила совершенно спокойно, но это было спокойствие изо всех сил: ему казалось, что он слышит бешеный стук ее сердца. Юрий Петрович сделал еще шаг, неуверенно опустил на колени на вытертый

гостиничный коврик и бережно взял ее руки. Она покорно отдала их, и халатик на ее груди сразу разошелся наивно и незащищено.

— Нонна... — Он целовал ее руки. — Нонночка, я...

— Зажгите свет. Ну, пожалуйста.

— Нет. Зачем?

— Тогда молчите. Хотя бы молчите.

Они разговаривали так тихо, что не слышали, а угадывали слова. А слышали только, как неистово бьются сердца.

— Нонна, я должен тебе сказать...

— Да молчите же. Молчите, молчите!

Что он мог сейчас ей сказать? Что любит ее? Она это чувствовала. Или, может быть, не любит? Боже мой, как же он может не любить ее, когда он здесь, рядом? Когда он стоит на коленях и целует ей — ей — руки?

Так думала Нонна Юрьевна. Даже не думала, нет — она не способна была сейчас ни о чем думать. Это все проносилось, мелькало в ее голове, это все пыталась осознать, ухватить пугливая девчонка, а женщина неотступно думала лишь о том, что он слишком уж долго целует ее руки.

Она осторожно потащила их на себя, а он не отпустил и утыкался в ладони лбом.

— Нонна, я должен тебе сказать...

— Нет, нет, нет! Не хочу. Не хочу ничего слышать, не хочу!

— Нонна, я старше, я обязан...

— Поцелуй меня.

Нонна с ужасом услышала собственный голос, и девчонка забунтовала, забилась в ней. А Юрий Петрович еще стоял на коленях, еще был далек, так недосыгаемо далек для нее. И она повторила:

— Поцелуй, слышишь? Меня еще никто, никто не целовал. Никогда.

Если бы он промедлил еще миг, она бы бросилась из окна, убежала бы куда глаза глядят или назло всем съела бы целую коробку спичек — таким путем, по словам мамы, покончила с собой какая-то очень несчастная девушка. Это была последняя попытка отчаянной женщины, что до сих пор тайно жила в ней. Последняя попытка победить одиночество, ночную тоску, беспричинные слезы и важные очки, которых Нонна мучительно стеснялась.

А потом... Что было потом?

— Нонна, я люблю тебя.

— Теперь говори. Говори, говори, а я буду слушать.

Они лежали рядом, и Нонна все время тянула на себя простыню. Но сейчас в ней уже не было спора, сейчас и отважная женщина и трусливая девчонка очень согласно улыбались друг другу в ее душе.

— Я схожу за сигаретой. Ничего?

— Иди.

Она лежала с закрытыми глазами и живой улыбкой. У нее спрашивали позволения, она могла что-то запрещать, а что-то разрешать, и от этого внезапно обретенного могущества чуть кружилась голова. Она приподняла ресницы, увидела, как белая фигура, опять громыхнув стулом и чертыхнувшись, проплыла в соседнюю комнату, услышала, как чиркнула спичка, почувствовала дымок. И сказала:

— Кури здесь. Рядом.

Белая фигура остановилась в дверном проеме.

— Ты должна презирать меня. Я поступил подло, я не сказал тебе, что... — Смелость Юрия Петровича испарялась с быстротой почти антинаучной. — Нет, я не женат... То есть формально я женат, но... Понимаешь, я даже маме никогда не говорил, но тебе обязан...

— Обязан? Уж не решил ли ты, что я женить тебя хочу?

Это был чужой голос. Не женщины и не девушки, а кого-то третьего. И Нонна Юрьевна обрадовалась, обнаружив его в себе.

— Не волнуйся: мы же современные люди.

Он что-то говорил, но она слышала только его виноватый, даже чуточку заискивающий голос, и в ней уже бунтовало что-то злое и гордое. И, подчиняясь этой злой, торжествующей гордости, Нонна сбросила одеяло и начала неторопливо одеваться. И, несмотря на то что она впервые одевалась при мужчине, ей не было стыдно: стыдно было ему, и Нонна это понимала.

— Мы вполне современные люди, — повторяла она, изо всех сил улыбаясь. — Замужество, загсы, свадьбы — какая чепуха! Какая, в сущности, все чепуха! Все на свете! Я сама пришла и сама уйду. Я свободная женщина.



Он растерянно молчал, не зная, что сказать ей, как объяснить и как удержать. Нонна спокойно оделась, спокойно расчесала волосы.

— Нет, нет, не провожай. Ты человек семейный, лицо официальное — что могут подумать горничные, представляешь? Ужас, что они могут про тебя подумать!

Нонна Юрьевна возвращалась домой неудобным утренним поездом. Сидела, забившись в угол, прижав к себе новый, круглый, как футбольный мяч, ученический глобус, и впервые в жизни жалела, что никак не может заплакать.

А Юрий Петрович остался в полном смятении. Просидев на работе весь день без движения и выкурив пачку сигарет, вечером написал-таки письмо таинственной Марине, но не отправил, а три дня таскал в кармане. А потом перечитал и порвал в клочья. И опять недвижимо сидел за столом, который каждый день покрывался новыми слоями входящих и исходящих. И опять полночи сочинял письмо, которое на этот раз начиналось: «Любимая моя, прости!..» Но Юрий Петрович не был мастак сочинять письма, и это письмо постигла участь предыдущих.

— Надо поехать, — твердил Юрий Петрович, без сна ворочаясь на гостиничной кровати. — Завтра же, утренним поездом.

Но приходило утро, и уходила решимость, и Чувалов опять мыкался и клял себя последними словами. Нет, не за Нонну Юрьевну.

Два года назад в глухое алтайское лесничество приехала из Москвы практикантка. К тому времени Юрий Петрович уже отвык от студенческой болтовни, еще не привык к мини-юбкам и ходил за практиканткой, как собачонка. Девчонка вертела застенчивым лесничим с садистским наслаждением, и порой Юрию Петровичу казалось, что не она у него, а он у нее проходит практику. Через неделю она объявила, что у нее день рождения, потребовала шампанского, и руководитель хозяйства лично смотался за двести километров на казенном мотоцикле. Когда шампанское было выпито, практикантка покружилась по комнате и объявила:

— Стели постель. Только, чур, я сплю у стенки.

К утру Юрий Петрович окончательно потерял голову.

— Одевайся, — сказал он. — Едем в сельсовет.  
Практикантка нежилась поверх взбитых простыней.

— В сельсовет?

— Распишемся, — сказал он, торопливо натягивая рубаху.

— Вот так, сразу? — Она рассмеялась. — Как интересно!

Они подкатали к сельсовету на дико рычавшем мотоцикле, в десять минут получили свидетельство и жирные штампы в паспорта, а через три дня молодая жена укатила в Москву. Юрий Петрович в то время боролся с непарным шелкопрядом на дальнем участке и, вернувшись, обнаружил дома только записку:

«Благодарю».

Обратного адреса практикантка не оставила, и Юрию Петровичу пришлось писать на институт. Письмо долго где-то блуждало, ответ пришел только через два месяца и был коротким, как их супружеская жизнь:

*«Я потеряла паспорт. Советую сделать то же самое».*

Юрий Петрович не стал терять паспорт, а постарался забыть об этой истории и писем больше не писал. Потом пришлось сдавать дела, и уже в Ленинграде от студенческого товарища Чувалов узнал новость, заставившую его вновь разыскать утерявшую паспорт жену:

— Знаешь, у Марины ребенок.

Он все-таки разыскал ее. Написал письмо на домашний адрес, и в ответ на вопрос, не его ли это ребенок, получил ровно три слова:

*«Все может быть».*

И вот теперь ему надо было знать правду, как никогда. Знать, кто он: муж или не муж, отец или не отец, свободен или не свободен. Но насмешливый цинизм ее ответов выводил Чувалова из равновесия, и он только писал письма, рвал их и писал снова.

А сейчас он боялся потерять Нонну. Здесь было кого терять, и поэтому Юрий Петрович никак не мог решиться сесть в поезд и приехать к ней. Приехать означало решить: да или нет — а так оставалось еще

спасительное «может быть». А тут как раз из Москвы прибыл большой начальник, и Юрий Петрович обрадовался, потому что никуда не мог поехать. Три дня он вводил начальство в курс дела, а потом вдруг затосковал и неожиданно для себя объявил:

— Тут интересного для тебя мало: леса в основном вторичные. А вот возле Черного озера сохранился еще любопытный массивчик.

Сказал и испугался: вдруг согласится?

— Опять комаров кормить?

— Комаров нет, мошка появилась.— Юрий Петрович с удивлением обнаружил, что уговаривает.— А массив интересен с точки зрения естественного биоценоза — как раз твой конек.

— Ладно, уговорил,— сказал начальник, и Юрий Петрович расстроился.

Прибыв в поселок, Чуvalов представил начальство местным властям и побежал к Нонне Юрьевне. Сочинял на бегу горячие речи и не сразу поверил глазам, увидев на знакомых дверях амбарный замок. Потрогал его рукой, походил вокруг и пошел к директору школы.

— В Ленинграде Нонна Юрьевна. Три дня как уехала.

— Когда вернется?

— Должна двадцатого августа, но...— Директор вздохнул.— Аналогичный случай был в позапрошлом году.

— Что вы говорите?

— Ее предшественница тоже уехала повидаться с мамой, а прислала заявление с просьбой «по собственному желанию».

— Не может быть!

— Все может быть,— философски сказал директор.— Конечно, Нонна Юрьевна — педагог серьезный, но ведь и Ленинград — город серьезный.

— Да-да,— тихо сказал Юрий Петрович.— Адреса мамы не знаете?

Записал адрес, рассеянно пообещал директору дровишек для школы и уже без всякого интереса повел большого начальника в заповедный массив.

— Пешком поволоку,— ворчал начальник, не без удовольствия шлепая босиком по лесной дороге.— И спать, наверно, на лапнике заставишь? Бирюк ты, Чуvalов, не даром до сих пор бобылем живешь.

— Оставь это! — вдруг заорал сдержанный Юрий Петрович. — Привыкли треп в кабинетах разводить!

— Нет, ты настоящий бирюк, — сказал, помолчав, начальник. — Самая пора тебе в министерство. Между прочим, как инспектирующий, могу там доложить о полном порядке в твоём хозяйстве. Лес ухожен, порубок не видно. Нет, знаешь, Юра, мне нравится. Ей-богу, нравится.

Юрий Петрович хмуро молчал. Впрочем, начальник замолчал тоже, наткнувшись на солидных размеров щит, сбитый из струганых досок. На щите были выжжены стихи:

Стой, турист, ты в лес вошел,  
не шути в лесу с огнем,  
лес — наш дом,  
мы в нем живем.  
Если будет в нем беда,  
Где мы будем жить тогда?

По бокам щита раскаленным гвоздем были выжжены зайцы, ежи, белки, птицы и большой лось, похожий на усталого Якова Прокопыча.

— Толково, — сказал начальник. — Твоя инициатива?

— Еще чего! — сказал Юрий Петрович. — Сам удивляюсь, когда он все успел.

— Кто?

— Лесник мой. Егор Полушкин.

— Любопытно, — сказал начальник. — Это я сниму. И полез за фотоаппаратом. Чувалов усмехнулся:

— Пленки не хватит.

К вечеру они добрались до Егорова шалаша. Начальник переписал по дороге все Колькины сочинения и растратил всю пленку.

— Значит, ты автор? — допрашивал он Кольку. — Молодец! Поэтом будешь?

— Не-а. — Колька застеснялся. — Лесничим. Как Юрий Петрович.

— За это ты вдвойне молодец, Николай!

Утомленный и немного обеспокоенный вниманием большого начальника, Егор тихо отодвигался от костра.

Чувалов был хмур, но Егор не обращал на это внимания. Его занимал незнакомый начальник, и он все думал, не допустил ли где промашки.

— В Москве бывал когда, Егор Савельич?

— В Москве? — Егор не умел так быстро перестраиваться. — Чего там?

И Юрий Петрович с ходу поведал Егору печальную историю своей семейной жизни. Егор слушал, сокрушался, но ему все время мешало смутное упоминание о Москве. Поэтому он и переспросил:

— Ну, дык, она-то в Москве?

— Эй, заговорщики, уху хлебать! — весело окликнул начальник.

Через неделю из Москвы пришел официальный вызов. Лесник водоохранного массива Егор Полушкин приглашался на Всесоюзное совещание работников лесного хозяйства за особые, видать, заслуги, поскольку в лесниках ходил без году неделю.

— Слона погляжу, сынок, — сказал Егор.

— Слона глядеть — невелик прибиток, — проворчала Харитина. — Ты главный ГУМ погляди: люди денег собрали и список составили, кому чего нужно.

Никого на Егоровых проводах не было, только Яков Прокопыч. У того своя просьба:

— Докладывать придется — про лодочную станцию не забудь, товарищ Полушкин. Пригласи вежливо: мол, удобства, вода мягкая, лес с грибом. Может, кто из центра оживит нашу окрестность.

Совсем уж к поезду собрались — Марьица. Засветилась улыбка еще сквозь двери:

— Ах Егор Савельич, ах Тинушка! В Москву ведь, не в область.

— Совершенно согласен, — сказал Яков Прокопыч.

Но не Яков Прокопыч Марьице сейчас был нужен. Она с Егора Полушкина, с бедоносца божьего, глаз масленых не сводила.

— Егор Савельич, батюшка, тайно я тебе кланяюсь. И от мужа тайно и от сына тайно. Спаси ты нас Христа ради. Угрозыск ведь Федора-то Ипатыча таскает. По миру ведь закруглить грозятся.

— Закон уважения требует, — строго сказал Яков Прокопыч.

Егор промолчал. А Марьица заплакала и сестре в плечо уткнулась.

— Пропадаем!

— Скажи ты начальнику какому, Егор, — вздохнула Харитина. — Родня ведь. Не сторонние.

— А кто меня спросит? — нахмурился Егор. — Велико ли дело — лесник в Москву приехал.

Как ни плакала Марьица, как ни убивалась, ничего он больше не сказал. Взял чемодан — специально для Москвы самый большой купили, — попрощался, посидел перед выходом и пошел на вокзал. А Марьица домой побежала.

— Ну, что обронено? — спросил Федор Ипатыч.

— Отказал он, Феденька. Гордый стал больно.

— Гордый? — И желваки по скулам забегали. — Ну добро, если гордый. Добро.

А Егор сидел у окна в вагоне, и колеса стучали: «В Москву! В Москву! В Москву!..»

Но пока не в Москву, правда, а в областной центр, на пересадку. И как раз в это время из областного того центра другой поезд отходил — с Юрием Петрови-чем у вагонного окна. И колеса тут по-иному стучали: «В. Ленинград! В Ленинград! В Ленинград!...»

## 20

Не обнаружив в областном городе Юрия Петровича, Егор сразу утратил всю гордость и сел в московский поезд очень растерянным. Правда, билет ему Чувалов взял заранее и оставил в гостинице, где Егору этот билет и вручили с сообщением, что сам Чувалов отбыл в неизвестном направлении.

Впервые Егор ехал в купейном вагоне, где из бережливости не стал брать постель. Попутчики попались солидные, о чем-то калякали, но Егор разговора не поддерживал. Он не получил последних напутственных указаний от Юрия Петровича, и ему было не до разговоров. И ночь почти не спал и мыкался на голом тюфяке, опасаясь ворочаться, чтобы никого не разбудить.

К утру он весь занемел и прибыл в столицу в око-стенелом состоянии.

Однако его опасения оказались преждевременными: в Москве Егора встретили и определили в гостиницу.

— Вам, вероятно, придется выступить в прениях, — сказал встречавший его молодой человек, когда они прошли в номер.

— В чем?

— В прениях.— Молодой человек достал бумагу, положил на стол.— Мы подготовили для вас кое-какие тезисы. Ознакомьтесь.

— Ага,— сказал Егор.— А зоопарк далеко?

— Зоопарк? — недоверчиво переспросил молодой человек.— По-моему, метро — «Краснопресненская». Завтра в десять утра ждем в министерстве.

— Загодя приду,— заверил Егор.

Встречавший ушел, а Егор, наскоро перекусив в буфете, расспросил, как проехать до станции «Краснопресненская», и не очень уверенно спустился на эскалаторе в метро.

В зоопарке он подолгу задерживался перед каждой клеткой, а перед слоном замедленно шел. Вокруг менялись люди, приходили, смотрели, уходили, а Егор все стоял и стоял, сам себе не веря, что видит живого слона. Правда, слон этот не ходил по улицам, а стоял в крепко огражденном вольере, но вел себя свободно: обсыпался песком, фыркал и подбирал булочки, что кидали ему дети через загородку.

Егор следил за каждым движением слона, потому что очень хотел все запомнить и потом показать Кольке. Так следил, что даже служитель заинтересовался:

— Что, мужик, хороша скотинка?

— Это животная,— строго поправил Егор.

— Верно.— Служитель был пожилым, и Егор разговаривал с ним свободно.— Не боишься?

— А чего? Ты же не боишься?

— Ну, помоги тогда. Потом в деревне хвастать будешь, что слона кормил.

— Я в поселке живу.

— Все равно похвастаешься.

Служитель провел Егора в зимнее помещение, где стоял еще один слон, поменьше. Он вкусно хрюпал свеклу с морковкой и дважды вежливо обнюхал Егора черным крючочком хобота.

— Умная животная! — восторгался Егор.

Потом служитель провел Егора по зоопарку, рассказал, кого из зверей как и когда кормят. Сводил и в обезьянник, но там Егору не понравилось:

— Орут.

Они вместе пообедали в столовой для сотрудников и окончательно подружились. Егор рассказал о совещании, о поселке и особо о Черном озере.

— Раньше Лебяжьим называлось, а теперь — Черное.

— Вымирает живая красота, — вздыхал служитель. — Одни зоопарки скоро останутся.

— Зоопарк — это не то.

— Не то, ясное дело.

Егор ушел из зоопарка последним, когда ГУМы и ЦУМы были уже закрыты.

Подумал маленько, припомнил рассказ Юрия Петровича, упомянутый им адрес и узнал у милиционера, как ехать.

Он не очень представлял себе цель этого посещения, но потерянное лицо Чувалова упорно не уходило из памяти.

На девятый этаж он поднялся без лифта, поскольку пользоваться им не умел. На площадке отдышался, нашел квартиру, позвонил. Дверь открыла молодая длинноволосая женщина.

— Здравствуйте, сказал Егор, заходя сняв кепку. — Мне бы Марину.

— Я Марина.

Длинноволосая глядела недобро, и разговор пришлось начинать через порог.

— Я к вам от Чувалова. От Юрия Петровича.

Она явно решала, как поступить, и Егору показалось, что решала со страхом.

— Так, — наконец сказала она и плотно прикрыла дверь, ведущую в комнаты. — Ну, проходите. На кухню.

Кепку повесить было некуда, и Егор прошел на кухню, держа ее в руке.

Хозяйка шла следом, наступая на пятки. Точно загоняла.

— Кто там, Мариночка? — донесся из комнат мужской голос.

— Это ко мне! — резко ответила длинноволосая, закрыв за собой и кухонную дверь. — Так в чем же дело?

Сесть она не предлагала, и это враз успокоило Егора.

Еще у порога он не знал, как и что говорить, а теперь понял.

— В комнатах-то, поди, муженек обретается?

— А вам какое дело?

— Мне дела нет, а вот ему — не знаю,



- Угрожать пришли?
- Зачем же так-то? Я к тому, что вы, стало быть, устроились, а другому устроиться не-даете. Хорошо ли?
- Да как вы смеее?..
- Смею уж,— негромко сказал Егор.— Хватит злом-то пыхать. Что он дурного-то сделал вам?
- Сделал,— усмехнулась она и закурила сигарету.— Объяснять бесполезно: если он до сих пор не понял, то вы и подавно.
- Растолкуйте,— сказал Егор и сел на маленькую красную табуретку.— За тем и пришел.
- Я вас выгоню сейчас отсюда — вот и все объяснения.
- Нет, не выгоните,— сказал Егор.— Раньше, может, и выгнали бы, а теперь побоитесь. Вы вон все двери за собой позакрывали и, значит, семейством своим дорожите.
- Опять угрозы? Слушайте, мне надоело...
- Дали б водички,— вздохнул Егор.— В столовке селедки три порции съел — горю.
- Ух нахалище! — Она достала из стенного шкафчика расписанную глиняную кружку, спросила через плечо: — Прикажете со льдом?
- Зачем? — удивился Егор.— Простой налей, колодезной.
- Колодезной...— Она шмякнула о стол кружкой, вода плеснула через край.— Пейте и уходите. Чувалову скажите, что ребенок не его, пусть успокоится.
- Егор неторопливо выпил невкусную московскую воду, помолчал.
- Женщина стояла у окна, яростно дымя сигаретой и через плечо поглядывая на него колючими глазами.
- Что вам еще от меня нужно?
- Мне-то? — Егор посмотрел: и чего хорохорится девка? — Муж ведь он вам-то.
- Муж!..— Она презрительно передернула плечами.— Пенек он лесной, ваш Чувалов.
- Ругать не ласкать — не скоро заморишься.
- Оскорбить женщину и даже не заметить — как это благородно!
- На оскорбить не похоже,— с сомнением сказал Егор.— Юрий Петрович — человек уважительный,

— Уважительный! — насмешливо повторила Марина. — Скажите честно, если женщина — ну, по минутной слабости, под настроение, по увлеченности, наконец, — перес... — она запнулась, — ну, переночует, у вас хватит соображения утром не совать ей деньги?

— Соображения у нас хватит. Денег у нас нет.

— Он тоже платил не наличными. Просто решил меня осчастливить и потащил ставить этот дурацкий штамп, не соизволив даже поинтересоваться, люблю ли я его.

— Что, силой штампы ставили-то?

— Ну зачем же... — Она вдруг улыбнулась. — Ну я дура, дура я была, легкомысленная, это вам надо? Мне сначала даже понравилось: романтика! А потом опомнилась и сбежала.

— Сбежала, — сердито сказал Егор. — А штамп? От него куда бежишь?

Длинноволосая растерянно промолчала, и Егору стало жаль ее. Разговор словно поменял их местами, теперь главным в этой кухне был он, и оба это понимали.

— Я паспорт потеряла, — виновато сказала она. — Может, и он так, а?

— Сама завралась и его врать учишь? С новым-то как живешь?

— Хорошо.

— Я не про то. Я про закон...

— Расписались.

— Ах ты господи!..

Егор вскочил, пометался по кухне. Марина внимательно следила за ним, и во внимании этом была почти детская доверчивость.

— Хорошо, говоришь, живете?

— Хорошо.

— Зови его сюда.

— Что? — Она вдруг выпрямилась, вновь став холодно-надменной. — Вон отсюда. Немедленно, пока я милицию...

— Ну, зови милицию, — согласился Егор и опять уселся.

Марина отвернулась к окну, беспомощно повела опущенными плечами. Она плакала тихо, боясь мужа и стесняясь постороннего человека.

Егор сидел, повздыхал, а потом тронул ее за плечо:

— Узнают — хуже будет: закон ведь нарушен.

— Уходите! — почти беззвучно закричала она. — Зачем вы пришли, зачем? Ненавижу шантаж!

— Чего ненавидишь?

Она промолчала. Егор потоптался, помял кепку и пошел к дверям.

— Стойте!

Егор не остановился. Нарочно хлопнул кухонной дверью, услышал, как зло и беспомощно зарыдали у окна, и, выйдя в коридор, распахнул дверь в комнату.

У стола над чертежной доской страдал молодой парень. Он поднял на Егора спокойные глаза, моргнул, улыбнулся. Сказал неожиданно:

— Черчу как проклятый. Диплом в сентябре защищать.

В противоположном углу в кровати спал ребенок. А парень с удовольствием потянулся и пояснил:

— Я на вечернем. Трудно!

То ли действительно тишина в комнате стояла, то ли оглох Егор враз на оба уха, а только услышал он жаркий перезвон стрекоз. Услышал, и снова сжала сердце тягостная жалость, снова подкатил к горлу знакомый ком, снова задрожал вдруг подбородок. И услышал еще Егор, как на кухне громко плакала Марина.

— Ну, давай, давай трудись, — сказал он парню и тихонько вышел из комнаты.

Егор поздно вернулся в гостиницу. Съел булку, что Харитина в чемодан сунула, попил водички и улегся. Кровать была непривычно мягкой, но он все никак не мог заснуть, все почему-то ворочался и вздыхал.

Утром он встал позже, чем рассчитывал. Умывшись, спустился в буфет, а там оказалась очередь, и он все боялся, что опоздает.

Кое-как, наспех проглотил завтрак и побежал в министерство, так и не заглянув в забытые на столе тезисы.

А вспомнил он об этих тезисах, когда услышал вдруг собственную фамилию:

— ...такие, как, например, товарищ Полушкин. Своим самозабвенным трудом товарищ Полушкин еще

раз доказал, что нет труда нетворческого, а есть лишь нетворческое отношение к труду. Я не стану вам рассказывать, товарищи, как понимает свой долг товарищ Полушкин: он сам расскажет об этом. Я хочу только сказать...

Но Егор уже не слушал, что хотел сказать министр. Его враз кинуло в жар: бумажки-то остались на столе, и что в них было сказано, Егор и знать не знал и ведать не ведал. Он кое-как дослушал доклад, похлопал вместе со всеми и, когда объявили перерыв, торопливо стал пробираться к выходу, надеясь сбежать в гостиницу. И уж почти добрался до дверей, но тут гулко покашлиали в микрофон, и чей-то голос сказал:

— Товарища Полушкина просят срочно подойти к столу президиума. Повторяю...

— Это меня, что ль, просят? — спросил Егор у соседа, что вместе с ним толкался в дверях.

— Ну, если вы тот Полушкин...

— Ага! — сказал Егор и полез встреч людского потока.

За столом президиума уже не было министра, а сидел председатель да вокруг вертелись какие-то мужики. Когда Егор спросил, чего, мол, звали, они сразу зашебаршились, резво схватившись за аппараты.

— Несколько снимков. Повернитесь, пожалуйста.

Егор вертелся, как велено, с тоской думая, что время уходит понапрасну. Потом долго отвечал на вопросы, кто, да откуда, да что удумал такое особенное. Поскольку он считал, что ничего еще не удумал, то и отвечал длиннее, чем требовали, и беседа затянулась: уж звонки прозвенели. Егора отпустили, но выйти он уже не смог, а сел на место, решив, что сбежать придется на втором перерыве.

Первый выступавший говорил складно и Егору понравился. Он хлопал дольше всех и опять чуть не упустил свою фамилию.

— Подготовиться товарищу Полушкину.

— Чего сказали-то?

— Подготовиться.

— Как это?

— Тише, товарищи! — недовольно зашумели сзади.

Егор примолк, лихорадочно соображая, как готовиться. Он мучительно припоминал нужные слова, взмок и пропустил половину выступления. Однако вто-

рую половину расслышал, и эта половина вызвала в нем такое несогласие, что он маленько даже успокоился.

— Нужны дополнительные законы,— говорил оратор, суровая от собственных слов.— Ужесточить требования. Карать...

Кого карать-то? Егор с неохотой — из вежливости — похлопал, а тут выкликнули:

— Слово предоставляется товарищу Полушкину.

— Мне? — Егор встал.— Мне бы потом, а? Я это... бумажки забыл.

— Какие бумажки?

— Ну, речь. Мне речь написали, а я ее на столе позабыл. Вы погодите, я сбегаю.

Зал весело зашумел:

— Давай без бумажек!

— А кто написал-то?

— Смелей, Полушкин!

— Проходите к трибуне,— сказал председатель.

— Зачем проходить-то? — Егор все же вылез из ряда и пошел по проходу.— Я же говорю: сбегаю. Они... это... на столе.

— Кто они?

— Да бумажки. Написали мне, а я позабыл.

Хохотали, слова заглушая. Но Егору было не до смеха. Он стоял перед сценой, виновато склонив голову, и вздыхал.

— А без чужих бумажек вы говорить не можете? — спросил министр.

— Ну, дык, поди, не то скажу.

— То самое. Проходите на трибуну. Смелее, товарищ Полушкин!

Егор нехотя поднялся на трибуну, поглядел на стакан, в котором пузыри бежали. Зал сразу стих, все смотрели на него, улыбались и ждали, что скажет.

— Люди добрые! — громко сказал Егор, и зал опять покатился со смеху.— Погодите ржать-то: я не «караул» кричу. Я вам говорю, что люди — добрые!

Замолчали все, а потом вдруг зааплодировали. Егор улыбнулся.

— Погодите, не все еще сказал. Тут товарищ говорил, так я с ним не согласен. Он законов просил, а законов у нас хватает.

— Правильно! — сказал министр.— Только уметь надо ими пользоваться.

— Нужда научит,— сказал Егор.— Но я к тому, чтоб нужды такой не было. Этак-то просто: поставил солдат с ружьями и гуляй себе. Только солдат не наберешься.

И опять заплодировали. Кто-то крикнул:

— Вот дает товарищ!

— Вы мне не мешайте, я и сам собьюсь. Мы с вами при добром деле состоим, а доброе дело радости просит, а не угрюмства. Злоба злобу плодит — это мы часто вспоминаем, а вот что от добра добро родится — это не очень. А ведь это и есть главное!

Егор ни разу не выступал и поэтому не особо боялся. Велели говорить — он и говорил. И говорилось ему, как пелось.

— Вот сказали: делись, мол, опытом. А зачем им делиться? Чтоб обратно у всех одинаковое было, да? Да какой же в этом нам прок? Это у баранов и то шерсть разная, а уж у людей — сам бог велел. Нет, не за одинаковое нам драться надо, а за разное — вот тогда и выйдет радостно всем.

Слушали Егора с улыбками, смехом, но и с интересом: слово боялись проворонить. Егор это чувствовал и говорил с удовольствием:

— Но радости покуда наблюдается мало. Вот я при Черном озере состою, а раньше оно Лебяжьим называлось. А сколько таких Черных озер по всей стране нашей замечательной — это ж подумать страшно! Так вот, надо бы так сотворить, чтобы они обратно звонкими стали: Лебяжьими или Гусиными, Журавлиными или еще как, а только чтоб не Черными, мил дружки вы мои хорошие. Не Черными — вот такая наша забота!

Снова заплодировали, зашумели. Егор покосился на стакан, что поставили ему, и, поскольку вода в том стакане перестала пузыриться, хлебнул. И сморщился: соленая была вода.

— Все мы в одном доме живем, да не все хозяева. Почему такое положение? А путают. С одной стороны вроде учат: природа — дом родной. А что с другой стороны имеем? А имеем покорение природы. А природа, она все покуда терпит. Она молчком умирает, долголетно. И никакой человек не царь ей, природе-то. Не царь, вредно это — царем-то зваться. Сын он ее, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб маменьку.

Все захлопали. Егор махнул рукой, пошел с трибуны, но вернулся:

— Стойте, поручение забыл. Если кто тем летом насчет туризма хочет, так к нам давайте. У нас и гриб, и ягода, и Яков Прокопыч с лодочной станцией. Распишем лодочки: ты — на «Гусенке», а я — на «Поросенке»: ну-ка, догоняй!

И под общим смех и аплодисменты пошел на свое место.

Два дня шло совещание, и два дня Егора поминали с трибуны. Кто в споре: какое, мол, тебе добро, когда леса стонут? Кто в согласии: хватит, мол, покорять, побра оглянуться. А министр напоследок особо остановился насчет того, чтоб обратно превратить Черные озера в живые и звонкие, и назвал это почином товарища Полушкина. А потом Егора наградили Почетной грамотой, похвалили, уплатили командировочные и выдали билет до дома.

С этим билетом Егор и пришел в гостиницу. Ехать гадо было завтра, а сегодняшний день следовало провести в бегах по ГУМам и ЦУМам. Егор посмотрел список вещей, что просили купить, пересчитал деньги, полюбовался грамотой и поехал в зоопарк.

Там долго ничего понять не могли. Пришлось до главного дойти, да и тот удивился:

— Каких лебедей? Мы не торгующая организация.

— Я бы и сам словил, да где? Говорю же, Черное у нас озеро. А было Лебяжье. Министр говорит: почин, мол, полушкинский, мол, значит. А раз почин мой, так мне и начинать.

— Так я же вам объясняю...

— И я вам объясняю: где взять-то? А у вас их полон пруд. Хоть в долг дайте, хоть за деньги.

Егор говорил и сам удивлялся: сроду он так с начальниками не разговаривал. А тут и слова нашлись, и смелость — свободу он в душе своей чувствовал.

Весь день спорили. К какому-то начальству ездили, какие-то бумажки писали. Столковались наконец и выделили Егору две пары шипунов; избили и исципали они Егора до крови, пока он их в клетку запикивал. Потом на вокзал кинулся, а там тоже морока. И там упрашивал, и там бумажки писали, и там уговорил. В багажном вагоне при сопровождающем.

Полтора дня метался да хлопотал, а про ГУМ с ЦУМом только у поезда и вспомнил. Да и то зря: денег на ГУМы не осталось,— все в лебедей пошло. Купил Егор прямо на вокзале что под руку попало, залез в багажный вагон, пожевал булки с колбасой, а тут и поехали. И лебеди закликали в клетках, зашумели. А Егор лег на ящик, укрылся пиджаком и заснул.

И приснились ему слоны...

## 21

— Нелюдь заморская заклятье мое сиротское господи спаси и помилуй бедоносец чертов!..

Егор стоял перед Харитиной, виновато склонив голову. В больших ящиках по-змеиному шипели лебеди.

— У людей мужики так уж добытки так уж дом у них чаша полная так уж жены у них как лебедушки!

— Крылья им подрезать велели,— вдруг встрепенулся Егор.— Чтоб на юг не утекли.

Заплакала Харитина. От стыда, от обиды, от бессилия. Егор за ножницами побежал — крылья резать. А Федор Ипатыч в доме своем со смеху покатывался:

— Ну бедоносец чертов! Ну бестолочь! Ну экземпляр!

Все над Егором потешались: надо же, вместо ГУМов с ЦУМаи лебедей приволок! В долги влез, людей обманул, жену обидел. Одно слово — бедоносец.

Только Яков Прокопыч не смеялся, Серьезно одобрил:

— Привлекательность для туризма.

А Кольке было не до смеху. Пока тятка его в Москве слонами любовался, дяденьку Федора Ипатыча уж трижды к следователю вызывали. Федор Ипатыч по этому случаю Кодекс купил, наизусть выучил и так сказал:

— Видать, дом отберут, Марья. К тому клонится.

Марьяца в голос взывала, а Вовка затрясся и щенка побежал топить. Еле-еле Колька умолил его, да и то временно:

— Коли выселят — назло утоплю!



Сказал — как отрезал. И сомнения не осталось: утопит. А тут еще Оля Кузина заважничала чего-то, дружить с ними перестала. Все с девчонками вертелась, какие постарше, и на Кольку напраслину наговаривала. Будто он за нею бежит.

А Егор на другой день к озеру подался. Домики лебедям построил, а тогда и лебедей выпустил. Они сперва покричали, крыльями подрезанными похлопали, подрались даже, а потом успокоились, домики поделили и зажили двумя семействами в добром соседстве.

Устроив птиц, Егор надолго оставил их: ходил по массиву, клеймил сухостой для школы. А директору напилил лично не только потому, что уважал ученых людей, но и для разговора.

Разговор состоялся вечером у самовара. Жену — докторшу, что столько раз Кольку йодом мазала, — к роженице вызвали, и директор хлопотал сам.

— Покрепче, Егор Савельич?

— Покрепче. — Егор взял стакан, долго размешивал сахар, думал. — Что же нам с Нонной-то Юрьевной делать, товарищ директор?

— Да, жалко. Хороший педагог.

— Вам — педагог, мне — человек, а Юрию Петровичу — зазноба.

То, что Нонна Юрьевна для Чувалова — зазноба, для директора было новостью. Но вида он не подал, только что бровями шевельнул.

— Официально разве вернуть?

— Официально — значит через «не хочу». Нам годится, а Юрию Петровичу — вразрез.

— Вразрез, — согласился директор и пригорюнился.

— Видно, ехать придется, — сказал Егор, не дождавшись от него совета. — Вот зазимует — и поеду. А вы письмо напишите. Два.

— Почему два?

— Одно — сейчас, другое — погода. Пусть свыкнется. Свыкнется, а тут я прибуду, и решать ей придется.

Директор подумал и принялся за письмо. А Егор неторопливо курил, наслаждаясь уютом, покоем и директорским согласием. И оглядывался: сервант под орех, самодельные полки, книги навалом. А над книгами картина.

Егор даже встал, углядев ее. Красным полыхала картина та, Красный конь топтал иссиня-черную

тварь, а на коне том сидел паренек и тыкал в тварь палкой.

Вся картина горела яростью, и конь был необыкновенно гордым и за эту необыкновенность имел право быть неистово красным. Егор и сам бы расписал его красным, если б случилось ему такого коня расписывать, потсмую что это был не просто конь, не сивка-бурка — это был конь самой Победы. И он пошел к этому коню как замороженный — даже на стул наткнулся.

— Нравится?

— Какой конь! — тихо сказал Егор. — Это ж... Пламя это. И парнишка на пламени том.

— Подарок, — сказал директор, подойдя. — И символ прекрасный: борьба добра со злом, очень современно. Это Георгий Победоносец. — Тут директор испуганно покосился на Егора, но Егор по-прежнему строго и уважительно глядел на картину. — Вечная тема. Свет и тьма, добро и зло, лед и пламень.

— Тезка, — вдруг сказал Егор. — А меня в поселке бедоносцем зовут. Слышали, поди?

— Да. — Директор смутился. — Знаете, в наших краях прозвище...

— Я-то чего думал? Я думал, что меня потому бедоносцем зовут, что я беду приношу. А не потому зовут-то, оказывается. Оказывается, не под масть я тезке-то своему, вот что оказывается.

И сказал он это с горечью, и всю дорогу конь этот перед глазами его маячил. Конь и всадник на том коне.

— Не под масть я тебе, Егор Победоносец. Да уж, стало быть, так, раз оно не этак!

А лебеди были белыми-белыми. И странная горечь, которую испытал он, открыв для себя собственное несоответствие, рядом с ними вскоре растаяла без следа.

— Красота! — сказал Юрий Петрович, навестив Егора.

Птицы плавали у берега. Егор мог часами смотреть на них, испытывая незнакомое доселе наслаждение.

Он уже побегал по лесу, выискивал пару коряг, и еще два лебедя гнули шеи возле его шалаша.

— Тоскуют, — вздохнул Егор. — Как свои пролетают — кричат. Аж сердце лопается.

— Ничего, перезимуют.

— Я им сараюшку уделаю, где кабанчик жил. Ледок займется — переведу.

Юрий Петрович ничего на это не ответил. Нонна Юрьевна возвращаться отказалась, как он ни упрашивал ее там, в Ленинграде, и Чувалов разучился улыбаться.

— Ну, Юрий Петрович, пишите заявление, чтоб озеро обратно Лебяжьим звали.

— Напишу, — вздохнул Чувалов.

Юрий Петрович, невесело приехав, невесело и уехал.

А Егор остался: невядалеке от его участка дорогу прокладывали, и он беспокоился насчет порубок. Но на заповедный лес никто не покушался: Филия с Черепком на строительство дороги подались. Черепок матерые сосны с особым наслаждением рвал: любил взрывчаткой баловаться. С войны еще, с партизанщины.

Потом, однако, заглохли и дальние взрывы, и рев машин: дорога в поля ушла, и рвать стало нечего. Но Егору не хотелось уходить из обжитого шалаша, по обе стороны которого гордо гнули шеи деревянные лебеди.

Осень у крыльца уж бубенцами звенела. Она темной выдалась, дождливой и выжила-таки Егора с озера. Он перебрался в дом, сперва наведывался к лебедям ежедневно, потом стал ходить пореже. Да и сараюшку уделать требовалось: по утрам уж ледок похрустывал.

А та ночь на диво разбойной была. Тучи чуть заели не цеплялись, косило из них дождем без передыху, а ветер гулял — аж сосны стонали. Накануне Егор прихворнул маленько, баньку парную принял, чайку с малиной — спать бы ему да спать. А он тревожился: как лебеди там? Надо бы перевезти — уж и сараюшка почти готова, — да расхворался некстати. Ворочался, жег Харитину то спиной, то боком, а к полуночи оделся и вышел покурить.

Чуть вроде затишело: и лес шумел поласковее, и дождик не сек — моросил только. Егор скрутил сигарку, пристроился на крылечке, прикурил — ударило вдруг за дальним лесом. Тяжко ударило, и он сперва подумал, что гром, да какой мог быть гром темной осенью? И, еще не поняв, что это ударило, что за гул принесло мокрым ветром, вскочил и побежал кобылу седлать,

Ворота скрипучими были, и на скрип тот Харитина выплянула, в одной рубашке, грудь прикрывая.

— Ты что это удумал, Егор! Жар ведь у тебя.

— На озеро съезжу, Тинушка,— сказал Егор, выводя со двора сонную кобылу.— Непокойно мне что-то. Да и Колька давеча про туриста говорил.

А Колька вчера дяденьку сивого у магазина встретил. Того, что муравейник поджигал.

— А, малец!

— Здравствуйте,— сказал Колька и убежал.

Водку сивый тот нес. Целую авоську — в дырки горлышки торчали. Колька об этом отцу и рассказал.

Не удержала его тогда Харитина, и гнал Егор казенную кобылку сквозь осеннюю темь. Знала бы, поперек дороги бы легла, а не зная, ругнула только:

— Да куда же понесло-то тебя, бедоносец божий?

Такими были ее последние слова. Неласковыми. Как жизнь.

Второй раз ударило, когда Егор полпути миновал. Гулко и далеко разнесло взрыв по сырому воздуху, и Егор понял, что рвут на Черном озере. И подумал о лебедях, что подплывали на людские голоса, доверчиво подставляя крутые шеи.

Гнал Егор старую кобылу, бил каблуками по ребрам, но бежала она плохо, и он в нетерпении соскочил с нее и побежал вперед. А кобыла бежала следом и жарко дышала в спину, Потом отстала: сил у нее Егоровых не было, даром что лошадь.

Издаലെка он костер углядел: сквозь мокрые еловые лапы. У костра фигуры виднелись, а с берега и голос донесся:

— Под кустами смотри: вроде щука.

— Темно-о!..

Егор бежал напрямик, ломая валежник. Ветки хлестали по лицу, сердце в горле билось, и трясло его.

— Стой! — закричал он еще в кустах, в темноте еще.

Вроде замерли у костра. Егор хотел снова крикнуть, да дыхания не хватило, и выбежал он к костру молча. Стал, хватая ртом воздух, в миг какой-то успел увидеть, что над огнем вода в кастрюльке кипит, а из воды две лебединые лапы выглядывают. И еще троих лебедей увидел — подле. Белых, еще не ошипанных, но

уже без голов. А в пламени пятый его лебедь сгорал: деревянный. Черный теперь, как озеро.

— Стой!.. — шепотом сказал он. — Документ да-  
вайте.

Двое у костра стояли, но лиц он не видел. Один сразу шагнул в темноту, сказав:

— Лесник.

Шумел ветер, булькала вода в кастрюле, да трещал, догорая, деревянный лебедь. И все покуда молчали.

— Документы, — пересохшим горлом повторил Егор. — Задерживаю всех. Со мной пойдете.

— Вали отсюда, — негромко и лениво сказал тот, что остался у костра. — Вали, пока хорошие. Ты нас не видел, мы тебя не знаем.

— Я в доме своем, — задыхаясь, сказал Егор. — А вы кто есть, мне неизвестно.

— Вали, говорю.

С озера опять донесся веселый плеск и голос:

— Хорош навар! Пуда полтора...

— Рыбу глушите, — вздохнул Егор. — Лебедей по-  
убивали. Эх люди!..

В темноте возник силуэт.

— Продрог, растудит твою. Сейчас водочки бы хватануть, хозяин...

Замолчал, увидев Егора, и в тень отступил. И еще кто-то у берега стучал веслами. И четвертый где-то прятался, не появляясь больше в освещенном круге.

— Чего ему тут надо? — спросил тот, что в тень отступил.

— По шее.

— Это мы можем.

— Документы, — упрямо повторил Егор. — Все равно не уйду. До самой станции идти за вами буду, пока милиции не сдам.

— Не стражай, — сказали в темноте. — Не ясный день.

— Он не страшит, — сказал первый. — Он цену на-  
бивает. Точно, мужик? Ну как, сойдемся? Поллитра у  
костра да четвертной в зубы — и гуляй, Вася.

— Документы, — устало вздохнул Егор. — Задерживаю всех.

Он весь горел сейчас, в голове шумело, и противно слабели колени. Очень хотелось сесть, погреться у

огня, но он знал, что не сядет и не уйдет отсюда, пока не получит документов.

Еще один, насвистывая, шел от берега. Двое о чем-то шептались, а четвертого не было: прятался.

— Полсотни,— сказал первый.— И заворачивай гужи.

— Документы. Задерживаю всех. За нарушения.

— Ну, гляди,— угрожающе сказал первый.— Не хочешь миром — ходи в соплях.

Он наклонился к кастрюле, потыкал ножом в лебедя. Второй пошел к озеру, навстречу тому, что насвистывал.

— Зачем же лебедей-то? — вздохнул Егор.— Зачем? Они ведь украшение жизни.

— Да ты поэт, мужик.

— Собирайтесь. Время позднее, идти не близко.

— Дурак! Дай ему по мозгам.

Хакнули за спиной, и тяжелая жердь, скользя по уху, с хрустом обрушилась на плечо. Егор качнулся, упал на колени.

— Не смей! Нельзя меня бить: я законом поставлен! Документы требую! Документы...

— Ах, документы тебе?..

Еще и еще раз обрушилась жердь, а потом Егор перестал уж и считать-то удары, а только ползал на дрожжащих, подламывающихся руках. Ползал, после каждого удара утыкаясь лицом в мокрый, холодный мох, и кричал:

— Не смей! Не смей! Документы давай!

— Документы ему!..

И уже не одна, а две жердины гуляли по Егоровой спине, и чей-то тяжелый сапог упорно бил в лицо. И кто-то кричал:

— Собаку на него! Собаку!

— Куси его! Куси! Цапай!

Но собака не брала Егора, а только выла, страшась крови и людской злобы. И Егор уже не кричал, а хрипел, выплевывая кровь, а его все били и били, озлобляясь от ударов. Егор уже ничего не видел, не слышал и не чувствовал.

— Брось, Леня, убьем еще.

— У, гад...

— Оставь, говорю! Сматываться пора. Забирай рыбу, хозяин, да деньгу гони, как сговорено.

Кто-то с оттяжкой, изо всей силы ударил сапогом в

висок, голова Егора дернулась, закачалась на мокром от дождя и крови мху — и бросили. Пошли к костру, возбужденно переговариваясь. А Егор поднялся, страшный, окровавленный, и, шлепая разбитыми губами, прохрипел:

— Я законом... Документы...

— Ну, получи документы!

Кинулись и снова били. Били, пока хрипеть не перестал. Тогда оставили, а он только вздрагивал щуплым, раздавленным телом. Редко вздрагивал.

Нашли его на другой день уже к вечеру на полпути к дому. Полдороги он все же прополз; и широкий кровавый след тянулся за ним от самого Черного озера. От кострища, разоренного шалаша, птичьих перьев и обугленного деревянного лебедя. Черным стал лебедь, нерусским.

На второй день Егор пришел в себя. Лежал в отдельной палате, еле слышно отвечал на вопросы. А следовательно все время переспрашивал, потому что не разбирал слов: и зубов у Егора не было, и сил, и разбитые губы шевелиться не желали.

— Неужели ничего не можете припомнить, товарищ Полушкин? Может быть, мелочь какую, деталь? Мы найдем, мы общественность поднимем, мы...

Егор молчал, серьезно и строго глядя в молодое, пышущее здоровьем и старательностью лицо следователя.

— Может быть, встречались с ними до этого? Припомните, пожалуйста. Может быть, знали даже?

— Не знал бы — казнил, — вдруг тихо и внятно сказал Егор. — А знаю — и милую.

— Что? — Следователь весь вперед подался, напрыгавшись весь. — Товарищ Полушкин, вы узнали их? Узнали? Кто они? Кто?

Егору хотелось, чтобы следователь поскорее ушел. После уколов боль отпустила и ласковые, неторопливые думы уже проплывали в голове, и Егору было приятно встречать их, разглядывать и вновь провожать куда-то. Он вспомнил себя молодым, еще в колхозе, и увидел себя молодым: председатель за что-то хвалил его и улыбался, и молодой Егор улыбался в ответ. Вспомнил переезд свой сюда, и петуха вспомнил и тотчас же увидел его. Вспомнил веселых гусенков-поросенков, гнев Якова Прокопыча, туристов, утопленный

мотор, а зла в душе ни к кому не было, и он улыбался всем, кого видел сейчас, даже двум пройдохам у рынка. И, улыбаясь так, он как-то очень просто, тихо подумал, что прожил свою жизнь в добре, что никого не обидел и что помирить ему будет легко. Совсем легко — как уснуть.

Но додумать этого ему не дали, потому что нянечка голову из коридора в комнату сунула и сказала, что очень уж к нему просят, что, может, позволит он: уж больно человек убивается. Егор моргнул в ответ — она из щели исчезла, а дверь отворилась, и вошел Федор Ипатович.

Он вошел неуклюже, бочком, будто нес что-то и боялся расплескать. Потоптался у порога, то поднимая, то вновь пряча глаза, позвал:

— Егор, Егорушка.

— Садись. — Егор с трудом разлепил губы.

Федор Ипатович присел на краешек, покачал головой горестно. Будто и донес ношу, а сбросить ее не мог и страдал от этого. И Егор знал, что он страдает, и знал почему.

— Живой ты, Егор?

— Живой.

Федор Ипатович вновь завздохал, заскрипел табуреткой, а потом вытащил из-под полы халата пузатую бутылку.

Долго откручивал пробку корявыми, непослушными пальцами, и пальцы эти дрожали.

— Ты не страшись, Федор Ипатыч.

— Что? — вздрогнул Бурьянов, глаза расширя.

— Не страшись, говорю. Жить не страшись.

Гулко сглотнул Федор Ипатович. На всю палату. Взял с тумбочки стакан, налил из бутылки что-то желтое, пахучее.

— Выпей, Егорушка, а? Сглотни.

— Не надо.

— Хоть глоточек, Егор Савельич. Двадцать пять рубликов бутылочка, не для нас сварено.

— Не для нас, Федор.

— Ну выпей, Савельич, выпей. Облегчи ты мне душу-то, облегчи!

— Нету во мне зла, Федор. Покой есть. Ступай домой.

— Да как же, Савельич...

— Да уж, стало быть, так, раз оно не этак.



Федор Ипатыч всхлипнул, тихо поставил стакан и встал.

— Только прости ты меня, Егор,

— Простил. Ступай.

Федор Ипатыч покачал большой головой, постоял еще маленько, шагнул к дверям.

— Пальму не стрели,— вдруг сказал Егор. «Что не взяла она меня, в том вины ее нет. Меня собаки не берут, слово я собачье знал.

Федор Ипатыч тяжело и медленно шел коридором больницы. В правой руке он нес початую бутылку, и дорогой французский коньяк выплескивался на пол при каждом его шаге. По небритому, черному лицу его текли слезы. Одна за другой, одна за другой.

А Егор опять закрыл глаза, и опять мир широко раздвинулся перед ним, и Егор перешагнул боль, печаль и тоску. И увидел мокрый от росы луг и красного коня на этом лугу. И конь узнал его и заржал призывно, приглашая сесть и скакать туда, где идет нескончаемый бой и где черная тварь, извиваясь, все еще изрыгивает зло.

Вот. А Колька Полушкин все-таки отдал спиннинг за шелудивого щенка с надорванным ухом. Видно, ему тоже снился красный отцовский конь.

### От автора

*Когда я захожу в лес, я слышу Егорову жизнь. Она зовет меня негромко и застенчиво, и я сажусь в поезд и через три пересадки еду в далекий поселок.*

*Мы гуляем с Колькой и Цуциком по улицам, заходим на лодочную станцию, и Яков Прокопыч дает нам самую лучшую лодку. А вечером пьем с Харитиной чай, глядим на Почетную грамоту и вспоминаем Егора.*

*Яков Прокопыч стал говорить еще учнее, чем прежде. Черепок попал под Указ, а Фила по-прежнему немного шабашит и много пьет. Каждую весну на второй день пасхи он идет на кладбище и заново красит жестяной Егоров обелиск.*

*— Погоди, Егор, Черепок вернется — мы тебе памятник отгрохаем. Полмесяца шаба-*

шить будем, глотки собственные перевяжем, а отгрохаем.

Федор Ипатович Бурьянов уехал со всем семейством. И не пишут. Дом у них отобрали; там теперь общежитие. Петуха уже нет, а Пальму Федор Ипатович все-таки пристрелил.

К Черному озеру Колька ходить не любит. Там другой лесник, а Егоровы зайцы да белки постепенно заменяются обыкновенными осиновыми столбами. Так-то проще. И понятнее.

На обратном пути я непременно задерживаюсь у Чуваловых. Юрий Петрович получил квартиру, но места все равно мало, потому что в большой комнате расчесывает волосы белая дева, вытесанная когда-то Егором одним топором из старой липы. И Нонна Юрьевна осторожно обносит вокруг нее свой большой живот.

А Черное озеро так и осталось Черным. Должно быть, теперь уж до Кольки...

# В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

РОМАН

---





## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

### 1

За всю жизнь Коле Плужникову не встречалось столько приятных неожиданностей, сколько выпало в последние три недели. Приказ о присвоении ему, Николаю Петровичу Плужникову, воинского звания он ждал давно, но вслед за приказом приятные неожиданности посыпались в таком изобилии, что Коля просыпался по ночам от собственного смеха.

После утреннего построения, на котором был зачитан приказ, их сразу же повели в вещевой склад. Нет, не в общий, курсантский, а в тот, заветный, где выдавались немыслимой красоты хромовые сапоги, хрустящие портупеи, негнущиеся кобуры, командирские сумки с гладкими, лаковыми планшетками, шинели на пуговицах и гимнастерки из строгой диагонали. А потом все, весь выпуск, бросились к училищным портным, чтобы подогнать обмундирование и в рост и в талию, чтобы влиться в него, как в собственную кожу. И там толкались, возились и так хохотали, что под потолком начал раскачиваться казенный эмалированный абажур.

Вечером сам начальник училища поздравлял каждого с окончанием, вручал «Удостоверение личности командира РККА» и увесистый ТТ. Безусые лейтенанты оглушительно выкрикивали номер пистолета и изо всей силы тискали сухую генеральскую ладонь. А на банкете восторженно качали командиров учебных взводов и порывались свести счеты со старшиной. Впрочем, все обошлось благополучно, и вечер этот — самый прекрасный из всех вечеров — начался и закончился торжественно и красиво.

Почему-то именно в ночь после банкета лейтенант Плужников обнаружил, что он хрустит. Хрустит при-

ятно, громко и мужественно. Хрустит свежей кожей портупей, необмятым обмундированием, сияющими сапогами. Хрустит весь, как новенький рубль, которого за эту особенность мальчишки тех лет запросто называли «хрустом».

Собственно, все началось несколько раньше. На бал, который последовал после банкета, вчерашние курсанты явились с девушками. А у Коли девушки не было, и он, запинаясь, пригласил библиотекаршу Зою. Зоя озабоченно поджала губы, сказала задумчиво: «Не знаю, не знаю...», но пришла. Они танцевали, и Коля от жгучей застенчивости все говорил и говорил, а так как Зоя работала в библиотеке, то говорил он о русской литературе. Зоя сначала поддакивала, а в конце обидчиво оттопырила неумело накрашенные губы:

— Уж больно вы хрустите, товарищ лейтенант.

На училищном языке это означало, что лейтенант Плужников задается. Тогда Коля так это и понял, а придя в казарму, обнаружил, что хрустит самым натуральным и приятным образом.

— Я хрущу,— не без гордости сообщил он своему другу и соседу по койке.

Они сидели на подоконнике в коридоре второго этажа. Было начало июня, и ночи в училище пахли сиренью, которую никому не разрешалось ломать.

— Хрусти себе на здоровье,— сказал друг.— Только, знаешь, не перед Зойкой: она — дура, Колька. Она жуткая дура и замужем за старшиной из взвода боепитания.

Но Коля слушал вполуха, потому что изучал хруст. И хруст этот очень ему нравился.

На следующий день ребята стали разъезжаться: каждому полагался отпуск. Прощались шумно, обменивались адресами, обещали писать, и один за другим исчезали за решетчатыми воротами училища.

А Коле проездные документы почему-то не выдавали (правда, езды было — всего ничего: до Москвы). Коля подождал два дня и только собрался идти узнавать, как дневальный закричал издала:

— Лейтенанта Плужникова к комиссару!..

Комиссар, очень похожий на вдруг постаревшего артиста Чиркова, выслушал доклад, пожал руку, указал, куда сесть, и молча предложил папиросы.

— Я не курю,— сказал Коля и начал краснеть: его вообще кидало в жар с легкостью необыкновенной,

— Молодец,— сказал комиссар.— А я, понимаешь, все никак бросить не могу, не хватает у меня силы воли.

И закурил. Коля хотел было посоветовать, как следует закалять волю, но комиссар заговорил вновь:

— Мы знаем вас, лейтенант, как человека исключительно добросовестного и исполнительного. Знаем также, что в Москве у вас мать с сестренкой, что не видели вы их два года и соскучились. И отпуск вам положен,— он помолчал, вылез из-за стола, прошелся, сосредоточенно глядя под ноги.— Все это мы знаем и все-таки решили обратиться с просьбой именно к вам... Это — не приказ, это — просьба, учтите, Плужников. Приказывать мы вам уже права не имеем...

— Я слушаю, товарищ полковой комиссар.— Коля вдруг решил, что ему предложат идти работать в разведку, и весь напрягся, готовый оглушительно заорать: «Да!..»

— Наше училище расширяется,— сказал комиссар.— Обстановка сложная, в Европе — война, и нам необходимо иметь как можно больше общевойсковых командиров. В связи с этим мы открываем еще две учебные роты. Но штаты их пока не укомплектованы, а имущество уже поступает. Вот мы и просим вас, товарищ Плужников, помочь с этим имуществом разобраться. Принять его, оприходовать...

И Коля Плужников остался в училище на странной должности «куда пошлют». Весь курс его давно разъехался, давно крутил романы, загорал, купался, танцевал, а Коля прилежно считал постельные комплекты, погонные метры портянок и пары яловых сапог. И писал всякие докладные.

Так прошло две недели. Две недели Коля терпеливо, от подъема до отбоя и без выходных, получал, считал и приходовал имущество, ни разу не выйдя за ворота, словно все еще был курсантом и ждал увольнения от сердитого старшины.

В июне народу в училище осталось мало: почти все уже выехали в лагерь. Обычно Коля ни с кем не встречался, по горло занятый бесконечными подсчетами, ведомостями и актами, но как-то с радостным удивлением обнаружил, что его... приветствуют. Приветствуют по всем правилам армейских уставов, с курсантским шиком выбрасывая ладонь к виску и лихо вскидывая подбородок. Коля изо всех сил старался отвечать

с усталой небрежностью, но сердце его сладко замирало в приступе молодого тщеславия.

Вот тогда-то он и начал гулять по вечерам. Заложив руки за спину, шел прямо на группки курсантов, куривших перед сном у входа в казарму. Утомленно глядел строго перед собой, а уши росли и росли, улавливая осторожный шепот:

— Командир...

И, уже зная, что вот-вот ладони упруго взлетят к вискам, старательно хмурил брови, стремясь придать своему круглому, свежему, как французская булка, лицу выражение невероятной озабоченности...

— Здравствуйте, товарищ лейтенант.

Это было на третий вечер: носом к носу — Зоя. В теплых сумерках холодком сверкали белые зубы, а многочисленные оборки шевелились сами собой, потому что никакого ветра не было. И этот живой трепет был особенно пугающим.

— Что-то вас нигде не видно, товарищ лейтенант. И в библиотеку вы больше не приходите...

— Работа.

— Вы при училище оставлены?

— У меня особое задание, — туманно сказал Коля.

Они почему-то уже шли рядом и совсем не в ту сторону. Зоя говорила и говорила, непрерывно смеясь; он не улавливал смысла, удивляясь, что так покорно идет не в ту сторону. Потом он с беспокойством подумал, не утратило ли его обмундирование романтического похрустывания, повел плечом, и портупея тотчас же ответила тугим благородным скрипом...

— ...Жутко смешно! Мы так смеялись, так смеялись.... Да вы не слушаете, товарищ лейтенант.

— Нет, я слушаю. Вы смеялись.

Она остановилась — в темноте вновь блеснули ее зубы. И он уже не видел ничего, кроме этой улыбки.

— Я ведь нравилась вам, да? Ну, скажите, Коля, нравилась?..

— Нет, — шепотом ответил он. — Просто... Не знаю. Вы ведь замужем.

— Замужем?.. — Она шумно засмеялась: — Замужем, да? Вам сказали? Ну и что же, что замужем? Я случайно вышла за него, это была ошибка...

Каким-то образом он взял ее за плечи. А может быть, и не брал, а она сама так ловко повела ими, что его руки оказались вдруг на ее плечах,



— Между прочим, он уехал, — деловито сказала она. — Если пройти по этой аллейке до забора, а потом вдоль забора до нашего дома, так никто и не заметит. Вы хотите чаю, Коля, правда?..

Он уже хотел чаю, но тут темное пятно двинулось на них из аллеяного сумрака, наплыло и сказала:

— Извините.

— Товарищ полковой комиссар! — отчаянно крикнул Коля, бросившись за шагнувшей в сторону фигурой. — Товарищ полковой комиссар, я...

— Товарищ Плужников? Что же это вы девушку оставили? Ай-ай.

— Да-да, конечно. — Коля метнулся назад, скавал торопливо: — Зоя, извините. Дела. Служебные дела,

Что Коля бормотал комиссару, выбираясь из сиреневой аллеи на спокойный простор училищного плаца, он намертво забыл уже через час. Что-то насчет портяночного полотна нестандартной ширины или, кажется, стандартной ширины, но зато не совсем полотна... Комиссар слушал-слушал, а потом спросил:

— Это что же, подруга ваша была?

— Нет-нет, что вы! — испугался Коля. — Что вы, товарищ полковой комиссар, это же Зоя, из библиотеки. Я ей книгу не сдал, вот и...

И замолчал, чувствуя, что краснеет: он очень уважал добродушного пожилого комиссара и врать стеснялся. Впрочем, комиссар заговорил о другом, и Коля кое-как пришел в себя.

— Это хорошо, что документацию вы не запускаете: мелочи в нашей военной жизни играют огромную дисциплинирующую роль. Вот, скажем, гражданский человек иногда может себе кое-что позволить, а мы, кадровые командиры Красной Армии, не можем. Не можем, допустим, пройти с замужней женщиной, потому что мы на виду, мы обязаны всегда, каждую минуту быть для подчиненных образцом дисциплины. И очень хорошо, что вы это понимаете... Завтра, товарищ Плужников, в одиннадцать тридцать прошу прийти ко мне. Поговорим о вашей дальнейшей службе, может быть, пройдем к генералу.

— Есть...

— Ну, значит, до завтра. — Комиссар подал руку, задержал, сказал тихо: — А книжку в библиотеку придется вернуть, Коля. Придется!..

Очень, конечно, получилось нехорошо, что пришлось обмануть товарища полкового комиссара, но Коля почему-то не слишком огорчился. В перспективе ожидалось возможное свидание с начальником училища, и вчерашний курсант ждал этого свидания с нетерпением, страхом и трепетом, словно девушка — встречи с первой любовью. Он встал задолго до подъема, надраил до самостоятельного свечения хрустящие сапоги, подшил свежий подворотничок и начистил все пуговицы. В комсоставской столовой — Коля чудовищно гордился, что кормится в этой столовой и лично расплачивается за еду, — он ничего не мог есть, а только выпил три порции компота из сухофруктов. И ровно в одиннадцать прибыл к комиссару.

— А, Плужников, здорово! — Перед дверью комиссарского кабинета сидел лейтенант Горобцов — бывший командир Колиного учебного взвода, — тоже начищенный, выутюженный и затянутый. — Как делишки? Закругляешься с портяночками?

Плужников был человеком обстоятельным и поэтому поведал о своих делах все, втайне удивляясь, почему лейтенант Горобцов не интересуется, что он, Коля, тут делает. И закончил с намеком:

— Вчера товарищ полковой комиссар меня тоже о делах расспрашивал. И велел...

— Слушай, Плужников, — понизив голос, вдруг перебил Горобцов. — Если тебя к Величко будут сватать, ты не ходи. Ты ко мне просись, ладно? Мол, давно вместе служим, сработались...

Лейтенант Величко тоже был командиром учебного взвода, но — второго, и вечно спорил с лейтенантом Горобцовым по всем поводам. Коля ничего не понял из того, что сообщил ему Горобцов, но вежливо покивал. А когда раскрыл рот, чтобы попросить разъяснений, распахнулась дверь комиссарского кабинета и вышел сияющий и тоже очень парадный лейтенант Величко.

— Роту дали, — сказал он Горобцову. — Желаю того же!

Горобцов вскочил, привычно одернул гимнастерку, согнав одним движением все складки назад, и вошел в кабинет.

— Привет, Плужников, — сказал Величко и сел рядом. — Ну, как дела, в общем и целом? Все сдал и все принял?

— В общем, да.— Коля вновь обстоятельно рассказал о своих делах. Только ничего не успел намекнуть насчет комиссара, потому что нетерпеливый Величко перебил раньше:

— Коля, будут предлагать — просись ко мне. Я там несколько слов сказал, но ты, в общем и целом, просись.

— Куда проситься?

Тут в коридор вышли полковой комиссар и лейтенант Горобцов, и Величко с Колей вскочили. Коля начал было: «По вашему приказанию...» — но комиссар не дослушал:

— Идем, товарищ Плужников, генерал ждет. Вы свободны, товарищи командиры.

К начальнику училища они прошли не через приемную, где сидел дежурный, а через пустую комнату. В глубине этой комнаты была дверь, в которую комиссар вышел, оставив озадаченного Колю одного.

До сих пор Коля встречался с генералом, когда генерал вручал ему удостоверение и личное оружие, которое так приятно оттягивало бок. Была, правда, еще одна встреча, но Коля о ней вспоминать стеснялся, а генерал навсегда забыл.

Встреча эта состоялась два года назад, когда Коля — еще гражданский, но уже стриженный под машинку — вместе с другими стриженными только-только прибыл с вокзала в училище. Прямо на плацу они сгрузили чемоданы, и усатый старшина (тот самый, которого они порывались отлупить после банкета) приказал всем идти в баню. Все и пошли — еще без строя, гуртом, громко разговаривая и смеясь, — а Коля замешкался, потому что натер ногу и сидел босиком. Пока он напяливал ботинки, все уже скрылись за углом, — Коля вскочил, хотел было кинуться следом, но тут его вдруг окликнули:

— Куда же вы, молодой человек?

Сухонький, небольшого роста генерал сердито смотрел на него.

— Здесь армия, и приказы в ней исполняются беспрекословно. Вам приказано охранять имущество, вот и охраняйте, пока не придет смена или не отменят приказ.

Приказа Коле никто не давал, но Коля уже не сомневался, что приказ этот как бы существовал сам собой. И поэтому, неумело вытянувшись и сдавленно

крикнув: «Есть, товарищ генерал!» — остался при чемоданах.

А ребята, как на грех, куда-то провалились. Потом выяснилось, что после бани они получили курсантское обмундирование, и старшина повел их в портняжную мастерскую, чтобы каждый подогнал одежду по фигуре. Все это заняло уйму времени, а Коля покорно стоял возле никому не нужных вещей. Стоял и чрезвычайно гордился этим, словно охранял склад с боеприпасами. И никто на него не обращал внимания, пока за вещами не пришли двое хмурых курсантов, получивших внеочередные наряды за вчерашнюю самоволку.

— Не пуцу! — закричал Коля. — Не смейте приближаться!..

— Чего? — довольно грубо поинтересовался один из штрафников. — Вот сейчас дам по шее...

— Назад! — воодушевленно заорал Плужников. — Я — часовой! Я приказываю!..

Оружия у него, естественно, не было, но он так вопил, что курсанты на всякий случай решили не связываться. Пошли за старшим по наряду, но Коля и ему не подчинился и потребовал либо смены, либо отмены. А поскольку никакой смены не было и быть не могло, то стали выяснять, кто назначил его на этот пост. Однако Коля в разговоры вступать отказался и шумел до тех пор, пока не явился дежурный по училищу. Красная повязка подействовала, но, сдав пост, Коля не знал, куда идти и что делать. И дежурный тоже не знал, а когда разобрались, баня уже закрылась, и Коле пришлось еще сутки прожить штатским человеком, но зато навлечь на себя мстительный гнев старшины...

И вот сегодня предстояло в третий раз встретиться с генералом. Коля желал этого и отчаянно трусил, потому что верил в таинственные слухи об участии генерала в испанских событиях. А поверив, не мог не бояться глаз, совсем еще недавно видевших настоящих фашистов и настоящие бои.

Наконец-то приоткрылась дверь, и комиссар помаанил его пальцем. Коля поспешно одернул гимнастерку, облизнул пересохшие вдруг губы и шагнул за глухие портьеры.

Вход был напротив официального, и Коля оказался за сутулой генеральской спиной. Это несколько смутило его, и доклад он прокричал не столь отчетливо, как

надеялся. Генерал выслушал и указал на стул перед столом. Коля сел, положив руки на колени и неестественно выпрямившись. Генерал внимательно поглядел на него, надел очки (Коля чрезвычайно расстроился, увидев эти очки!..) и стал читать какие-то листки, подшитые в красную папку,— Коля еще не знал, что именно так выглядит его, лейтенанта Плужникова, «личное дело».

— Все пятерки — и одна тройка? — удивился генерал, — Отчего же тройка?

— Тройка по матобеспечению, — сказал Коля, грусто, как девушка, покраснев. — Я пересдам, товарищ генерал.

— Нет, товарищ лейтенант, поздно уже, — усмехнулся генерал.

— Отличные характеристики со стороны комсомола и со стороны товарищей, — негромко сказал комиссар.

— Угу, — подтвердил генерал, снова погружаясь в чтение.

Комиссар отошел к открытому окну, закурил и улыбнулся Коле, как старому знакомому. Коля в ответ вежливо шевельнул губами и вновь напряженно уставился в генеральскую переносицу.

— А вы, оказывается, отлично стреляете? — спросил генерал. — Призовой, можно сказать, стрелок.

— Честь училища защищал, — подтвердил комиссар.

— Прекрасно. — Генерал закрыл красную папку, отодвинул ее и снял очки. — У нас есть к вам предложение, товарищ лейтенант.

Коля с готовностью подался вперед, не проронив ни слова. После должности уполномоченного по портянкам он уже не надеялся на разведку.

— Мы предлагаем вам остаться при училище командиром учебного взвода, — сказал генерал. — Должность ответственная. Вы какого года?

— Я родился двенадцатого апреля тысяча девятьсот двадцать второго года! — отбарабанил Коля.

Он сказал машинально, потому что лихорадочно соображал, как поступить. Конечно, предлагаемая должность была для вчерашнего выпускника чрезвычайно почетной, но Коля не мог вот так, вдруг вскочить и заорать: «С удовольствием, товарищ генерал!» Не мог потому, что командир — он был твердо убежден

в этом — становится настоящим командиром, только послужив в войсках, похлебав с бойцами из одного котелка, научившись командовать ими. А он хотел стать таким командиром и поэтому пошел в общевойсковое училище, когда все бредили авиацией или, на крайний случай, танками.

— Через три года вы будете иметь право поступать в академию, — продолжал генерал. — А судя по всему, вам следует учиться дальше.

— Мы даже предоставим вам право выбора, — улыбнулся комиссар. — Ну, в чью роту хочешь: к Горбцову или к Величко?

— Горбцов ему, наверно, надоел, — усмехнулся генерал.

Коля хотел сказать, что Горбцов совсем ему не надоел, что он отличный командир, но все это ни к чему, потому что он, Николай Плужников, оставаться в училище не собирается. Ему нужна часть, бойцы, потная лямка взводного — все то, что называется коротким словом «служба». Так он хотел сказать, но слова запутались в голове, и Коля вдруг опять начал краснеть.

— Можете закурить, товарищ лейтенант, — сказал генерал, пряча улыбку. — Покурите, обдумайте предложение...

— Не выйдет, — вздохнул полковой комиссар. — Не курит он, вот незадача.

— Не курю, — подтвердил Коля и осторожно прокашлялся. — Товарищ генерал, разрешите?

— Слушаю, слушаю.

— Товарищ генерал, я благодарю вас, конечно, и большое спасибо за доверие. Я понимаю, что это большая честь для меня, но все-таки разрешите отказаться, товарищ генерал.

— Почему? — Полковой комиссар нахмурился, шагнул от окна. — Что за новости, Плужников?

Генерал молча смотрел на него. Смотрел с явным интересом, и Коля приободрился:

— Я считаю, что каждый командир должен сначала послужить в войсках, товарищ генерал. Так нам говорили в училище, и сам товарищ полковой комиссар на торжественном вечере тоже говорил, что только в войсковой части можно стать настоящим командиром.

Комиссар растерянно кашлянул и вернулся к окну. Генерал по-прежнему смотрел на Колю.

— И поэтому — большое вам, конечно, спасибо,

товарищ генерал,— поэтому я очень вас прошу: пожалуйста, направьте меня в часть. В любую часть и на любую должность.

Коля замолчал, и в кабинете возникла пауза. Однако ни генерал, ни комиссар не замечали ее, но Коля чувствовал, как она тянется, и очень смущался.

— Я, конечно, понимаю, товарищ генерал, что...

— А ведь он молодчага, комиссар,— вдруг весело сказал начальник.— Молодчага ты, лейтенант, ей-богу, молодчага!

А комиссар неожиданно рассмеялся и крепко хлопнул Колю по плечу:

— Спасибо за память, Плужников!

И все трое заулыбались так, будто нашли выход из не очень удобного положения.

— Значит, в часть?

— В часть, товарищ генерал.

— Не передумаешь? — Начальник вдруг перешел на «ты» и обращения этого уже не менял.

— Нет.

— И все равно, куда пошлешь? — спросил комиссар.— А как же мать, сестренка?.. Отца у него нет, товарищ генерал.

— Знаю.— Генерал скрыл улыбку, смотрел серьезно, барабанил пальцами по красной папке.— Особый Западный устроит, лейтенант?

Коля зарозовел: о службе в особых округах мечтал, как о невысказанной удаче.

— Командиром взвода согласен?

— Товарищ генерал!..— Коля вскочил и сразу сел, вспомнив о дисциплине.— Большое, большое спасибо, товарищ генерал!..

— Но с одним условием,— очень серьезно сказал генерал.— Даю тебе, лейтенант, год войсковой практики. А ровно через год я тебя назад затребую, в училище, на должность командира учебного взвода. Согласен?

— Согласен, товарищ генерал. Если прикажете...

— Прикажем, прикажем! — засмеялся комиссар.— Нам такие некурящие страсть как нужны.

— Только есть тут одна неприятность, лейтенант: отпуска у тебя не получается. Максимум в воскресенье ты должен быть в части.

— Да, не придется тебе у мамы в Москве погостить,— улыбнулся комиссар.— Она где там живет?

— На Остоженке... То есть теперь это называется Метростроевская.

— На Остоженке...— вздохнул генерал и, встав, протянул Коле руку: — Ну, счастливо служить, лейтенант, Через год жду, помни!

— Спасибо, товарищ генерал. До свидания! — прокричал Коля и строевым шагом вышел из кабинета.

В те времена с билетами на поезд было сложно, но комиссар, провожая Колю через таинственную комнату, пообещал билет этот раздобыть. Весь день Коля сдавал дела, бегал с обходным листком, получал в строевом отделе документы. Там его ждала еще одна приятная неожиданность: начальник училища приказом объявлял ему благодарность за выполнение особого задания. А вечером дежурный вручил билет, и Коля Плужников, аккуратно распрощавшись со всеми, отбыл к месту новой службы через город Москву, имея в запасе три дня — до воскресенья...

## 2

В Москву поезд прибывал утром. До Кропоткинской Коля доехал на метро — самом красивом метро в мире; он всегда помнил об этом и испытывал невероятное чувство гордости, спускаясь под землю. На станции «Дворец Советов» он вышел; напротив поднимался глухой забор, за которым что-то стучало, шипело и грохало. И на этот забор Коля тоже смотрел с огромной гордостью, потому что за ним закладывался фундамент самого высокого здания в мире — Дворца Советов с гигантской статуей Ленина наверху.

Возле дома, откуда он два года назад ушел в училище, Коля остановился. Дом этот — самый обыкновенный многоквартирный московский дом со сводчатыми воротами, глухим двором и множеством кошек, — дом этот был совсем по-особому дорог ему. Здесь он знал каждую лестницу, каждый угол и каждый кирпич в каждом углу. Это был его дом, и если понятие «родина» ощущалось как нечто грандиозное, то дом был попросту самым родным местом на всей земле.

Коля стоял возле дома, улыбался и думал, что там, во дворе на солнечной стороне, наверняка сидит Матвеевна, вяжет бесконечный чулок и заговаривает со



всеми, кто проходит мимо. Он представил, как она остановит его и спросит, куда он идет, чей он и откуда. Он почему-то был уверен, что Матвеевна ни за что его не узнает, и заранее радовался.

И тут из ворот вышли две девушки. На той, которая была чуть выше, платье было с короткими рукавчиками, но вся разница между девушками на этом и кончалась: они носили одинаковые прически, одинаковые белые носочки и белые прорезиненные туфли. Маленькая мельком глянула на затянутого до невозможности лейтенанта с чемоданом, свернула вслед за подругой, но вдруг замедлила шаг и еще раз оглянулась.

— Вера? — шепотом спросил Коля. — Верка, чертенок, это ты?..

Визг был слышен у Манежа. Сестра с разбега бросилась на шею, как в детстве подогнув колени, и он едва устоял: она стала довольно-таки тяжеленькой, эта его сестренка...

— Коля! Колечка! Колька!..

— Какая же ты большая стала, Вера.

— Шестнадцать лет! — с гордостью сказала она. —

А ты думал, ты один растешь, да?.. Ой, да ты уже лейтенант! Валюшка, поздравь товарища лейтенанта.

Высокая, улыбаясь, шагнула навстречу:

— Здравствуй, Коля.

Он уткнулся взглядом в обтянутую ситцем грудь. Он отлично помнил двух худущих девчонок, голенастых, как кузнечики. И поспешно отвел глаза:

— Ну, девочки, вас не узнать...

— Ой, нам в школу! — вздохнула Вера. — Сегодня последнее комсомольское, и не пойти просто невозможно.

— Вечером встретимся, — сказала Валя.

Она беззастенчиво разглядывала его удивительно спокойными глазами. От этого Коля смущался и сердился, потому что был старше и по всем законам смущаться должны были девчонки.

— Вечером я уезжаю.

— Куда? — удивилась Вера.

— К новому месту службы, — не без важности сказал он. — Я тут проездом.

— Значит, в обед. — Валя опять поймала его взгляд и улыбнулась. — Я патефон принесу.

— Знаешь, какие у Валушки пластиночки? Польские, закачаешься!.. «Вшистка мни едно, вшистка мни едно...» — пропела Вера. — Ну, мы побежали.

— Мама дома?

— Дома!..

Они действительно побежали — налево, к школе, он сам бегал этим путем десять лет. Коля глядел вслед, смотрел, как взлетают волосы, как бьются платья о загорелые икры, и хотел, чтобы девочки оглянулись. И подумал: «Если оглянутся, то...» Он не успел загадать, что тогда будет: высокая вдруг повернулась к нему. Он махнул в ответ и сразу же нагнулся за чемоданом, почувствовав, что начинает краснеть.

«Вот ужас-то, — подумал он с удовольствием. — Ну, чего, спрашивается, мне краснеть?..»

Он прошел темный коридор ворот и посмотрел налево, на солнечную сторону двора, но Матвеевны там не было. Это неприятно удивило его, но тут Коля оказался перед собственным подъездом и на одном дыхании влетел на пятый этаж.

Мама совсем не изменилась, и даже халат на ней был тот же, в горошек. Увидев его, она вдруг заплакала:

— Боже, как ты похож на отца!..

Отца Коля помнил смутно: в двадцать шестом тот уехал в Среднюю Азию и — не вернулся. Маму вызывали в Главное политуправление и там рассказали, что комиссар Плужников был убит в схватке с басмачами у кишлака Коз Кудук.

Мама кормила его завтраком и непрерывно говорила. Коля поддакивал, но слушал рассеянно: он все время думал об этой вдруг выросшей Вальке из сорок девятой квартиры и очень хотел, чтобы мама заговорила о ней. Но маму интересовали другие вопросы:

— ...А я им говорю: «Боже мой, боже мой, неужели дети должны целый день слушать это громкое радио? У них ведь маленькие уши, и вообще это непедagogично». Мне, конечно, отказали, потому что наряд уже был подписан, и поставили громкоговоритель. Но я пошла в райком и все объяснила...

Мама заведовала детским садом и постоянно пребывала в каких-то странных хлопотах. За два года Коля порядком отвык от всего и теперь бы слушал с удовольствием, но в голове все время вертелась эта Валя-Валентина...

— Да, мама, я Верочку у ворот встретил,— певно-пад сказал он, прерывая мать на самом волнующем месте.— Она с этой была... Ну, как ее?.. С Валею...

— Да, они в школу пошли. Хочешь еще кофе?

— Нет, мам, спасибо.— Коля прошелся по комнате, поскрипел в свое удовольствие. Мама опять начала вспоминать что-то детсадовское, но он перебил: — А что, Валя эта все еще учится, да?

— Да ты что, Колюшка, Вали не помнишь? Она же не вылезала от нас.— Мама вдруг рассмеялась.— Верочка говорила, что Вальюша была в тебя влюблена.

— Глупости это! — сердито закричал Коля.— Глупости!..

— Конечно, глупости,— неожиданно легко согласилась мама.— Тогда она еще девчонкой была, а теперь — настоящая красавица. Наша Верочка тоже хороша, но Валя — просто красавица.

— Ну уж и красавица,— ворчливо сказал он, с трудом скрывая вдруг охватившую его радость.— Обыкновенная девчонка, каких тысячи в нашей стране... Лучше скажи, как Матвеевна себя чувствует? Я вхожу во двор...

— Умерла наша Матвеевна,— вздохнула мама.

— Как так — умерла? — не понял он.

— Люди умирают, Коля,— опять вздохнула мама.— Ты счастливый, ты можешь еще не думать об этом.

И Коля подумал, что он и вправду счастливый, раз встретил возле ворот такую удивительную девушку, а из разговора выяснил, что девушка эта была в него влюблена...

После завтрака Коля отправился на Белорусский вокзал. Нужный ему поезд отходил в семь вечера, что было совершенно невозможно. Коля походил по вокзалу, повздыхал и не очень решительно постучался к дежурному помощнику военного коменданта.

— Попозже? — Дежурный помощник тоже был молод и несolidно подмигивал.— Что, лейтенант, сердечные дела?

— Нет,— опустив голову, сказал Коля.— Мама у меня больна, оказывается. Очень...— Тут он испугался, что может накликать действительную болезнь, и поспешно поправился: — Нет, не очень, не очень...

— Понятно,— опять подмигнул дежурный.— Сейчас поглядим насчет мамы.

Он полистал книгу, потом стал звонить по телефонам, разговаривая вроде бы по другим поводам. Коля терпеливо ждал, рассматривая плакаты о перевозках. Наконец дежурный положил последнюю трубку:

— С пересадкой согласен? Отправление в три минуты первого, поезд Москва — Минск. В Минске — пересадка.

— Согласен, — сказал Коля. — Большое вам спасибо, товарищ старший лейтенант.

Получив билет, он тут же на улице Горького зашел в гастроном и, хмурясь, долго разглядывал вина. Наконец купил шампанского, потому что пил его на выпускном банкете, вишневой наливки, потому что такую наливку делала мама, и мадеру, потому что читал о ней в романе про аристократов.

— Ты сошел с ума! — сердито сказала мама. — Это что же — на каждого по бутылке?

— А!.. — Коля беспечно махнул рукой. — Гулять так гулять!

Встреча удалась на славу. Началась она с торжественного обеда, ради которого мама одолжила у соседней еще одну керосинку. Вера вертелась на кухне, но часто врывалась с очередным вопросом:

— А из пулемета ты стрелял?

— Стрелял.

— Из «максима»?

— Из «максима». И из других систем тоже.

— Вот здорово!.. — восхищенно ахала Вера.

Коля озабоченно ходил по комнате. Он подшил свежий подворотничок, надраил сапоги и теперь хрустел всеми ремнями. От волнения он совсем не хотел есть, а Валя все не шла и не шла.

— А комнату тебе дадут?

— Дадут, дадут.

— Отдельную?

— Конечно. — Он смотрел на Верочку тнисходительно. — Я ведь строевой командир.

— Мы к тебе приедем, — таинственно зашептала она. — Маму отправим с детским садом на дачу и приедем к тебе...

— Кто это — мы?

Он все понял, и сердце сладко колыхнулось.

— Так кто же такие — мы?

— Неужели не понимаешь? Ну, мы — это мы; я и Валюшка.

Коля покашлял, чтобы спрятать некстати выплывшую улыбку, и солидно сказал:

— Пропуск, вероятно, потребуется. Заранее напиши, чтобы с командованием договориться...

— Ой, у меня картошка переварилась!..

Крутнулась на каблуке, раздула куполом платье, хлопнула дверью. Коля только покровительственно усмехнулся. А когда закрылась дверь, совершил вдруг немыслимый прыжок и в полном восторге захрустел ремнями: значит, они сегодня говорили о поездке, значит, уже планировали ее, значит, хотели встретиться с ним, значит... Но что должно было следовать за этим последним «значит», Коля не произносил даже про себя.

А потом пришла Валя. К несчастью, мама и Вера все еще возились с обедом, разговор начать было никому, и Коля холодел при мысли, что Валя имеет все основания немедленно отказаться от летней поездки.

— Ты никак не можешь задержаться в Москве?

Коля отрицательно покачал головой.

— Неужели так срочно?

Коля пожал плечами.

— На границе беспокойно, да? — понизив голос, спросила она.

Коля осторожно кивнул, сначала, правда, подумав насчет секретности.

— Папа говорит, что Гитлер стягивает вокруг нас кольцо.

— У нас с Германией договор о ненападении, — хрипло сказал Коля, потому что кивать головой или пожимать плечами было уже невозможно. — Слухи о концентрации немецких войск у наших границ ни на чем не обоснованы и являются результатом происков англо-французских империалистов.

— Я читала газеты, — с легким неудовольствием сказала Валя. — А папа говорит, что положение очень серьезное.

Валин папа был ответработником, но Коля подозревал, что в душе он немножко паникер. И сказал:

— Надо опасаться провокаций.

— Но ведь фашизм — это же ужасно! Ты видел фильм «Профессор Мамлок»?

— Видел: там Олег Жаков играет. Фашизм — это, конечно, ужасно, а империализм, по-твоему, лучше?

— Как ты думаешь, будет война?

— Конечно,— уверенно сказал он.— Зря, что ли, открыли столько училищ с ускоренной программой? Но это будет быстрая война.

— Ты в этом уверен?

— Уверен. Во-первых, надо учесть пролетариат поработенных фашизмом и империализмом стран. Во-вторых, пролетариат самой Германии, задавленный Гитлером. В-третьих, международную солидарность трудящихся всего мира. Но самое главное — это решающая мощь нашей Красной Армии. На вражеской территории мы нанесем врагу сокрушительный удар.

— А Финляндия? — вдруг тихо спросила она.

— А что — Финляндия? — Он с трудом скрыл недовольствие: это все паникер папочка ее настраивает.— В Финляндии была глубоко эшелонированная линия обороны, которую наши войска взломали быстро и решительно. Не понимаю, какие тут могут быть сомнения.

— Если ты считаешь, что сомнений не может быть, значит, их просто нет,— улыбнулась Валя.— Хочешь посмотреть, какие пластинки мне привез папа из Белостока?

Пластинки у Вали были замечательные: польские фокстроты, «Черные глаза», и «Очи черные», и даже танго из «Петера» в исполнении самой Франчески Гааль.

— Говорят, она ослепла! — широко распахнув круглые глаза, говорила Верочка.— Вышла сниматься, посмотрела случайно в самый главный прожектор и сразу ослепла.

Валя скептически улыбалась. Коля тоже сомневался в достоверности этой истории, но в нее почему-то очень хотелось верить.

К этому времени они уже выпили шампанское и наливку, а мадеру только попробовали и забраковали: она оказалась несладкой, и было непонятно, как мог заправлять виконт де Пресси, макая в нее бисквиты.

— Киноартистом быть очень опасно, очень! — продолжала Вера.— Мало того, что они скачут на бешеных лошадях и прыгают с поездов,— на них очень вредно действует свет. Исключительно вредно!

Верочка собирала фотографии артистов кино. А Коля опять сомневался и опять хотел во все верить. Голоса у него слегка кружилась, рядом сидела Валя, и

он никак не мог смахнуть с лица улыбку, хоть и подозревал, что она глуповата.

Валя тоже улыбалась — снисходительно, как взрослая. Она была всего на полгода старше Веры, но уже успела перешагнуть через ту черту, за которой вчерашние девочки превращаются в загадочно молчаливых девушек.

— Верочка хочет быть киноартисткой, — сказала мама.

— Ну и что? — с вызовом выкрикнула Вера и даже осторожно стукнула пухлым кулачком по столу. — Это запрещено, да? Наоборот, это прекрасно, и возле сельскохозяйственной выставки есть такой специальный институт...

— Ну, хорошо, хорошо, — миролюбиво соглашалась мама. — Закончишь десятый класс на пятерки — иди, куда хочешь. Было бы желание.

— И талант, — сказала Валя. — Знаешь, какие там экзамены? Выберут какого-нибудь поступающего десятиклассника и заставят тебя с ним целоваться.

— Ну и пусть! Пусть! — весело кричала красная от вина и споров Верочка. — Пусть заставляют! А я так им сыграю, так сыграю, что они все поверят, будто я влюблена. Вот!

— А я бы ни за что не стала целоваться без любви. — Валя всегда говорила негромко, но так, что ее все слушали. — По-моему, это унижительно — целоваться без любви.

— У Чернышевского в «Что делать?»... — начал было Коля.

— Надо же различать! — закричала вдруг Верочка. — Надо же различать, где жизнь, а где — искусство.

— Я не про искусство, я — про экзамены. Какое же там искусство?

— А смелость? — задиристо наступала Верочка. — Смелость разве не нужна артисту?

— Господи, какая уж тут смелость, — вздохнула мама и начала убирать со стола. — Девочки, помогите мне, а потом будем танцевать.

Все стали убирать, суетиться, и Коля остался один. Он отошел к окну и сел на диван — тот самый скрипучий диван, на котором спал всю школьную жизнь. Ему очень хотелось вместе со всеми убирать со стола: толкаться, хохотать, хвататься за одну и ту же вилку, но

он подавил это желание, ибо куда важнее было невозможно сидеть на диване. К тому же из угла можно было незаметно наблюдать за Вале́й, ловить ее улыбки, взмахи ресниц, редкие взгляды. И он ловил их, а сердце стучало, как паровой молот возле станции метро «Дворец Советов».

В девятнадцать лет Коля ни разу не целовался. Он регулярно ходил в увольнения, смотрел кино, бывал в театре и ел мороженое, если оставались деньги. А вот танцевал плохо, танцплощадки не посещал и поэтому за два года учебы так ни с кем и не познакомился. Кроме библиотекарши Зои.

Но сегодня Коля был рад, что ни с кем не познакомился. То, что было причиной тайных мучений, обернулось вдруг иной стороной, и сейчас, сидя на диване, он уже точно знал, что не познакомился только потому, что на свете существовала Валя. Ради такой девушки стоило страдать, и страдания эти давали ему право гордо и прямо встречать ее осторожный взгляд. И Коля был очень доволен собой.

Потом они опять завели патефон, но уже не для того, чтобы слушать, а чтобы танцевать. И Коля, краснея и сбиваясь, танцевал с Вале́й, с Верочкой и опять — с Вале́й.

— «Вши́стко мни едно, вши́стко мни е́дно...» — напевала Верочка, покорно танцуя со стулом.

Коля танцевал молча, потому что никак не мог найти подходящей темы для разговора. А Вале́й никакой разговор и не требовался, но Коля этого не понимал и чуточку мучился.

— Вообще-то мне должны дать комнату, — покашляв для уверенности, сказал он. — Но если не дадут, я у кого-нибудь сниму.

Валя молчала. Коля старался, чтобы зазор между ними был как можно больше, и чувствовал, что Валина улыбка совсем не похожа на ту, которой ослепила его Зоя в полутьме аллеи. И поэтому, понизив голос и покраснев, добавил:

— А пропуск я закажу. Только заранее напишите.

И опять Валя промолчала, но Коля совсем не расстроился. Он знал, что она все слышит и все понимает, и был счастлив, что она молчит.

Теперь Коля знал точно, что это любовь. Та самая, о которой он столько читал и с которой до сих пор так и не встретился. Зоя... Тут он вспомнил о Зое, вспомнил



почти с ужасом, потому что Валя, которая так понимала его, могла каким-то чудом тоже вспомнить про Зою, и тогда Коле осталось бы только застрелиться. И он стал решительно гнать прочь всякие мысли о Зое, а Зоя, нагло потрясая оборками, никак не желала исчезать, и Коля испытывал незнакомое доселе чувство бессильного стыда.

А Валя улыбалась и смотрела мимо него, точно видела там что-то невидимое для всех. И от восхищения Коля делался еще более неуклюжим.

Потом они долго стояли у окна — и мама и Верочка вдруг куда-то исчезли. На самом-то деле они просто мыли на кухне посуду, но сейчас это было все равно, что перебраться на другую планету.

— Папа говорил, что там много аистов. Ты видел когда-нибудь аистов?

— Нет.

— Там они живут прямо на крышах домов. Как ласточки. И никто их не обижает, потому что они приносят счастье. Белые-белые аисты... Ты обязательно должен их увидеть.

— Я увижу, — пообещал он.

— Напиши, какие они. Хорошо?

— Напишу.

— Белые-белые аисты...

Он взял ее за руку, испугался этой дерзости, хотел тотчас же отпустить — и не смог. И боялся, что она отдернет ее или что-нибудь скажет. Но Валя молчала. А когда сказала, не отдернула руки:

— Если бы ты ехал на юг, на север или даже на восток...

— Я счастливый. Мне достался Особый округ. Знаешь, какая это удача?

Она ничего не ответила. Только вздохнула.

— Я буду ждать, — тихо сказал он. — Я очень, очень буду ждать.

Он осторожно погладил ее руку, а потом вдруг быстро прижал к щеке. Ладонь показалась ему прохладной. Очень хотелось спросить, будет ли Валя тосковать, но спросить Коля так и не решился. А потом влетела Верочка, затарахтела с порога что-то про Зою Федорову, и Коля незаметно отпустил Валину руку.

В одиннадцать мама решительно выгнала его на вокзал. Коля наскоро и как-то несерьезно протислся

с нею, потому что девочки уже потащили его чемодан вниз. И мама почему-то вдруг заплакала — тихо, улыбаясь, — а он не замечал ее слез и все рвался поскорее уйти.

— Пиши, сынок. Пожалуйста, пиши аккуратно.

— Ладно, мам. Как приеду, сразу же напишу.

— Не забывай...

Коля в последний раз прикоснулся губами к уже поседевшему виску, скользнул за дверь и через три ступеньки понесся вниз.

Поезд отошел только в половине первого. Коля боялся, что девочки опоздают на метро, но еще больше боялся, что они уйдут, и поэтому все время говорил одно и то же:

— Ну, идите же. Опоздаете.

А они ни за что не хотели уходить. А когда засвистел кондуктор и поезд тронулся, Валя вдруг первая шагнула к нему. Но он так ждал этого и так рванулся навстречу, что они стукнулись носами и смущенно отпрянули друг от друга. А Верочка кричала: «Колька, опоздаешь!..» — и совала ему сверток с мамиными пирожками. Он наскоро чмокнул сестру в щеку, схватил сверток и вскочил на подножку. И все время смотрел, как медленно отплывают назад две девичьи фигурки в легких светлых платьях...

### 3

Коля впервые ехал в дальние страны. До сих пор путешествия ограничивались городом, где находилось училище, но даже двенадцать часов езды не шли ни в какое сравнение с маршрутом, которым двигался он в ту знойную июньскую субботу. И это было так интересно и так важно, что Коля не отходил от окна, а когда уж совсем обессилел и присел на полку, кто-то крикнул:

— Аисты! Смотрите, аисты!..

Все бросились к окнам, но Коля замешкался и аистов не увидел. Впрочем, он не огорчился, потому что если аисты появились, значит, рано или поздно, а он их обязательно увидит. И напишет в Москву, какие они, эти белые-белые аисты...

Это было уже за Негорелым — за старой границей: теперь они ехали по Западной Белоруссии. Поезд часто

останавливался на маленьких станциях, где всегда было много людей. Белые рубахи мешались с черными лапсердаками, соломенные брыли — с касторовыми котелками, темные хустки — с светлыми платьями. Коля выходил на остановках, но от вагона не отрывался, оглушенный звонкой смесью белорусского, еврейского, русского, польского, литовского, украинского и еще бог весть каких языков и наречий.

— Ну кагал! — удивлялся смешливый старший лейтенант, ехавший на соседней полке. — Тут, Коля, часы надо покупать. Ребята говорили, что часов здесь — вагон, и все дешевые.

Но и старший лейтенант тоже далеко не отлучался: нырял в толпу, что-то выяснял, размахивая руками, и тут же возвращался:

— Тут, брат, такая Европа, что враз ухайдакают.

— Агентура, — соглашался Коля.

— А хрен их знает, — аполитично говорил старший лейтенант и, передохнув, снова кидался в гущу. — Часы! Тик-так! Мозер!..

Мамины пирожки были съедены со старшим лейтенантом — в ответ он до отвала накормил Колю украинской домашней колбасой. Но разговор у них не клеился, потому что старший лейтенант склонен был обсуждать только одну тему:

— А талия у нее, Коля, ну, рюмочка!..

Коля начинал ерзать. Старший лейтенант, закатывая глаза, упивался воспоминаниями. К счастью, в Барановичах он сошел, прокричав на прощанье:

— Насчет часов не теряйся, лейтенант! Часы — это вещь!..

Вместе со старшим лейтенантом исчезла и домашняя колбаса, а мамыны пирожки уже были уничтожены. Поезд, как на грех, долго стоял в Барановичах, и Коля вместо аистов стал подумывать о хорошем обеде. Наконец мимо тяжко прогрохотал бесконечный товарный состав.

— В Германию, — сказал пожилой капитан. — Немцам день и ночь хлебушек гоним и гоним. Это как понимать прикажете?

— Не знаю, — растерялся Коля. — У нас ведь договор с Германией.

— Совершенно верно, — тотчас же согласился капитан. — Вы абсолютно правильно размышляете, товарищ лейтенант.

Вслед за товарняком потянулись и они, и дальше ехали быстрее. Стоянки сократились, проводники не советовали выходить из вагонов, и на всем пути Коля запомнил только одну станцию: Жабинка. Следующей был Брест.

Вокзал в Бресте оказался деревянным, а народу в нем толпилось столько, что Коля растерялся. Проще всего было, конечно, спросить, как найти нужную ему часть, но из соображений секретности Коля доверял только лицам официальным и поэтому битый час простоял в очереди к дежурному помощнику коменданта.

— В крепость,— сказал помощник, глянув на комендантовское предписание.— По Каштановой прямо и упрешься.

Коля вылез из очереди и ощутил вдруг такой яростный голод, что вместо Каштановой улицы стал разыскивать столовую. Но столовых не было, и он, потоптавшись, пошел к вокзальному ресторану. И только хотел войти, как дверь распахнулась и вышел коренастый лейтенант:

— Черт жирный, жандармская морда, весь стол один занял. И не попросишь ведь: иностранец!

— Кто?

— Жандарм немецкий, кто же еще! Тут женщины с ребятишками на полу сидят, а он один за столиком пиво жрет. Персона!

— Настоящий жандарм? — поразился Коля.— А можно посмотреть?

Лейтенант неуверенно пожал плечами:

— Попробуй. Стой, куда же ты с чемоданом?

Коля оставил чемодан, одернул гимнастерку, как перед входом в генеральский кабинет, и с замиранием сердца скользнул за тяжелую дверь.

И сразу увидел немца. Настоящего, живого немца в мундире с бляхой, в непривычно высоких, точно из жести сапогах. Он сидел, развалясь на стуле, и самодовольно постукивал ногой. Столик был уставлен пивными бутылками, но жандарм пил не из стакана, а из поллитровой кружки, выливая в нее сразу всю бутылку. На красной роже топорщились жесткие усики, смоченные пивной пеной.

Изю всех сил кося глаза, Коля четыре раза продефелировал мимо немца. Это было совершенно необыкновенное, из ряда вон выходящее событие: в шаге от него сидел человек из того мира, из порабощенной

Гитлером Германии. Коле очень хотелось знать, о чем он думает, попав из фашистской империи в страну социализма, но на лице представителя угнетенного человечества не читалось ничего, кроме тупого самодовольства.

— Насмотрелся? — спросил лейтенант, охранявший Колин чемодан.

— Ногой постукивает, — почему-то шепотом сказал Коля. — А на груди — бляха.

— Фашист, — сказал лейтенант. — Слушай, друг, ты есть хочешь? Ребята сказали, тут недалеко ресторан «Беларусь»: может, поужинаем по-людски? Тебя как зовут-то?

— Коля.

— Тезки, значит. Ну, сдавай чемодан, и айда разлагаться. Там, говорят, скрипач мировой — «Черные глаза» играет, как бог...

В камере хранения тоже оказалась очередь, и Коля поволок чемодан с собой, решив прямо оттуда пройти в крепость. Лейтенант Николай о крепости ничего не знал, так как в Бресте у него была пересадка, но утешил:

— В ресторане наверняка кого-нибудь из наших встретим. Сегодня — суббота.

По узкому пешеходному мостику они пересекли многочисленные железнодорожные пути, занятые составами, и сразу оказались в городе. Три улицы расходились от ступенек мостика, и лейтенанты неуверенно затаптались.

— Ресторан «Беларусь» не знаю, — с сильным акцентом и весьма раздраженно сказал прохожий.

Коля спрашивать не решался, и переговоры вел лейтенант Николай.

— Должны знать: там какой-то скрипач знаменитый.

— Так то же пан Свицкий! — заулыбался прохожий. — О, Рувим Свицкий — великий скрипач. Вы можете иметь свое мнение, но оно неверное. Это так. А ресторан — прямо. Улица Стыцкевича.

Улица Стыцкевича оказалась Комсомольской. В густой зелени прятались маленькие домишки.

— А я Сумское зенитно-артиллерийское закончил, — сказал Николай, когда Коля поведал ему свою историю. — Вот как, смешно получается: оба только что кончили, оба — Николаи...

Он вдруг замолчал: в тишине слышались далекие звуки скрипки. Лейтенанты остановились.

— Мирowo дает! Топаем точно, Коля!

Скрипка слышалась из открытых окон двухэтажного здания с вывеской «Ресторан „Беларусь“». Они поднялись на второй этаж, сдали в крохотной раздевалке головные уборы и чемодан и вошли в небольшой зальчик. Против входа помещалась буфетная стойка, а в левом углу — небольшой оркестр. Скрипач — длиннорукий, странно подмаргивающий — только кончил играть, и переполненный зал шумно аплодировал ему.

— А наших-то тут маловато, — негромко сказал Николай.

Они задержались в дверях, оглушенные аплодисментами и возгласами. Из глубины зала к ним поспешно пробирался полный гражданин в черном лоснящемся пиджаке:

— Прошу панов офицеров пожаловать. Сюда прошу, сюда.

Он ловко провел их мимо скученных столов и разгряченных посетителей. За кафельной печкой оказался свободный столик, и лейтенанты сели, с молодым любопытством оглядывая чуждую им обстановку.

— Почему он нас офицерами называет? — с неудовольствием шипел Коля. — Офицер, да еще — пан! Буржуизмo какое-то...

— Пусть хоть горшком зовет, лишь бы в печь не сывал, — усмехнулся лейтенант Николай. — Здесь, Коля, люди еще темные.

Пока гражданин в черном принимал заказ, Коля с удивлением вслушивался в говор зала, стараясь уловить хоть одну понятную фразу. Но говорили здесь на языках неизвестных, и это очень смущало его. Он хотел было поделиться с товарищем, как вдруг за спиной слышался странно звучащий, но несомненно русский разговор:

— Я извиняюсь, я очень извиняюсь, но я не могу себе представить, чтобы такие штаны ходили по улицам.

— Вот он выполняет на сто пятьдесят процентов таких штанов и получил за это почетное знамя.

Коля обернулся — за соседним столиком сидели трое пожилых мужчин. Один из них перехватил Колин взгляд и улыбнулся:

— Здравствуйте, товарищ командир. Мы обсуждаем производственный план.

— Здравствуйте,— смутившись, сказал Коля.

— Вы из России? — спросил приветливый сосед и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Ну, я понимаю: мода. Мода — это бедствие, это кошмар, это землетрясение, но это естественно, правда? Но шить сто пар плохих штанов вместо полсотни хороших и за это получать почетное знамя — я извиняюсь. Я очень извиняюсь. Вы согласны, молодой товарищ командир?

— Да,— сказал Коля.— То есть, конечно, только...

— А скажите, пожалуйста,— спросил второй,— что у вас говорят про германцев?

— Про германцев? Ничего. То есть у нас с Германией мир...

— Да,— вздохнули за соседним столом.— То, что германцы придут в Варшаву, было ясно каждому еврей, если он не круглый идиот. Но они не придут в Москву.

— Что вы, что вы!..

За соседним столом все враз заговорили на непонятном языке. Коля вежливо послушал, ничего не понял и отвернулся.

— По-русски понимают,— шепотом сообщил он.

— Я тут водочки сообразил,— сказал лейтенант Николай.— Выпьем, Коля, за встречу?

Коля хотел сказать, что не пьет, но как-то так получилось, что вспомнил он о другой встрече. И рассказал лейтенанту Николаю про Валю и Верочку, но больше, конечно, про Валю.

— А что ты думаешь, может, и приедет,— сказал Николай.— Только сюда пропуск нужен.

— Я попрошу.

— Разрешите присоединиться?

Возле стола оказался рослый лейтенант-танкист. Пожал руки, представился:

— Андрей. В военкомат прибыл за приписниками, да в пути застрял. Придется до понедельника ждать...

Он говорил что-то еще, но длиннорукий поднял скрипку, и маленький зальчик замер.

Коля не знал, что исполнял нескладный, длиннорукий, странно подмаргивающий человек. Он не думал, хорошо это или плохо, а просто слушал, чувствуя, как подкатывает к горлу комок. Он бы не стеснялся сейчас слез, но скрипач останавливался как раз там, где вот-

вот должны были хлынуть эти слезы, и Коля только осторожно вздыхал и улыбался.

— Вам нравится? — тихо спросил пожилой с соседнего столика.

— Очень!

— Это наш Рувимчик. Рувим Свицкий — лучшего скрипача нет и никогда не было в городе Бресте. Если Рувим играет на свадьбе, то невеста обязательно будет счастливой. А если он играет на похоронах...

Коля так и не узнал, что происходит, когда Свицкий играет на похоронах, потому что на них зашикали. Пожилой покивал, послушал, а потом зашептал Коле в самое ухо:

— Пожалуйста, запомните это имя: Рувим Свицкий. Самоучка Рувим Свицкий с золотыми пальцами, золотыми ушами и золотым сердцем...

Коля долго хлопал. Принесли закуску, лейтенант Николай наполнил рюмки, сказал, понизив голос:

— Музыка — это хорошо. Но ты сюда послушай.

Коля вопросительно посмотрел на подсевшего к ним танкиста.

— Вчера летчикам отпуска отменили, — тихо сказал Андрей. — А пограничники говорят, что каждую ночь за Бугом моторы ревут. Танки, тягачи.

— Веселый разговор. — Николай поднял рюмку: — За встречу.

Они выпили. Коля поспешно начал закусывать, спросил с набитым ртом:

— Возможны провокации?

— Месяц назад с той стороны архиепископ перешел, — тихо продолжал Андрей. — Говорит, немцы готовят войну.

— Но ведь ТАСС официально заявил...

— Тихо, Коля, тихо, — улыбнулся Николай. — ТАСС — в Москве. А здесь — Брест.

Подали ужин, и они накинулись на него, позабыв про немцев и ТАСС, про границу и архиепископа, которому Коля никак не мог верить, потому что архиепископ был все-таки служителем культа.

Потом опять играл скрипач. Коля переставал жевать, слушал, неистово хлопал в ладоши. Соседи слушали тоже, но больше шепотом толковали о слухах, о странных шумах по ночам, о частых нарушениях границы немецкими летчиками.

— А сбивать нельзя: приказ. Вот и вертимся...



— Как играет!.. — восторгался Коля.

— Да, играет классно. Что-то зреет, ребята. А что? Вопрос.

— Ничего, ответ тоже будет, — улыбнулся Николай и поднял рюмку: — За ответ на любой вопрос, товарищи лейтенанты!..

Стемнело, в зале зажгли свет. Накал был неровным, лампочки слабо мигали, и по стенам метались тени. Лейтенанты съели все, что было заказано, и теперь Николай расплачивался с гражданином в черном:

— Сегодня, ребята, угощаю я.

— Ты в крепость нацелился? — спросил Андрей. — Не советую, Коля: темно и далеко. Пошли лучше со мной в военкомат: там переночуешь.

— Зачем же в военкомат? — сказал лейтенант Николай. — Топаем на вокзал, Коля.

— Нет-нет. Я сегодняшним числом в часть должен прибыть.

— Зря, лейтенант, — вздохнул Андрей. — С чемоданом, ночью, через весь город...

— У меня оружие, — сказал Коля.

Вероятно, они уговорили бы его: Коля уже и сам начал колебаться, несмотря на оружие. Вероятно, уговорили бы, и тогда Коля ночевал бы либо на вокзале, либо в военкомате, но тут пожилой с соседнего столика подошел к ним:

— Множество извинений, товарищи красные командиры, множество извинений. Этому молодому человеку очень понравился наш Рувим Свицкий. Рувим сейчас ужинает, но я имел с ним разговор, и он сказал, что хочет сыграть специально для вас, товарищ молодой командир...

И Коля никуда не пошел. Коля остался ждать, когда скрипач сыграет что-то специально для него. А лейтенанты ушли, потому что им еще надо было устроиться с ночлегом. Они крепко пожали ему руку, улыбнулись на прощание и шагнули в ночь: Андрей — в военкомат на улицу Дзержинского, а лейтенант Николай — на переполненный Брестский вокзал. Шагнули в самую короткую ночь, как в вечность.

Народу в ресторане становилось все меньше, в распахнутые окна вливался густой, безветренный вечер — одноэтажный Брест отходил ко сну. Обезлюдели под линейку застроенные улицы, гасли огни в затененных сиренью и жасмином окнах, и только редкие дрожка

чи прогромыхивали колясками по гулким мостовым. Тихий город медленно погружался в тихую ночь — самую тихую и самую короткую ночь в году...

У Коли немного кружилась голова, и все вокруг казалось прекрасным: и затухающий ресторанный шум, и теплый сумрак, вползавший в окна, и таинственный город за этими окнами, и ожидание нескладного скрипача, который собирался играть специально для него, лейтенанта Плужникова. Было, правда, одно обстоятельство, несколько осложнявшее ожидание: Коля никак не мог понять, должен ли он платить деньги за то, что музыкант будет играть, но, поразмыслив, решил, что за добрые дела денег не платят.

— Здравствуйте, товарищ командир.

Скрипач подошел бесшумно, и Коля вскочил, смутившись и забормотав что-то необязательное.

— Исаак сказал, что вы из России и что вам понравилась моя скрипка.

Длиннорукий держал в руке смычок и скрипку и странно подмаргивал. Вглядевшись, Коля понял причину: левый глаз Свицкого был подернут белесой пленкой.

— Я знаю, что нравится русским командирам. — Скрипач цепко зажал инструмент острым подбородком и поднял смычок.

И скрипка запела, затосковала, и зал снова замер, боясь неосторожным звуком оскорбить нескладного музыканта с бельмом на глазу. А Коля стоял рядом, смотрел, как дрожат на грифе тонкие пальцы, и опять хотел плакать и опять не мог, потому что Свицкий не позволял появляться этим слезам. И Коля только осторожно вздыхал и улыбался.

Свицкий сыграл «Черные глаза», и «Очи черные», и еще две мелодии, которые Коля слышал впервые. Последняя была особенно грозной и торжественной.

— Мендельсон, — сказал Свицкий. — Вы хорошо слушаете. Спасибо.

— У меня нет слов...

— Коли ласка. Вы не в крепость?

— Да, — запнувшись, признался Коля. — Каштановая улица...

— Надо брать дрожкача. — Свицкий улыбнулся: — По-вашему, извозчик. Если хотите, могу проводить: моя племянница тоже едет в крепость.

Свицкий уложил скрипку, а Коля взял чемодан в

пустом гардеробе, и они вышли. На улицах никого не было.

— Прощу налево, — сказал Свицкий, когда они дошли до угла. — Миррочка — это моя племянница — уже год работает поваром в столовой для командиров. У нее — талант, настоящий талант. Она будет изумительной хозяйкой, наша Миррочка...

Внезапно погас свет — редкие фонари, окна в домах, отсветы железнодорожной станции. Весь город погрузился во мрак.

— Очень странно, — сказал Свицкий. — Что мы имеем? Кажется, двенадцать?

— Может быть, авария?

— Очень странно, — повторил Свицкий. — Знаете, я вам скажу прямо: как пришли восточники... То есть советские, ваши. Да, с той поры, как вы пришли, мы отвыкли от темноты. Мы отвыкли от темноты и от безработицы тоже. Это удивительно, что в нашем городе нет больше безработных, а ведь их нет! И люди стали праздновать свадьбы, и всем вдруг понадобился Рувим Свицкий!.. — Он тихо посмеялся. — Это прекрасно, когда у музыкантов много работы, если, конечно, они играют не на похоронах. А музыкантов теперь у нас будет достаточно, потому что в Бресте открыли и музыкальную школу и музыкальное училище. И это очень и очень правильно. Говорят, что мы, евреи, музыкальный народ. Да, мы — такой народ; станец музыкальным, если сотни лет прислушиваешься, по какой улице топают солдатские сапоги и не ваша ли дочь зовет на помощь в соседнем переулке. Нет-нет, я не хочу гневить бога: кажется, нам повезло. Кажется, дождинки действительно пошли по четвергам, и евреи вдруг почувствовали себя людьми. Ах как это прекрасно — чувствовать себя людьми! А еврейские спины никак не хотят разгибаться, а еврейские глаза никак не хотят хохотать — ужасно! Ужасно, когда маленькие дети рождаются с печальными глазами. Помните, я играл вам Мендельсона? Он говорит как раз об этом — о детских глазах, в которых всегда печаль. Это нельзя объяснить словами, это можно рассказать только скрипкой...

Вспыхнули уличные фонари, отсветы станции, редкие окна в домах.

— Наверно, была авария, — сказал Коля. — А сейчас починили.

— А вот и пан Глузник. Добрый вечер, пан Глузник! Как заработок?

— Какой заработок в городе Бресте, пан Свицкий? В этом городе все берегут свое здоровье и ходят только пешком...

Мужчины заговорили на неизвестном языке, а Коля оказался возле извозчичьей пролетки. В пролетке кто-то сидел, но свет далекого фонаря сглаживал очертания, и Коля не мог понять, кто же это сидит.

— Миррочка, деточка, познакомься с товарищем командиром.

Смутная фигура в пролетке неуклюже шевельнулась. Коля поспешно закивал, представился:

— Лейтенант Плужников. Николай.

— Товарищ командир впервые в нашем городе. Будь доброй хозяйкой, девочка, и покажи что-нибудь гостю.

— Покажем,— сказал извозчик.— Ночь сегодня добрая, и спешить нам некуда. Счастливых снов, пан Свицкий.

— Веселых поездок, пан Глузник.— Свицкий протянул Коле цепкую длиннопалую руку: — До свидания, товарищ командир. Мы обязательно увидимся еще с вами, правда?

— Обязательно, товарищ Свицкий. Спасибо вам.

— Коли ласка. Миррочка, деточка, загляни завтра к нам.

— Хорошо.— Голос прозвучал робко и растерянно.

Дрожкач поставил чемодан в пролетку, полез на козлы. Коля еще раз кивнул Свицкому, встал на ступеньку — девичья фигура окончательно вжалась в угол. Он сел, утонув в пружинах, и пролетка тронулась, покачиваясь на брусчатой мостовой. Коля хотел помахать скрипачу, но сиденье было низким, борта высокими, а горизонт перекрыт широкой спиной извозчика.

— Куда же мы? — тихо спросила вдруг девушка из угла.

— Тебя просили что-нибудь показать гостю? — не оборачиваясь, спросил дрожкач.— Ну а что можно показать гостю в нашем, я извиняюсь, городе Брест-Литовске? Крепость? Таки он в нее едет. Канал? Таки он его увидит завтра при свете. А что еще есть в городе Брест-Литовске?

— Он, наверно, старинный? — как можно увесистее спросил Коля.

— Ну, если судить по количеству евреев, то он таки ровесник Иерусалима (в углу робко пискнули от смеха). Вот Миррочка весело, и она смеется. А когда мне весело, я почему-то просто перестаю плакать. Так, может быть, люди делают не на русских, евреев, поляков, германцев, а на тех, кому очень весело, просто весело и не очень весело, а? Что вы скажете на эту мысль, пан офицер?

Коля хотел сказать, что он, во-первых, никакой не пан, а во-вторых, не офицер, а командир Красной Армии, но не успел, так как пролетка внезапно остановилась.

— Когда в городе нечего показывать, что показывают тогда? — спросил дрожкач, слезая с козел. — Тогда гостю показывают какой-нибудь столб и говорят, что он знаменитый. Вот и покажи столб гостю, Миррочка.

— Ой! — чуть слышно вздохнули в углу. — Я?.. А может быть, вы, дядя Михась?

— У меня другая забота, — извозчик прошел к лошади. — Ну, старушка, побегаем с тобой эту ночку, а уж завтра отдохнем...

Девушка встала, неуклюже шагнула к ступеньке, пролетка заколыхалась, но Коля успел схватить Мирру за руку и поддержать.

— Спасибо. — Мирра еще ниже опустила голову. — Идемте.

Ничего не понимая, он вылез следом. Перекресток был пустынен. Коля на всякий случай погладил кобурку и оглянулся на девушку — заметно прихрамывая, она шла к ограде, что тянулась вдоль тротуара.

— Вот, — сказала она.

Коля подошел — возле ограды стоял приземистый каменный столб.

— Что это?

— Не знаю. — Она говорила с акцентом и стеснялась. — Тут написано про границу крепости. Но сейчас темно.

— Да, сейчас темно.

От смущения они чрезвычайно внимательно осматривали ничем не примечательный камень. Коля ощущал его, сказал с уважением:

— Старинный.

Они опять замолчали. И дружно с облегчением вздохнули, когда дрожкач окликнул:

— Пан офицер, прошу!

Прихрамывая, девушка пошла к коляске. Коля держался позади, но возле ступеньки догадался подать руку. Извозчик уже сидел на козлах.

— Теперь в крепость, пан офицер?

— Никакой я не пан! — сердито сказал Коля, плюхнувшись в продавленные пружины. — Я — товарищ, понимаете? Товарищ лейтенант, а совсем не пан. Вот.

— Не пан? — Дрожкач дернул вожжи, причмокнул, и лошадка неспешно затрусила по брусчатке. — Коли вы сидите сзади и каждую секунду можете меня стукнуть по спине, то, конечно же, вы — пан. Вот я сижу сзади лошади, и я для нее — тоже пан, потому что я могу стукнуть ее по спине. И так устроен весь мир: пан сидит за паном...

Теперь они ехали по крупному булыжнику, коляску раскачивало, и спорить было невозможно. Коля болтался на продавленном сиденье, придерживая ногой чемодан и всеми силами стараясь удержаться в своем углу.

— Каштановая, — сказала девушка. Ее тоже трясло, но она легче справлялась с этим. — Уж близко.

За железнодорожным переездом улица расплзлась вширь, дома стали редкими, а фонарей здесь не было вовсе. Правда, ночь стояла светлая, и лошадка легко трусила по знакомой дороге.

Коля с нетерпением ожидал увидеть нечто вроде Кремля. Но впереди зачернело что-то бесформенное, и дрожкач остановил лошадь.

— Приехали, пан офицер.

Пока девушка вылезала из пролетки, Коля судорожно сунул извозчику пятерку.

— Вы очень богаты, пан офицер? Может быть, у вас имение или вы печатаете деньги на кухне?

— Зачем?

— Днем я беру сорок копеек в этот конец. Но ночью, да еще с вас, я возьму целый рубль. Так дайте его мне и будьте себе здоровы.

Миррочка, отойдя, ждала, когда он расплатится. Коля, смущаясь, запихал пятерку в карман, долго искал рубль, бормоча:

— Конечно, конечно. Да. Извините, сейчас.

Наконец рубль был найден. Коля еще раз поблагодарил дрожкача, взял чемодан и подошел к девушке:

— Куда тут?

— Здесь КПП. — Она указала на будку у дороги. — Надо показать документы.

— А разве это уже крепость?

— Да. Перейдем мост через обводной канал, и будут Северные ворота.

— Крепость! — Коля тихо рассмеялся. — Я ведь думал — стены да башни. А она, оказывается, вон какая, эта самая Брестская крепость...

#### 4

На контрольно-пропускном пункте Колю задержали: постовой не хотел пропускать по командировочному предписанию. А девушку пропустили, и поэтому Коля был особенно настойчив:

— Зовите дежурного.

— Так спит он, товарищ лейтенант.

— Я сказал, зовите дежурного!

Наконец явился заспанный сержант. Долго читал Колины документы, зевал, свихивая челюсти:

— Припозднились вы, товарищ лейтенант.

— Дела, — туманно пояснил Коля.

— Вам ведь на остров надо...

— Я проведу, — тихо сказала девушка.

— А кто это — я? — Сержант осветил фонариком: так, для шика. — Это ты, Миррочка? Дежурить заступаешь?

— Да.

— Ну, ты — человек нашенский. Веди прямо в казармы триста тридцать третьего полка: там есть комнаты для командировочных.

— Мне в свой полк надо, — солидно сказал Коля.

— Утром разберетесь, — зевнул сержант. — Утро вечера мудренее...

Миновав длинные и низкие сводчатые ворота, они попали в крепость — за ее первый, внешний обвод, ограниченный каналами и крутыми валами, уже буйно заросшими кустарником. Было тихо, только где-то словно из-под земли глухо бубнил заспанный басок да мирно всхрапывали кони. В полумраке виднелись повозки, палатки, машины, тюки прессованного сена.

Справа туманно вырисовывалась батарея полковых минометов.

— Тихо,— шепотом сказал Коля.— И нет никого.

— Так ночь.— Она, вероятно, улыбнулась.— И потом, почти все уже переехали в лагеря. Видите огоньки? Это дома комсостава. Мне там комнату обещали, а то очень далеко из города ходить.

Она приволакивала ногу, но старалась идти легко и не отставать. Занятый осмотром спящей крепости, Коля часто убегал вперед, и она, догоняя, мучительно задыхалась. Теперь он резко сбавил прыть и, чтобы сменить неприятную тему, солидно поинтересовался:

— Как тут вообще с жильем? Командиров обеспечивают, не знаете?

— Многие снимают.

— Это трудно?

— Нет.— Она сбоку посмотрела на него: — У вас семья?

— Нет-нет,— Коля помолчал.— Просто для работы, знаете...

— В городе я могу найти вам комнату.

— Спасибо. Время, конечно, терпит...

Она вдруг остановилась, нагнула куст:

— Сирень. Уже отцвела, а все еще пахнет.

Коля поставил чемодан, честно сунул лицо в запыленную листву. Но листва ничем хорошим не пахла, и он сказал дипломатично:

— Много здесь зелени.

— Очень. Сирень, жасмин, акация...

Она явно не торопилась, и Коля сообразил, что идти ей трудно, что она устала и сейчас отдыхает. Было очень тихо и очень тепло, и чуть кружилась голова, и он с удовольствием подумал, что и ему пока некуда спешить, потому что в списках он еще не значится.

— А что в Москве о войне слышно? — понизив голос, спросила она.

— О войне? О какой войне?

— У нас все говорят, что скоро начнется война. Вот-вот,— очень серьезно продолжала девушка.— Люди покупают соль, и спички, и вообще всякие товары, и в лавках почти пусто. А западники... Ну, те которые к нам с Запада пришли, от немцев бежали... Они говорят, что и в тридцать девятом тоже так было.

— Как так — тоже?

— Пропали соль и спички.



— Чепуха какая-то! — с неудовольствием сказал Коля. — Ну при чем здесь соль, скажите, пожалуйста? Ну при чем?

— Не знаю. Только без соли вы супа не сварите.

— Суп! — презрительно сказал он. — Это пусть немцы запасаются солью для своих супов. А мы... Мы будем бить врага на его территории.

— А враги об этом знают?

— Узнают! — Коле не понравилась ее ирония: люди здесь казались ему подозрительными. — Сказать вам, как это называется? Провокационные разговоры, вот как.

— Господи. — Она вздохнула. — Пусть они как угодно называются, лишь бы войны не было.

— Не бойтесь. Во-первых, у нас с Германией заключен пакт о ненападении. А во-вторых, вы явно недооцениваете нашу мощь. Знаете, какая у нас техника? Я, конечно, не могу выдавать военных тайн, но вы, кажется, допущены к секретной работе...

— Я к супам допущена.

— Это неважно, — веско сказал он. — Важно, что вы допущены в расположение воинских частей. И вы, наверно, сами видели наши танки...

— А здесь нет никаких танков. Есть несколько броневиков, и все.

— Ну зачем же вы мне это говорите? — Коля поморщился. — Вы же меня не знаете и все-таки сообщаете совершенно секретные сведения о наличии...

— Да про это наличие весь город знает.

— И очень жаль!

— И немцы тоже.

— А почему вы думаете, что они знают?

— А потому что!.. — Она махнула рукой. — Вам приятно считать других дураками? Ну считайте себе. Но если вы хоть раз подумаете, что за кордоном не такие уж дураки, так лучше сразу бегите в лавочку и покупайте спички на всю зарплату.

— Ну знаете...

Коле не хотелось продолжать этот опасный разговор. Он рассеянно оглянулся, постарался зевнуть, спросил равнодушно:

— Это что за домик?

— Санчасть. Если вы отдохнули...

— Я?! — От возмущения его кинуло в жар.

— Я же видела, что вы еле тащите свои вещи.

— Ну знаете,— еще раз с чувством сказал Коля и поднял чемодан.— Куда идти?

— Приготовьте документы: перед мостом еще один КПП.

Они молча пошли вперед. Кусты стали гуще — выкрашенная в белую краску кайма кирпичного тротуара ярко светилась в темноте. Повеяло свежестью, Коля понял, что они подходят к реке, но подумал об этом как-то вскользь, потому что целиком был занят другими мыслями.

Ему очень не нравилась осведомленность этой хромоножки. Она была наблюдательна, неглупа, остра на язык — с этим он готов был смириться. Но ее осведомленность о наличии в крепости бронетанковых сил, о передислокации частей в лагерь, даже о спичках и соли не могла быть случайной. Чем больше Коля думал об этом, тем все более убеждался, что и встреча с нею, и путешествие по городу, и длинные отвлекающие разговоры — все не случайно. Он припомнил свое появление в ресторане, странную беседу о штанах за соседним столом, Свицкого, играющего лично для него, и с ужасом понял, что за ним следили, что его специально выделили из их лейтенантской троицы. Выделили, заговорили, усыпили бдительность скрипкой, подсунули какую-то девчонку, и теперь... Теперь он идет за нею неизвестно куда, как баран. А кругом — тьма, и тишина, и кусты, и, может быть, это вообще не Брестская крепость, тем более что никаких стен и башен он так и не заметил.

Докопавшись до этого открытия, Коля судорожно передернул плечами, и португеза тотчас же приветливо скрипнула в ответ. И этот тихий скрип, который мог слышать только сам Коля, несколько успокоил его. Но все же на всякий случай он перекинул чемодан в левую руку, а правой осторожно расстегнул клапан кобуры.

«Что ж, пусть ведут,— с горькой гордостью подумал он.— Придется подороже продать свою жизнь, и только...»

— Стой! Пропуск!

«Вот оно...» — подумал Коля, с тяжким грохотом роняя чемодан.

— Добрый вечер, это я, Мирра. А лейтенант со мной. Он приезжий — вам не звонили с того КПП?

— Документы, товарищ лейтенант.

Слабый луч света упал на Колю. Коля прикрыл левой рукой глаза, пригнулся, и правая рука сама собой скользнула к кобуре...

— Ложись! — заорали от КПП. — Ложись, стреляю! Дежурный, ко мне! Сержант! Тревога!..

Постовой у контрольно-пропускного пункта орал, свистел, шелкал затвором. Кто-то уже шумно бежал по мосту, и Коля на всякий случай лег носом в пыль, как полагалось.

— Да свой он! Свой! — кричала Миррочка.

— Он наган цапает, товарищ сержант! Я его окликнул, а он — цапает!

— Посвети-ка. — Луч скользнул по лежавшему на животе Коле, и другой — сержантский — голос скомандовал: — Встать! Сдать оружие!..

— Свой я! — крикнул Коля, поднимаясь. — Лейтенант я, понятно? Прибыл к месту службы. Вот документы, вот командировка.

— А чего ж за наган цапался, если свой?

— Да почесался я! — кричал Коля. — Почесался, и все! А он кричит: «Ложись!»

— Он правильно действовал, товарищ лейтенант, — сказал сержант, разглядывая Колины документы. — Неделью назад часового у кладбища зарезали — вот какие тут дела.

— Да знаю я, — сердито сказал Коля. — Только зачем же сразу? Что, почесаться нельзя, что ли?..

Миррочка не выдержала первой. Она приседала, всплескивала руками, попискивала, вытирала слезы. За нею басом захохотал сержант, завсхлипывал постовой, и Коля засмеялся тоже, потому что все получилось очень глупо и очень смешно.

— Я же почесался! Почесался только!..

Надраенные сапоги, до предела подтянутые брюки, выутюженная гимнастерка — все было в мельчайшей дорожной пыли. Пыль оказалась даже на носу и на круглых Колиных щеках, потому что он прижимался ими к земле поочередно.

— Не отряхивайтесь! — крикнула девушка, когда Коля, отсмеявшись, попытался было очистить гимнастерку. — Пыль только вобьете. Надо щеткой.

— А где я ее ночью возьму?

— Найдём! — весело сказала Миррочка. — Ну, можем нам идти?

— Идите, — сказал сержант. — Ты правда почи

его, Миррочка, а то ребята в казарме от смеха попадают.

— Почищу, — сказала она. — А какие кинокартины показывали?

— У пограничников — «Последнюю ночь», а в полку — «Валерия Чкалова».

— Мировой фильм!.. — сказал постовой. — Там Чкалов под мостом на самолете — вжиг, и все!..

— Жалко, я не видала. Ну, счастливо вам додежурить.

Коля поднял чемодан, кивнул веселым постовым и вслед за девушкой взошел на мост.

— Это что, Буг?

— Нет, это Мухавец.

— А-а...

Они прошли мост, миновали трехарочные ворота и свернули направо, вдоль приземистого двухэтажного здания.

— Кольцевая казарма, — сказала Мирра.

Сквозь распахнутые настежь окна доносилось сонное дыхание сотен людей. В казармах за толстыми кирпичными стенами горело дежурное освещение, и Коля видел двухъярусные койки, спящих бойцов, аккуратно сложенную одежду и грубые ботинки, выстроенные строго по линейке.

«Вот и мой взвод где-то здесь спит, — думал он. — И скоро я буду приходить по ночам и проверять...»

Кое-где лампочки освещали склоненные над книгами стриженные головы дневальных, пирамиды с оружием или безусого лейтенанта, засидевшегося до рассвета над мудреной четвертой главой «Краткого курса истории ВКП(б)».

«Вот и я так же буду сидеть, — думал Коля. — Готовиться к занятиям, писать письма...»

— Это какой полк? — спросил он.

— Господи, куда же это я вас веду? — вдруг тихо засмеялась девушка. — Кругом! За мной шагом марш, товарищ лейтенант.

Коля затоптался, не очень поняв, шутит она или командует им всерьез.

— Зачем?

— Вас сначала вычистить надо, выбить и выколотить.

После истории у предмостного контрольно-пропускного пункта она окончательно перестала стесняться и

уже покрикивала. Впрочем, Коля не обижался, считая, что когда смешно, то надо обязательно смеяться.

— А где вы меня собираетесь выколачивать?

— Следуйте за мной, товарищ лейтенант.

Они свернули с тропинки, идущей вдоль кольцевой казармы. Справа виднелась церковь, за нею еще какие-то здания, где-то негромко переговаривались бойцы, где-то совсем рядом фыркали и вздыхали лошади. Резко запахло бензином, сеном, конским потом, и Коля приободрился, почувствовав наконец настоящие воинские запахи.

— В столовую идем, что ли? — как можно независимее спросил он, припомнив, что девушка специализируется на супах.

— Разве такого грязнулю в столовую пустят? — весело спросила она. — Нет, мы сначала в склад зайдем, и тетя Христия из вас пыль выбьет. Ну а потом, может быть, и чайком угостит.

— Нет уж, спасибо, — солидно сказал Коля. — Мне к дежурному по полку надо: я обязательно должен прибыть сегодняшним числом.

— Так сегодняшним и прибудете: суббота уже два часа как кончилась.

— Неважно. Важно до утра, понимаете? Всякий день с утра начинается.

— А вот у меня не всякий. Осторожно, ступеньки. И пригнитесь, пожалуйста.

Вслед за девушкой он стал спускаться куда-то под землю по крутой и узкой лестнице. За массивной дверью, которую открыла Мирра, лестница освещалась слабой лампочкой, и Коля с удивлением оглядывал низкий сводчатый потолок, кирпичные стены и тяжелые каменные ступени.

— Подземный ход?

— Склад. — Мирра распахнула еще одну дверь, крикнула. — Здравствуйте, тетя Христия! Я гостя веду!..

И отступила, пропуская Колю вперед. Но Коля затоптался, спросил нерешительно:

— Сюда, значит?

— Сюда, сюда. Да не бойтесь же вы!

— Я не боюсь, — серьезно сказал Коля.

Он вошел в обширное, плохо освещенное помещение, придавленное тяжелым сводчатым потолком. Три слабенькие лампочки с трудом рассеивали подвальный сумрак, и Коля видел только ближайшую стену

с узкими, как бойницы, отдушинами под самым потолком. В склепе этом было прохладно, но сухо: кирпичный пол кое-где покрывал мелкий речной песок.

— Вот и мы, тетя Христя! — громко сказала Мирра, закрывая дверь. — Здравствуйте, Анна Петровна! Здравствуйте, Степан Матвееч! Здравствуйте, люди!

Голос ее гулко проплыл под сводами каземата и не заглох, а как бы растаял.

— Здравствуйте, — сказал Коля.

Глаза немного привыкли к полумраку, и он различил двух женщин — толстую и не очень толстую — и усатого старшину, присевшего на корточки перед железной печуркой.

— А, щебетуха пришла, — усмехнулся усатый.

Женщины сидели за большим столом, заваленным мешками, пакетами, консервными банками, пачками чая. Они что-то сверяли по бумажкам и никак не отреагировали на их появление. И старшина не вытянулся, как полагалось при появлении старшего по званию, а спокойно ковырялся с печкой, заталкивая в нее обломки ящиков. На печурке стоял огромный жестяной чайник.

— Здравствуйте, здравствуйте! — Мирра обняла женщин за плечи и по очереди поцеловала. — Уже все получили?

— Я тебе когда велела приходить? — строго спросила толстая. — Я тебе к восьми велела приходить, а ты к рассвету являешься и совсем не спишь.

— Ай, тетя Христя, не ругайтесь. Я еще отосплюсь.

— Командира где-то подцепила, — не без удовольствия отметила та, что была помоложе, — Анна Петровна. Какого полка, товарищ лейтенант?

— Я в списках еще не значусь, — солидно сказал Коля. — Только что прибыл...

— И уже испачкался, — весело перебила девушка. — Упал на ровном месте.

— Бывает, — благодушно сказал старшина.

Он чиркнул спичкой, и в печурке загудело пламя.

— Щеточку бы, — вздохнул Коля.

— Здорово извалялся, — сердито проворчала тетя Христя. — А пыль наша въедлива особо.

— Выручай его, Миррочка, — улыбнулась Анна Петровна. — Из-за тебя, видно, он на ровном месте падал.

Люди здесь были своими и поэтому разговаривали легко, не боясь задеть собеседника. Коля почувствовал это сразу, но пока еще стеснялся и отмалчивался. Тем временем Мирра разыскала щетку, вымыла ее под висевшим в углу рукомойником и совсем по-взрослому сказала:

— Пойдем уж чиститься, горе... чье-то.

— Я сам! — поспешно сказал он. — Сам, слышите?

Но девушка, припадая на левую ногу, невозмутимо шла к дверям, и Коля, недовольно вздохнув, поплелся следом.

— Во, обратала! — с удовольствием отметил старшина Степан Матвеевич. — Правильно, щебетуха: с нашим братом только так и надо.

Несмотря на протесты, Мирра энергично вычистила его, сухо командуя: «Руки!», «Повернитесь!», «Не вертитесь!». Коля сначала спорил, а потом примолк, поняв, что сопротивление бессмысленно. Покорно поднимал руки, вертелся или, наоборот, не вертелся, сердито скрывая раздражение. Нет, он не обижался на эту девчонку за то, что она в данный момент не без удовольствия вертела им, как хотела. Но прорывавшиеся в ее тоне нотки, явно покровительственные, выводили его из равновесия. Мало того, что он был минимум на три года старше ее, — он был командиром, полномочным распорядителем судеб целого взвода, а девчонка вела себя так, будто не он, а она была этим командиром, и Коля очень обижался.

— И не вздыхайте! Я же из вас пыль выколачиваю, а вы вздыхаете. А это вредно.

— Вредно, — не без значения подтвердил он. — Ох и вредно!

Светало, когда они по той же крутой лестнице спустились в склад. На столе остался только хлеб, сахар да кружки, и все сидели вокруг и неторопливо разговаривали, ожидая, когда же наконец закипит огромный жестяной чайник. Кроме женщин и усатого старшины здесь оказались еще двое — хмурый старший сержант и молодой, смешно остриженный под машинку красноармеец. Красноармеец все время отчаянно зевал, а старший сержант сердито рассказывал:

— Ребята в кино пошли, а меня начбой хватает. Стой, говорит, Федорчук, дело, говорит, до тебя. Что, думаю, за дело? А дело вон какое: разряди, говорит, Федорчук, все диски, выбей, говорит, из лент все пат-

роны, перетри, говорит, их начисто, наложи смазку и снова набей. Во! Тут на целую роту три дня без перекура занятий. А я — один: две руки, одна башка. Помошь, говорю, мне. И дают мне в помощь вот этого петуха, Васю Волкова, первогодка стриженного. А что он умеет? Он спать умеет, пальцы себе киянкой отшибать умеет, а больше ничего он пока не умеет. Верно говорю, Волков?

В ответ боец Вася Волков со вкусом зевнул, почмокал толстыми губами и неожиданно улыбнулся:

— Спать охота.

— Спать! — с неудовольствием сказал Федорчук. — Спать у маменьки будешь. А у меня ты, Васятка, будешь патроны из пулеметных лент выколачивать аж до подъема. Понял? Вот чайку сейчас попьем и обратно заступим в наряд. Христина Яновна, ты нам сегодня заварочки не пожалей.

— Деготь налью, — сказала тетя Христя, высыпая в кипящий чайник целый кубик заварки. — Сейчас настоится, и перекусим. Куда это вы, товарищ лейтенант?

— Спасибо, — сказал Коля. — Мне в полк надо, к дежурному.

— Успеется, — сказала Анна Петровна. — Служба от вас не убежит.

— Нет-нет, — Коля упрямо помотал головой. — Я и так опоздал: в субботу должен был прибыть, а сейчас уже воскресенье.

— Сейчас и не суббота, и не воскресенье, а тихая ночь, — сказал Степан Матвеевич. — А ночью и дежурным подремать положено.

— Садитесь лучше к столу, товарищ лейтенант, — улыбнулась Анна Петровна. — Чайку попьем, познакомимся. Откуда будете-то?

— Из Москвы. — Коля немного помялся и сел к столу.

— Из Москвы, — с уважением протянул Федорчук. — Ну как там?

— Что?

— Ну вообще.

— Хорошеет, — серьезно сказал Коля.

— А как с промтоварами? — поинтересовалась Анна Петровна. — Здесь с промтоварами очень просто. Вы это учтите, товарищ лейтенант.

— А ему-то зачем промтовары? — улыбнулась



Мирра, садясь за стол.— Ему наши промтовары ни к чему.

— Ну, как сказать,— покачал головой Степан Матвеевич.— Костюм бостоновый справить — большое дело. Серьезное дело.

— Гражданского не люблю,— сказал Коля.— И потом меня государство обеспечивает полностью.

— Обеспечивает,— неизвестно почему вздохнула тетя Христя.— Ремнями оно вас обеспечивает — все в сбруе ходите.

Сонный красноармеец Вася перебрался от печурки к столу. Сел напротив, глядел в упор, часто моргая. Коля все время встречал его взгляд и, хмурясь, отводил глаза. А молоденький боец ничего не стеснялся и разглядывал лейтенанта серьезно и досконально, как ребенок.

Неторопливый рассвет нехотя вползал в подземелье сквозь узкие отдушины. Накапливаясь под сводчатым потолком, медленно раздвигал тьму, но она не рассеивалась, а тяжело оседала в углах. Желтые лампочки совсем затерялись в белесом полумраке. Старшина выключил их, но темнота была еще густой и недоброй, и женщины запротестовали:

— Темно!

— Экономить надо энергию,— проворчал Степан Матвеевич, вновь зажигая свет.

— Сегодня свет в городе погас,— сказал Коля.— Наверно, авария.

— Возможное дело,— лениво согласился старшина.— У нас своя подстанция.

— А я люблю, когда темно,— призналась Мирра.— Когда темно — не страшно.

— Наоборот! — сказал Коля, но тут же спохватился: — То есть, конечно, я не о страхе. Это всякие мистические представления насчет темноты.

Вася Волков снова очень громко и очень сладко зевнул, а Федорчук сказал с той же недовольной гримасой:

— Темнота — воровам удобство. Воровать да грабить — для того и ночь.

— И еще кой для чего,— улыбнулась Анна Петровна.

— Ха! — Федорчук зажал смешок, покосился на Мирру.— Точно, Анна Петровна. И это, стало быть, воруем, так понимать надо?

— Не, воруем,— солидно сказал старшина.— Прячем.

— Доброе дело не прячут,— непримиримо проворчал Федорчук.

— От сглазу,— веско сказала тетя Христя, заглядывая в чайник.— От сглазу и доброе дело подальше прячут. И правильно делают. Готов наш чаек, берите сахар.

Анна Петровна раздала по куску колючего синеватого сахара, который Коля положил в кружку, а остальные стали дробить на более мелкие части. Степан Матвеевич принес чайник, разлил кипяток.

— Берите хлебушко,— сказала тетя Христя.— Выпечка сегодня удалась, не переквасили.

— Чур, мне горбушку! — быстро сказала Мирра. Завладев горбушкой, она победоносно посмотрела на Колю. Но Коля был выше этих детских забав и поэтому лишь покровительственно улыбнулся. Анна Петровна покосилась на них и тоже улыбнулась, но как бы про себя, и Коле это не понравилось.

«Будто я за ней бегаю,— обиженно подумал он про Мирру.— И чего все выдумывают?..»

— А маргаринчику нет у тебя, хозяйюшка? — спросил Федорчук.— Одним хлебушком сил не напасешь...

— Поглядим. Может, и есть.

Тетя Христя прошла в серую глубину подвала; все ждали ее и к чаю не притрагивались. Боец Вася Волков, получив кружку в руки, зевнул в последний раз и окончательно проснулся.

— Да вы пейте, пейте,— сказала из глубины тетя Христя.— Пока тут найдешь...

За узкими щелями отдушин холодно полоснуло голубоватое пламя. Колыхнулись лампочки над потолком.

— Гроза, что ли? — удивилась Анна Петровна.

Тяжкий грохот обрушился на землю. Вмиг погас свет, но сквозь отдушины в подвал то и дело врывались ослепительные вспышки. Вздогнули стены каземата, с потолка сыпалась штукатурка, и сквозь оглушительный вой и рев все яснее и яснее прорывались раскатистые взрывы тяжелых снарядов.

А они молчали. Молчали, сидя на своих местах, машинально стряхивая с волос сыпавшуюся с потолка пыль. В зеленом свете, врывавшемся в подвал, лица казались бледными и напряженными, словно все ста-

рательно прислушивались к чему-то, уже навеки заглушенному тугим ревом артиллерийской канонады.

— Склад! — вдруг закричал Федорчук, вскакивая. — Склад боепитания взорвался! Точно говорю! Лампу я там оставил! Лампу!..

Рвануло где-то совсем рядом. Затрещала массивная дверь, сам собой сдвинулся стол, рухнула штукатурка с потолка. Желтый удушливый дым пополз в отдушины.

— Война! — крикнул Степан Матвеевич. — Война это, товарищи, война!

Коля вскочил, опрокинув кружку. Чай пролился на так старательно вычищенные брюки, но он не заметил.

— Стой, лейтенант! — старшина на ходу схватил его. — Куда?

— Пустите! — кричал Коля, вырываясь. — Пустите меня! Пустите! Я в полк должен! В полк! Я же в списках еще не значусь! В списках не значусь, понимаете?!

Оттолкнув старшину, он рванул засыпанную обломками кирпича дверь, боком протиснулся на лестницу и побежал вверх по неудобным стертým ступеням. Под ногами громко хрустела штукатурка.

Наружную дверь смело взрывной волной, и Коля видел оранжевые сполохи пожаров. Узкий коридор уже заволакивало дымом, пылью и тошнотворным запахом взрывчатки. Тяжко вздрагивал каземат, все вокруг выло и стонало, и было 22 июня 1941 года — четыре часа пятнадцать минут по московскому времени...

## ЧАСТЬ ВТОРАЯ

### 1

Когда Плужников выбежал вверх — в самый центр незнакомой, полыхающей крепости, — артиллерийский обстрел продолжался, но в ритме его наступило какое-то замедление: немцы начали переносить огневой вал за внешние обводы. Снаряды еще продолжали падать, но падали уже не бессистемно, а по строго запланированным квадратам, и поэтому Плужников успел оглядеться.

Кругом все горело. Горела кольцевая казарма, дома возле церкви, гаражи на берегу Мухавца. Горели машины на стоянках, будки и временные строения, магазины, склады, овощехранилища — горело все, что могло гореть, а что не могло — горело тоже, и в реве пламени, в грохоте взрывов и скрежете горящего железа метались полуголые люди.

И еще кричали лошади. Кричали где-то совсем рядом, у коновязи, за спиной Плужникова, и этот необычный, неживотный крик заглушал сейчас все остальное — даже то жуткое, нечеловеческое, что изредка доносилось из горящих гаражей. Там, в промасленных и пробензиновых помещениях с крепкими решетками на окнах, в этот час заживо сгорали люди.

Плужников не знал крепости. Они с девушкой шли в темноте, а теперь эта крепость предстала перед ним в снарядных всплесках, дыму и пламени. Вглядевшись, он с трудом определил трехарочные ворота и решил бежать к ним, потому что дежурный по КПП должен был обязательно запомнить его и объяснить, куда теперь являться. А явиться куда-то, кому-то доложить было просто необходимо.

И Плужников побежал к воротам, прыгая через воронки и завалы земли и кирпича и прикрывая затылок обеими руками. Именно затылок: было невыносимо представить себе, что в его аккуратно подстриженный и такой беззащитный затылок каждое мгновение может вонзиться иззубренный и раскаленный осколок снаряда. И поэтому он бежал неуклюже, балансируя телом, странно сцепив руки на затылке и спотыкаясь.

Он не расслышал тугого снарядного рева: рев этот пришел позже. Он всей спиной почувствовал приближение чего-то беспощадного и, не снимая рук с затылка, лицом вниз упал в ближайшую воронку. В считанные мгновения до взрыва он руками, ногами, всем телом, как краб, зарывался в сухой неподатливый песок. А потом опять не расслышал разрыва, а почувствовал, что его вдруг со страшной силой вдавило в песок, вдавило настолько, что он не мог вздохнуть, а лишь корчился под этим гнетом, задыхаясь, хватая воздух и не находя его во вдруг наступившей тьме. А затем что-то грузное, но вполне реальное навалилось на спину, окончательно пригасив и попытки глотнуть воздуха, и остатки в клочья разорванного сознания,

Но очнулся он быстро: он был здоров и яростно хотел жить. Очнулся с тягучей головной болью, горечью в груди и почти в полной тишине. Вначале он — еще смутно, еще приходя в себя — подумал, что обстрел кончился, но потом сообразил, что просто ничего не слышит. И это совсем не испугало его; он вылез из-под завалившего его песка и сел, все время сплевывая кровь и противно хрустевший на зубах песок.

«Взрыв,— старательно подумал он, с трудом разыскивая слова.— Должно быть, тот склад завалило. И старшину, и девчонку ту с хромой ногой...»

Думал он об этом тяжело и равнодушно, как о чем-то очень далеком и во времени и в пространстве, пытался вспомнить, куда и зачем он бежал, но голова еще не слушалась. И он просто сидел на дне воронки, однообразно раскачиваясь, сплевывал окровавленный песок и никак не мог понять, зачем и почему он тут сидит.

В воронке ядовито воняло взрывчаткой. Плужников лениво подумал, что надо бы вылезти наверх, что там он скорее отдышится и придет в себя, но двигаться мучительно не хотелось. И он, хрипя натруженной грудью, глотал эту тошнотную вонь, при каждом вздохе ощущая неприятную горечь. И опять не услышал, а почувствовал, как кто-то скатился на дно за его спиной. Шея не ворочалась, и повернуться пришлось всем телом.

На откосе сидел парнишка в синей майке, черных трусах и пилотке. По щеке у него текла кровь; он все время вытирал ее, удивленно глядел на ладонь и вытирал снова.

— Немцы в клубе,— сказал он.

Плужников половину понял по губам, половину расслышал.

— Немцы?

— Точно.— Боец говорил спокойно: его занимала только кровь, что медленно сползала по щеке.— По мне жажнули. С автомата.

— Много их?

— А кто считал? По мне один жажнул, и то я щеку побил.

— Пулей?

— Не. Упал я.

Они разговаривали спокойно, будто все это была игра и мальчишка с соседнего двора ловко выстрелил

из рогатки. Плужников пытался осознать себя, почувствовать свои собственные руки и ноги, спрашивал, думая о другом, и лишь ответы ловил напряженно, потому что никак не мог понять, слышит он или просто догадывается, о чем говорит этот парнишка с расцарапанной щекой.

— Кондакова убило. Он слева бежал и упал сразу. Задергался и ногами забил, как припадошный. И киргиза того, что днєвалил вчера, тоже убили. Того раньше.

Боец говорил что-то еще, но Плужников вдруг перестал его слушать. Нет, теперь он слышал почти все — и ржание покалеченных лошадей у коновязи, и взрывы, и рев пожаров, и далекую стрельбу, — он все слышал и поэтому успокоился и перестал слушать. Он переварил в себе и понял самое главное из того, что успел наговорить ему этот красноармеец: немцы ворвались в крепость, и это означало, что война действительно началась.

— ...А из него кишки торчат. И вроде — дышат. Сами собой дышат, ей-богу!..

Голос разговорчивого паренька ворвался на мгновение, и Плужников — теперь он уже контролировал себя — тут же выключил это бормотание. Представился, назвал полк, куда был направлен, спросил, как до него добраться.

— Подстрелят, — сказал боец. — Раз они в клубе — это в церкви бывшей, значит — так обязательно жакнут. Из автоматов. Оттуда им все — как на ладошке.

— А вы куда бежали?

— За боеприпасом. Нас с Кондаковым в склад боепитания послали, а его убило.

— Кто послал?

— Командир какой-то. Все перепуталось, не поймешь, где твой командир, где чужой. Бегали мы сперва много.

— Куда приказано было доставить боеприпасы?

— Так ведь в клубе немцы. В клубе, — неторопливо и доброжелательно, точно ребенку, объяснил боец. — Куда им приказывали, а не пробежать. Как жакнут...

Он любил это слово и произносил его особенно впечатляюще — в слове слышалось жужжанье. Но Плужникова больше всего интересовал сейчас склад боепитания, где он надеялся раздобыть автомат, самозарядку или, на худой конец, обычную трехлинейку с доста-

точным количеством патронов. Оружие давало не только возможность действовать, не только стрелять по врагу, засевшему в самом центре крепости,— оружие обеспечивало личную свободу, и он хотел заполучить его как можно скорее.

— Где склад боепитания?

— Кондаков знал,— нехотя сказал боец.

Кровь по щеке больше не текла — видно, засохла,— но он все время бережно ощупывал грязными пальцами глубокую ссадину.

— Черт! — рассердился Плужников. — Ну где он может быть, этот склад? Слева от нас или справа? Где? Ведь если немцы проникли в крепость, они же на нас могут наткнуться, это вы соображаете? Из пистолета не отстреляешься.

Последний довод заметно озадачил парнишку: он перестал ковырять коросту на щеке, тревожно и осмысленно глянул на лейтенанта.

— Вроде слева. Как бежали, так он справа был. Или — нет: Кондаков-то слева бежал. Погодите, гляну, где он лежит.

Повернувшись на живот, он ловко пополз наверх. На краю воронки оглянулся, став вдруг очень серьезным, и, сняв пилотку, осторожно высунул наружу стриженную под машинку голову.

— Вон Кондаков,— не оглядываясь, приглушенно сообщил он. — Не дергается больше, все. А до склада мы чуток только не добежали — вижу его. И вроде он не разбомбленный.

Оступаясь — ему очень не хотелось ползти при этом молоденьком красноармейце,— Плужников поднялся на откос, лег рядом с бойцом и выглянул: неподалеку действительно лежал убитый в гимнастерке и галифе, но без сапог и пилотки. Темная голова отчетливо виднелась на белом песке. Это был первый убитый, которого видел Плужников, и жуткое любопытство невольно притягивало к нему. И поэтому молчал он долго.

— Вот тебе и Кондаков,— вздохнул боец. — Конфеты любил, ириски. А жаден был — хлебца не выпросишь.

— Так. Где склад? — спросил Плужников, с усилием отрываясь от убитого Кондакова, который был когда-то жадным и очень любил ириски.

— А вон бугорок вроде. Видите? Только вход где в него — это не знаю.

Недалеко от склада за изрытой снарядами, изломанной зеленью виднелось массивное здание, и Плужников понял, что это и есть клуб, в котором, по словам бойца, уже засели немцы. Оттуда слышались короткие автоматные очереди, но куда они били, Плужников понять не мог.

— По Белому дворцу садят, — сказал боец. — Левей гляньте. Инженерное управление.

Плужников глянул: за низкой оградой, окружавшей двухэтажное, уже меченное снарядами здание, лежали люди. Он отчетливо видел огоньки их частых беспорядочных выстрелов.

— По моей команде бежим до... — Он запнулся, но продолжил: — До Кондакова. Там падаем, даже если немцы не откроют огня. Поняли? Внимание. Приготовились. Вперед!

Он бежал в рост, не пригибаясь, не столько потому, что голова его еще кружилась, а чтобы не выглядеть трусом в глазах этого перепуганного парнишки в синей майке. На одном дыхании он домчался до убитого, но не остановился, как сам же приказывал, а побегал дальше, к оружейному складу. И, только добежав до него, вдруг испугался, что вот сейчас-то его и убьют. Но тут, громко дыша, притопал боец, и Плужников поспешно отогнал от себя страх и даже улыбнулся этому смешному стриженному красноармейцу:

— Чего пыхтишь?

Боец ничего не ответил, но тоже улыбнулся, и обе эти улыбки были похожи друг на друга как две капли воды.

Они трижды обошли земляной бугор, но нигде не нашли ничего похожего на вход. Все вокруг было уже изрыто и вздыблено, и то ли вход завалило при обстреле, то ли боец что-то напутал, то ли мертвый Кондаков бежал совсем не в ту сторону, а только Плужников понял, что вновь остался с одним пистолетом, променяв удобную дальнюю воронку на почти оголенное место рядом с церковью. Он с тоской оглянулся на низкую ограду Белого дворца, на беспорядочные огоньки выстрелов: там были свои, и Плужникову нестерпимо захотелось к ним.

— К нашим бежим, — не глядя, сказал он. — Как скажу «три». Готов?

— Готов, — вздохнул боец. — А они в лоб жажнут: как раз сюда целят-то.



— Не жажнут, — не очень уверенно ответил Плужников. — Свои же мы, красные.

Он так и сказал «красные». Как в детстве, когда играл во дворе в Чапаева, но Чапаевым его никто не признавал, и ему всегда приходилось довольствоваться ролью командира эскадрона Жижарева.

По его команде они снова побежали, прыгая через воронки и через убитых, не ложась и не пригибаясь. Бежали навстречу огонькам, и Плужников все время кричал «свои!», но оттуда все стреляли и стреляли, и несколько раз он отчетливо слышал негромкий пулевой посвист. И опять им повезло, они добежали до ограды, перемахнули через нее и, задыхаясь, упали на землю уже в безопасности и среди своих. А злой старший лейтенант в старательно застегнутой, но очень грязной гимнастерке сердито кричал:

— Перебежками надо, понятно? Перебежками!..

Отдышавшись, Плужников хотел доложить, но старший лейтенант доклада слушать не стал, а послал его на левый фланг жиденькой обороны с приказом вести особое наблюдение в сторону Тереспольских ворот: он был убежден, что немцы прорвались оттуда. Очень коротко ознакомив Плужникова с обстановкой и не ответив ни на один из вопросов, старший лейтенант хмуро добавил:

— Винтовку у сержанта заберешь. И следи за воротами, понял? Нам бы только до своих продержаться.

До каких «своих» надеялся продержаться старший лейтенант и откуда они должны были появиться, Плужников расспрашивать не стал. Он сам верил, что свои вот-вот подойдут и все образуется само собой. Надо только держаться. Просто отстреливаться, и все.

Явившись на левый фланг, Плужников не нашел там никакого сержанта — угол здания медленно горел, неохотно выбрасывая из дыма огненные языки, а возле ограды лежали полуодетые бойцы и два пограничника с ручным пулеметом Дегтярева.

— Почему пожар не ликвидируете? — сердито спросил Плужников.

Ему никто не ответил: все напряженно глядели в сторону ворот с высокой водонапорной башней. Плужников понял несвоевременность указаний, спросил у пулеметчиков о сержанте. Старший коротко кивнул:

— Там.

Небольшого роста человек ничком лежал на земле,

широко разбросав ноги в стоптанных сапогах. Чернявая голова его лбом упиралась в прицельную планку винтовки и только тяжело закачалась, когда Плужников тронул сержанта за плечо:

— Товарищ сержант...

— Убитый он,— сказал пограничник.

Плужников сразу отдернул руку, беспомощно оглянулся, но никто сейчас не обращал на него внимания. Не решаясь вновь притронуться к мертвецу, он потянул винтовку за ствол, но убитый по-прежнему цепко держался за нее, а Плужников все дергал и дергал, и круглая чернявая голова тупо вздрагивала, стучаясь лбом о прицельную планку.

— Опять бегут,— сказал кто-то.— Это с восьмьдесят четвертого ребята.

— Музыканты это,— сказал второй.— Они над воротами...

Со стороны клуба слышалось несколько коротких сухих очередей. Плужников не знал, куда стреляют, но сразу же упал рядом с убитым сержантом, продолжая упорно выворачивать из его мертвых рук трехлинейку. Убитый некоторое время волочился за нею, но потом мертвые пальцы вдруг разжались, и Плужников, схватив винтовку, пополз в дальний угол ограды, не решаясь оглянуться.

У Тереспольских ворот металось несколько бойцов: один нес ярко начищенную трубу, и на ней временами остро вспыхивали солнечные зайчики. Немцы стреляли скупой, а музыканты то падали, то вновь вскакивали и продолжали метаться. У коновязи бились и храпели лошади, и Плужников больше смотрел на них, а когда опять глянул в сторону ворот, то музыканты уже куда-то подевались, унеся с собой веселый солнечный зайчик.

— Вот с восьмьдесят четвертого! — крикнул пограничник, который был первым номером у пулемета.— К нам, что ли?

От кольцевых казарм правильными перебежками продвигались красноармейцы. Не растерянные музыканты, а бойцы с оружием, и немецкие автоматчики сразу усилили огонь.

Рядом резко застучал дегтяр — пограничники короткими очередями били по костелу, прикрывая товарищей.

— Огонь! — закричал Плужников,

Он кричал для себя, потому что команда была ему необходима. Но, скомандовав, он так и не смог выстрелить: в сержантской винтовке патронов не оказалось, и Плужников только без толку щелкал курком, лихорадочно передергивая затвор.

— Вели диски набить, лейтенант! — закричал второй номер — рослый брUNET со значком ворошиловского стрелка на гимнастерке. — Диски кончаются!

Плужников побежал к дому мимо редкой цепочки бойцов. Старшего лейтенанта нигде не было видно, и он, волоча винтовку, долго суетился возле горящего здания.

— Патроны! Где патроны?

— В подвале спроси, — сказал полуголый сержант с забинтованной головой. — Хлопцы оттуда цинки таскали.

Тяжелый смрадный дым медленно сползал в подвалы. Кашляя и вытирая слезы, Плужников ощупью спустился по крутым стертým ступеням, с трудом разглядел в полумраке раненых и спросил:

— Патроны где?

— Кончились, — сказал вдруг женский голос из темноты. — Что наверху слышно?

Плужникову очень хотелось увидеть, кому принадлежит этот голос, но, как он ни вглядывался, ничего разобрать не смог.

— К нам из казарм прорываются, — сказал он. — Из восьмьдесят четвертого, что ли. Старшего лейтенанта не видали?

— Пройдите сюда. Осторожнее: люди на полу.

У стены лежал старший лейтенант в испачканной гимнастерке, разорванной до пояса. Кое-как перебинтованная грудь его чуть вздымалась, и при каждом вздохе выступала розовая пена на белых, стянутых в нитку губах. Плужников опустился подле него на колени, позвал:

— Товарищ старший лейтенант. Товарищ...

— Уже не дозоветесь, — сказал все тот же голос. — Наши-то скоро из города подойдут, ничего не слышно?

— Подойдут, — сказал Плужников, вставая. — Должны подойти. — Он еще раз оглянулся, смутно различил темную фигуру и тихо добавил: — Пожар наверху. Уходите отсюда.

— Куда? Здесь раненые.

— Опасно оставаться.

Женщина промолчала. Подавленный не столько отсутствием патронов, сколько смертью командира, Плужников выбрался из задымленного подвала. В подъезде уже невозможно было стоять: над головой занимались перекрытия. У входа на ступеньках по-прежнему сидел сержант, неторопливо, по-домашнему сворачивая сигарку.

— Надо бы из подвала раненых вынести,— сказал Плужников.— Огонь вход отрежет. И женщина там.

— Надо,— спокойно согласился сержант.— А куда? Кругом горит.

— Ну, не знаю. Куда-нибудь...

— Не вертись,— вдруг перебил сержант.— Старшего лейтенанта аккурат тут стукнуло, где ты стоишь.

Плужников поспешно вышел. Во дворе приутихла стрельба, слышались неразборчивые голоса. Плужников вспомнил о патронах, хотел было опять вернуться к сержанту, расспросить, но раздумал и, волоча пустую винтовку, побежал к людям.

Они толпились за углом вокруг черноволосого замполитрука. Черноволосый говорил решительно и зло, и все с видимым облегчением слушали его резкий голос.

— ...По моей команде. Не останавливаться, не отвлекаться. Только вперед! Ворваться в клуб и ликвидировать автоматчиков врага. Задача ясна?

— Ясна! — с привычной бодростью отозвались бойцы.

— А ликвидировать чем? — хмуро спросил немолодой, видно из приписников, боец в синей майке.— Винтовки без штыков, а у меня так и вовсе нету.

— Зубами рви! — громко сказал замполитрук.— Кирпич вон захвати — зачем глупые вопросы? Главное — всем вместе, дружно, с громким «ура». И не ложиться! Бежать и бежать прямо в клуб.

— Как в кино! — сказал круглоголовый, как мальчишка, боец.

Все засмеялись, и Плужников засмеялся тоже. И не потому, что круглоголовый боец сказал что-то уж очень смешное, а потому, что все сейчас испытывали нетерпеливое волнение, знали задачу и видели перед собой человека, который брал на себя самое трудное — принимать решения за всех.

— У кого нет винтовок, вооружиться лопатами, камнями, палками — всем, чем можно проломить фашисту голову.

— Она у него в каске! — опять крикнул круглоголовый: он числился ротным шутником.

— Значит, бей сильнее! — улыбнулся замполитрук. — Бей, как хороший хозяин грабителя бьет. Пять минут на сбор оружия. В атаку идти всем. Кто останется — дезертир... — тут он замолчал, заметив Плужникова. И спросил: — Какого полка, товарищ лейтенант?

— Я в списках не значусь. Вот командировочное...

— Документы потом. Полковой комиссар приказал мне лично возглавить атаку.

— Конечно, конечно! — торопливо согласился Плужников. — Я — в вашем полном распоряжении...

— Возьмите на себя окна, — подумав, сказал замполитрук. — Десять человек — в распоряжение лейтенанта!

Из толпы вразнобой вышли десятеро: оба пограничника, хмурый приписник, ротный острослов, сержант с забинтованной головой, молоденький боец в трусах и майке с расцарапанной щекой, еще кто-то, кого Плужников не успел приметить. Они молча стояли перед ним, ожидая указаний или распоряжений, а он не знал, что им сказать. Старший пограничник держал на плече дегтять, будто дубину: ствол еще не остыл, и пограничник все время перебирал по нему пальцами, словно играл на дудке. Сержант курил сигарку, а приписник, жадно поглядывая, шептал:

— Оставь маленько, товарищ сержант. Разок, а?

— Значит, окна, — сказал Плужников. — Там стекла?

— Стекла все повывлетали, — сказал сержант и дал приписнику окурок. — Тебя как зовут-то?

— Фамилия — Прижнюк, — сказал тот, жадно затягиваясь.

— Эх, гранатку бы! — вздохнул смуглый пограничник.

— Да, вооружиться всем, — спохватился Плужников. — Ну, кто что найдет. Только быстро.

Солдаты разошлись, остались только пограничники, потому что у старшего был дегтять, а младший уже раздобыл где-то старый кавалерийский клинок.

— Не думал, не гадал, — усмехнулся старший. — Меня сегодня Ленка ждет. В семь вечера, представляешь?

— Никуда Ленка не денется, — сказал второй. — Еще нацелуешься.

— Вопрос — когда...

Постепенно подходили бойцы, вооруженные кто саперной лопаткой, а кто и выломанным из ограды железным прутот. Винтовка, которая досталась Плужникову после убитого, тоже была без штыка, но он вспомнил о пистолете и отдал винтовку бойцу с расцарапанной щекой.

— Не надо, — сказал боец и показал саперную лопатку. — Я ее на камне наточил — может, автомат добуду.

— Без штанов, а тоже — автомат, — сказал старший пограничник. — Голову сбереги, и то ладно.

Винтовку взял Прижнюк. Повертел ее в руках, как дубину, проворчал:

— Годится.

— Как окна поделим? — спросил пограничник с пулеметом. — Мое первое или ваше?

— Первое — мое, — торопливо сказал Плужников, потому что внутренне был убежден, что первое — число счастливое. — Мое первое...

— Готовы? — крикнул замполитрук. — Как только наши откроют огонь, я дам команду.

Прошло еще несколько томительных, как часы, минут. Плужников стоял за углом горящего здания, покашливая от дыма. Ладони потели, он то и дело перекадывал пистолет из руки в руку и вытирал их о гимнастерку. За плечом жарко и нетерпеливо дышал пограничник с пулеметом.

— Ну, чего тянут?

— Тихо, — сказал Плужников. — Обычная атака...

Атака была настоящей, и ему стало неудобно за мальчишеские слова. Но никто сейчас уже не обращал внимания ни на слова, ни на никому не известного лейтенанта. Слышалось только учащенное дыхание, редкое позвякивание железа, рев пламени за кирпичной стеной да частая стрельба по всему периметру кольцевых казарм. И еще — гул сражения в Бресте. Гул, который Плужников слушал почти с восторгом: там был свои, там громили немцев, оттуда должна была вот-вот прийти помощь.

Как ни ловил Плужников близких выстрелов, а застали они его врасплох, и он инстинктивно рванулся из-за угла, но пограничник схватил его за плечо, потому что команды еще не было. Плужников выглянул, увидел частые вспышки выстрелов из окон казарм, ве-

ера ответных очередей из костела, и в этот миг замполитрук закричал сорвавшимся голосом:

— Вперед! За Родину!..

— Вперед! — закричал Плужников, бросаясь к ограде.

Он бежал, не видя дороги и крича «ура!», пока хватало сил. «Ура!» получалось коротким, но он вновь глотал воздух широко разинутым ртом и вновь выдыхал его в тягучем крике. Пули свистели над головой, взбивали пыль у ног, резали еще уцелевший кустарник, но он одним из первых добежал до стены костела и прижался к ней, потому что из окна били и били частые очереди. Где-то рядом кричали сорванными, напряженными голосами, что-то звенело, и не переставая вспарывали воздух автоматные очереди.

— Окно! — крикнул пограничник. — Окно, мать вашу!..

Оттолкнув Плужникова, он бросился к оконному проему, тонко, по-мальчишечьи взвизгнул и упал грудью на подоконник. Плужников дважды выстрелил в оскаленный вспышками сумрак костела, прыгнул на мокрую вздрагивающую спину пограничника и, перекатившись через него, свалился на кирпичный пол. По волосам обжигающе ударило очередью, он выстрелил еще раз и на четвереньках побежал к стене. Рядом упал кто-то из бойцов, что тоже прыгал через мертвого пограничника, Плужникова больно ударили по голове сапогом, но он сумел вскочить и прижаться спиной к кирпичам.

Со света казалось, что в костеле темно. В сумраке и кирпичной пыли, хрипя и яростно матерясь, дрались в рукопашную, ломали друг другу спины, душили, рвали зубами, выдавливали глаза, раздирали рты, кромали ножами, били лопатами, кирпичами, прикладами. Кто плакал, кто кричал, кто стонал, а кто ругался, разобратить уже было невозможно. Плужников видел только широко оскаленные рты и слышал только протяжный звериный рев.

Все это пронеслось перед ним в мгновение, как ментальная фотография, потому что в следующее мгновение он оторвался от стены и кинулся в глубину, где еще вспыхивали короткие веера очередей. Он не решался стрелять издалека, потому что между ним и вспышками то появлялись, то исчезали фигуры. Он оттолкнул кого-то, кажется, своего, выстрелил в близкое, ощу-

ренное чужое лицо, споткнулся, упал на клубок тел, катавшихся по полу, бил тяжелым ТТ по стриженому затылку, и затылок этот дергался все медленнее, все безвольнее, а когда совсем перестал дергаться, самого Плужникова с такой силой ударили по голове, что на какое-то время он потерял сознание и суеулся лицом в раздробленный им же самим немецкий недавно подстриженный затылок.

Очнувшись, он не нащупал пистолета, а встать не смог и опять на четвереньках пополз к стене, размазывая по лицу чужую кровь. Голова не хотела держаться прямо, клонилась, и он уговаривал себя не терять сознания, смутно соображая, что растопчут. Он почти добрался до стены, как кто-то схватил его за сапог и потащил назад, под ноги надсадно хрипящих солдат. Он извернулся, увидел широкое, залитое кровью лицо, остро торчащие остатки зубов в раздробленной челюсти, кровавую слюну, распухший, вывалившийся язык и закричал. Он кричал тонко, визгливо, а немец, улыбаясь мертвой улыбкой, все волок его к себе и волок, и Плужников вдруг с поразительной ясностью понял, что это — смерть, и сразу вспотел, и продолжал визжать, а немец все тащил его и тащил, медленно и неуклонно, как во сне. И совсем как во сне у Плужникова не было сил, а был только липкий, черный, лишаящий рассудка страх.

Кто-то упал на него и пополз от головы к ногам, к немцу, упираясь босой ногой в подбородок лейтенанта. И Плужников почувствовал, как немец отпустил его ногу и как странно подпрыгивает на его животе полуголый маленький боец. Это было больно, но уже не страшно, и Плужников кое-как вылез из-под бойца и увидел, что боец этот — с расцарапанной щекой, — стоя на коленях, бьет и бьет полотном саперной лопатки по шее немца и что лопатка эта с каждым ударом все глубже и глубже входит в тело, и немец судорожно корчится на полу.

Бой кончился, затихли последние стоны, последние крики и последняя ругань: немцы, не выдержав, бежали из костела, а кто не смог убежать, доходил сейчас на окровавленном кирпичном полу.

— Вы живой, товарищ лейтенант? А я лопаткой его, лопаткой! Хак! Хак! Как мамане телушку!

Плужников сидел у стены, с трудом приходя в себя. Ломило голову, тошнота волнами подступала к горлу,



и он все время глотал, а слюны не было, и сухие колючие спазмы сжимали гортань. Он понимал, что бой закончился, что сам он уцелел и, кажется, даже не ранен, но не испытывал сейчас ничего, кроме тошноты и усталости. А маленький боец говорил и говорил, захлебываясь от восторга:

— Я ему жилу перерубил. Жилу подрезал, как телку. Тут, на шее, место такое...

— Пистолет,— с трудом сказал Плужников: ему было неприятно это восторженное оживление.— Пистолет мой...

— Найдем! А меня и не зацепил никто. Я верткий. Я, знаешь...

— Мой пистолет,— упрямо повторил Плужников.— Он в удостоверении записан. Личное оружие.

— А я автомат раздобыл! А пограничник говорил: без штанов, мол. А сам — убитый, а я — с автоматом.

— Лейтенант! — позвали откуда-то из глубины забитого пылью костела.— Лейтенант живой, никто не видал?

— Живой я.— Плужников поднялся, шагнул и сел на пол.— Голова только. Сейчас пройдет.

Он поискал, на что можно опереться, и нащупал немецкий автомат. Поднял, с усилием передернул затвор — выпал тускло блеснувший патрон. Плужников поставил автомат на предохранитель, оперся на него и кое-как встал на ноги.

К нему шел черноволосый замполитрук. Гимнастерки на замполитруке не было, белая, залитая кровью рубашка была надета поверх свежих бинтов.

— Ранило вас? — спросил Плужников.

— Немец спину кинжалом порезал,— сказал черноволосый.— Вам тоже досталось?

— Прикладом по голове, что ли. Или душили. Не помню.

— Глотните,— замполитрук претянул фляжку.— Бойцы с убитого немца сняли.

Непослушными пальцами Плужников отвинтил пробку, глотнул. Теплая вонючая водка перехватила дыхание, и он тотчас же вернул фляжку.

— Водка.

— Хороши вояки? — спросил замполитрук, вешая фляжку на брючный пояс.— Полковому комиссару покажу. Кстати, как мне доложить о вас?

Плужников показал документы. Замполитрук внимательно просмотрел их, вернул:

— Вам придется остаться здесь. Комиссар сказал, что костел — ключ обороны цитадели. Я пришлю станковый пулемет.

— И воды. Пожалуйста, пришлите воды.

— Не обещаю: вода нужна пулеметам, а до берега не доберешься. — Замполитрук оглянулся, увидел молоденького бойца с расцарапанной щекой. — Товарищ боец, соберите все фляжки и лично сдайте их лейтенанту.

— Есть собрать фляжки.

— Минуточку. И оденьтесь: в трусах воевать не очень удобно.

— Есть.

Боец бегом кинулся выполнять приказания: сил у него хватало. А замполитрук сказал Плужникову:

— Воду берегите. И прикажите всем надеть каски: немецкие, наши — какие найдут.

— Хорошо. Это правильно: осколки.

— Кирпичи страшней, — улыбнулся замполитрук. — Ну, счастливо, товарищ лейтенант. Раненых мы заберем.

Замполитрук пожал руку и ушел, а Плужников тут же сел на пол, потому что в голове опять все поплыло: и костел, и замполитрук с изрезанной ножом спиной, и убитые на полу. Он качнулся, закрыл глаза, мягко повалился на бок и вдруг ясно-ясно увидел широкое лицо, оскал изломанных зубов и кровавые слюны, капаящие из раздробленной челюсти.

— Черт возьми!

Огромным усилием он заставил себя сесть и вновь открыть глаза. Все по-прежнему дрожало и плыло, но в этой неверной зыби он все-таки выделил знакомого бойца: тот шел к нему, брякая фляжками.

«А все-таки я — смелый, — подумал вдруг Плужников. — Я ходил в настоящую атаку и, кажется, кого-то убил. Есть что рассказать Вале...»

— Вроде две с водой. — Боец протянул фляжку.

Плужников пил долго и медленно, смакуя каждый глоток. Он помнил о совете замполитрука беречь воду, но оторваться от фляжки не смог и отдал ее, когда осталось на доньшке.

— Вы два раза мне жизнь спасли. Как ваша фамилия?

— Сальников я.— Молоденький боец засмущался.— Сальников Петр. У нас вся деревня — Сальниковы.

— Я доложу о вас командованию, товарищ Сальников.

Сальников был уже одет в гимнастерку с чужого плеча, широченные галифе и короткие немецкие сапоги. Все это было ему велико, висело мешком, но он не унывал:

— Не в складе ведь.

— С погибших? — безразлично спросил Плужников.

— Они не обидятся!

Голова почти перестала кружиться, осталась только тошнота и противная слабость. Плужников поднялся, с горечью обнаружил, что гимнастерка его залита кровью, а воротник разорван. Он кое-как оправил ее, подтянул портупею и, повесив на грудь трофейный автомат, пошел к дверному пролому.

Здесь толпились бойцы, обсуждая подробности боя. Хмурый приписник и круглоголовый остряк были легко ранены, сержант в порывевшей от засохшей крови рубашке сидел на обломках и курил, усмехаясь, но не поддерживая разговора.

— Досталось вам, товарищ лейтенант?

— На то и бой,— строго сказал Плужников.

— Бой — для победы,— усмехнулся сержант.— А досталось тем, кто без цели бежал. Я в финской участвовал и знаю, что говорю. В рукопашной нельзя кого ни попадя, кто под руку подвернулся. Тут, когда еще на сближение идешь, надо цель выбрать. Того, с кем сцепишься. Ну, по силам, конечно. Приглядел — и рвись прямо к нему, не отвлекаясь. Тогда и шишек будет поменьше.

— Пустые разговоры,— сердито сказал Плужников: сержант сейчас очень напомнил ему училищного старшину и этим не понравился.— Надо оружие собирать...

— Собрано уже,— опять усмехнулся сержант.— Долго отдыхали...

— Воздух! — крикнул круглоголовый боец.— Штук двадцать бомбовозов!

— Ховайтесь, хлопцы,— сказал сержант, старательно притушив окурок.— Сейчас дадут нам жизни,

— Наблюдателю остаться! — крикнул Плужников,

приглядываясь, куда бы спрятаться.— Они могут снова...

— Станкач волокут! — снова закричал тот же боец.— Сюда.

— Каски! — вспомнил Плужников.— Каски надеть всем!..

Нарастающий свист первых бомб заглушил слова. Рвануло где-то близко, с потолка посыпалась штукатурка, и горячая волна подняла с пола кирпичную пыль. Схватив чью-то каску, Плужников метнулся к стене, присел. Бойцы побежали в глубину костела, а Сальников, покрутившись, сунулся в тесную нишу рядом с Плужниковым, лихорадочно натягивая на голову тесную немецкую каску. Вокруг все грохотало и качалось.

— В укрытие! — кричал Плужников сержанту, все еще лежавшему у дверного пролома.— В укрытие, слышите?..

Удушливая волна ударила в разинутый рот, Плужников мучительно закашлялся, протер запорошенные пылью глаза. От взрывов тяжело вздрагивала земля, ходуном ходили толстые стены костела.

— Сержант!.. Сержант, в укрытие!..

— Пулемет!.. — насадно прокричал сержант.— Пулемет бросили! От дурни!..

Пригнувшись, он бросился из костела под бомбежку.

Плужников хотел закричать, и снова тугая вонючая волна горячего воздуха перехватила дыхание. Задышавшись, он осторожно выглянул.

Низко пригнувшись, сержант бежал среди взрывов и пыли. Грудью падал в воронки, на миг скрываясь, выныривал и снова бежал. Плужников видел, как он добрался до лежащего на боку станкового пулемета, как стащил его вниз, в воронку, но тут вновь где-то совсем близко разорвалась бомба. Плужников поспешно присел, а когда отзвенели осколки, выглянул снова, но уже ничего не мог разобрать в сплошной завесе дыма и пыли.

— Накрыло! — кричал Сальников, и Плужников скорее угадывал, чем слышал его слова.— По нем жакнуло! Одни пуговицы остались!..

Новая серия бомб просвистела над головой, ударила, качнув могучие стены костела. Плужников упал на пол, скорчился, зажимая уши. Протяжный свист и гро-

хот тяжело давили на плечи, рядом вздрагивал Сальников.

Вдруг стало тихо, только медленно рассасывался противный звон в ушах. Тяжело ревели моторы низко круживших бомбардировщиков, но ни взрывов, ни надсаживающего душу свиста бомб больше не слышалось. Плужников поправил сползающую на лоб каску и осторожно выглянул.

Сквозь дым и пыль кровавым пятном просвечивало солнце. И больше Плужников ничего не увидел, даже контуров ближних зданий. Рядом, толкаясь, пристраивался Сальников.

— Повзрывали все, что ли?

— Все взорвать не могли. — Плужников тряс головой, чтобы унять застрявший в ушах звон. — Долго бомбили, не знаешь?

— Долго, — сказал Сальников. — Бомбят всегда долго. Смотрите — сержант!

В тяжелой завесе дыма и пыли показался сержант: он катил пулемет. За ним бежал боец, волоча коробки с лентами.

— Целы? — спросил Плужников, когда сержант, тяжело дыша, вкатил пулемет в костел.

— Мы-то целы, — сказал сержант. — А одного дурня убило. Разве ж можно — под бомбами...

— Хороший был пулеметчик, — вздохнул боец, что нес ленты.

— Товарищ лейтенант! — гулко окликнули из глубины. — Тут гражданские!

К ним шли бойцы, и среди них — три женщины. Молодая была в белом, сильно испачканном кирпичной пылью лифчике, и Плужников, нахмурившись, сразу отвел глаза.

— Кто такие? Откуда?

— Здесьние мы, здесьние, — торопливо закивала старшая. — Как стрелять начали, так мы сюда.

— Они говорят, немцы в подвалах, — сказал смуглый пограничник — тот, что был вторым номером ручного пулемета. — Вроде мимо них пробежали. Надо бы подвалы осмотреть, а?

— Правильно, — согласился Плужников и посмотрел на сержанта, что стоял на коленях возле станкового пулемета.

— Ступайте, — сказал сержант, не оглядываясь. — Мне пулеметик почистить треба.

— Ага.— Плужников потоптался, добавил неуверенно: — Остаются тут за меня.

— Вы в темноту-то не очень суйтесь,— сказал сержант.— Шуруйте гранатами.

— Взять гранаты.— Плужников поднял лежавшую у стены ручную гранату с непривычно длинной ручкой.— Шесть человек — за мной.

Бойцы молча разобрали сложенные у стены гранаты. Плужников снова покосился на женщину в испачканном лифчике, снова отвел глаза и сказал:

— Укройтесь чем-нибудь. Сквозняк.

Женщины смотрели испуганными глазами и молчали. Круглоголовый остряк сказал:

— Там на столе — скатерка красная. Может, дать ей?

И побежал за скатеркой, не дожидаясь приказа.

— Ведите в подвалы,— сказал Плужников пограничнику.

Лестница была темной, узкой и настолько крутой, что Плужников то и дело оступался, всякий раз хватаясь за плечи идущего впереди пограничника. Пограничник недовольно поводил плечами, но молчал.

С каждым шагом все тише доносился и рев немецких бомбардировщиков, и частые выстрелы, что начались сразу после бомбежки в районе Тереспольских ворот. И чем тише звучали эти далекие шумы, тем все отчетливее и звонче делался грохот их сапог.

— Шумим больно,— тихо сказал Сальников.— А они как жажнут на шум...

— Тут они и сидели, женщины эти,— сказал пограничник, останавливаясь.— Дальше я не ходил.

— Тише,— сказал Плужников.— Послушаем.

Все замерли, придерживав дыхание. Где-то далеко-далеко звучали выстрелы, и звуки их были здесь совсем не страшными, как в кино. Глаза постепенно привыкали к мраку — медленно прорисовывались темные своды, черные провалы ведущих куда-то коридоров, светлые пятна отдушин под самым потолком.

— Сколько тут проходов? — шепотом спросил Плужников.

— Вроде три.

— Идите прямо. Еще двое — левым коридором, я — правым. Один боец останется у выхода. Сальников, за мной.

Плужников с бойцом долго бродили по сводчатому, бесконечному подвалу. Останавливались, слушали, но ничего не было слышно, кроме собственного учащенного дыхания.

— Интересно, есть здесь крысы? — как можно проще, чтобы боец не заподозрил, что он их побаивается, спросил Плужников.

— Наверняка, — шепотом сказал Сальников. — Буюсь я темноты, товарищ лейтенант.

Плужников и сам пугался темноты, но признаться в этом не решался даже самому себе. Это был непонятный страх: не перед внезапной встречей с хорошо укрытым врагом и не перед неожиданной очередью из мрака. Просто в темноте ему все время мерещились непонятные ужасы вроде крыс, гигантских пауков и хрустящих под ногами скелетов, бродил он впотьмах с огромным внутренним напряжением и поэтому, пройдя еще немного, не без облегчения решил:

— Показалось им. Возвращаемся.

Круглоголовый у лестницы доложил, что одна группа уже поднялась наверх, никого не обнаружив, а пограничник еще не вернулся.

— Скажите, чтобы выходили.

Чем выше он поднимался, тем все отчетливее слышались взрывы. Перед самым входом стояли женщины: наверху опять бомбили.

Плужников переждал бомбежку. Когда взрывы стали затихать, снизу поднялись бойцы.

— Ход там какой-то, — сказал пограничник. — Темень — жуткое дело.

— Немцев не видели?

— Я же говорю: темень. Гранату туда швырнул: вроде никто не закричал.

— Показалось бабам с испугу, — сказал круглоголовый.

— Женщинам, — строго поправил Плужников. — Баб на свете нет, запомните это.

Резко застучал станковый пулемет у входа. Плужников бросился вперед.

Полуголый сержант строчил из пулемета, рядом лежал боец, подавая ленту. Пули сшибали кирпичную крошку, поднимали пыль перед пулеметным стволом, цокали в щит. Плужников упал подле, подполз.

— Немцы?

— Окна! — ощерясь, кричал сержант. — Держи окна!..

Плужников бросился назад. Бойцы уже расположились перед окнами, и ему досталось то, через которое он прыгал в костел. Мертвый пограничник свешивался поперек подоконника, голова его уперлась Плужникову в живот, когда он выглянул из окна.

Серо-зеленые фигуры бежали к костелу, прижав автоматы к животам и стреляя на бегу. Плужников, торопясь, сбросил предохранитель, дал длинную очередь — автомат забился в руках, как живой, задираясь в небо.

«Задирает, — сообразил он. — Надо короче. Короче».

Он стрелял и стрелял, а фигуры все бежали и бежали, и ему казалось, что они бегут прямо на него. Пули били в кирпичи, в мертвого пограничника, и загустевшая чужая кровь брызгала в лицо. Но утереться было некогда — он размазал эту кровь, только когда отвалился за стену, чтобы перезарядить автомат.

А потом все стихло, и немцы больше не бежали. Но он не успел оглянуться, не успел спросить, как там, у входа, и есть ли еще патроны, как опять тяжело загудело небо и надсадный свист бомб разорвал продымленный и пропыленный воздух.

Так прошел день. При бомбежках Плужников уже никуда не бегал, а ложился тут же, у сводчатого окна, и мертвая голова пограничника раскачивалась над ним после каждого взрыва. А когда бомбежка кончалась, Плужников поднимался и стрелял по бегущим на него фигурам. Он уже не чувствовал ни страха, ни времени: звенело в заложенных ушах, муторно першило в пересохшем горле и с непривычки сводило руки от бьющегося немецкого автомата.

И только когда стемнело, стало тихо. Немцы отбомбились в последний раз, «юнкеры» с ревом пронеслись в прощальном круге над горящими задымленными развалинами, и никто больше не бежал к костелу. На изрытом взрывами дворе валялись серо-зеленые фигуры: двое еще шевелились, еще куда-то ползли в пыли, но Плужников не стал по ним стрелять. Это были раненые, и воинская честь не допускала их убийства. Он смотрел, как они ползут, как подгибаются у них руки, и спокойно удивлялся, что нет в нем ни сочувствия, ни даже любопытства. Ничего нет, кроме тупой, безнадежной усталости.

Хотелось просто лечь на пол и закрыть глаза. Хоть на минуту. Но он не мог позволить себе даже этой минуты: надо было узнать, сколько их осталось в жи-



вых, и где-то раздобыть патроны. Он поставил автомат на предохранитель и, пошатываясь, побрел к входному проему.

— Живы? — спросил сержант: он сидел у стены, вытянув ноги. — Это хорошо. А патронов больше нет.

— Сколько людей? — спросил Плужников, тяжело опустившись рядом.

— Целехоньких — пятеро, раненых — двое. Один вроде в грудь.

— А пограничник?

— Друга, сказал, пойдет хоронить.

Медленно подходили бойцы: почерневшие, при- тихшие, с ввалившимися глазами. Сальников потянул- ся к фляжкам:

— Горит все.

— Оставь, — сказал сержант. — В пулемет.

— Так патронов нет.

— Достанем.

Сальников сел рядом с Плужниковым, облизал су- хие, запекшиеся губы:

— А если я к Бугу сбегаю?

— Не сбегаешь, — сказал сержант. — Немцы отсеки у Тереспольских ворот заняли.

Подошел пограничник. Молча сел у стены, молча взял протянутый сержантом окурки.

— Схоронил?

— Схоронил, — вздохнул пограничник. — И никто не узнает, где могила моя.

Все молчали, и молчание это было тяжелым, как свинец. Плужников подумал, что нужны патроны, вода, связь с командованием крепости, но подумал как- то отрешенно — просто отметил про себя. А сказал сов- сем другое:

— Что-то наши запаздывают.

— Кто? — спросил пограничник.

— Ну, армия. Есть же здесь наша армия?

Ему никто не ответил. Только потом сержант ска- зал:

— Может, ночью прорвутся. Или, скорее всего, к утру.

И все молчаливо согласились, что армейские части прорвутся к ним на выручку именно к утру. Все-таки это был какой-то временной рубеж, грань между ночью и днем, срок, которого хотелось ждать и которого так нетерпеливо ждали.

— Патроны. — Плужников заставил себя говорить. — Где можно достать патронов? Кто знает склад?

— В казарме знаю, — сказал сержант. — Все равно туда идти надо: говорят, в восемьдесят четвертом полку есть комиссар.

— Спросите у него указаний, — с надеждой сказал Плужников. — И насчет патронов, конечно.

— Это само собой, — сказал сержант, тяжело поднимаясь. — Идем со мной, Прижнюк.

Грохнул где-то взрыв, ударила автоматная очередь. Сержант и приписник растаяли в пыльном сумраке.

— Воды надо, — маясь и все время облизывая губы, вздохнул Сальников. — Ну, позвольте попробовать к Бугу пробраться, товарищ лейтенант. Или — к Мухавцу.

— Далеко это?

— По прямой — рядом, — усмехнулся пограничник. — Только по прямой теперь не побегаешь. А вода нужна.

— Ну, попробуйте. — Плужников вдруг подумал, что никакой он не командир, что все вопросы за него решает либо сержант, либо этот смуглый пограничник, но подумал спокойно, потому что обижаться или расстраиваться означало тратить силы, которых не было. — Только, пожалуйста, осторожнее.

— Есть! — оживился Сальников. — Может, я немецкую воду выпью, а в их посуду наберу?

— А если не наберешь? — спросил круглоголовый шутник, легко раненный в предплечье.

— Возьмите пустые фляжки. Водку вылить.

— Не всю, — сказал пограничник. — Одну оставь раны обрабатывать. И не бренчи там.

— Не брякну, — заверил Сальников, цепляя на пояс фляжки. — Ну, пошел я, а? Пить больно хочется.

И он исчез, растворившись среди воронок. Немцы лениво постреливали из орудий — редко бухали взрывы.

— Видать, чай немец пьет, — сказал круглоголовый боец. — А вчера еще кино показывали. Вот смехота-то.

Непонятно было, то ли он говорил про вчерашнюю кинокартину, которую смотрел в этом же костеле, то ли про немцев, которые, по его мнению, пили сейчас чай, но всем стало вдруг больно оттого, что вчера уже прошло, а завтра снова начнется война. И Плужникову тоже стало больно, но он прогнал все воспоминания, что лезли в голову, и заставил себя встать,

— Надо бы убитых куда-нибудь, а? В угол, что ли.

— Надо немцев пощупать,— сказал пограничник.— Как, товарищ лейтенант?

Плужников понимал, что ему не следует уходить из костела, но мальчишеское любопытство вновь шевельнулось в нем. Захотелось вблизи своими глазами увидеть тех, кто бежал на его очереди и кто лежал сейчас в пыли перед костелом. Увидеть, запомнить, а потом рассказать Вале, Верочке и маме.

— Пойдемте вместе.

Он перезарядил автомат и с сильно забившимся сердцем выскользнул вслед за пограничником на изрытый крепостной двор.

Пыль еще не успела осесть, щекотала ноздри, мешала смотреть. Мелкая, как прах, забивалась под веки, вызывая зуд, и Плужников все время моргал и часто тер руками слезящиеся глаза.

— Автоматы не берите,— шептал пограничник.— Рожки берите да гранаты.

Убитых было много. Сначала Плужников старался не касаться их, ворочал за ремни, но вскоре привык. Он уже набил полную пазуху автоматными обоймами, напихал в карманы гранат. Пора было возвращаться, но его неудержимо тянуло к каждому следующему убитому, точно именно у него он мог найти что-то очень нужное, прямо-таки необходимое позарез. Он уже терпелся к тошнотворному запаху взрывчатки, перемазался в чужой крови, что так щедро лилась сегодня на эту пыльную развороченную землю.

— Офицер,— чуть слышно сказал пограничник.— Документы захватить?

— Захватите...

Совсем рядом послышался стон, и он сразу приоткрыл рот. Стон повторился — протяжный, мучительно болезненный. Плужников привстал, всматриваясь.

— Куда?

— Раненый.

Он подался вперед, и тотчас же по глазам ослепительно ударила вспышка, и пуля резко щелкнула по каске. Плужников ничком упал на землю, в ужасе щупая глаза: ему показалось, что они вытекли, потому что он сразу перестал видеть.

— А, гад!

Оттолкнув Плужникова, пограничник скатился в воронку. Донеслись тяжелые, жутко гложущие

в живом теле удары, нечеловеческий, сорвавшийся в хрип выкрик.

— Не смейте! — крикнул Плужников, с трудом разлепив залитые слезами глаза.

Перед затуманенным взглядом возникло потное, дергающееся лицо.

— Не сметь?.. Дружка моего кончили — не сметь? В тебя пальнули — тоже не сметь? Сопля ты, лейтенант: они нас весь день мордуют, а мы — не сметь?..

Он неуклюже перевалился к Плужникову. Помолчал, тяжело дыша.

— Кончил я его. Не ранило?

— В каску и — рикошет. До сих пор звенит.

— Идти можешь?

— Круги перед глазами.

Близко раздался взрыв. Оба влипли в землю, по плечам застучал песок.

— На крик бьет, что ли?

Опять взревел снаряд, они еще раз приникли, а потом вскочили и побежали к костелу. Пограничник впереди, Плужников сквозь слезы с трудом угадывал его спину. Нестерпимо жгло глаза.

Сержант уже вернулся. Вместе с Прижнюком они принесли четыре цинки с патронами и теперь набивали ленты. Ночью приказано было собрать оружие, наладить связь, перевести женщин и детей в глубокие подвалы.

— Наши бабы в казармы триста тридцать третьего полка перебежали, — сказал сержант.

Плужников хотел сделать замечание насчет баб, но воздержался. Спросил только:

— Нам конкретно что приказано?

— Наше дело ясное — костел. Обещали людей при-  
слать. После проверки.

— Из города ничего не слышно? — спросил кругло-  
головый боец. — Будет помощь?

— Ждут, — лаконично ответил сержант.

По тому, как он это сказал, Плужников понял, что комиссар из 84-го полка никакой помощи не ждет. У него сразу ослабели колени, заныло в низу живота, и он сел, где стоял, — на пол, рядом с сержантом.

— Пожуй хлеба. — Сержант достал ломоть. — Хлебец мысли оттягивает, товарищ лейтенант.

Есть Плужникову не хотелось, но он машинально взял хлеб, машинально начал жевать. Последний раз

он ел в ресторане... Нет, перед самым началом он пил чай в каком-то складе вместе с хромоножкой. И склад, и тех двух женщин, и хромоножку, и бойцов — всех засыпало первым залпом. Где-то совсем рядом, совсем недалеко от костела. А ему повезло, он выскочил. Ему повезло...

Вернулся Сальников, увешанный фляжками, как новогодняя елка. Сказал радостно:

— Напился вволюшку. Налетайте, ребята.

— Сперва пулемету, — сказал сержант.

Он аккуратно, стараясь не ронять капель, долил водой пулеметный кожух, сказал Плужникову, что напиваться «от пуза» надо бы запретить. Плужников равнодушно согласился, сержант лично выделил каждому по три глотка и бережно упрятал фляжки.

— Жахают там, страшное дело! — с удовольствием рассказывал Сальников. — Ракету пустят и — жах! Жах! Многих поубивало.

После рукопашного боя и удачной вылазки за водой страх его окончательно прошел. Он был сейчас оживлен, даже весел, и Плужникова это злило.

— Сходите к соседям, — сказал он. — Доложите, что костел мы держим. Может, патронов дадут.

— Гранат, — сказал пограничник. — Немецкие — дерьмо.

— И гранат, конечно.

Через час пришли десять бойцов. Плужников хотел проинструктировать их, расставить возле окон, договориться о сигналах, но из обожженных глаз продолжали течь слезы, сил не было, и он попросил пограничника. А сам на минуту прилег на пол и заснул, как провалился.

Так кончился первый день его войны, и он, скорчившись на грязном полу костела, не знал и не мог знать, сколько их будет впереди. И бойцы, вповалку спавшие рядом и дежурившие у входа, тоже не знали и не могли знать, сколько дней отпущено каждому из них. Они жили единой жизнью, но смерть у каждого была своя.

## 2

Смерть у каждого была своя, и на следующий день первым узнал об этом круглоголовый ротный весельчак, легко раненный в руку. Он потерял много крови,

его все время клонило ко сну, и чтобы никто не мешал выспаться, он забрался подальше, к входу в подвалы.

Рассвет оборвался артиллерийской канонадой. Вновь застонала земля, закачались стены костела, посыпалась штукатурка, битые кирпичи. Сержант втащил пулемет под своды, все забились в углы.

Обстрел еще не кончился, когда над крепостью появились бомбардировщики. Свист бомб рвал тяжелую пыль, взрывы сотрясали костел. Плужников лежал в оконной нише, зажав уши. В широко разинутый рот било горячей пылью. Он не расслышал, он почувствовал крик. Истощенный, нечеловеческий крик, прорвавшийся сквозь вой, свист и грохот. Оглянувшись — в пыльном сумраке бежал круглоголовый:

— Немцы-и-и!..

Пронзительный выдох оборвался автоматной очередью, коротко и раскатисто прогремевшей под сводами. Плужников увидел, как круглоголовый с разбегу упал лицом на камни, как в пыли замерцали вспышки, и тоже закричал:

— Немцы-и-и!..

Невидимые за пылью автоматчики в упор били по лежавшим бойцам. Кто-то кричал, кто-то метнулся к выходу прямо под бомбежку, кто-то, сообразив, уже стрелял в непроницаемую глубину костела. Автоматные пули крошили кирпич, чиркали об пол, свистели над головой, а Плужников, зажав уши, все еще лежал под стеной, придавив телом собственный автомат.

— Бежим!..

Кто-то — кажется, Сальников — тряс за плечо:

— Бежим, товарищ лейтенант!..

Вслед за Сальниковым Плужников выпрыгнул в окно, упал, на карачках перебежал в воронку, глотая пыль широко разинутым ртом. Самолеты низко кружили над крепостью, расстреливая из пулеметов все живое. Из костела доносились автоматные очереди, крики, взрывы гранат.

— В подвал надо! — кричал Сальников. — В подвал!..

Плужников смутно соображал, что нельзя бегать под обстрелом, но страх перед автоматчиками, что громили сейчас его бойцов в задымленном костеле, был так велик, что он вскочил и помчался за юрким Сальниковым. Падал, полз по песку, глотал пыль и воню-

чий, еще не растаявший в воронках дым и снова бежал.

Он не помнил, как добрался до черной дыры, как ввалился внутрь. Пришел в себя уже на полу — двое бойцов в драных гимнастерках трясли за плечи:

— Командир пришел, слышите? Командир!

Напротив стоял коренастый темноволосый старший лейтенант с орденом на пропыленной, в потных потехах гимнастерке. Плужников с трудом поднялся, доложил, кто он и каким образом здесь очутился.

— Значит, немцы заняли клуб?

— С тыла, товарищ старший лейтенант. Они в подвалах прятались, что ли. А тут во время бомбежки...

— Почему не осмотрели подвалы вчера? Ваш связной, — старший лейтенант кивнул на Сальникова, замершего у стены, — доложил, что вы закрепились в костеле.

Плужников промолчал. Безотчетный страх уже оставил его, и теперь он ясно сознавал, что нарушил свой долг, что, поддавшись панике, бросил бойцов и трусливо бежал с позиции, которую было приказано держать во что бы то ни стало. Он вдруг перестал слышать старшего лейтенанта: его бросило в жар.

— Виноват.

— Это не вина, это — преступление, — жестко скавал старший лейтенант. — Я обязан расстрелять вас, но у меня мало боеприпасов.

— Я искуплю. — Плужников хотел сказать громко, но дыхание перехватило, и сказал он шепотом: — Я искуплю.

Внезапно все прекратилось: грохот разрывов, снарядный вой, пулеметная трескотня. Еще били где-то одиночные винтовки, еще трещало пламя на верхних этажах дома, но бой затих, и тишина эта была пугающая и непонятная.

— Может, наши подходят? — неуверенно спросил боец. — Может, кончилось?..

— Хитрят, сволочи, — сказал старший лейтенант. — Усилить наблюдение!

Боец убежал. Все молчали, и в этом молчании Плужников расслышал тихий плач ребенка и мягкие голоса женщин где-то в глубинах подвала.

— Я искуплю, товарищ старший лейтенант, — поспешно повторил он. — Я сейчас же...

Глухой, усиленный репродукторами голос заглушил

его слова. Голос — нерусский, старательно выговаривающий слова — звучал где-то снаружи, над задымленными развалинами, но в плотном воздухе разносился далеко, и его слышали сейчас во всех подвалах и казематах.

— Немецкое командование предлагает прекратить бессмысленное сопротивление. Крепость окружена, Красная Армия разгромлена, доблестные немецкие войска штурмуют столицу Белоруссии город Минск. Ваше сопротивление потеряло всякий тактический смысл. Даем час на размышление. В случае отказа все вы будете уничтожены, а крепость сметена с лица земли.

Глухой голос дважды повторил обращение. Дважды, размеренно и четко выговаривая каждое слово. И все в подвале, замерев, слушали этот голос и дружно вздохнули, когда он замолк, и репродукторы донесли мерное постукивание метронома.

— За водой, — сказал старший лейтенант молоденькому бойцу, почти мальчишке, что все время молча стоял с ним рядом, колюче поглядывая на Плужникова. — Только смотри, Петя.

— Я осторожно.

— Разрешите мне, — умоляюще попросил Плужников. — Позвольте, товарищ старший лейтенант. Я принесу воду. Сколько понадобится.

— Ваша задача — отбить клуб, — сухо сказал старший лейтенант. — По всей видимости, через час немцы начнут обстрел — вы прорветесь к клубу во время обстрела и любой ценой выбьете оттуда немцев. Любой ценой!

Отчеканив последнюю фразу, старший лейтенант ушел, не слушая сбивчивых и ненужных заверений. Плужников виновато вздохнул и огляделся: в сводчатом отсеке подвала под глубоким окном сидели Сальников и легкораненный рослый приписник. Плужников с трудом припомнил его фамилию: Прижнюк.

— Соберите наших, — сказал он и сел, чувствуя противную слабость в коленях.

Сальников и Прижнюк нашли в подвалах еще четверых. Все разместились в одном отсеке, шепотом переговариваясь. Где-то в глубине подвала по-прежнему тихо плакал ребенок, и этот робкий плач был для Плужникова страшнее всякой пытки.

Он сидел на полу, не шевелясь, угрюмо думая, что



совершил самое страшное — предал товарищей. Он не искал оправданий, не жалел себя — он стремился понять, почему это произошло.

«Нет, я струсил не сейчас,— думал он.— Я струсил во вчерашней атаке. После нее я потерял себя, упустил из рук командование. Я думал о том, что буду расска- зывать. Не о том, как буду воевать, а что буду расска- зывать...»

Подошли два пограничника с ручным пулеметом:  
— Прикрывать вас приказано.

Плужников молча кивнул. Пограничники возились с пулеметом, проверяли диски, а он с тоской думал, что с шестью бойцами ему ни за что не выбить немцев из костела, а попросить помощи не решался.

«Лучше умру,— тихо повторял он про себя.— Луч- ше умру».

Он почему-то упорно избегал слова «убьют», а гово- рил — «умру». Словно надеялся погибнуть от про- студы.

— Гранат-то у нас — всего две,— сказал Прижнюк, ни к кому не обращаясь.

— Принесут,— сказал пограничник.— Так не бро- сят: свои же ребята.

Потом пришло еще человек пятнадцать. Рыжий старший сержант с эмблемами артиллериста доложил, что люди присланы в помощь. Вместе с ним Плужни- ков развел бойцов по отсекам, расположил под оконны- ми нишами.

Все было готово, а немецкий метроном продолжал стучать, неторопливо отсчитывая секунды. Плужни- ков все время слышал этот отсчет, пытался заглушить его в себе, сосредоточиться на атаке, но громкое ти- канье назойливо лезло в уши.

Вскоре подошел старший лейтенант. Проверил го- товность, лично расставил бойцов. Плужникова он не замечал, хотя Плужников старательно вертелся рядом. Потом вдруг сказал:

— Атаковать днем невозможно. Согласны, лейте- нант?

Плужников растерялся, не нашел слов и неуверен- но кивнул.

— Но немцы тоже считают, что это невозможно, и ждут атаки ночью. Вот почему мы будем атаковать днем. Главное, не ложиться, каким бы сильным ни ка- зался огонь. Автоматы бьют рассеянно, оценили это?

— Оценил.

— Даю вам возможность искупить свою вину.

Плужников хотел заверить усталого старшего лейтенанта, что скорее умрет, но слов не нашел и снова кивнул.

— Я знаю, что вы хотели сказать, и верю вам. — На замкнутом лице старшего лейтенанта впервые показалось что-то вроде улыбки. — Пойдемте к бойцам.

Старший лейтенант прошел по всем отсекам, из которых готовилась атака, повторив в каждом то, что уже сказал Плужникову: автоматы бьют рассеянно, немцы не ожидают атаки, главное — не ложиться, а бежать и бежать к костелу, под его стены.

— Осталось пять минут на размышление! — громко сказал глухой голос диктора.

— Значит, вы пойдете через четыре минуты, — сказал старший лейтенант, достав карманные часы. — Атака по моей команде и без всякой стрельбы. Тихо и внезапно: это — наше оружие.

Он поглядел на Плужникова, и, поняв этот взгляд, Плужников прошел к подвальному окну. Окно было высоко, подоконник скошен, и вылезать из него было трудно. Но красноармейцы уже передавали кирпичи и строили ступени. Плужников влез на ступени, перевел автомат на боевой взвод и изготовился. Кто-то протянул ему две гранаты, он сунул их за ремень ручками вниз.

— Вперед! — громко крикнул старший лейтенант. — Быстро!

Плужников рванулся, кирпичи разъехались, но он все же выскочил из окна и, не оглядываясь, побежал вперед к такой далекой сейчас стене костела.

Он бежал молча и, как ему казалось, в полном одиночестве. Сердце с такой силой колотилось в груди, что он не слышал за спиной топота, а оглянуться не было времени.

«Не стреляйте. Не стреляйте. Не стреляйте!...» — кричал он про себя.

Плужников не знал, стучит ли еще метроном или немцы уже спешно вгоняют снаряды в казенники орудий, но пока по нему, бегущему через перепаханный снарядами двор, не стрелял никто. Только бил в лицо горячий ветер, пропахший дымом, порохом и кровью.

Прямо перед ним метнулась из воронки фигура, и Плужников чуть не упал, но узнал пограничника —

того, что ночью спас его, добив раненого автоматчика. Видно, пограничник тоже удрал из костела, но до подвалов не добрался и отлеживался в воронке, а теперь бежал впереди атакующих. И Плужников только успел порадоваться, что пограничник жив, как тишину разорвало десятком очередей, и над головой взвизгнули пули,— немцы открыли огонь.

Сзади кто-то закричал. Плужников хотел упасть и упал бы, но пограничник по-прежнему несея впереди огромными скачками и пока был жив. И Плужников подумал, что пули эти не его, и не упал, а, втянув голову в плечи, закричал:

— Ура-а!..

И на едином выдохе, на протяжном «а-а!..» добежал до стены, вжался в простенок и оглянулся.

Только трое упали: один — не шевелясь, а двое еще корчились в пыли. Остальные уже ворвались в мертвое пространство, пограничник стоял у соседнего простенка и кричал:

— Гранаты! Кидай гранаты!..

Плужников вырвал из-за пояса гранату, швырнул в окно — прямо в яркий огонек строчившего автомата. Грохнул взрыв, и он тут же рванулся в вонючий клуб гранатного взрыва. Ударился лодыжкой о выщербленный осколками подоконник, упал на пол, но успел откатиться, и пограничник тяжело шлепнулся рядом. Кругом грохотали взрывы, в дыму и пыли мелькали вспышки выстрелов, пули дробили стены. Плужников, сидя на полу, бил по вспышкам короткими очередями.

— На хоры уходят! На хоры! Выше бей! Выше! — кричал пограничник.

Немцы откатились наверх, на хоры,— огоньки автоматов сверкали оттуда. Плужников вскинул автомат, дал длинную очередь, и одна из вспышек разом погасла, точно захлебнулась, а затвор, дернувшись, отскочил назад.

— Да бей же, лейтенант! Бей!

Плужников лихорадочно шарил по карманам — рожков не было. Тогда он выхватил последнюю гранату и побегал в густой сумрак навстречу бившим очередям. Пули ударили возле ног, по сапогам больно стегануло кирпичной крошкой. Плужников размахнулся, как на ученье, бросил гранату и упал. Гулко грохнул взрыв.

— Толково, лейтенант, — сказал пограничник, по-мская ему подняться. — Ребята на хоры ворвались. Добьют без нас: деваться немцу некуда.

Сверху доносились крики, хрипая ругань, звон металла, тупые удары — немцев добивали в рукопашной. Плужников огляделся: в задымленном сумраке смутно угадывались пробежавшие красноармейцы, трупы на полу, разбросанное оружие.

— Проверь подвалы и поставь у выхода часового, — сказал Плужников и сам удивился, до чего просто прозвучала команда, — вчера еще он не умел так разговаривать.

Пограничник ушел. Плужников подобрал с пола автомат, рывком перевернул ближайшего убитого немца, сорвал с пояса сумки с рожками и пошел к выходу.

И остановился, не доходя: у выхода по-прежнему стоял их пулемет, а на нем, лицом вниз, крепко обняв щит, лежал сержант. Шесть запекшихся дырок чернело на спине, выгнутой в предсмертном рывке.

— Не ушел, — сказал подошедший Сальников.

— Не отдал, — вздохнул Плужников. — Не то, что мы с тобой.

— Знаете, если я вдруг испугаюсь, то все тогда. А если не вдруг, то ничего. Отхожу.

— Надо его похоронить, Сальников.

— А где? Тут камней метра на три.

— Во дворе в воронке.

Тугой гул, нарастая, приближался к ним, сметая все звуки. Не сговариваясь, оба бросились к оконным нишам, упали на пол. И тотчас же волна взметнула пыль, вздрогнули стены, и взрывы тяжело загрохотали во дворе крепости.

— После налета пойдут в атаку! — кричал Плужников, не слыша собственного голоса. — Я прикрою вход! А ты — окна! Окна, Сальников, окна-а!..

Оглушительный взрыв раздался рядом, закачались стены, посыпались кирпичи. Взрывной волной перевернуло пулемет, отбросив мертвого сержанта. Вмиг все заволокло дымом и гарью, нечем стало дышать. Кашляя и задыхаясь, Плужников бросился к пулемету, на четвереньках отволок его к стене.

— Окна, Сальников!..

Сальников ничком лежал на полу, заткнув уши. Плужников тряс его, дергал, бил ногой, но боец только плотнее прижимался к кирпичам.

— Окна-а!..

Снова грохнуло рядом, с дверного свода посыпались кирпичи. Раздался еще один взрыв, еще и еще, и заваленный кирпичами Плужников уже перестал считать их: все слилось в единый оглушающий грохот.

Никто не помнил, сколько часов продолжался обстрел. А когда затихло и они выползли из-под обломков, низкий гул повис в воздухе, и на крепость с неудержимым, выматывающим воем начали пикировать бомбардировщики. И опять они вжались в стены, опять застонала земля, опять посыпались кирпичи и закачался, грозя обвалом, костел, сложенный триста лет назад. И нечем было дышать среди пыли, дыма, смрада и гари, и давно уже не было сил. Сознание меркло, и только тело еще тупо, без боли воспринимало удары и взрывы.

«Живой,— смутно думал Плужников в плотной тишине, наглухо заложившей уши.— Я живой».

Шевелиться не хотелось, хотя он чувствовал тяжесть наваленных на спину кирпичей. Нестерпимо болела голова, ломало все тело — каждая кость кричала о своей боли. Язык стал сухим и огромным — он занимал весь рот и жег небо.

— Немцы!..

Это донеслось издалека, точно с той стороны обступившей его тишины. Но он уловил смысл, попробовал встать. С шумом посыпались кирпичи, он с трудом выбрался из-под них, открыл забытые пылью глаза.

Пограничник, торопясь, устанавливал пулемет: кожух был смят, прицельная планка погнута. Рядом незнакомый боец рылся в кирпичах, вытаскивая пулеметные ленты. Плужников встал, его качнуло, но он все же сумел сделать несколько шагов и рухнул на колени возле пулемета.

— Пусти. Сам.

— Немцы!

По искаженному лицу пограничника текла кровь. Плужников слабо оттолкнул его, повторив:

— Сам. Окна — тебе.

Лег за пулемет, намертво вцепившись ослабевшими пальцами в рукоятки. Пограничника уже не было, рядом лежал боец, вталкивая в патронник ленту. Плужников откинул крышку, поправил ленту и увидел немцев: они бежали прямо на него сквозь густую пелену дыма и пыли.

— Стреляй! — кричал боец. — Стреляй же!

— Сейчас, — бормотал Плужников, лоя сквозь прорезь щита бегущих. — Сейчас. Сил нет...

Он боялся, что не сможет надавить на гашетку: пальцы дрожали и подламывались. Но гашетка подавалась, пулемет забилися в руках, взметнув перед костелом широкий веер пыли. Плужников приподнял ствол и выпустил длинную очередь в набегавшие темные фигуры.

Времени больше не было. Возникали из дымной завесы темные фигуры, Плужников нажимал гашетку и бил, пока они не исчезали. В перерывах рылся в обломках, вытаскивал помятые цинки, лихорадочно, в кровь сбивая пальцы, набивал ленты. И снова стрелял по набегавшим волнам автоматчиков.

Весь день немцы не давали вздохнуть. Атаки сменялись обстрелами, обстрелы — бомбежкой, бомбежка — очередной атакой. Плужников хватал пулемет, волок его к стене, а когда налет кончался, тащил обратно и стрелял — оглохший, полуослепший, ничего не соображающий. Второй номер погиб под сорвавшейся со свода глыбой, долго и страшно кричал, но была атака, и Плужников не мог оставить пулемет. Кожух то ли распаялся, то ли его продырявило осколком: пар бил из пулемета, как из самовара, а Плужников, обжигаясь, таскал его от пролома к стене и обратно и стрелял, думая только о том, что вот-вот кончатся патроны. Он не знал, сколько бойцов осталось в костеле, но кончил стрелять, когда намертво перекосило патрон. Тогда он вспомнил про автомат, полоснул очередью по немцам и, опотыкаясь о камни и трупы, побежал в темную глубину костела.

Он не добежал до подвалов: снаружи вспыхнула беспорядочная стрельба, хриплое сорванное «ура!». Плужников понял, что подошли свои, и, качаясь, побрел к выходу, волоча автомат за собой. Кто-то кинулся к нему, что-то говорил, но он, с трудом выдавив из пересохшего горла: «Пить...» — упал и уже ничего не видел и не слышал.

Очнулся он от воды. Открыл глаза, увидел фляжку, потянулся к ней, глотнул еще и еще и разобрал, что псит его Сальников: в темноте белела свежая повязка на голове.

— Ты живой, Сальников?

— Живой, — серьезно подтвердил боец. — Я же вам

ленты подтаскивал, когда парня того придавило. А вы меня к окнам послали.

Плужников помнил темные фигуры немцев в сплошной пыли, помнил грохот и страшные крики придавленного глыбой второго номера. Помнил раскаленный пулемет, который нестерпимо жег его руки. А больше ничего вспомнить не мог и спросил:

— Отбили костел?

— Спасибо, ребята помогли. Во фланг немцам ударили.

— А вода? Откуда вода?

— Так вы же пить просили. Ну, я и сходил. Страшно: светло, как днем. Там-то меня и зацепило маленько, но семь фляг донес.

— Не надо больше пить,— сам себе приказал Плужников и закрутил фляжку.— Сколько нас?

— Прижнюк у подвала стоит, мы с вами да пограничник.

— Цел пограничник? — Плужников вдруг хрипло засмеялся.— Цел, значит? Цел?

— Кирпичом бровь рассекло, а так и не ранило: безучий. Тепленьких обшаривает. Ну, немцев: много их тут, во дворе.

Плужников, пошатываясь, прошел к выходу, где валялся его искалеченный пулемет. Во дворе стояла ночь, но было светло от пожаров и многочисленных ракет, мертвым светом заливавших притихшую крепость. Немцы изредка швыряли мины — они рвались звонко и коротко.

— Сержанта схоронили?

— Засыпало его. Один каблук торчит.

Из-под груды кирпичей торчал стоптанный солдатский башмак. Плужников вспомнил вдруг, что сержант ходил в сапогах, и значит, под кирпичами лежал тот боец, которого придавило рухнувшим сводом, но промолчал. Сел на обломок, вспомнил, что почти двое суток ничего не ел, и сказал об этом. Сальников принес немецкие галеты, и они стали неторопливо жевать их, глядя на освещенный крепостной двор:

— А все-таки мы сегодня тоже не отдали,— сказал Плужников.— Значит, мы тоже можем не отдавать, да, Сальников?

— Конечно, можем,— подтвердил Сальников.

Вернулся пограничник, притащив набитую автоматными рожками гимнастерку. Сказал вдруг:

— Запомни мой адрес, лейтенант: Гомель, улица Карла Маркса, сто двенадцать, квартира девять. Денищик Владимир.

— А я смоленский, — сказал Сальников. — Из-под Духовщины.

— Уходить отсюда придется, — сказал пограничник после того, как они обменялись адресами. — Вчетвером не отобьемся.

— Не уйду, — сказал Плужников.

— Глупо, лейтенант.

— Не уйду, — повторил Плужников и вздохнул: — Пока приказа не получу, никуда не уйду.

Он хотел сказать о долге, которого не выполнил сегодня утром, о сержанте, не отдавшем пулемет, о Родине, где — конечно же! — принимают сейчас все меры, чтобы спасти их. Хотел, но ничего не сказал: все слова показались ему слишком маленькими и незначительными в эту вторую ночь войны.

— Врут немцы насчет Минска, правда? — спросил Сальников. — Не может быть, чтобы допустили их так далеко. Громят, наверно.

— Громят, — согласился пограничник. — Только фронта что-то не слышно.

Они невольно прислушались, но, кроме редких минных разрывов да пулеметных очередей, ничего не было слышно: грозное дыхание фронта откатилось далеко на восток.

— Значит, одни, — тихо сказал пограничник. — А ты говоришь: не уйду. А тут пулемет нужен.

Плужников и сам понимал, что без пулемета им не отбить следующей атаки. Но пулемета у него не было, а о том, чтобы уйти отсюда, он не хотел думать. Он помнил колючие глаза черноволосого старшего лейтенанта с орденом на груди, тоскливый, запуганный плач ребенка, женщин в подвале, и вернуться туда без приказа уже не мог. И отпустить тоже никого не мог и поэтому сказал:

— Всем спать. Я подежурю.

Сальников тут же свернулся в клубок, а пограничник отказался, пояснив, что отоспался в воронке. Ушел в глубину костела, долго пропадал (Плужников уже начал беспокоиться), вернулся с Прижнюком и еще тремя — у рыжего старшего сержанта с артиллерийскими петлицами была задета голова. Он все тряс ею и прислушивался.



— Будто вода в ушах.

— Пованивают соседи,— сказал пограничник.

Плужников сообразил, что он говорит о трупах, что до сих пор валялись в костеле. Приказал убрать. Бойцы ушли, остался один артиллерист. Потряхивая контуженной головой, сидел у стены на полу, тупо глядя в одну точку. Потом сказал:

— А у меня жена есть. Родить в августе должна.

— Она здесь? — спросил Плужников, сразу вспомнив женщин в подвалах.

— Не, у матери. На Волге.— Он помолчал.— Как думаешь, придут наши?

— Придут. Не могут не прийти. О нас не забудут, не беспокойся.

— Сила у него,— вздохнул артиллерист.— Сегодня в атаку перли — жуткое дело.

— У нас тоже сила.

Старший сержант промолчал. Повздыхал, потряс головой:

— Может, в подвалы сходить?

— Скажите, что пулемета нет. Может, дадут.

— У них у самих негусто,— сказал артиллерист уходя.

Немцы по-прежнему бросали ракеты. Вспыхивая, они медленно опускались на парашютах, освещая притихшую крепость. Изредка падали мины, с берегов доносились пулеметные очереди. Мучительно борясь со сном, Плужников, нахохлившись, сидел у пролома. Рядом мирно посапывал Сальников.

«А все-таки я счастливый,— подумал вдруг Плужников.— До сих пор не задело».

Подумав так, он испугался, что накличет беду, стал поспешно внушать себе, что ему очень не повезло, но внутренняя убежденность, что его, лейтенанта Плужникова, невозможно, немыслимо убить, была сильнее всяких заклинаний. Ему было всего девятнадцать лет и два месяца, и он твердо верил в собственное бессмертие.

Вернулся пограничник с бойцами, доложил, что убитых из костела вытащили. Плужников молча покинул: говорить не было сил.

— Приляг, лейтенант.

Плужников хотел отказаться, качнул головой, сполз по стене на битые кирпичи и мгновенно заснул, подложив кулак под гладкую мальчишескую щеку.

...Он плыл куда-то на лодке, и волны перехлестывали через борт, и он пил холодную, необыкновенно вкусную воду сколько хотел. А на корме в белом ослепительном платье сидела Валя и смеялась. И он смеялся во сне...

— Лейтенант!

Плужников открыл глаза, увидел Денищика, Прижнюка, Сальникова, еще каких-то бойцов и сел.

— Нам в подвалы приказано.

— Почему — в подвалы?

— Сменяют. Шило на мыло.

У входного пролома распоряжался незнакомый молодой лейтенант. Бойцы устанавливали станковый пулемет, складывали из кирпичей бруствер. Лейтенант представился, передал приказ:

— В распоряжение Потапова. Подвалы под костелом проверил?

— Некогда было проверять. Поставь на всякий случай часового с гранатами: там узкая лестница. И смотри за окнами.

— Ага. Ну, счастливо.

— Счастливо. Я своих бойцов заберу. Их трое всего — сдружились.

— Думаешь, там легче будет? У них знаешь какая теперь тактика? Втихую к окнам подползают и забрасывают гранатами. Между прочим, учти: их гранаты срабатывают с запозданием секунды на три. Если рядом упадет, свободно можешь успеть перебросить обратно. Наши так делают.

— Учту. Спасибо.

— Да, вода у вас есть?

— Сальников, у нас есть вода?

— Пять фляжек, — с неудовольствием сказал Сальников. — Пить вам тут некогда будет.

— А нам не пить, нам — в пулеметы.

— Забирайте, — сказал Плужников. — Отдай им фляжки, Сальников, и пошли.

Вчетвером они осторожно выскользнули из костела, Денищик шел впереди. Чуть светало, и по-прежнему лениво, вразнобой падали мины.

— Через часок-полтора начнут утюжить, — сказал Сальников, сладко зевнув. — Хорошо, еще немец передыхает.

— Он ночей боится, — улынулся Плужников.

— Ничего он не боится, — зло сказал пограничник,

не оглядываясь. — С комфортом воюют, гады: восемь часов — рабочий день.

— А разве у немцев рабочий день — восемь часов? — усомнился Плужников. — У них же фашизм.

— Фашизм — это точно.

— А зачем я в солдаты сейчас пошел? — вдруг сказал Прижнюк. — Мне воинский начальник говорит: хочешь — сейчас иди, хочешь — осенью. А я говорю: сейчас...

Короткая очередь вспорола предутреннюю тишину. Все упали, скатившись в воронку. Огня больше не было.

— Может, свои? — шепотом спросил Прижнюк. — Может, наши ползают, а?

— На голос бил, — еле слышно отозвался Денищик. — Какие тебе, к черту, свои...

Он замолчал, и все опять настороженно прислушались. Плужникову показалось, что где-то совсем рядом слабо звякнуло железо. Он сжал пограничнику локоть:

— Слышишь?

Денищик надел каску на автомат, приподнял над краем воронки. Никто не стрелял, и он опустил каску.

— Погляжу. Лежите пока.

Он бесшумно выполз из воронки, пропал за гребнем. Сальников передвинулся вплотную, зашипел в ухо:

— Вот тебе и восемь часов. Зря мы воду оставили, товарищ лейтенант. Пусть сами...

— Да свои это, — упрямо повторил Прижнюк. — Видать, оружие собирают.

Что-то упало на край воронки, скатилось по песку, стукнув по каске. Плужников повернул голову: перед ним лежала ручная граната с длинной ручкой.

В какой-то миг ему показалось, что он слышит ее шипение. Он успел подумать, что это — конец, успел ощутить острую боль в сердце, успел вспомнить что-то милое-милое — маму или Верочку, — но все это заняло лишь долю секунды. И не успела эта секунда истечь, как он схватил гранату за горячий набалдашник и швырнул ее в темноту. Грохнул взрыв, их осыпало песком, и тотчас же раздался отчаянный крик Денищика:

— Немцы! Бегите, ребята! Бегите!..

Предрассветную тишь рванули автоматные очереди. Они били со всех сторон: путь к костелу и подвалам 333-го полка был отрезан.

— Сюда! — крикнул пограничник.

Плужников успел заметить, откуда раздался крик, пригнувшись, кинулся к Денищику. Огоньки автоматных очередей стягивали кольцо. Плужников скатился в воронку, из которой, прикрывая их, коротко бил пограничник. Следом ввалился Сальников.

— Где Прижнюк?

— Убило его! — кричал Сальников, отстреливаясь. — Убило!

Немцы огнем прижимали их к земле, стягивая кольцо.

— Бегите до следующей воронки! — кричал Денищик. — Потом меня прикроете! Скорее, лейтенант! Скорее!..

Стрельба усилилась: из костела по вспышкам бил пулемет, стреляли из подвалов 333-го полка, из развалин левее. Плужников перебежал в следующую воронку, упал, торопливо открыл огонь, стараясь не попасть в темную фигуру бегущего на него Денищика. У Сальникова заело автомат.

Прикрывая друг друга, они перебежками добрались до каких-то пустынных развалин, и немцы отстали. Постреляв немного, замолчали, растаяв в предрассветном сумраке. Можно было отдышаться.

— Вот это напоролись, — сказал Денищик, сидя на обломках и тяжело переводя дыхание. — Рванул я стометровку сегодня почище чемпиона мира.

— Повезло! — вдруг захохотал Сальников. — Обратно же повезло!

— Молчать! — оборвал Плужников. — Лучше автомат разбери, чтоб не заедал следующий раз.

Обиженно примолкнув, Сальников разбирал автомат. Плужникову стало неудобно за этот окрик, но он боялся, что радостное хвастовство в конце концов накличет на них беду. Кроме того, его очень беспокоило, что теперь они отрезаны от своих.

— Осмотрите помещение, — сказал он. — Я понаблюдаю.

Стрельба кончилась, только по берегам еще стучали редкие очереди. В незнакомых развалинах пахло гарью, бензином и чем-то тошнотно-приторным,

чего Плужников не мог определить. Слабый предрасветный ветерок нес запах разлагавшихся трупов — его мутило от этого запаха.

«Надо перебираться, — думал он. — Только куда?»

— Гаражи, — сказал, вернувшись, Денищик. — В соседнем блоке ребята сгорели — страшно смотреть. И подвалов нет.

— Ни подвалов, ни водички, — вздохнул Садников. — А ты говорил — восемь часов. Эх, страж родины!

— Немцы близко?

— Вроде на том берегу, за Мухавцом. Справа — казармы какие-то. Может, перебежим, пока тихо?

Светало, когда они перебрались на другую сторону развалин. Здания тут были снесены прямыми попаданиями — громоздились горы битого кирпича. За ними угадывалась река и темнели кусты противоположного берега.

— Там немцы, — сказал Денищик. — Колечко у нас тесное, лейтенант. Может, рванем отсюда следующей ночью?

— А приказ? Есть такой приказ, чтобы оставить крепость?

— Это уже не крепость, это — мешок. Осталось завязать потуже — и не выберемся.

— Мне дали приказ держаться. А приказа бежать мне никто не давал. И тебе тоже.

— А самостоятельно соображать ты после контузии разучился?

— В армии исполняют приказ, а не соображают, как бы удрать подальше.

— А ты объясни мне этот приказ! Я не пешка, я понимать должен, для какой стратегии я тут по кирпичам ползаю. Кому они нужны? Фронта уж сутки как не слышать. Где наши сейчас, знаешь?

— Знаю, — сказал Плужников. — Там, где надо.

— Ох пешки! Вот потому-то нас и бьют, лейтенант. И бить будут, пока...

— Мы бьем! — закричал вдруг Плужников. — Это мы бьем их, понятно? Это они по кирпичам ползают, понятно? А мы... Мы... Это наши кирпичи, наши! Под ними советские люди лежат. Товарищи наши лежат, а ты... Паникер ты!

— А ну поосторожнее, лейтенант! За такое слово я и на звание не посмотрю — как дам между глаз...

— Свои! — радостно удивился Сальников. — Саперы наши, глядите!

Возле уцелевшей стены казармы суеилось человек восемь. Плужников хотел вскочить, но пограничник придержал его:

— В сапогах они.

— Ну и что?

— В немецких — видишь, голенища короткие?

— Я тоже в немецких, — сказал Сальников. — Колodka у них неудобная.

— А наши саперы в обмотках ходили, — сказал Денищик. — А эти — сплошь в сапогах. Так что спешить погодим.

— Да чего ты боишься? — возмутился Сальников. — Форма наша...

— Форму надеть — три минуты делов. Обождите здесь.

Пригнувшись, Денищик перебежал к остаткам стены, ловко взобрался наверх, к разбитому оконному проему.

— Наши это ребята, ясно же, — недовольно ворчал Сальников. — У них, поди, водичка есть: Мухавец рядом.

Пограничник негромко свистнул. Приказав нетерпеливому Сальникову лежать, Плужников влез к пограничнику.

— Ну, гляди. — Денищик отодвинулся, освобождая место.

Сверху хорошо был виден противоположный берег Мухавца, позиции на валу, немецкие солдаты, мелькавшие в кустах у самого берега.

— А по саперам они, между прочим, не стреляют, — тихо сказал пограничник. — Почему?

— Да, — вздохнул Плужников. — Пошли вниз, тут заметить могут.

Они вернулись к Сальникову. Тот лежал, как приказано, но изо всех сил вытягивал шею, чтобы дальше видеть.

— Ну? Чего насмотрели?

— Немцы это.

— Брось! — не поверил Сальников. — А как же форма?

— А ты не форме верь, а содержанию, — усмехнулся пограничник. — Они, гады, взрывчатку под стены

Яладут. Шуганем их, лейтенант? Наши ведь за стенами-то.

— Шугануть бы следовало,— задумчиво сказал Плужников.— А куда отходить будем?

— Так кто же из нас о бегстве думает: ты или я?

— Дурак ты! — рассердился Плужников.— Они нас тут запросто минами забросают: крыши-то нет.

— Соображаешь,— одобчительно — сказал пограничник.

Плужников огляделся. В грудях битого кирпича укрыться от мин было невозможно, а уцелевшие кое-где стены обещали рухнуть при первой хорошей бомбежке. Принимать же бой без удобных отходов было равносильно самоубийству: немцы обрушивали лавину огня на очаги сопротивления. Это Плужников знал по собственному опыту.

— А если вперед? — предложил Сальников.— В той казарме — наци. Прямо к ним, а?

— Вперед! — насмешливо передразнил пограничник.— Тоже стратег нашелся.

— А может, и правда — вперед? — сказал Плужников.— Подползти, забросать гранатами и — одним рывком к казарме. А там — подвалы.

Пограничник нехотя согласился: его пугала атака на глазах у противника. Здесь требовалась особая осторожность, и поэтому ползли они долго. Продвигались только по очереди: пока один ужом скользил между обломков, двое следили за немцами, готовые прикрыть его огнем.

Немецкие саперы, занятые устройством фугасов под уцелевшей стеной казармы, не смотрели по сторонам. То ли были убеждены, что никого, кроме них, здесь нет, то ли очень надеялись на наблюдателей с той стороны Мухавца. Они уже заложили взрывчатку и аккуратно прокладывали шнуры, когда из ближайшей воронки одновременно вылетели три гранаты.

Уцелевших в упор добили из автоматов. Все было сделано быстро и внезапно — с той стороны Мухавца не прозвучало ни одного выстрела.

— Взрывчатку! — кричал Плужников, лихорадочно обрывая шнуры.— Доставай взрывчатку!

Денищик и Сальников успели вытащить пакеты, когда немцы, опомнившись, открыли ураганный огонь. Пули дробно стучали о кирпичи. Они бросились за угол, но здесь уже с визгом рвались мины. Оглушен-

ные и полуослепшие, они скатились в дыру. В черный провал подвала.

— Обратно живы! — Сальников возбужденно смеялся. — Я же говорил! Я же говорил!..

— Нога. — Плужников потрогал разорванное голенище — рука была в крови. — Бинт есть?

— Глубоко? — обеспокоенно спросил Денищик.

— Кажется, нет. Поверху осколок.

Пограничник оторвал лоскут от пропотевшей нижней рубахи:

— Перетяни потуже.

Плужников стащил сапог, задрал штанину. Из рваной раны обильно текла кровь. Он подложил под лоскут грязный носовой платок, крепко перевязал. Повязка сразу набухла, но кровь больше не шла.

— Заживет, как на собаке, — сказал Денищик.

Подожел Сальников. Сказал озадаченно:

— Тут выхода нет. Только этот отсек.

— Не может быть.

— Точно. Все стены проверил.

— Ловко будет, когда они фугас рванут, — невесело усмехнулся Денищик. — Братская могила на трех человек.

Они еще раз обошли подвальный отсек, старательно обшаривая каждый метр. У противоположной стены кирпичи лежали навалом, точно рухнув со свода, и они начали торопливо разбирать их. Наверху слышался рев пикирующих бомбардировщиков, грохот: немцы начали утреннюю бомбежку. Гремело над самой головой, дрожали стены, но они продолжали растаскивать кирпичи: в каменном мешке иного выхода не было.

Это был слабый шанс, и на сей раз он выпал не им: убрав последние обломки, они обнаружили плотный кирпичный пол — этот отсек подвала не имел второго выхода. А оставаться здесь было невозможно: немцы подбирались вплотную и если бы обнаружили их, то двух гранат, брошенных в пролом, было бы вполне достаточно. Уходить следовало немедленно.

— Надо, пока бомбят! — кричал пограничник. — Автоматчиков тогда нету!

Грохот заглушал слова. Взрывы гнали в окно пыль, раскаленный воздух, тяжелый смрад взрывчатки и гниющих трупов. Пот разъедал глаза, ручьями тек по телу. Нестерпимо хотелось пить.



Бомбежка кончилась, отчетливо слышался вой бомбардировщиков и частая стрельба. Отбомбившись, самолеты продолжали кружить над крепостью, расстреливая ее из пушек и пулеметов.

— Идем! — кричал Денищик, стоя у пролома. — Они в стороне кружат. Идем, ребята, пока опять не отрезали!

Он кинулся в пролом, выглянул и тут же отпрянул, чуть не сбив Плужникова:

— Немцы.

Они прижались к стене. Рев самолетов затихал, яснее звучала ружейная стрельба. И все же они уловили сквозь нее и шаги и чужой говор: они уже научились выбирать из оглушительного грохота то, что непосредственно угрожало им.

Темная фигура на миг заслонила пролом — кто-то осторожно заглянул в каменный мешок и тотчас же отпрянул. Плужников беззвучно снял автомат с предохранителя. Сердце билось так сильно, что он боялся, как бы немцы не услышали этот стук.

Вновь совсем рядом раздался голос. В пролом влетела граната, ударилась о дальнюю стенку подвала, но они успели упасть на пол, и раздался взрыв. Тут, в тесном подземелье, он был болезненно резок. В стены застучали осколки, вонючий дым близкого разрыва опалил лицо.

Плужников не успел ни испугаться, ни обрадоваться, что осколки прошли выше. Немцы были рядом, в двух шагах, и он не смел даже спросить товарищей, не задело ли кого. Надо было лежать, лежать, не шевелясь, безропотно ожидая очередных гранат.

Но гранат немцы больше не кидали. Поговорив, пошли дальше, к следующему подвальному отсеку. Шаги удалялись, глухо донесся гранатный взрыв — немцы проверяли соседние помещения.

— Целы? — еле слышно спросил Плужников.

— Целы, — отозвался Денищик. — Замри, лейтенант.

Весь день они пролежали в этом подвале. Весь день до темноты, боясь шевельнуться, не решаясь вздохнуть, потому что немцы ходили рядом, — настороженным слухом они ловили их непонятный говор. От постоянного напряжения мучительно сводило мускулы.

Они не знали, что происходит наверху. Отчетливо слышалась стрельба, дважды противник обращался с

предложением сложить оружие, давая часовые передышки. Но они не смогли воспользоваться и ими: немцы заняли этот участок казарм.

Рискнули выползти ночью, хотя эта ночь была спокойнее предыдущих. Немцы прочно блокировали берега, ярко освещали крепость ракетами и не прекращали минный обстрел. То и дело слышались глухие взрывы: немецкие саперы методически рвали фугасами стены, потолки и перекрытия, расчищая путь своим штурмовым группам.

Денищик вызвался в разведку. Долго не возвращался — Сальников уже шипел, что надо тикать. Но близких выстрелов не слышалось, а Плужников не мог поверить, что пограничник сдастся без боя, и поэтому ждал.

Наконец послышался шорох, в проломе появилась голова:

— Ползите. Тихо: немец рядом.

Снаружи было душно, отчетливо доносился сладковатый трупный запах, и пересохшее горло все время сжимали судорожные рвотные спазмы. Плужников старался дышать ртом.

Повсюду слышались немецкие голоса, стук ломов и кирок: саперы проламывали проходы в стенах, подводили фугасы. Пришлось долго ползти по обломкам, замирая при каждом вылете ракеты.

В глубокой яме, куда наконец ввалились они, нестерпимо воняло: на дне лежали вспухшие на трехдневной жаре развороченные взрывами трупы. Но здесь можно было передохнуть, оглядеться и решить, что делать дальше.

— Обратно в костел надо, — горячо убеждал Сальников. — Там стены — ого! А водичку я достану. Под носом проползу, а достану.

— Костел — мышеловка, — упрямылся пограничник. — Немцы по ночам до стен добираются, окружают и — хана. Надо в подвалы: там народу побольше.

— А водички поменьше! Ты день в воронке дрых, а я там сидел: раненым по столовой ложке водичку отпускают, как лекарство. А здоровые лапу сосут. А я без водички...

Плужников слушал эти пререкания, думая о другом. Весь день они пролежали в двух шагах от немцев, и он собственными глазами увидел, что противник действительно изменил тактику. Саперы упорно долбили

стены, закладывали фугасы, подрывали перекрытия. Немцы грызли оборону, как крысы, — об этом следовало доложить немедленно. Он поделился этими соображениями с бойцами. Сальников сразу заскучал:

— Мое дело маленькое.

— Как бы свои не подстрелили, — озабоченно сказал Денищик. — Напоремся в темноте. А крикнуть — немцы минами забросают.

— Надо через казарму, — сказал Плужников. — Не могут же все подвалы быть изолированными.

— Еле уползли, теперь — обратно, — недовольно ворчал Сальников. — Лучше в костел, товарищ лейтенант.

— Завтра в костел, — сказал Плужников. — Надо сперва саперов пугнуть.

— Это мысль, лейтенант, — поддержал пограничник. — Шуранем немчуру и — к своим.

Но шурануть саперов не удалось. Под Плужниковым осыпались кирпичи, когда он вскочил: подвела задняя осколком нога. Он упал, и тут же прицельная очередь автомата разнесла кирпич возле его головы.

Им так и не удалось прорваться к своим, но все же они перебежали к кольцевым казармам на берегу Мухавца. Этот участок казался вымершим, в оконных проемах не было видно ни своих, ни чужих. Но раздумывать было некогда, и они вскочили в ближайший черный пролом подвала. Вскочили, прижались к стенам: немецкие сапоги протопали поверху.

— Долго совещались, — сказал Денищик, когда все стихло.

Никто не успел ответить. В темноте клацнул затвор, и хриплый голос спросил:

— Кто? Стреляю!

— Свои! — громко сказал Плужников. — Кто тут?

— Свои? — из темноты говорили с трудом, в паузах слышалось тяжелое дыхание. — Откуда?

— С улицы, — резко сказал Денищик. — Нашел время допрашивать: немцы наверху. Ты где тут?

— Не подходить, стреляю! Сколько вас?

— Вот чумовой! — возмутился Сальников. — Ну, трое нас, трое. А вас?

— Один — ко мне, остальным не двигаться.

— Один иду, — сказал Плужников. — Не стреляйте.

Растопырив руки, чтобы не наткнуться в темноте, он ушел в черную глубину подвала.

— Жрать хочу,— шепотом признался Сальников.— Супцу бы сейчас.

Денищик достал плитку шоколада, отломил четвертую часть:

— Держи.

— Откуда взял?

— Одолжил,— усмехнулся пограничник.

— То-то несладкий он.

Вернулся Плужников. Сказал тихо:

— Политрук из четыреста пятьдесят пятого полка.

Ноги у него перебиты, вторые сутки лежит.

— Один?

— Товарища вчера убило. Говорит, над ним дыра на первый этаж. А там к нашим пробраться можно. Только рассвета ждать придется: темно очень.

— Обождем. Пожуй, лейтенант.

— Шоколад, что ли? А политруку?

— Есть и политруку.

— Пошли. Сальников, останешься наблюдать.

У противоположной стены лежал человек — они определили его по прерывистому дыханию и тяжелому запаху крови. Присели рядом. Плужников рассказал, как дрались в костеле, как ушли оттуда, навалились на немцев и отлеживались потом в каменном отсеке.

— Отлеживались, значит? Молодцы, ребята: кто-то воюет, а мы — отлежимся.

Политрук говорил с трудом. Дыхание было коротким, и у него уже не было сил вздохнуть полной грудью.

— Ну и перебили бы нас там,— сказал Плужников.— Пара гранат, и все дела.

— Гранат испугался?

— Глупо погибать неохота.

— Глупо? Если убил хоть одного, смерть уже оправдана. Нас двести миллионов. Двести! Глупо, когда никого не убил.

— Там очень невыгодная позиция.

— Позиция... У нас одна позиция: не давать им покоя. Чтоб стрелял каждый камень. Знаешь, что они по радио нам кричат?

— Слыхали.

— Слыхали, да не анализировали. Сначала они просто предлагали сдаваться. Запугивали: сметим с лица земли. Потом — «стреляйте комиссаров и коммунистов и переходите к нам». А вчера вечером — новая

песня: «доблестные защитники крепости». Обещают райскую жизнь всем, кто сложит оружие, даже комносарам и коммунистам. Почему их агитация повернулась на сто восемьдесят градусов? Потому, что мы стреляем. Стреляем, а не отлеживаемся.

— Ну, мы сдаваться не собираемся,— сказал Денищик.

— Верю. Верю, потому и говорю. Задача одна: уничтожать живую силу. Очень простая задача.

Политрук говорил что-то еще, а Плужников опять плыл в лодке, и опять через борт плескалась вода, и опять он пил эту воду и никак не мог напиться. И опять на корме сидела Валя в таком ослепительном платье, что у Плужникова слезились глаза. И наверно, поэтому он не смеялся во сне...

Растолкали его, когда рассвело, и он сразу увидел политрука — невероятно худого, заросшего щетиной, среди которой все время двигались искусанные в кровь тонкие губы. На изможденном, покрытом грязью и копотью лице жили только глаза — острые, немигающие, пристально упершиеся в него.

— Выспался?

Возраста у политрука уже не было.

Втроем они втащили раненого сквозь пролом на первый этаж покинутой казармы. Здесь стояли двухъярусные койки, покрытые голыми досками: сенники и постельное белье защитники унесли с собой. На полу валялись стреляные гильзы, битый кирпич, обрывки заскорузлого, в засохшей крови, обмундирования. Разбитые прямой наводкой простенки зияли провалами.

Политрука уложили на койку, хотели сделать перевязку, но так и не решились отодрать намертво присохшие бинты. От ран шел тяжелый запах.

— Уходите,— сказал политрук.— Оставьте гранату и уходите.

— А вы? — спросил пограничник.

— А я немцев подожду. Граната да шесть патронов в пистолете — будет, чем встретить.

Канонада оборвалась — резко, будто вдруг выключили все звуки. И сразу зазвучал знакомый, усиленный динамиками голос:

— Доблестные защитники крепости! Немецкое командование призывает вас прекратить бессмысленное сопротивление. Красная Армия разбита...

— Врешь, сволочь! — крикнул Денищик. — Брешешь, жаба фашистская!

— Войну не перекричишь. — Политрук чуть усмехнулся. — Она выстрел слышит, а голос — нет. Не горячись.

Иссушающая жара плыла над крепостью, и в этой жаре вспухали и сами собой шевелились трупы. Тяжелый, густо насыщенный пылью и запахом разложения пороховой дым сползал в подвалы. И дети уже не плакали, потому что в сухих глазах давно не было слез.

— Всем, кто в течение получаса выйдет из подвалов без оружия, немецкое командование гарантирует жизнь и свободу по окончании войны. Вспомните о своих семьях, о невестах, женах, матерях. Они ждут вас, солдаты!

Голос замолчал, и молчала крепость. Она молчала тяжело и грозно, измотанная круглосуточными боями, жаждой, бомбежками, голодом. И это молчание было единственным ответом на очередной ультиматум противника.

— О матерях вспомнили, — сказал политрук. — Значит, не ожидал немец такого поворота.

Степь да степь кругом,  
Путь далек лежит...

Чисто и ясно зазвучала в раскаленном воздухе песня. Родная русская песня о великих просторах и великой тоске. От неожиданности у Плужникова перехватило дыхание, и он изо всех сил стиснул зубы, чтобы сдержать нахлынувшие вдруг слезы. А сильный голос вольно вел песню, и крепость слушала ее, беззвучно рыдая у закопченных амбразур.

— Не могу-у!.. — Сальников упал на пол, вздрагивая, бил кулаками по кирпичам. — Не могу! Мама, маманя песню эту...

— Молчать! — крикнул политрук. — Они же на это и бьют, сволочи! На это, на слезы наши!..

Сальников замолчал. Музыка еще звучала, но сквозь нее Плужников уловил вдруг странный протяжный гул. Прислушался, не смог разобрать слов, но понял: где-то под развалинами хриплыми, пересохшими глотками нестройно и страшно пели «Интернационал». И поняв это, он встал.

Это есть наш последний и решительный бой!.. —

из последних сил запел политрук. Хрипя, он кричал слова гимна, и слезы текли по изможденному лицу, покрытому копотью и пылью. И тогда Плужников запел тоже, а вслед за ним и пограничник. И Сальников поднялся с пола и встал рядом, плечом к плечу, и тоже запел «Интернационал».

Никто не даст нам избавленья,  
Ни бог, ни царь и не герой...

Они пели громко, так громко, как не пели никогда в жизни. Они кричали свой гимн, и этот гимн был ответом сразу на все немецкие предложения. Слезы ползли по грязным лицам, но они не стеснялись этих слез, потому что это были другие слезы. Не те, на которые рассчитывало немецкое командование.

### 3

Спотыкаясь, Плужников медленно брел по бесконечному, заваленному битым кирпичом подвалу. Часто останавливался, вглядываясь в непроглядную темень, долго облизывал сухим языком затвердевшие, стянутые давней коростой губы. За третьим поворотом должен был появиться крохотный лучик — он сам принес заросшему по брови иссохшему фельдшеру десяток свечей, найденных в развалинах столовой. Иногда падал, всякий раз испуганно хватаясь за фляжку, в которой было сейчас самое дорогое, что он мог раздобыть, — полстакана мутной вонючей воды. Вода эта булькала при каждом шаге, и он все время чувствовал, как она булькает и переливается, мучительно хотел пить и мучительно сознавал, что на эту воду он не имеет права.

Чтобы отвлечься, забыть про воду, что булькала у бедра, он считал дни. Он отчетливо помнил только три первых дня обороны, а потом дни и ночи сливались в единую цепь вылазок и бомбежек, атак, обстрелов, блужданий по подземельям, коротких схваток с врагом и коротких, похожих на обмороки минут забытья. И постоянного, изнуряющего, не проходящего даже во сне желания пить.

Они еще возились с политруком, стараясь поудобнее устроить его, когда откуда-то появились немцы. Политрук закричал, чтобы они бежали, и они побежали

через разгромленные комнаты, где вместо окон зияли разорванные снарядами дыры. Сзади прозвучало несколько выстрелов и грохнул взрыв — политрук прижал последний бой, выиграв для них секунды, и они сплать ушли, сумев в тот же день пробраться к своим через чердачные перекрытия. И Сальников опять радовался, что им повезло.

Они пришли к своим, и не было ни воды, ни патронов — только пять ящиков гранат без взрывателей. И по ночам они ходили к немцам, и в узких каменных мешках, хрипя и ругаясь, били этих немцев прикладами и гранатами без взрывателей, кололи штыками и кинжалами, а днем отражали атаки тем оружием, которое смогли захватить. И ползали за водой под фиолетовым светом ракет, раздвигая ослизные трупы. А потом те, кто остался в живых, ползли назад, сжимая в зубах дужку котелка и уже не опуская головы. И кому не везло, тот падал лицом в котелок и, может быть, перед смертью успевал напиться воды. Но им везло, и пить они не имели права.

А днем — от зари до зари — бомбежки сменяли обстрелы и обстрелы — бомбежки. И если вдруг смолкал грохот, значит, опять чужой механический голос предлагал прекратить сопротивление, опять давал час или полчаса на раздумье, опять выматывал душу до боли знакомыми песнями. И они молча слушали эти песни и тихий плач умирающих от жажды детей.

Потом пришел приказ о прорыве, и им подкинули патронов и даже взрывателей для гранат. Они — все трое — атаковали по мосту и уже добежали до половины, когда немцы в упор, с двадцати шагов, ударили шестью пулеметами. И ему опять повезло, потому что он успел прыгнуть через перила в Мухавец, вволю напиться воды и выбраться к своим. А потом опять пошел на этот мост, потому что там остался Володька Денищик. Пограничник из Гомеля, Карла Маркса, сто двенадцать, квартира девять. А Сальников опять уцелел и, дергаясь, кричал потом в каземате:

— Обрато повезло, вот! Кто-то за меня богу молится, ребята! Видно, бабуня моя в церковь зачастила!

Только когда все это было? До или после того, как приняли решение отправить в плен женщин и детей? Они выползали из щелей на залитый солнцем двор — худые, грязные, полуголые, давно изорвавшие платья на бинты. Дети не могли идти, и женщины несли их,



бережно обходя необрунные трупы и вглядываясь в каждый, потому что именно этот — уже после смерти искореженный осколками, чудовищно распухший и неузнаваемый — мог быть мужем, отцом или братом. И крепость замерла у бойниц, не стесняясь слез, и немцы впервые спокойно и открыто стояли на берегах.

Когда это было — до или после их неудачной попытки вырваться из кольца? До или после? Плужников очень хотел вспомнить и — не мог. Никак не мог.

Плужников рассчитывал увидеть слабый отблеск свечи, но, еще не видя его, еще не дойдя до поворота, услышал стон. Несмотря на оглушающие бомбежки и постоянный звон в ушах, слух его работал пока исправно, да и стон, что донесся до него — протяжный, хриплый, уже даже и не стон, а рев, — был громок и отчетлив. Кричал обожженный боец: накануне немцы сбрасывали с самолетов бочки с бензином, и горячая жидкость ударила в красноармейца. Плужников сам относил его в подвал, потому что оказался рядом, и его тоже обожгло, но несильно, а боец уже тогда начал кричать и, видно, кричал до сих пор.

Но крик этот не был одиноким. Чем ближе подходил Плужников к глухому и далекому подвалу, куда стаскивали всех безнадежных, тем все сильнее и сильнее становились стоны. Здесь лежали умирающие — с распоротыми животами, оторванными конечностями, проломленными черепами, — а единственным лекарством была немецкая водка да руки тихого фельдшера, на котором кожа от жажды и голода давно висела тяжелыми слоновьими складками. Отсюда уже не выходили, отсюда выносили тех, кто уже успокоился, а в последнее время перестали и выносить, потому что не было уже ни людей, ни сил, ни времени.

— Воды не принес?

Фельдшер спрашивал не для себя: здесь, в подвале, заполненном умирающими и мертвыми вперемежку, глоток воды был почти преступлением. И фельдшер, медленно и мучительно умирая от жажды, не пил никогда.

— Нет, — солгал Плужников. — Водка это.

Он сам добыл эту воду во время утренней бомбежки. Дополз до берега, оглохнув от взрывов и звона бивших в каску осколков. Он зачерпнул не глядя, сколько мог, он сам не сделал ни глотка из этой фляжки: он

нес ее, единственную драгоценность, Денищику и поэтому солгал.

— Живой он, — сказал фельдшер.

Сидя у входа подле ящика, на котором чадила свеча, он неторопливо рвал на длинные полосы грязное, заскорузлое обмундирование: тем, кто жив, еще нужно было делать перевязки.

Плужников дал ему три немецкие сигареты. Фельдшер жадно схватил их и все никак не мог прикурить, попадая мимо пламени: дрожали руки, да и сам он качался из стороны в сторону, уже не замечая этого.

Свеча едва горела в спертom, густо насыщенном теплом, болью и страданием воздухе. Огонек ее то замирал, обнажая раскаленный фитилек, то вдруг выравнивался, взлетая ввысь, снова съеживался, но — жил. Жил и не хотел умирать. И, глядя на него, Плужников почему-то подумал о крепости. И сказал:

— Приказано уходить. Кто как сможет.

— Прощаться зашел? — Фельдшер медленно, словно каждое движение причиняло боль, повернулся, взглянул мертвыми, ничего уже не выражающими глазами. — Им не говори. Не надо.

— Я понимаю.

— Понимаешь? — Фельдшер покивал. — Ничего ты не понимаешь. Ничего. Понимал бы — мне бы не сказал.

— Приказ и тебя касается.

— А их? — Фельдшер кивнул в стонущую мглу подвала. — Их что, кирпичами завалим? Даже и пристрелить нечем. Пристрелить нечем — это ты понимаешь? Вот они меня касаются. А приказы... Приказы уже не касаются: я сам себе пострашнее приказ отдал. — Он замолчал, глаза его странно, всего на мгновение, на миг один блеснули. — Вот если каждый, каждый солдат, понимаешь, сам себе приказ отдаст и выполнит его — сдохнет немец. Сдохнет! И война сдохнет. Кончится война. Вот тогда она и кончится.

И замолчал, скорчился, высасывая сигаретный дым сухим, проваленным ртом. Плужников молча постоял возле, достал из кармана недогрызенный сухарь, положил его рядом со свечой и медленно пошел в подвальный сумрак, перешагивая через стонущих и уже навеки замолчавших.

Денищик лежал с закрытыми глазами, и перевязанная грязным, пропитанным кровью тряпьем грудь

его сѹдорожно, толчками приподнималась при каждом вздохе. Плужников хотел сесть, но рядом, плечом к плечу, лежали другие раненые, и он смог только опуститься на корточки. Это было трудно, потому что у него давно уже болела отбитая кирпичами спина.

— Соседа отодвинь, — не открывая глаз, сказал Денищик. — Он вчера еще помер.

Плужников с трудом повернул на бок окоченевшее тело — напряженно вытянутая рука тупо, как палка, ударилась о каменный пол, — сел рядом. Осторожно, страшась привлечь внимание, отцепил от пояса фляжку. Денищик потянулся к ней — и отстранился.

— А сам?

— Я — целый.

Она все-таки булькнула, эта фляжка, и сразу в подвальной мгле зашевелились люди. Кто-то уже полз к ним, полз через еще живых и уже мертвых, кто-то уже хватал Плужникова за плечи, тянул, тряс, бил. Согнувшись, телом прикрывая пограничника, Плужников торопливо шептал:

— Пей. Пей, Володя. Пей.

А подвал шевелился, стонал, выл, полз к воде, протянув из тьмы десятки исхудалых рук, страшных в неживой уже цепкости. И хрипел единым страшным выдохом:

— Воды-ы!..

— Нету воды! — громко крикнул Плужников. — Нету воды, братцы, товарищи, нету!

— Воды-ы!.. — хрипели пересохшие глотки, и кто-то уже плакал, кто-то ругался, и чьи-то руки по-прежнему рвали Плужникова за плечи, за португую, за превращую от пота гимнастерку.

— Ночью принесу, товарищи! — кричал Плужников. — Ночью, сейчас головы не поднимешь! Да пей же, Володька, пей!..

Замер на миг подвал, и в наступившей тишине все слушали, как трудно глотает пограничник. Пустая фляжка со стуком упала на пол, и снова кто-то заплакал, забился, закричал.

— Значит, завтра помру, — вдруг сказал Денищик, и в слабой улыбке чуть блеснули зубы. — Думал, сегодня, а теперь — завтра. А до войны я в Осводе работал. Целыми днями в воде. Река быстрая у нас, далеко

сносит. Бывало, наглотаешься... — Он помолчал. — Значит, завтра... Сейчас что, ночь или день?

— День, — сказал Плужников. — Немцы опять уговаривают.

— Уговаривают? — Денищик хрипло засмеялся. — Уговаривают, значит? Сто раз убили и все — уговаривают? Мертвых уговаривают! Значит, не зря мы тут, а?... — Он вдруг приподнялся на локтях, крикнул в темноту: — Не кляните за глоток, ребята! Ровно глоточек был, делить нечего. Уговаривают нас, слышали? Опять упрашивают...

Он трудно закашлялся, изо рта булькающими пузырями пошла кровь. В подвале примолкли, только по-прежнему тягуче выл обожженный боец. Кто-то сказал из тьмы:

— Ты прости нас, браток. Прости. Что там, наверху?

— Наверху? — переспросил Плужников, лихорадочно соображая, как ответить. — Держимся. Патронов достали. Да, утром наши «ястребки» прилетали. Девять штук! Три круга над нами сделали. Значит, знают про нас, знают! Может, разведку делали, прорыв готовят...

Не было никаких самолетов, никто не готовил прорыва, и никто не знал, что на крайнем западе страны, далеко в немецком тылу, живой человеческой кровью истекает старая крепость. Но Плужников врал, искренне веря, что знают, что помнят, что придут. Когда-нибудь.

— Наши придут, — сказал он, чувствуя, как в горле щекожут слезы, и боясь, что люди в подвале почувствуют их и все поймут. — Наши обязательно придут и пойдут дальше. И в Берлин придут, и повесят Гитлера на самом высоком столбе.

— Повесить мало, — тихо сказал кто-то. — Водички бы ему не давать недели две.

— В кипятке его сварить...

— Про чай отставить, — сказал тот, что просил прощения. — Продержись до своих, браток. Обязательно выдержишь. Уцелей. И скажешь им: тут, мол, ребята... — Он замолчал, подыскивая то самое, то единственное слово, которое мертвые оставляют живым.

— Умиralи, не срамя, — негромко и ясно сказал молодой голос.

И все замолчали, и в молчании этом была суровая гордость людей, не склонивших головы и за той чертой,

что отделяет живых от мертвых. И Плужников молчал вместе со всеми, не чувствуя слез, что медленно ползли по грязному, заросшему первой щетиной лицу.

— Коля, — Денищик теребил за рукав. — Я ни о чем не прошу: патроны дороги. Только выведи меня отсюда, Коля. Ты не думай, я сам дойду, я чувствую, что дойду. Я завтра помру, сил хватит. Только помоги мне маленько, а? Я солнышко хочу увидеть, Коля.

— Нет. Там бомбят все время. Да и не дойдешь ты.

— Дойду, — тихо сказал пограничник. — Ты должен мне, Коля. Не хотел говорить, а сейчас скажу. В тебя пули шли, лейтенант, в тебя, Коля, твой это свинец. Так что сведи меня к свету. И все. Даже воды не попрошу. А сил у меня хватит. Сил хватит, ты не думай. Дойду. Увидеть хочу, понимаешь? День свой увидеть.

Плужников с трудом поднял пограничника. Денищик, еле сдерживая стоны, хватался руками, наваливался, тяжело, со свистом дыша сквозь стиснутые зубы. Но, встав на ноги, пошел к выходу сам, Плужников лишь поддерживал его, когда надо было перешагивать через лежавших на полу бойцов.

Фельдшер сидел в той же позе, все так же механически, аккуратно разрывая на полосы одежду погибших. Все так же чадно горела свеча, словно задыхаясь в смрадном воздухе гниения и смерти, и все так же лежал подле нее нетронутый кусок ржавого армейского сухаря.

Они брели медленно, с частыми остановками. Денищик дышал громко и часто, в простреленной груди что-то клокотало и булькало, он то и дело вытирал с губ розовую пену неуверенной дрожащей рукой. На остановках Плужников усаживал его. Денищик приваливался к стене, закрывал глаза и молчал: берег силы. Раз только спросил:

— Сальников живой?

— Живой.

— Он везучий. — Пограничник сказал это без зависти — просто отметил факт. — И все за водой ходит?

— Ходит. — Плужников помолчал, раздумывая, стоит ли говорить. — Слушай, Володя, приказ нам всем: разбегаться. Кто куда.

— Как?

— Мелкими группами уходить из крепости. В леса.

— Понятно.— Денищик медленно вздохнул.— Прогтай, значит, старушка. Ну, правильно: здесь как в пещке.

— Считаешь, правильно?

Денищик долго молчал. Крохотная слеза медленно выкатилась из-под ресниц и пропала где-то в глубоком изломе густо заросшей щеки.

— С Сальниковым иди, Коля.

Плужников молча кивнул, соглашаясь. Хотел было сказать, что если бы не те пулеметы на мосту, то пошел бы он только с ним, с Володькой Денищиком, и — не сказал.

Он оставил Денищика в пустом каземате. Уложил на кирпичный пол лицом к узкой отдушине, сквозь которую виднелось серое, задымленное небо.

— Шинель не захватили. Там у фельдшера валялась, я видел.

— Не надо.

— Я сверху принесу. Пока тихо.

— Ну принеси.

Плужников в последний раз заглянул в уже чужие, уже отрешенные глаза пограничника и вышел из каземата. Оставалось завернуть за угол и по разбитой, заваленной обломками лестнице подняться в первый этаж. Там еще держались те, кто был способен стрелять, кого собрал после ночной атаки незнакомый Плужникову капитан-артиллерист.

Он не дошел до поворота, когда наверху, над самой головой, раздался грохот. По плечам, по каске застучала штукатурка, и тугая взрывная волна, ударившись в стену за углом, вынесла на него пыль и удушливый смрад немецкого тола.

Еще сыпались кирпичи, с треском рушились перекрытия, но Плужников уже нырнул в вонючий, пропыленный дым и, спотыкаясь, полез через завал. Где-то уже били автоматы, в угарных клубах взрывов вспыхивали нестерпимо яркие огоньки выстрелов. Чья-то рука, вынырнув из сумрака, рванула его за портупею, втащив в оконную нишу, и Плужников совсем близко увидел грязное, искаженное яростью лицо Сальникова.

— Подорвали, гады! Стену подорвали!

— Где капитан? — Плужников вырвался. — Капитана не видел?

Сальников, надсадно крича, бил злыми короткими очередями в развороченное окно. Там, в дыму и пыли,

мелькали серые фигуры, сверкали огоньки очередей. Плужников метнулся в задымленный первый этаж, споткнулся о тело — еще дышащее, еще ползущее, еще волочившее за собой перебитые ноги в распустившихся окровавленных обмотках. Упал, запутавшись в этих обмотках, а когда вскочил — разглядел капитана. Он сидел у стены, крепко зажмурившись, и по его обожженному кроваво-красному лицу ручьями текли слезы.

— Не вижу! — строго и обиженно кричал он. — Почему не вижу? Почему? Где лейтенант?

— Здесь я. — Плужников стоял на коленях перед ослепшим командиром — опаленное лицо казалось непомерно раздутым, сгоревшая борода курчавилась пепельными завитками. — Здесь, товарищ капитан, перед вами.

— Патроны, лейтенант! Где хочешь, достань патронов! Я не вижу, не вижу, ни черта не вижу!..

— Достану, — сказал Плужников.

— Стой! Положи меня за пулемет. Положи за пулемет!..

Он шарил вокруг, ища Плужникова. Плужников схватил эти дрожавшие, суетливые руки, почему-то прижал к груди.

— Вот он — я. Вот он.

— Все, — вдруг тихо и спокойно сказал капитан, ощупывая его. — Нету моих глазыnek. Нету. Патроны. Где хочешь. Приказываю достать.

Он высвободился, коснулся пальцами голого, мокрого от слез лица. Потом правая рука его привычно скользнула к кобуре.

— Ты еще здесь, лейтенант?

— Здесь.

— Документы мои зароешь. — Капитан достал пистолет, на ощупь сбросил предохранитель, и рука его больше не дрожала. — А пистолет возьми: семь патронов останется.

Он поднял пистолет, несколько раз косо, вслепую потыкал им в голову.

— Товарищ капитан! — крикнул Плужников.

— Не смей!..

Капитан сунул ствол в рот и нажал курок. Выстрел показался Плужникову оглушительным, простреленная голова тупо ударилась о стену, капитан мучительно выгнулся и сполз на пол.

— Готов.

Плужников оглянулся: рядом стоял сержант.

— Отбили,— сказал сержант.— А доложить не успел. Жалко.

Только сейчас Плужников расслышал, что стрельбы нет. Пыль медленно оседала, виднелись развороченные окна, пролом стены и бойцы возле этого пролома.

— Три диска осталось,— сказал сержант.— Еще раз подорвут — и амба.

— Я достану патроны.

Плужников вынул тяжелый ТТ из еще теплой руки капитана, положил в карман. Сказал, вставая:

— Документы его зароешь, он просил. А патроны я принесу. Сегодня же.

И пошел к оконной нише, возле которой расстался с везучим Сальниковым.

В нише никого не было, и Плужников устало опустился на кирпичи. Он не попал под взрыв, не отбивал немецкой атаки, но чувствовал себя разбитым. Впрочем, чувство это давно уже не покидало его: он был много раз оглушен, засыпан, отравлен дымом и порохом, и даже та пустяковая рана на ноге, что затянулась на молодом теле сама собой, часто тревожила его внезапной, отдававшей в колено болью. Ныли отбитые кирпичами почки, мутило от постоянного голода, жажды, недосыпания и липкого трупного запаха, которым была пропитана каждая складка его одежды. Он давно уже привык думать только об опасности, только о том, как отбить атаку, как достать воду, патроны, еду, и уже разучился вспоминать что-либо. И даже сейчас, в эту короткую минуту затишья, он думал не о себе, не о капитане, что застрелился на его глазах, не о Денищике, что умирал на голом полу каземата,— он думал, где достать патронов. Патронов и гранат, без которых нельзя было прорваться из окруженной крепости.

Сальников вернулся через окно — от немцев. Бросил на землю три автоматные обоймы, сказал:

— Вот гады немцы — без фляжек в атаку ходят.

— Слушай, Сальников, ты тот, первый день помнишь? Ты вроде за патронами тогда бежал. Вроде склад какой-то...

— Кондаков тот склад знал. А мы с тобой искали и не нашли.

— Мы тогда дураками были.

— Теперь поумнели? — Сальников вздохнул.— Искать пойдем?



— Пойдем,— сказал Плужников.— У сержанта три диска к пулемету осталось.

— При солнышке?

— Ночью не найдем.

— Пишите письма,— усмехнулся Сальников.— С приветом к вам.

Плужников промолчал. Сальников порывлся в карманах, вытащил пригоршню грязных изломанных галет. Они долго, словно дряхлые старцы, жевали эти галеты: в сухих ртах с трудом ворочались шершавые языки.

— Водички бы...— привычно вздохнул Сальников.

— Поди шинель разыщи,— сказал Плужников.— Володька на голом полу лежит. Зайдем к нему, а потом — двинем. На солнышко.

— К черту в зубы, к волку в пасть,— проворчал Сальников, уходя.

Он скоро приволок шинель — прожженную, с бурым пятном засохшей крови на спине. Молча поделили автоматные обоймы и полезли вниз по осыпающимся кирпичам в черную дыру подземелья.

Денищик был еще жив — лежал не шевелясь, глядя тускнеющими глазами в серый клочок неба. В черной цыганской бороде запеклась кровь. Он посмотрел на них отрешенно и снова уставился в окно.

— Не узнаёт,— сказал Сальников.

— Везучий,— с трудом сказал пограничник.— Ты — везучий. Хорошо.

— В бане сейчас хорошо,— улыбнулся Сальников.— И тепло, и водичка.

— Не носи. Воду не носи. Зря. К утру помру.

Он сказал это так просто и спокойно, что они не стали разуверять его. Он действительно умирал, ясно осознавал это, не отчаивался, а хотел только смотреть в небо. И они поняли, что высшее милосердие — это оставить Денищика одного. Наедине с самим собой и с небом. Они подсунули под него шинель, пожали вялую, уже холодную руку и ушли. За патронами для живых.

Немцы уже ворвались в цитадель, расчленив оборону на изолированные очаги сопротивления. Днем они упорно продвигались по запутанному лабиринту кольцевых казарм, стремясь оставить за собою развалины, а ночью развалины эти — подорванные саперами, взметенные прицельной бомбежкой и добела выжженные огнеметами — оживали вновь. Израненные, опален-

ные, измотанные жаждой и боями скелеты в лохмотьях поднимались из-под кирпичей, выползали из подземелий и в штыковых атаках уничтожали тех, кто рисковал оставаться на ночь. И немцы боялись ночей.

Но Плужников с Сальниковым шли за патронами днем. Ползли, царапая щеки о кирпичи, глотая пыль, задыхаясь в тяжком трупном запахе, напряженными спинами каждое мгновение ожидая автоматных очередей. Каждый миг здесь был последним, и каждое неосторожное движение могло приблизить этот миг. И поэтому они переползали понемногу, по несколько шагов и только по очереди, а перед тем как ползти, долго и напряженно вслушивались. Крепость сотрясалась от разрывов, автоматного треска и рева пламени, но здесь, где ползли они, было пока тихо.

Спасали воронки: на дне можно было отдышаться, прийти в себя, накопить силы для очередного шага вперед. Шага, который следовало проползти, ощущая каждый миллиметр.

В ту воронку, со дна которой так и не выветрился удушливый запах взрывчатки, Сальников сполз вторым. Плужников уже сидел на песке, сбросив нагретую солнцем каску.

— Женюсь,— прохрипел Сальников, сев рядом.— Если живой выберусь, непременно женюсь. Дурак был, что не женился. Мне, понимаешь, сватали...

Резкая тень упала на лицо, и Плужников, еще ничего не поняв, успел только удивиться, откуда она взялась, эта тень.

— Хальт!

Тугая автоматная очередь рванула воздух над головами: на откосе стоял немец. Стоял в двух шагах, и Плужников, медленно поднимаясь, с удивительной четкостью видел засученные по локоть рукава, серо-зеленый, в кирпичной пыли мундир, расстегнутый у ворота на две пуговицы, и черную дыру автомата, пронзительно глядевшую прямо в сердце. Они оба медленно встали, а их автоматы остались лежать у ног, на дне воронки. И так же медленно, точно во сне, подняли вверх руки.

А немец стоял над ними, нацелив автомат, стоял и улыбался — молодой, сытый, чисто выбритый. Сейчас он должен был чуть надавить на спусковой крючок, обжигающая струя ударила бы в грудь, и они навеки остались бы здесь, в этой воронке. И Плужников уже

чувствовал эти пули, чувствовал, как они, ломая кости и разбрызгивая кровь, вонзаются в его тело. Сердце забилось отчаянно быстро, а горло сдавило сухим обручем, и он громко, судорожно икнул, нелепо дернув головой.

А немец расхохотался. Смех его был громким, уверенным — смех победителя. Он снял левую руку с автомата и указательным пальцем поманил их к себе. И они, не отрывая напряженных, немигающих глаз от автоматного дула, покорно полезли наверх, оступаясь и мешая друг другу. А немец все хохотал и все манил их из воронки указательным пальцем.

— Сейчас, — задыхаясь, бормотал Сальников. — Сейчас, сейчас.

Он обогнал Плужникова и, уже высунувшись по пояс из воронки, упал вдруг грудью на край и, схватив немца за ноги, с силой рванул на себя. Длинная автоматная очередь ударила в небо, немец и Сальников скатились вниз, и Плужников услышал отчаянный крик:

— Беги, лейтенант! Беги! Беги! Беги!

И еще — топот. Плужников выскочил на гребень, увидел немцев, что спешили на крик, и побежал. Очередь прижимали к земле, крошили кирпич у ног, а он бежал, перепрыгивая через трупы и бросаясь из стороны в сторону. И съездившаяся, согнутая в три погибели собственная спина казалась ему сейчас непомерно огромной, разбухшей, заслонявшей его самого уже не от немцев, не от пуль — от жизни.

Пули ложились то справа, то слева, то спереди, и Плужников, широко разинутым ртом хватая обжигающий воздух, тоже бросался то вправо, то влево, уже ничего не видя, кроме фонтанчиков, что взбивали эти пули. А немцы и не думали бежать за ним, а, надрываясь от хохота, гоняли по кругу автоматными очередями. И этот оборванный, грязный, задыхающийся человек бежал, падал, полз, плакал и снова бежал, загнанно утыкаясь в невидимые стены пулевых вееров. Они не спешили прекращать развлечение и старались стрелять так, чтобы не попасть в Плужникова, чтобы охота продлилась подольше, чтобы было что порассказать тем, кто не видел этой потехи.

А двое других неторопливо и обстоятельно били в воронке Сальникова. Он давно уже перестал кричать, а только хрипел, а они размеренно, как молотобойцы,

били и били прикладами. Из рта и ушей Сальникова текла кровь, а он корчился и все пытался прикрыть голову непослушными руками.

Пулевой круг медленно сужался, но Плужников все еще метался в нем, все еще не верил, что кружится на пяточке, все еще на что-то надеялся. Пистолет, что он сунул в карман, стучал по ноге, он все время чувствовал его, но не было, не хватало того мгновения, когда можно было бы выхватить его. Не было этого мгновения, не было воздуха, не было сил и не было выхода. Был конец. Конец службы и конец жизни лейтенанта Николая Плужникова.

Они сами загнали его на этот обломок кирпичной стены, одиноко торчавший из развороченной земли. Плужников упал за него, спасаясь от очереди, что раздробила кирпичи в сантиметре от сапога. Упал, укрылся, на какую-то секунду прекратилась стрельба, и за эту секунду он успел увидеть дыру. Она вела вниз, под стену, в черноту и неизвестность, и он, не раздумывая, пополз в нее, пополз со всей скоростью, на какую только был способен, извиваясь телом, в кровь обдирая пальцы, локти, колени. Щель резко заворачивала вправо, и он успел скользнуть за поворот и, вдруг, потеряв опору, полетел куда-то, растопырив руки. И, падая, слышал над головой взрыв. Вслед за ним немцы швырнули в дыру гранату, и граната эта, ударившись о стену, взорвалась за поворотом, упруго встряхнув прохладную тишину подземелья.

Плужников упал на заваленный песком и штукатуркой кирпичный пол, но удачно, на руки. Не разбился, только от сотрясения из носа обильно пошла кровь. Размазывая ее по лицу, по гимнастерке, он лежал не шевелясь, по уже отработанной привычке на слух определяя опасность. Он изо всех сил сдерживал дыхание, но сердце по-прежнему бешено колотилось в груди, дышать приходилось часто и бурно, несмотря на все его старания. И, еще не отдышавшись, он достал пистолет и поудобнее улегся на холодном полу.

И почти тотчас же услышал шаги. Кто-то шел к нему, осторожно ступая, только чуть поскрипывал песок. Напряженно вглядываясь в густой сумрак, Плужников поднял пистолет; в нем все дрожало, и он держал этот пистолет двумя руками. Глаза его уже привыкли к темноте, и он еще издали уловил смутные фигуры: шли двое.

— Стой! — негромко скомандовал он, когда они приблизились. — Кто идет?

Фигуры замерли, а затем одна дернулась, поплыла вперед прямо на вздрагивающую мушку его пистолета.

— Стреляю!

— Да свои мы, свои, товарищи! — радостно и торопливо закричал тот, что шел на него. — Федорчук, запали паклю, осветись!

Чиркнула спичка. Дымный свет факела выхватил из резко сгустившейся тьмы заросшее бородой лицо, армейский бушлат, расстегнутый воротник гимнастерки с тремя ало вздрогнувшими треугольничками на черных артиллерийских петлицах.

— Свои мы, свои, дорогой! — кричал первый. — Засыпало нас аж в первые залпы. Сами выкапывались, ходы рыли, думали... думали... думали...

Дрожащий свет факела вдруг оторвался, поплыл, закружился, заиграл ослепительными, веселыми брызгами. Пистолет с мягким стуком выпал из ослабевших рук, и Плужников потерял сознание.

Он пришел в себя в полной тишине, и эта непривычная мирная тишина испугала его. Сердце вдруг вновь бешено заколотилось в груди; все еще не открывая глаз, он с ужасом подумал, что оглох, оглох полностью, навсегда и, мучительно напрягаясь, ловил, искал, ждал знакомых звуков: грохота взрывов, пулеметного треска, сухих автоматных очередей. Но услышал тихий женский голос, почти шепот:

— Очнулся, тетя Христя.

Он открыл глаза, увидел блики огня на размытых мраком, уходящих ввысь сводах и круглое девичье лицо: черная прядь волос выглядывала из-под неправдоподобно белой, сказочно чистой косынки. Осторожно шевельнул руками — они были свободны, не связаны, — ощупал ими край деревянной скамьи, на которой лежал, и сразу сел.

— Где я?

От резкого движения в глазах поплыло слабо освещенное подземелье, бородатые мужчины и два женских лица: молодое, что было совсем рядом, и постаршее, порыхлее, — в глубине, у стола. Лица эти двоились, размывались, а он суетливо шарил руками по лавке, по карманам, по липкой от крови гимнастерке. Шарил и не находил оружия.

— Выпейте воды.

Молодая протягивала жестяную кружку. Он недоверчиво взял, недоверчиво глотнул: вода была мутной, на зубах хрустел песок, но это была первая вода за истекающие сутки, и он жадно, захлебываясь, выпил кружку до дна. И сразу перестало кружиться подземелье, огни, людские лица. Он ясно увидел большой стол, на котором горели три плошки, чайник на этом столе, посуду, прикрытую чистой тряпочкой, и пятерых: троих мужчин и двух женщин. Все пятеро, улыбаясь, глядели сейчас на него; у пожилой по щекам текли слезы, она вытирала их, всхлипывала, но — улыбалась. Что-то знакомое, далекое как сон, померещилось ему, но он не стал припоминать, а сказал требовательно и сухо:

— Пистолет. Мой пистолет.

— Вот он. — Молодая поспешно схватила пистолет, лежавший на столе, протянула ему. — Не узнаете, товарищ лейтенант?

Он молча схватил пистолет, выщелкнул обойму, проверил, есть ли патроны. Патроны были, он ударом вогнал обойму в рукоятку и сразу успокоился.

— Не узнаете? Помните, в субботу — ту, перед войной, — мы в крепость пришли. Вы упали еще. У КПП. Я — Мирра, помните?

— Да-да.

Он все припомнил. Девушку-хромоножку и женщин с детьми, что в полной тишине шли через развороченную крепость в немецкий плен, первый залп, и первую встречу с Сальниковым, и отчаянный, последний крик Сальникова: «Беги, лейтенант, беги!..» Он вспомнил ослепшего капитана и Денищика в пустом каземате, цену глотка воды и страшный подвал, забитый умирающими. Ему что-то весело, возбужденно, перебивая друг друга, рассказывали все пятеро, но он ничего сейчас не слышал.

— Сытые? — шепотом спросил он, и от этого звенящего шепота все вдруг замолчали. — Сытые, чистые, целые?.. А там, там братья ваши, товарищи ваши, там, над головой, мертвые лежат, необрунные, землей не засыпанные. И мы — мертвые! Мертвые бой ведем, давно уж, сто раз убитые, немцев руками голыми душим. Воду, воду детям не давали, — пулеметам. Дети от жажды с ума сходили, а мы — пулеметам! Только пулеметам! Чтоб стреляли! Чтоб немцев, немцев не пустить!.. А вы отсиживались?.. — Он вдруг вскочил. — Сволочи! Расстреляю! За трусость, за предательство!

Я теперь право имею! Я право такое имею — именем тех, что наверху лежат! Их именем!..

Он кричал, кричал в полный голос и тряся, как в ознобе, а они молчали. Только при последних словах старший сержант Федорчук отступил в темноту, и там, в темноте, коротко лязгнул затвор автомата.

— Ты нас не сволочи.

Рыхлая фигура качнулась навстречу, полные руки ласково и властно обняли его. Плужников хотел рвануться, но коснулся плечом мягкой материнской груди, прижался к ней заросшей окровавленной щекой и заплакал. Он плакал громко, навзрыд, а ласковые руки гладили его по плечам, и тихий, спокойный, совсем как у мамы, голос шептал:

— Успокойся, сынок, успокойся. Вот ты и вернулся. Домой вернулся, целым вернулся. Отдохни, а там и решать будем. Отдохни, сыночек.

«Вот я и вернулся,— устало подумал Плужников.— Вернулся...»

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

### 1

Склад, в котором на рассвете 22 июня пили чай старшина Степан Матвеевич, старший сержант Федорчук, красноармеец Вася Волков и три женщины, накрыло тяжелым снарядом в первые минуты артподготовки. Снаряд разорвался над входом, перекрытия выдержали, но лестницу завалило, отрезав единственный путь наверх — путь к спасению, как тогда считали они. Плужников помнил этот снаряд: взрывная волна швырнула его в свежую воронку, куда потом, когда он уже очухался, ввалился Сальников. Но для него этот снаряд разорвался сзади, а для них — впереди, и пути их надолго разошлись.

Вся война для них, заживо замурованных в глухом каземате, шла теперь наверху. От нее ходуном ходили старые, метровой кладки, стены, склад заваливало новыми пластами песка и битых кирпичей, отдушины обвалились. Они были отрезаны от своих и от всего мира, но у них была еда, а воду уже на второй день они добыли из колодца. Мужчины, взломав пол,

вырыли его, и за сутки там скапливалось до двух котелков. Было что есть, что пить и что делать — они во все стороны наугад долбили стены, надеясь прорыть ход на поверхность или проникнуть в соседние подземелья. Ходы эти заваливало при очередных бомбежках, и они рыли снова и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и глухих казематов. Оттуда пробрались в оружейный склад, выход из которого тоже был замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра.

Впервые за много дней они поднялись наверх: заживо погребенные неистово стремились к свободе, воздуху, своим. Один за другим они выползали из подземелья — все шестеро — и замирали, не решаясь сделать шаг от той щели, что, как им казалось, вела к жизни и спасению.

Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне Мухавца и за костелом еще стреляли, еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этой ночью было тихо. И неузнаваемо. И не было ни своих, ни воздуха, ни свободы.

— Хана, — прохрипел Федорчук.

Тетя Христя плакала, по-крестьянски собирая слезы в уголок головного платка. Мирра прижалась к ней, от трупного смрада ее душили спазмы. И только Анна Петровна, сухо глянув горящими даже в темноте глазами, молча пошла через двор.

— Аня! — окликнул Степан Матвеевич. — Куда ты, Аня?

— Дети. — Она на секунду обернулась. — Дети там, Мои дети.

Анна Ивановна ушла, а они, растерянные и подавленные, вернулись в подземелье.

— Разведка нужна, — сказал старшина. — Куда идти, где они, наши?

— Куда разведку-то, куда? — вздохнул Федорчук. — Немцы кругом.

А мать шла, спотыкаясь о трупы, сухими, уже тронутыми безумием глазами вглядываясь в фиолетовый отблеск ракет. И никто не окликнул ее и не остановил, потому что шла она по участку, уже оставленному нашими, уже взорванному немецкими саперами и вздыбленному многодневной бомбежкой. Она миновала трехарочные ворота и взошла на мост — еще скользкий от крови, еще заваленный трупами — и упала здесь, среди



своих, в трех местах простреленная случайной очередью. Упала, как шла,— прямая и строгая, протянув руки к детям, которых давно уже не было в живых.

Но об этом никто не знал. Ни оставшиеся в подземельях, ни тем более лейтенант Плужников.

Опомнившись, он потребовал патронов. И когда через проломы в стенах, через подземный лаз его провели в склад — тот склад, куда в первые часы войны бежал Сальников,— и он увидел новенькие, тусклые от смазки ПППШ, полные диски и запечатанные, нетронутые цинки, он с трудом удержал слезы. То оружие, за которое столько ночей они платили жизнями своих товарищей, лежало сейчас перед ним, и большего счастья он не ждал и не хотел. Он всех заставил чистить оружие, снимать смазку, готовить к бою, и все лихорадочно протирали стволы и затворы, зараженные его яростной энергией.

К вечеру все было готово: автоматы, запасные диски, цинки с патронами. Все было перенесено в тупик под щелью, где днем лежал он, задыхаясь, не веря в собственное спасение и слушая шаги. Всех мужчин он забирал с собой — каждый, кроме оружия и патронов, нес по фляжке воды из колодца Степана Матвеевича. Женщины оставались здесь.

— Вернемся,— сказал Плужников.

Он разговаривал коротко и зло, и они молча подчинялись ему. Кто — с уважением и готовностью, кто — со страхом, кто — с плохо скрытым неудовольствием, но возражать никто не осмеливался. Уж очень страшен был этот черный от голода и бессонницы заросший лейтенант в изодранной, окровавленной гимнастерке.

Только раз старшина негромко вмешался:

— Убери все. Сухарь ему и кипятку стакан.

Это когда сердобольная тетя Христя выволокла на дощатый стол все, что берегла на черный день. Годные спазмы сжали горло Плужникова, и он пошел к этому столу, протянув руки. Пошел, чтобы все съесть, все, что видит, чтобы набить живот до отказа, чтобы наконец-то заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя рукав, чтобы не кричать. Но старшина твердо взял его за руки, загородил стол.

— Убирай, Яновна. Нельзя вам, товарищ лейтенант. Помрете. Теперь понемногу надо. Живот надо заново приучать.

Плужников сдержался. Проглотил судорожный ком, увидел круглые, полные слез глаза Мирры, попробовал улыбнуться, понял, что улыбаться разучился, и отвернулся.

Еще до вылазки к своим, как только стемнело, он вместе с молодым, испуганно молчаливым бойцом Васей Волковым осторожно выполз из щели. Долго лежал, вслушиваясь в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, лязг оружия. Но здесь было тихо.

— За мной. И не спеши: слушай сначала.

Они облазали все воронки, проверили каждый завал, ощупали каждый труп. Сальникова не было.

— Живой, — с облегчением сказал Плужников, когда они спустились к своим. — В плен увели: наших убитых они не закапывают.

Все же он чувствовал себя виноватым — виноватым не по разуму, а по совести. Он воевал не первый день и уже хорошо понял, что у войны свои законы, своя мораль, и то, что в мирной жизни считается недопустимым, в бою бывает просто необходимостью. Но, понимая, что он не мог спасти Сальникова, что он должен был, обязан был — не перед собой, нет! — перед теми, кто послал его в этот поиск, — попытаться уйти и ушел, Плужников очень боялся найти Сальникова мертвым. А немцы увели его в плен, и, значит, оставался еще шанс, что везучий, неунывающий Сальников выживет, выкрутится, а может быть, и убежит. За дни и ночи нескончаемых боев из перепуганного парнишки с расцарапанной щекой он вырос в отчаянного, умного, хитрого и изворотливого бойца. И Плужников вздохнул облегченно:

— Живой.

Они натаскали в тупичок под щелью много оружия и боеприпасов: прорыв следовало обеспечить неожиданной для противника огневой мощью. Все перенести к своим за раз было не под силу, и Плужников рассчитывал вернуться в эту же ночь. Поэтому он и сказал женщинам, что вернется, но чем ближе подступало время вылазки, тем все больше Плужников начинал нервничать. Осталось решить еще один вопрос, решить безотлагательно, но как подступиться к нему — Плужников не знал.

Женщин нельзя было брать с собой на прорыв: слишком опасной и трудной даже для обстрелянных бойцов была эта задача. Но нельзя было и оставлять

их здесь на произвол судьбы, и Плужников все время мучительно искал выход. Но как он ни прикидывал, выход был один.

— Вы останетесь здесь, — сказал он, стараясь не встречаться взглядом с девушкой. — Завтра днем — у немцев с четырнадцати до шестнадцати обед, самое тихое время, — завтра выйдете наверх с белыми тряпками. И сдадитесь в плен.

— В плен? — тихо и недоверчиво спросила Мирра.

— Еще чего выдумал! — не дав ему ответить, громко и возмущенно сказала тетя Христя. — В плен — еще чего выдумал! Да кому я, старуха, в плену-то этом нужна? А девочка? — Она обняла Мирру, прижала к себе. — С сухой-то ножкой, на деревяшке?.. Да будет тебе, товарищ лейтенант, выдумывать, будет!

— Не дойду я, — еле слышно сказала Мирра, и Плужников почему-то сразу понял, что говорит она не о пути до немцев, а о том пути, каким погонят ее эти немцы в плен.

Поэтому он сразу не нашелся, что возразить, и угрюмо молчал, соглашаясь и не соглашаясь с доводами женщин.

— Ишь чего выдумал! — иным тоном, теперь уже словно удивляясь, продолжала тетя Христя. — Негодное твое решение, хоть ты и командир. Вовсе негодное.

— Нельзя вам тут оставаться, — неуверенно сказал он. — И был приказ командования — все женщины ушли...

— Так они вам обузой были, потому и ушли! И я уйду, коли почувствую, что в тягость. А сейчас-то, сейчас, сынок, кому мы тут с Миррочкой помешаем в норе-то нашей? Да никому, воюйте себе на здоровье! А у нас и место есть, и еда, и никому мы не в обузу, и отсидимся тут, покуда наши не вернутся.

Плужников молчал. Он не хотел говорить, что немцы каждый день сообщают о взятии все новых и новых городов, о боях под Москвой и Ленинградом, о разгроме Красной Армии. Он не верил немецким речам, но он уже давно не слышал и грохота наших орудий.

— Девчонка-то жидовочка, — вдруг сказал Федорчук. — Жидовочка да калека — прихлопнут они ее как пить дать.

— Не смейте так говорить! — крикнул Плужников, — Это их слово, их! Фашистское это слово!

— Тут не в слове дело, — вздохнул старшина. — Слово, конечно, нехорошее, а только Федорчук правду говорит. Не любят они еврейской нации.

— Знаю! — резко оборвал Плужников. — Понял. Все. Останетесь. Может, они войска из крепости выведут, тогда уходите. Уж как-нибудь.

Он принял решение, но был им недоволен. И чем больше думал об этом, тем все больше внутренне протестовал, но предложить что-либо другое не мог. Поэтому он хмуро отдал команду, хмуро пообещал вернуться за боеприпасами, хмуро полез наверх вслед за посланным в разведку тихим Васей Волковым.

Волков был пареньком исполнительным, но всем земным радостям предпочитал сон и использовал для него любые возможности. Пережив ужас в первые минуты войны — ужас заживо погребенного, — он все же сумел подавить его в себе, но стал еще незаметнее и еще исполнительнее. Он решил во всем полагаться на старших, и внезапное появление лейтенанта встретил с огромным облегчением. Он плохо понимал, на что сердится этот грязный, оборванный, худой командир, но твердо был убежден, что отныне именно этот командир отвечает за его, Волкова, жизнь.

Он старательно исполнил все, что было приказано: тихо выбрался наверх, послушал, огляделся, никого не обнаружил и начал деятельно вытаскивать из дыры оружие и боеприпасы.

А немецкие автоматчики прошли рядом. Они не заметили Волкова, а он, заметив их, не проследил, куда они направлялись, и даже не доложил, потому что это выходило за рамки того задания, которое он получил. Немцы не интересовались их убежищем, шли куда-то по своим делам, и их путь был свободен. И пока он вытаскивал из узкого лаза цинки и автоматы, пока все выбрались на поверхность, немцы уже прошли, и Плужников, как ни вслушивался, ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то бросали мины, где-то ярко светили ракетами, но развороченный центр цитадели был пустынен.

— Волков со мной, старшина и сержант — замыкающие. Быстро вперед.

Пригнувшись, они двинулись к темным далеким развалинам, где еще держались свои, где умирал Де-нищик, где у сержанта оставалось три диска к дегтярю. И в этот момент в развалинах ярко полыхнуло бе-

лое пламя, донесся грохот и вслед за ним короткие и сухие автоматные очереди.

— Подорвали! — крикнул Плужников. — Немцы стену подорвали!

На голос ударил пулемет, трассы пронзили черное небо. Волков упал, выронив цинки, а Плужников, что-то крича, бежал навстречу цветным пулеметным нитям. Старшина догнал его, сбил с ног, навалился:

— Тихо, товарищ лейтенант, тихо! Опомнись!

— Пусти! Там ребята, там патронов нет, там раненные...

— Куда пустить-то, куда?

— Пусти!..

Плужников бился, стараясь высвободиться из-под тяжелого, сильного тела. Но Степан Матвеевич держал крепко и отпустил только тогда, когда Плужников перестал рваться.

— Поздно уже, товарищ лейтенант, — вздохнул он. — Поздно. Послушай.

Бой в развалинах затихал. Кое-где редко били еще немецкие автоматы — то ли простреливали темные отсеки, то ли добивали защитников, но ответного огня не было, как Плужников ни вслушивался. И пулемет, что стрелял в темноте на его голос, тоже замолчал, и Плужников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа.

Он все еще лежал на земле, все еще надеясь, все еще вслушиваясь в теперь уже совсем редкие очереди. Он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И старшина молча лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать.

— Обходят. — Федорчук подергал старшину. — Отрежут еще. Убили этого, что ли?

— Помоги.

Плужников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, поднимался, ложился, пил, что давали, — и молчал. Даже когда девушка, укрывая его шинелью, сказала:

— Это ваша шинель, товарищ лейтенант. Ваша, помните?

Да, это была его шинель. Новенькая, с золочеными командирскими пуговицами, подогнанная по фигуре. Шинель, которой он так гордился и которую ни разу

же надевал. Он узнал ее сразу, но ничего не сказал: ему было уже все равно.

Он не знал, сколько суток лежит вот так, без слов, дум и движения, и не хотел знать. Днем и ночью в под-земелье стояла могильная тишина, днем и ночью тускло светили жировые лампы, днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в которой был виновен.

С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросался вперед, бросался, не колеблясь, не раздумывая, движимый чем-то непонятным, непостижимым для него. И Плужников не пытался сейчас понять, почему все они — все погибшие по его вине — поступали именно так, он просто заново пропускал их перед своими глазами, просто вглядывался. Вглядывался неторопливо, внимательно и беспощадно.

Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко били автоматные очереди. Нет, не потому, что растерялся, не потому, что соби-рался с силами, — это было его окно, вот и вся причина. Это было его окно, он сам еще до атаки выбрал его, но в его окно, в его бьющую навстречу смерть кинулся не он, а тот рослый пограничник с неостывшим ручным пулеметом. И потом — уже мертвый — он продолжал прикрывать Плужникова от пуль, и его загустевшая кровь била Плужникову в лицо, как напоминание.

А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти, и — не ушел, не отступил, не затаился, и Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в костеле. Так же, как Володька Денишик, грудью при-крывший его в ночной атаке на мосту. Так же, как Сальников, сваливший немца тогда, когда Плужников уже сдался, уже не думал о сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрал в небо обе руки. Так же, как те, кому он обещал патроны и не принес их во-время.

Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда подносили кружку ко рту. И молчал, не отвечая на вопросы. И даже не думал — просто считал долги.

Он остался в живых только потому, что кто-то погибал за него. Он сделал это открытие, не понимая, что это — закон войны. Простой и необходимый, как смерть: если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, не путем умозаключений — он открывал его на собственном опыте, и для него это был не вопрос совести, а вопрос жизни.

— Тронулся лейтенантик,— говорил Федорчук, мало заботясь, слышит его Плужников или нет.— Ну, чего будем делать? Самим надо думать, старшина.

Старшина молчал, но Федорчук уже действовал. И первым делом старательно заложил кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не воевать. Просто жить. Жить, пока есть жратва и это глухое, неизвестное немцам подземелье.

— Ослаб он,— вздыхал старшина.— Ослаб лейтенант наш. Ты корми его помаленьку, Яновна.

Тетя Христя кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломлен, и как тут быть — не знал.

И только Мирра знала, что ей делать: ей надо было, необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притащила ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не объясняя, терпеливо разбирала рухнувшие с дверного свода кирпичи.

— Ну, чего ты там грохочешь? — ворчал Федорчук.— Обвалов давно не было, соскучилась? Тихо жить надо.

Она молча продолжала копать и на третий день с торжеством вытащила из-под обломков грязный, покореженный чемодан. Тот, который так упорно и долго искала.

— Вот! — радостно сказала она, притащив его к столу.— Я помнила, что он у дверей стоял.

— Вон чего ты искала,— вздохнула тетя Христя.— Ах, девка, девка, не ко времени сердечко твое вздрогнуло.

— Сердцу, как говорится, не прикажешь, а только — зря,— сказал Степан Матвеевич.— Ему бы забыть все в пору: и так слишком много помнит.

— Рубаха лишняя не помешает,— сказал Федорчук.— Ну, неси, чего стоишь? Может, улыбнется, хотя и сомневаюсь.

Плужников не улыбнулся. Неторопливо осмотрел все, что перед отъездом уложила мать: белье, пару летнего обмундирования, фотографии. Закрыв кривую, продавленную крышку.

— Это — ваши вещи. Ваши,— тихо сказала Мирра.

— Я помню.

И отвернулся к стене.

— Все,— вздохнул Федорчук.— Теперь уж точно — все. Кончился паренек.

И выругался длинно и забористо. И никто его не одернул.

— Ну что, старшина, делать будем? Решать надо: в этой могиле лежать или в другой какой?

— Чего решать? — неуверенно сказала тетя Христя.— Решено уж:ждемся.

— Чего? — закричал Федорчук.— Чегождемся-то? Смерти? Зимы? Немцев? Чего, спрашиваю?

— Красной Армииждемся,— сказала Мирра.

— Красной?.. — насмешливо переспросил Федорчук.— Дура! Вот она, твоя Красная Армия: без памяти лежит. Все! Поражение ей! Поражение ей, понятно это?

Он кричал, чтобы все слышали, и все слышали, но молчали. И Плужников тоже слышал и тоже молчал. Он уже все решил, все продумал и теперь терпеливо ждал, когда все заснут. Он научился ждать.

Когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плошек две погасили на ночь, Плужников поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к дыханию спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бесшумно прошел к полке, где лежали заготовленные старшиной факелы, взял один и, не зажигая, оцупью направился к лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться.

Он ничем не брякнул, не скрипнул, он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, что никто не проснется и не помешает ему. Он обдумал все обстоятельно, он все взвесил, под всем подвел черту, и тот итог, который получил он под этой чертой, означал его неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть — человека, который уже много ночей спал вполглаза,



прислушиваясь к его дыханию так же, как он прислушивался сегодня к дыханию других.

Через узкий лаз Плужников выбрался в коридор и запалил факел: отсюда свет его уже не мог проникнуть в каземат, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шел по коридорам, разгоняя крыс. Странно, что они до сих пор все еще пугали его, и поэтому он не гасил факела, хотя уже сориентировался и знал, куда идти.

Он пришел в тупичок, куда ввалился, спасаясь от немцев, — здесь до сих пор лежали патронные цинки. Он поднял факел, осветил его, но дыра оказалась плотно забитой кирпичами. Пошатал — кирпичи не поддавались. Тогда он укрепил факел в обломках и стал раскачивать эти кирпичи двумя руками. Ему удалось выбить несколько штук, но остальные сидели намертво: Федорчук потрудились на славу.

Выяснив, что вход завален прочно, Плужников прекратил бессмысленные попытки. Ему очень не хотелось делать то, что он решил, здесь, в подземелье, потому что тут жили эти люди. Они могли неверно истолковать его решение, посчитать это результатом слабости или умственного расстройства, и это было ему неприятно. Он предпочитал бы просто исчезнуть. Исчезнуть без объяснений, уйти в никуда, но его лишили этой возможности. Значит, им придется думать, что захотят, придется обсуждать его смерть, придется возиться с его телом. Придется, потому что заваленный выход несколько не поколебал его в справедливости того приговора, который он сам вынес себе.

Подумав так, он достал пистолет, передернул затвор, мгновение помешкал, не зная, куда лучше стрелять, и поднес к груди: все-таки ему не хотелось валяться здесь с раздробленным черепом. Левой рукой он нащупал сердце — оно билось часто, но ровно, почти спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно уперся в сердце...

— Коля!..

Если бы она крикнула любое другое слово — даже тем же самым голосом, звонким от страха. Любое иное слово — и он бы нажал на спуск. Но то, что крикнула она, было оттуда, из того мира, где был мир, а здесь, здесь не было и не могло быть женщины, которая вот так страшно и призывно кричала бы его имя. И он невольно опустил руку, опустил, чтобы глянуть, кто это

кричит. Опустил всего на секунду, но она, волоча ногу, успела добежать.

— Коля! Коля, не надо! Колечка, милый!

Ноги не удержали ее, и она упала, изо всех сил вцепившись в руку, в которой он держал пистолет. Она прижималась мокрым от слез лицом к его руке, целовала грязный, пропахший порохом и смертью рукав гимнастерки, она вжимала его руку в собственную грудь, вжимала, забыв о стыдливости, инстинктивно чувствуя, что там, в девичьем упругом тепле, он не нажмет на курок.

— Брось его. Брось. Я не отпущу. Тогда стреляй сначала в меня. Стреляй в меня.

Густой желтый свет пропитанной салом пакли освещал их. Горбатые тени метались по сводам, уходившим во мглу, и Плужников слышал, как бьется ее сердце.

— Зачем ты здесь? — с тоской спросил он.

Мирра впервые подняла лицо — свет факела дробился в слезах.

— Ты — Красная Армия, — сказала она. — Ты — моя Красная Армия. Как же ты можешь? Как же ты можешь бросить меня? За что?

Его не смутила красивость ее слов — смутило другое. Оказывается, кто-то нуждался в нем, кому-то он был еще нужен. Нужен как защитник, как друг, как товарищ.

— Отпусти руку.

— Сначала брось пистолет.

— Он на боевом взводе. Может быть выстрел.

Плужников помог Мирре встать. Она поднялась, но по-прежнему стояла вплотную, готовая каждую секунду перехватить его руку. Он усмехнулся, поставил пистолет на предохранитель, спустил курок и сунул пистолет в карман. И взял факел:

— Пойдем?

Она шла рядом, держась за руку. Возле лаза оставилась:

— Я никому не скажу. Даже тете Христе.

Он молча погладил ее по голове. Как маленькую. И загасил факел в песке.

— Спокойной ночи! — шепнула Мирра, ныряя в лаз.

Следом за нею Плужников пролез в каземат, где по-прежнему мощно храпел старшина и чадила площ-

ка. Прошел к своей скамье, укрылся шинелью, хотел подумать, как быть дальше, и — заснул. Крепко и спокойно.

Утром Плужников встал вместе со всеми. Убрал все со скамьи, на которой столько суток пролежал, глядя в одну точку.

— На поправку повернуло, товарищ лейтенант? — недоверчиво улыбаясь, спросил старшина.

— Вода найдется? Кружки три хотя бы.

— Есть вода, есть! — засуетился Степан Матвеевич.

— Польете мне, Волков. — Плужников впервые за много дней содрал с себя перепревшую гимнастерку, надетую на голое тело: майка давно пошла на бинты. Вынул из продавленного чемодана смену белья, мыло, полотенце. — Мирра, пришей мне подворотничок к летней гимнастерке.

Вылез в подземный ход, долго, старательно мылся, все время думая, что тратит воду, и впервые сознательно не жалея этой воды. Вернулся и так же молча, тщательно и неумело побрился новенькой бритвой, купленной в училищном военторге не по надобности, а про запас. Растер одеколоном худое, изрезанное непривычной бритвой лицо, надел гимнастерку, что подала Мирра, туго затянулся ремнем. Сел к столу — худая мальчишеская шея торчала из воротника, ставшего непомерно широким.

— Докладывайте.

Переглянулись. Старшина спросил неуверенно:

— Что докладывать?

— Все. — Плужников говорил жестко и коротко — рубил. — Где наши, где противник.

— Так это... — Старшина замялся. — Противник известно где — наверху. А наши... Наши неизвестно.

— Почему неизвестно?

— Известно, где наши, — угрюмо сказал Федорчук. — Внизу. Немцы наверху, а наши — внизу.

Плужников не обратил внимания на его слова. Он говорил со старшиной, как со своим заместителем, и всячески подчеркивал это.

— Почему не знаете, где наши?

Степан Матвеевич виновато вздохнул:

— Разведку не производили.

— Догадываюсь. Я спрашиваю: почему?

— Да ведь, как сказать. Болели вы. А мы выход заложили.

— Кто заложил?

Старшина промолчал. Тетя Христя хотела что-то пояснить, но Мирра остановила ее.

— Я спрашиваю, кто заложил?

— Ну я! — громко сказал Федорчук.

— Не понял,

— Я.

— Еще раз не понял, — тем же тоном сказал Плужников, не глядя на старшего сержанта.

— Старший сержант Федорчук.

— Так вот, товарищ старший сержант, через час доложите мне, что путь наверх свободен.

— Днем работать не буду.

— Через час доложите об исполнении, — повторил Плужников. — А слова «не буду», «не хочу» или «не могу» приказываю забыть. Забыть до конца войны. Мы — подразделение Красной Армии. Обыкновенное подразделение, только и всего.

Еще час назад, проснувшись, он не знал, что скажет, но понимал, что говорить обязан. Он нарочно оттягивал эту минуту — минуту, которая должна была либо все поставить по своим местам, либо лишить его права командовать этими людьми. Поэтому он и затеял умывание, переодевание, бритье — он думал и готовился к этому разговору. Готовился продолжать войну, и в нем уже не было ни сомнений, ни колебаний. Все осталось там, во вчерашнем дне, пережить который ему было суждено.

## 2

В тот день Федорчук выполнил приказание Плужникова — путь наверх стал свободен. В ночь они провели тщательнейшую разведку двумя парами: Плужников шел с красноармейцем Волковым, Федорчук — со старшиной. Крепость еще жила, еще огрызалась редкими вспышками перестрелок, но перестрелки эти вспыхивали далеко от них, за Мухавцом, и наладить с кем-либо связь тогда не удалось. Обе группы вернулись, не встретив ни своих, ни чужих.

— Одни побитые, — вздыхал Степан Матвеевич. — Много побито нашего брата. Ой много!

Плужников повторил поиск днем. Он не очень рассчитывал на связь со своими, понимая, что разрозненные группы уцелевших защитников отошли в глухие

подземелья. Но он должен был найти немцев, определить их расположение, связь, способы передвижения по разгромленной крепости. Должен был, иначе их прекрасная и сверхнадежная позиция оказывалась попросту бессмысленной.

Он сам ходил в эту разведку. Добрался до Тереспольских ворот, сутки прятался в соседних развалинах. Немцы входили в крепость именно через эти ворота — регулярно, каждое утро, в одно и то же время. И вечером столь же аккуратно уходили, оставив усиленные караулы. Судя по всему, тактика их изменилась: они уже не стремились атаковать, а обнаружив очаги сопротивления, блокировали их и вызывали огнеметчиков. Да и ростом эти немцы выглядели пониже тех, с кем до сих пор сталкивался Плужников, и автоматов у них было явно поменьше: карабины стали более обычным оружием.

— Либо я вырос, либо немцы съезились, — невесело пошутил Плужников вечером. — Что-то в них изменилось, а вот что — не пойму. Завтра с вами пойдем, Степан Матвеевич. Хочу, чтобы вы тоже поглядели.

Вместе со старшиной они затемно перебрались в обгоревшие и разгромленные коробки казарм 84-го полка: Степан Матвеевич хорошо знал эти казармы. Заранее расположились почти с удобствами: Плужников наблюдал за берегами Буга, старшина — за внутренним участком крепости возле Холмских ворот.

Утро было ясным и тихим, лишь иногда лихорадочная стрельба вспыхивала вдруг где-то на Кобринском укреплении, возле внешних валов. Внезапно вспыхивала, столь же внезапно прекращалась, и Плужников никак не мог понять — то ли немцы на всякий случай постреливают по казематам, то ли где-то еще держатся последние группы защитников крепости.

— Товарищ лейтенант! — напряженным шепотом окликнул старшина.

Плужников перебрался к нему, выглянул: совсем рядом строилась шеренга немецких автоматчиков. И вид их, и оружие, и манера вести себя — манера бывалых солдат, которым многое прощается, — все было вполне обычным. Немцы не съезились, не стали меньше, они оставались такими же, какими на всю жизнь запомнил их лейтенант Плужников.

Три офицера приближались к шеренге. Прозвучала короткая команда, строй вытянулся, командир доло-

жил шедшему первым — высокому и немолодому, видимо старшему. Старший принял рапорт и медленно пошел вдоль замершего строя. Следом шли офицеры: один держал коробочки, которые старший вручал вышагивающим из строя солдатам.

— Ордена выдает, — сообразил Плужников. — Награды на поле боя. Ах ты, сволочь ты немецкая, я тебе покажу награды...

Он забыл сейчас, что не один, что вышел не для боя, что развалины казарм за спиной — очень неудобная позиция. Он помнил сейчас тех, за кого получали кресты эти рослые парни, замершие в парадном строю. Вспомнил убитых, умерших от ран, сошедших с ума. Вспомнил и поднял автомат.

Короткие очереди ударили почти в упор, с десятка шагов. Упал старший офицер, выдававший награды, упали оба его ассистента, кто-то из только что награжденных. Но ордена эти парни получали даром: растерянность их была мгновенной, и не успела смолкнуть очередь Плужникова, как строй рассыпался, укрылся и ударил по развалинам из всех автоматов.

Если бы не старшина, они бы не ушли тогда живыми: немцы рассвирепели, никого не боялись и быстро замкнули кольцо. Но Степан Матвеевич знал эти помещения еще по мирной жизни и сумел вывести Плужникова. Воспользовавшись стрельбой, беготней и сумятицей, они пробрались через двор и юркнули в свою дыру, когда немецкие автоматчики еще простреливали каждый закуток в развалинах казарм.

— Не изменился немец. — Плужников попытался засмеяться, но из пересохшего горла вырвался хрип, и он сразу перестал улыбаться. — Если бы не вы, старшина, мне бы пришлось туго.

— Про ту дверь в полку только старшины знали, — вздохнул Степан Матвеевич. — Вот она, значит, и пригодилась.

Он с трудом стащил сапог: портянка набухла от крови. Тетя Христя закричала, замахала руками.

— Пустяк, Яновна, — сказал старшина. — Мясо зацепило, чувствую. А кость цела. Кость цела — это главное: дырка зарастет.

— Ну и зачем это? — раздраженно спросил Федорчук. — Постреляли, побегали — а зачем? Что, война от этого скорее кончится, что ли? Мы скорее кончимся,

а не война. Война, она в свой час завершится, а вот мы...

Он замолчал, и все тогда промолчали. Промолчали потому, что были полны победного торжества и боевого азарта, и спорить с угрюмым старшим сержантом попросту не хотелось.

А на четвертые сутки Федорчук пропал. Он очень не хотел идти в секрет, волеинил, и Плужникову пришлось прикрикнуть.

— Ладно, иду, иду,— проворчал старший сержант.— Нужны эти наблюдения, как...

В секреты уходили на весь день — от темна до темна. Плужников хотел знать о противнике все, что мог, прежде чем переходить к боевым действиям. Федорчук ушел на рассвете, не вернулся ни вечером, ни ночью, и обеспокоенный Плужников решил искать невесть куда сгинувшего старшего сержанта.

— Автомат оставь,— сказал он Волкову.— Возьми карабин.

Сам он шел с автоматом, но именно в эту вылазку впервые приказал напарнику взять карабин. Он не верил ни в какие предчувствия, но приказал так и не пожалел потом, хотя ползать с винтовкой было неудобно, и Плужников все время шипел на покорного Волкова, чтобы он не брякал и не высовывал ее где попало. Но сердился Плужников совсем не из-за винтовки, а из-за того, что никаких следов старшего сержанта Федорчука им так и не удалось обнаружить.

Светало, когда они проникли в полуразрушенную башню над Тереспольскими воротами. Судя по прежним наблюдениям, немцы избегали на нее подниматься, и Плужников рассчитывал спокойно оглядеться с высоты и, может быть, где-нибудь да обнаружить старшего сержанта. Живого, раненого или мертвого, но — обнаружить и успокоиться, потому что неизвестность была хуже всего.

Приказав Волкову держать под наблюдением противоположный берег и мост через Буг, Плужников тщательно осматривал изрытый воронками крепостной двор. В нем по-прежнему валялось множество неубранных трупов, и Плужников подолгу всматривался в каждый, пытаясь издали определить, не Федорчук ли это. Но Федорчука пока нигде не было видно, и трупы были старыми, уже заметно тронутыми тлением.

— Немцы...

Волков выдохнул это слово так тихо, что Плужников понял его потому лишь, что сам все время ждал этих немцев. Он осторожно перебрался на другую сторону и выглянул.

Немцы — человек десять — стояли на противоположном берегу, у моста. Стояли свободно — галдели, смеялись, размахивали руками, глядя куда-то на этот берег. Плужников вытянул шею, скосил глаза, заглянул вниз, почти под корень башни, и увидел то, о чем думал и что так боялся увидеть.

От башни к немцам по мосту шел Федорчук. Шел, подняв руки, и белые марлевые тряпочки колыхались в его кулаках в такт грузным, уверенным шагам. Он шел в плен так спокойно, так обдуманно и неторопливо, словно возвращался домой после тяжелой и нудной работы. Все его существо излучало такую преданную готовность служить, что немцы без слов поняли его и ждали с шуточками и смехом, и винтовки их мирно висели за плечами.

— Товарищ Федорчук, — удивленно сказал Волков. — Товарищ старший сержант...

— Товарищ?.. — Плужников, не глядя, требовательно протянул руку: — Винтовку.

Волков привычно засуетился, но замер вдруг. И глотнул гулко.

— Зачем?

— Винтовку! Живо!

Федорчук уже подходил к немцам, и Плужников तो ропился. Он хорошо стрелял, но именно сейчас, когда никак нельзя было промахиваться, он чересчур резко рванул спуск. Чересчур резко, потому что Федорчук уже миновал мост и до немцев ему оставалось четыре шага.

Пуля ударила в землю позади старшего сержанта. То ли немцы не слышали одиночного выстрела, то ли просто не обратили на него внимания, но поведение их не изменилось. А для Федорчука этот прогремевший за спиной выстрел был его выстрелом — выстрелом, которого ждала его широкая, вмиг вдруг взмокшая спина, туго обтянутая гимнастеркой. Услышав его, он прыгнул в сторону, упал, на четвереньках кинулся к немцам, а немцы, гогоча и веселясь, пятились от него, а он то припадал к земле, то метался, то полз, то поднимался на колени и тянул к немцам руки с зажатыми в кулаках белыми марлевыми тряпками.



Вторая пуля нашла его на коленях. Он сунулся вперед, он еще корчился, еще полз, еще кричал что-то дико и непонятно. И немцы еще ничего не успели понять, еще хохотали, потешаясь над здоровенным мужиком, которому так хотелось жить. Никто ничего не успел сообразить, потому что три следующих выстрела Плужников сделал, как на училищных соревнованиях по скоростной стрельбе.

Немцы открыли беспорядочный ответный огонь, когда Плужников и растерянный Волков уже были внизу, в пустых разрушенных казематах. Где-то над головой взорвалось несколько мин. Волков попытался было забиться в щель, но Плужников поднял его, и они снова куда-то бежали, падали, ползли и успели пересечь двор и завалиться в воронку за подбитым броневичком.

— Вот так, — задыхаясь, сказал Плужников. — Гад он. Гадина. Предатель.

Волков глядел на него круглыми перепуганными глазами и кивал поспешно и непонимающе. А Плужников все говорил и говорил, повторяя одно и то же:

— Предатель. Гадина. С платочком шел, видел? Чистенькие нашел марлечки, у тети Христи, наверно, стащил. За жизнь свою поганую все бы продал, все. И нас бы с тобой продал. Гадюка. С платочками, а? Видел? Ты видел, как он шел, Волков? Он спокойненько шел, обдуманно.

Ему хотелось выговориться, просто произносить слова. Он убивал врагов и никогда не чувствовал потребности объяснять это. А сейчас не мог молчать. Он не чувствовал угрызений совести, застрелив человека, с которым не один раз сидел за общим столом. Наоборот, он ощущал злое, радостное возбуждение и поэтому говорил и говорил.

А красноармеец первого года службы Вася Волков, призванный в армию в мае сорок первого, покорно кивая, слушал его, не слыша ни единого слова. Он ни разу не был в боях, и для него даже немецкие солдаты еще оставались людьми, в которых нельзя стрелять, по крайней мере пока не прикажут. И первая смерть, которую он увидел, была смертью человека, с которым он, Вася Волков, прожил столько дней — самых страшных дней в своей короткой, тихой и покойной жизни. Именно этого человека он знал ближе всех, потому что еще до войны они служили в одном полку и спали в одном каземате. Этот человек ворчливо учил его ору-

жейному делу, поил чаем с сахаром и позволял немножко поспать во время скучных армейских нарядов.

А сейчас этот человек лежал на том берегу, лежал ничком, зарывшись лицом в землю и вытянув вперед руки с зажатыми кусками марли. Волкову не хотелось плохо думать о Федорчуке, хотя он и не понимал, зачем старший сержант шел к немцам. Волков считал, что у старшего сержанта Федорчука могли быть свои причины для такого поступка, и причины эти следовало узнать, прежде чем стрелять в спину. Но этот лейтенант — худой, страшный и непонятный, — этот чужой лейтенант не хотел ни в чем разбираться. С самого начала, как он появился у них, он начал угрожать, пугать расстрелом, размахивать оружием.

Думая так, Волков не испытывал ничего, кроме одиночества, и одиночество это было мучительным и неестественным. Оно мешало Волкову почувствовать себя человеком и бойцом, оно непреодолимой стеной вставало между ним и Плужниковым. И Волков уже боялся своего командира, не понимал его и потому не верил.

Немцы появились в крепости, пройдя через Тереспольские ворота, — много, до взвода. Вышли строем, но тут же рассыпались, прочесывая примыкающие к Тереспольским воротам отсеки кольцевых казарм, — вскоре оттуда стали доноситься взрывы гранат и тугие выдохи огнеметных залпов. Но Плужников не успел порадоваться, что противник ищет его совсем не в той стороне, потому что из тех же ворот вышел еще один немецкий отряд. Вышел, тут же развернулся в цепь и направился к развалинам казарм 333-го полка. И там тоже загрохотали взрывы и тяжело заухали огнеметы.

Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было немедленно отходить, но не к своим, не к дыре, ведущей в подземелья, потому что этот участок двора легко просматривался противником. Отходить следовало в глубину, в развалины казарм за костелом.

Плужников обстоятельно растолковал бойцу, куда и как следует отходить. Волков выслушал все с молчаливой покорностью, ни о чем не переспросил, ничего не уточнил, даже не кивнул. Это не понравилось Плужникову, но он не стал терять время на расспросы. Боец был без оружия (его винтовку сам же Плужников бросил еще там, в башне), чувствовал себя неудобно и, на-

верно, побаивался. И чтобы ободрить его, Плужников подмигнул и даже улыбнулся, но и подмигивание и улыбка вышли такими натянутыми, что могли напугать и более отважного, чем Волков.

— Ладно, добудем тебе оружие,— хмуро буркнул Плужников, поспешно перестав улыбаться.— Пошел вперед. До следующей воронки.

Короткими перебежками они миновали открытое пространство и скрылись в развалинах. Здесь было почти безопасно, можно было передохнуть и осмотреться.

— Здесь не найдут, не бойся.

Плужников опять попытался улыбнуться, а Волков опять промолчал. Он вообще был молчаливым, и поэтому Плужников не удивился, но почему-то вдруг вспомнил о Сальникове. И вздохнул.

Где-то за развалинами — не сзади, где остались немецкие поисковые группы, а впереди, где никаких немцев не должно было быть,— слышался шум, неясные голоса, шаги. Судя по звукам, людей там было много, они не скрывались и уже поэтому не могли быть своими. Скорее всего сюда двигался еще какой-то немецкий отряд, и Плужников насторожился, пытаясь понять, куда он направляется. Однако люди нигде не появлялись, а неясный шум, гул голосов и шарканье продолжались, не приближаясь, но и не удаляясь от них.

— Сиди здесь,— сказал Плужников.— Сиди и не высовывайся, пока я не вернусь.

И опять Волков промолчал. И опять глянул странными напряженными глазами.

— Жди,— повторил Плужников, поймав этот взгляд.

Он осторожно крался через развалины. Пробирался по кирпичным осыпям, не сдвинув ни одного обломка, перебегал открытые места, часто останавливался, замедляя и вслушиваясь. Он шел на странные шумы, и шумы эти теперь приближались, делались все яснее, и Плужников уже догадывался, кто бродит там, по ту сторону развалин. Догадывался, но еще сам не решался поверить.

Последние метры он прополз, обдирая колени об острые грани кирпичных осколков и закаменевшей штукатурки. Выискал убежище, заполз, перевел автомат на боевой взвод и выглянул.

На крепостном дворе работали люди. Стаскивали в

глубокие воронки полуразложившиеся трупы, засыпали их обломками кирпичей, песком. Не осмотрев, не собирая документов, не сняв медальонов. Неторопливо, устало и равнодушно. И, еще не заметив охраны, Плужников понял, что это — пленные. Он сообразил это еще на бегу, но почему-то не решился поверить в собственную догадку, боялся в упор, воочию, в трех шагах увидеть своих, советских, в знакомой, родной форме. Советских, но уже не своих, уже отдаленных от него, кадрового лейтенанта Красной Армии Плужникова, зловещим словом «ПЛЕН».

Он долго следил за ними. Смотрел, как они работают — безостановочно и равнодушно, как автоматы. Смотрел, как ходят — ссутулившись, шаркая ногами, точно вдвое вдруг постарев. Смотрел, как они тупо глядят перед собой, не пытаясь даже сориентироваться, определить, понять, где находятся. Смотрел, как лениво поглядывает на них немногочисленная охрана. Смотрел и никак не мог понять, почему эти пленные не разбегаются, не пытаются уйти, скрыться, вновь обрести свободу. Плужников не находил этому объяснений и даже подумал, что немцы делают пленным какие-то уколы, которые и превращают вчерашних активных бойцов в тупых исполнителей, уже не мечтающих о свободе и оружии. Это предположение хоть как-то примиряло его с тем, что он видел собственными глазами и что так противоречило его личным представлениям о чести и гордости советского человека.

Объяснив для себя странную пассивность и странное послушание пленных, Плужников стал смотреть на них несколько по-другому. Он уже жалел их, сочувствовал им, как жалеют и сочувствуют тяжело заболевшим. Он подумал о Сальникове, поискал его среди тех, кто работал, не нашел и — обрадовался. Он не знал, жив ли Сальников или уже погиб, но здесь его не было, и, значит, в покорного исполнителя его не превратили. Но какой-то другой знакомый — крупный, медлительный и старательный — здесь был, и Плужников, приметив его, все время мучительно напрягал память, пытаясь вспомнить, кто же это такой.

А рослый пленный, как назло, ходил рядом, в двух шагах от Плужникова, огромной совковой лопатой подгребая кирпичную крошку. Ходил рядом, царапал своей лопатой возле самого уха и все никак не поворачивался лицом...

Впрочем, Плужников и так узнал его. Узнал, вдруг припомнив и бои в костеле, и ночной уход оттуда, и фамилию этого бойца. Вспомнил, что боец этот был приписником, из местных, что жалел, добровольно пойдя на армейскую службу в мае вместо октября, и что Сальников утверждал тогда, что он погиб в той внезапной ночной перестрелке. Все это Плужников вспомнил очень ясно и, дождавшись, когда боец вновь подошел к его норе, позвал:

— Прижнюк!

Вздрогнула и еще ниже согнулась широкая спина. И замерла испуганно и покорно.

— Это я, Прижнюк, лейтенант Плужников. Помнишь, в костеле?

Пленный не поворачивался, ничем не показывал, что слышит голос своего бывшего командира. Просто согнулся над лопатой, подставив широкую покорную спину, туго обтянутую грязной изодранной гимнастеркой. Эта спина была сейчас полна ожидания — так напряглась она, так выгнулась, так замерла. И Плужников понял вдруг, что Прижнюк с ужасом ждет выстрела и что спина его — огромная и незащищенная спина — стала сутулой и покорной именно потому, что уже давно и привычно каждое мгновение ждала выстрела.

— Ты Сальникова видел? Сальникова в плену встречал? Отвечай, нет тут никого.

— В лазарете он.

— Где?

— В лазарете лагерном.

— Болен, что ли?

Прижнюк промолчал.

— Что с ним? Почему он в лазарете?

— Товарищ командир, товарищ командир... — воровато оглянувшись, зашептал вдруг Прижнюк. — Не губите, товарищ командир, богом прошу, не губите вы меня. Нам, которые работают хорошо, которые стараются, нам послабление будет. А которые местные, тех домой отпускают, обещали, что непременно домой...

— Ладно, не причитай, — зло перебил Плужников. — Служи им, зарабатывай свободу, беги домой — все равно не человек ты. Но одну штуку ты сделаешь, Прижнюк. Сделаешь, или пристрелю тебя сейчас к чертовой матери.

— Не губите...— в голосе пленного звучали рыдания, но Плужников уже подавил в себе жалость к этому человеку.

— Сделаешь, спрашиваю? Или — или, я не шучу.

— Ну что могу я, что? Подневольный я.

— Пистолет Сальникову передашь. Передашь и скажешь — пусть на работу в крепость просится. Понял?

Прижнюк молчал.

— Если не передашь, смотри. Под землей найду, Прижнюк. Держи.

Размахнувшись, Плужников перебросил пистолет прямо на лопату Прижнюка. И как только звякнул этот пистолет о лопату, Прижнюк вдруг метнулся в сторону и побежал, громко крича:

— Сюда! Сюда, человек тут! Господин немец, сюда! Лейтенант тут, лейтенант советский!

Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение Плужников растерялся. А когда опомнился, Прижнюк уже выбежал из сектора его обстрела, к носу, грохоча подкованными сапогами, бежала лагерная охрана, и первый сигнальный выстрел уже ударил в воздух.

Отступать назад, туда, где прятался безоружный и напуганный Волков, было невозможно, и Плужников сросился в другую сторону. Он не пытался отстреливаться, потому что немцев было много, он хотел оторваться от преследования, забиться в глухой каземат и отлежаться там до темноты. А ночью отыскать Волкова и вернуться к своим.

Ему легко удалось уйти: немцы не очень-то стремились в темные подвалы, да и беготня по развалинам их тоже не устраивала. Постреляли вдогонку, покричали, пустили ракету, но ракету эту Плужников увидел уже из надежного подвала.

Теперь было время подумать. Но и здесь, в чуткой темноте подземелья, Плужников не мог думать ни о расстрелянном им Федорчуке, ни о растерянном Волкове, ни о покорном, уже согнутом Прижнюке. Он не мог думать о них не потому, что не хотел, а потому, что неотступно думал совсем о другом и куда более важном — о немцах.

Он опять не узнал их сегодня. Не узнал в них сильных, самоуверенных, до наглости отчаянных молодых парней, упрямых в атаках, цепких в преследовании,

упорных в рукопашном бою. Нет, те немцы, с которыми он до этого дрался, не выпустили бы его живым после крика Прижнюка. Те немцы не стояли бы в открытую на берегу, поджидая, когда к ним подойдет поднявший руки красноармеец. И не хохотали бы после первого выстрела. И уж наверняка не позволили бы им с Волковым безнаказанно улизнуть после расстрела перебежчика.

Те немцы, эти немцы... Еще ничего не зная, он уже сам предполагал разницу между немцами периода штурма крепости и немцами сегодняшнего дня. По всей вероятности, те активные «штурмовые» немцы выведены из крепости, а их место заняли немцы другого склада, другого боевого почерка. Они не склонны проявлять инициативу, не любят риска и откровенно побаиваются темных стреляющих подземелий.

Сделав такой вывод, Плужников не только повеселел, но и определенным образом обнаглел. Вновь созданная им концепция требовала опытной проверки, и Плужников сознательно сделал то, на что никогда бы не решился прежде, — пошел к выходу в рост, не скрываясь и нарочно грохоча сапогами.

Так он и вышел из подвала, только автомат держал под рукой на боевом взводе. Немцев у входа не оказалось, что лишний раз подтверждало его догадку и значительно упрощало их положение. Теперь следовало подумать, посоветоваться со старшиной и выработать новую тактику сопротивления. Новую тактику их личной войны с фашистской Германией.

Думая об этом, Плужников далеко обошел пленных — за развалинами по-прежнему слышалось унылое шарканье — и подошел к месту, где оставил Волкова, с другой стороны. Места эти были ему знакомы, он научился быстро и точно ориентироваться в развалинах и сразу вышел к наклонной кирпичной глыбе, под которой спрятал Волкова. Глыба была там же, но самого Волкова ни под ней, ни подле нее не оказалось.

Не веря глазам, Плужников ощупал эту глыбу, излазил соседние развалины, заглянул в каждый каземат, рискнул даже несколько раз окликнуть пропавшего молодого необстрелянного бойца со странными, почти немигающими глазами, но отыскать его так и не смог. Волков исчез необъяснимо и таинственно, не оставив после себя ни клочка одежды, ни капли крови, ни крика и ни вздоха.

— Стало быть, снял ты Федорчука, — вздохнул Степан Матвеевич. — А парнишку жалко. Пропадет парнишка, товарищ лейтенант, больно уж с детства он напуганный.

Тихого Васю Волкова вспомнили еще несколько раз, а о Федорчуке больше не говорили. Словно не было его, словно не ел он за этим столом и не спал в соседнем углу. Только Мирра спросила, когда остались одни:

— Застрелил?..

Она с запинкой, с трудом произнесла это слово. Оно было чужим, не из того обихода, который сложился в ее семье. Там говорили о детях и хлебе, о работе и усталости, о дровах и о картошке. И еще — о болезнях, которых всегда хватало.

— Застрелил?

Плужников кивнул. Он понимал, что она спрашивает, жалея его, а не Федорчука. Жалея и ужасаясь тяжести совершенного, хотя сам он не чувствовал никакой тяжести — только усталость.

— Боже мой! — вздохнула Мирра. — Боже мой, твои дети сходят с ума!

Она сказала это по-взрослому горько и спокойно. И так же по-взрослому спокойно притянула к себе его голову и трижды поцеловала — в лоб и в оба глаза.

— Я возьму твою горе, я возьму твои болезни, я возьму твои несчастья.

Так говорила ее мама, когда заболел кто-либо из детей. А детей было много, очень много вечно голодных детей, и мама не знала ни своего горя, ни своих болезней: ей хватало чужих хвороб и чужого горя. Но всех своих девочек она учила сначала думать не о своих бедах. И Миррочку тоже, хотя всегда вздыхала при этом:

— А тебе век за чужих болеть: своих не будет, доченька.

Мирра с детства свыклась с мыслью, что ей суждено идти в няньки к более счастливым сестрам. Свыклась и уже не горевала, потому что ее особое положение — положение увечной, на которую никто не позарится, — тоже имело свои преимущества и прежде всего — свободу.



А тетя Христя все бродила по подвалу и пересчитывала изгрызенные крысами сухари. И шептала при этом:

— Двоих нету. Двоих нету. Двоих нету.

В последнее время она ходила с трудом. В подземельях было прохладно, у тети Христи отекли ноги, да и сама она без солнца, движения и свежего воздуха стала рыхлой, плохо спала и задыхалась. Она чувствовала, что здоровье ее вдруг надломилось, понимала, что с каждым днем ей будет все хуже и хуже, и втайне решила уйти. И плакала по ночам, жалея не себя, а девушку, которая вскоре должна была остаться одна. Без материнской руки и женского совета.

Она и сама была одинокой. Трое ее детей померли еще во младенчестве, муж уехал на заработки да так и сгинул, дом отобрали за долги, и тетя Христя, спасаясь от голода, перебралась в Брест. Служила в прислугах, перебивалась кое-как, пока не пришла Красная Армия. Эта Красная Армия — веселая, щедрая и добрая — впервые в жизни дала тете Христе постоянную работу, достаток, товарищей и комнату по уплотнению.

— То — божье войско, — важно поясняла тетя Христя непривычно тихому брестскому рынку. — Молись, панове.

Сама она давно не молилась не потому, что не верила, а потому, что обиделась. Обиделась на великую несправедливость, лишившую ее детей и мужа, и разом прекратила всякое общение с небесами. И даже сейчас, когда ей было очень плохо, она изо всех сил сдерживала себя, хотя очень хотелось помолиться и за Красную Армию, и за молоденького лейтенанта, и за девочку, которую так жестоко обидел ее собственный еврейский бог. Она была переполнена этими мыслями, внутренней борьбой и ожиданием близкого конца. И все делала по многолетней привычке к труду и порядку, не прислушиваясь более к разговорам в каземате.

— Считаете, другой немец пришел?

От постоянного холода у старшины нестерпимо ныла простреленная нога. Она распухла и горела неперестанно, но об этом Степан Матвеевич никому не говорил. Он упрямо верил в собственное здоровье, а поскольку кость у него была цела, то дырка обязана была зарости сама собой.

— А почему они за мной не побежали? — раз

мышлял Плужников. — Всегда бегали, а тут — выпустили. Почему?

— А могли и не менять немцев, — сказал старшина, подумав. — Могли приказ им такой дать, чтоб в подвалы не совались.

— Могли, — вздохнул Плужников. — Только я знать должен. Все о них знать.

Передохнув, он опять выскользнул наверх искать таинственно пропавшего Волкова. Вновь ползал, задыхаясь от пыли и трупного смрада, звал, вслушивался. Ответа не было.

Встреча произошла неожиданно. Два немца, мирно разговаривая, вышли на него из-за уцелевшей стены. Карабины висели за плечами, но даже если бы они держали их в руках, Плужников и тогда успел бы выстрелить первым. Он уже выработал в себе молниеносную реакцию, и только она до сих пор спасала его.

А второго немца спасла случайность, которая раньше стоила бы Плужникову жизни. Его автомат выпустил короткую очередь, первый немец рухнул на кирпичи, и патрон перекосило при подаче. Пока Плужников судорожно дергал затвор, второй немец мог бы давно прикончить его или убежать, но вместо этого он упал на колени. И покорно ждал, пока Плужников вышибет застрявший патрон.

Солнце давно уже село, но было еще светло — эти немцы припозднились что-то сегодня и не успели вовремя покинуть мертвый, перепаханный снарядами крепостной двор. Не успели, и теперь один уже перестал вздрагивать, а второй стоял перед Плужниковым на коленях, склонив голову. И молчал.

И Плужников молчал тоже. Он уже понял, что не сможет застрелить ставшего на колени противника, но что-то мешало ему вдруг повернуться и исчезнуть в развалинах. Мешал все тот же вопрос, который занимал его не меньше, чем пропавший боец: почему немцы стали такими, как вот этот, послушно рухнувший на колени? Он не считал свою войну законченной, и поэтому ему необходимо было знать о враге все. А ответ — не предположение, не домыслы, а точный, реальный ответ! — ответ этот стоял сейчас перед ним, ожидая смерти.

— Комм, — сказал он, указав автоматом, куда следовало идти.

Немец что-то говорил по дороге, часто оглядываясь,

но Плужникову некогда было припоминать немецкие слова. Он гнал пленного к дыре кратчайшим путем, ожидая стрельбы, преследования, окриков. И немец, пригнувшись, рысил впереди, затравленно втянув голову в узкие штатские плечи.

Так они перебежали через двор, пробрались в под-земелья, и немец первым влез в тускло освещенный каземат. И здесь вдруг замолчал, увидев бородатого старшину и двух женщин у длинного дощатого стола. И они тоже молчали, удивленно глядя на сутулого, на-смерть перепуганного и далеко не молодого врага.

— «Языка» добыл,— сказал Плужников и с мальчишеским торжеством поглядел на Мирру.— Вот сейчас все загадки и выясним, Степан Матвеевич.

Немец опять заговорил громким плачущим голо-сом, захлебываясь и глотая слова. Протягивал вперед дрожавшие руки, показывая ладони то старшине, то Плужникову.

— Ничего не понимаю,— растерянно сказал Плужников.— Тарахтит.

— Рабочий он,— сообразил старшина.— Видите, руки показывает?

— Лянгзам,— сказал Плужников.— Битте, лянгзам.

Он напряженно припоминал немецкие фразы, но вспоминались только отдельные слова. Немец поспешно покивал, выговорил несколько фраз медленно и старательно, но вдруг, всхлипнув, вновь сорвался на лихорадочную скороговорку.

— Испуганный человек,— вздохнула тетя Хри-стя.— Дрожмя дрожит.

— Он говорит, что он не солдат,— сказала вдруг Мирра.— Он — охранник.

— Понимаешь по-ихнему? — удивился Степан Матвеевич.

— Немножечко.

— То есть как так — не солдат? — нахмурился Плужников.— А что он в нашей крепости делает?

— Нихт зольдат! — закричал немец.— Нихт зольдат, нихт вермахт!

— Дела, — озадаченно протянул старшина.— Может, он наших пленных охраняет?

Мирра перевела вопрос. Немец слушал, часто кивая, и разразился длинной тирадой, как только она замолчала.

— Пленных охраняют другие, — не очень уверенно переводила девушка. — Им приказано охранять входы и выходы из крепости. Они — караульная команда. Он — настоящий немец, а крепость штурмовали австрияки из сорок пятой дивизии, земляки самого фюрера. А он — рабочий, мобилизован в апреле...

— Я же говорил, что рабочий! — с удовольствием отметил старшина.

— Как же он — рабочий, пролетарий, — как он мог против нас?.. — Плужников замолчал, махнул рукой. — Ладно, об этом не спрашивай. Спроси, есть ли в крепости боевые части, или их уже отвели.

— А как по-немецки боевые части?

— Ну, не знаю... Спроси, есть ли солдаты.

Медленно, подбирая слова, Мирра начала переводить. Немец слушал, от старания свесив голову. Несколько раз уточнил, что-то переспросив, а потом опять зачистил, затараторил, то тыча себе в грудь, то изображая автоматчика: «Ту-ту-ту!..»

— В крепости остались настоящие солдаты: саперы, автоматчики, огнеметчики. Их вызывают, когда обнаруживают русских, — таков приказ. Но он — не солдат, он — караульная служба, он ни разу не стрелял по людям.

Немец опять что-то затараторил, замахал руками. Потом вдруг торжественно погрозил пальцем Христиане Яновне и неторопливо, важно достал из кармана мятого мундира черный пакет, склеенный из автомобильной резины. Вытащил из пакета четыре фотографии и положил на стол.

— Дети, — вздохнула тетя Христя. — Детишек своих кажет.

— Киндер! — крикнул немец. — Майн киндер! Драй!

И гордо тыкал пальцем в неказистую узкую грудь: руки его больше не дрожали.

Мирра и тетя Христя рассматривали фотографии, расспрашивали пленного о чем-то важном, по-женски бестолково подробном и добром. О детях, булочках, здоровье, школьных отметках, простудах, завтраках, курточках. Мужчины сидели в стороне и думали, что будет потом, когда придется кончить этот добрососедский разговор. И старшина сказал, не глядя:

— Придется вам, товарищ лейтенант: мне с ногой трудно. А отпустить опасно: дорогу к нам знает.

Плужников кивнул. Сердце его вдруг заныло, заныло тяжело и безнадежно, и он впервые остро пожалел, что не пристрелил этого немца сразу, как только перезарядил автомат. Мысль эта вызвала в нем физическую дурноту: даже сейчас он не годился в палачи.

— Ты уж извини, — виновато сказал старшина. — Нога, понимаешь...

— Понимаю, понимаю! — слишком торопливо перебил Плужников. — Патрон у меня перекошило...

Он резко оборвал, поднялся, взял автомат:

— Комм!

Даже при чадном свете жировиков было видно, как посерел немец. Посерел, ссутулился еще больше и стал суетливо собирать фотографии. А руки не слушались, дрожали, пальцы не гнулись, и фотографии все время выскальзывали на стол.

— Форвертс! — крикнул Плужников, взводя автомат.

Он почувствовал, что еще мгновение, и решимость оставит его. Он уже не мог смотреть на эти суетливые, дрожащие руки.

— Форвертс!

Немец, пошатываясь, постоял у стола и медленно пошел к лазу.

— Карточки свои забыл! — всполошилась тетя Христя. — Обожди.

Переваливаясь на распухших ногах, она догнала немца и сама затолкала фотографии в карман его мундира. Немец стоял, покачиваясь, тупо глядя перед собой.

— Комм! — Плужников толкнул пленного дулом автомата.

Они оба знали, что им предстоит. Немец брел, тяжело волоча ноги, трясущимися руками все обирая и обирая полы мягкого мундира. Спина его вдруг начала потеть, по мундиру поползло темное пятно, и дурнотный запах смертного пота шлейфом волочился сзади.

А Плужникову предстояло убить его. Вывести наверх и в упор шарахнуть из автомата в эту вдруг вспотевшую сутулую спину. Спину, которая прикрывала троих детей. Конечно же, этот немец не хотел воевать, конечно же, не своей охотой забрел он в эти страшные развалины, пропахшие дымом, копотью и человеческой гнилью. Конечно, нет. Плужников все это понимал и, понимая, беспощадно гнал вперед:

— Шнель! Шнель!

Не оборачиваясь, он знал, что Мирра идет следом, припадая на больную ногу. Идет, чтобы ему не было трудно одному, когда он выполнит то, что обязан выполнить. Он сделает это наверху, вернется сюда, и здесь, в темноте, они встретятся. Хорошо, что в темноте: он не увидит ее глаз. Она просто что-нибудь скажет ему. Что-нибудь, чтобы не было так муторно на душе.

— Ну, лезь же ты!

Немец никак не мог пролезть в дыру. Ослабевшие руки срывались с кирпичей, он скатывался назад, на Плужникова, сопя и всхлипывая. От него дурно пахло; даже Плужников, притерпевшийся к вони, с трудом выносил этот запах — запах смерти в еще живом существе.

— Лезь!..

Он все-таки выпихнул его наверх. Немец сделал шаг, ноги его подломились, и он упал на колени. Плужников ткнул его дулом автомата, немец мягко перевалился на бок и, скорчившись, замер.

Мирра стояла в подземелье, смотрела на уже невидимую в темноте дыру и с ужасом ждала выстрела. А выстрелов все не было и не было.

В дыре зашуршало, и сверху спрыгнул Плужников. И сразу почувствовал, что она стоит рядом.

— Знаешь, оказывается, я не могу выстрелить в человека.

Прохладные руки нащупали его голову, притянули к себе. Щекой он ощутил ее щеку — она была мокрой от слез.

— За что нам это? За что, ну за что? Что мы сделали плохого? Мы же сделать ничего еще не успели, ничего!

Она плакала, прижимаясь к нему лицом. Плужников неумело погладил ее худенькие плечи:

— Ну что ты, сестренка? Зачем?

— Я боялась. Боялась, что ты застрелишь этого старика. — Она вдруг крепко обняла его, несколько раз тропливо поцеловала. — Спасибо тебе, спасибо, спасибо. А им не говори: пусть это будет наша тайна. Ну как будто ты для меня это сделал, ладно?

Он хотел сказать, что действительно сделал это для нее, но не сказал, потому что он не застрелил этого кемца все-таки для себя. Для своей совести, которая хотела остаться чистой, несмотря ни на что.

— Они не спросят.

Они и вправду ни о чем не спросили, и все пошло так, как шло до этого вечера. Только за столом теперь стало просторнее, а спали они по-прежнему по своим углам: тетя Христя вдвоем с девушкой, старшина — на досках, а Плужников — на скамье.

И эту ночь тетя Христя не спала. Слушала, как стонет во сне старшина, как страшно скрипит зубами молодой лейтенант, как пищат и топчут в темноте крысы, как беззвучно вздыхает Мирра. Слушала, а слезы текли и текли, и тетя Христя давно уж не вытирала их, потому что левая рука ее очень болела и плохо слушалась, а на правой спала девушка. Слезы текли и капали со щек, и старый ватник стал уже мокрым.

Болели ноги, спина, руки, но больше всего болело сердце, и тетя Христя думала сейчас, что скоро умрет, умрет там, наверху, и непременно при солнце. Непременно при солнце, потому что ей очень хотелось согреться. А для того чтобы увидеть это солнце, ей следовало уходить, пока есть еще силы, пока она одна, без чужой помощи сможет выбраться наверх. И она решила, что завтра непременно попробует, есть ли у нее еще силы, и не пора ли ей, пока не поздно, уходить.

С этой мыслью она и забылась, уже в полусне поцеловав черную девичью голову, что столько ночей пролежала на ее руке. А утром встала и еще до завтрака с трудом пролезла сквозь лаз в подземный коридор.

Здесь горел факел. Лейтенант Плужников умывался — благо, воды теперь хватало, — и Мирра поливала ему. Она лила понемножку и совсем не туда, куда он просил: Плужников сердился, а девушка смеялась.

— Куда вы, тетя Христя?

— А к дыре, к дыре, — торопливо пояснила она. — Подышать хочу.

— Может, проводить вас? — спросила Миррочка.

— Что ты, не надо. Мой своего лейтенанта.

— Да она балуется! — сердито сказал Плужников.

И они опять засмеялись, а тетя Христя, опираясь на стену, медленно пошла к дыре, осторожно ступая распухшими ногами. Однако шла она сама, силы еще были, и это очень радовало тетю Христю.

«Может, не сегодня уйду. Может, еще денечек погожу, может, еще поживу маленько».

Тетя Христя была уже возле самой дыры, но шум наверху услышала первой не она, а Плужников. Он

услыхал этот непонятный шум, насторожился и, еще ничего не поняв, толкнул девушку в лаз:

— Скорее!

Мирра нырнула в каземат, не спрашивая и не медля: она уже привыкла слушаться. А Плужников, напрыженно ловя этот посторонний шум, успел только крикнуть:

— Тетя Христя, назад!

Гулко ухнуло в дыре, и тугая волна горячего воздуха ударила Плужникова в грудь. Он задохнулся, упал, мучительно хватая воздух разинутым ртом, успел нащупать дыру и нырнуть туда. Нестерпимо ярко вспыхнуло пламя, и огненный смерч ворвался в подземелье, на миг осветив кирпичные своды, убегающих крыс, присыпанные пылью и песком полы и замершую фигуру тети Христи. А в следующее мгновение раздался страшный нечеловеческий крик, и объятая пламенем тетя Христя бросилась бежать по коридору. Уже пахло горелым человеческим мясом, а тетя Христя еще бежала, еще кричала, еще звала на помощь. Бежала, уже сгорев в тысячеградусной струе огнемета. И вдруг рухнула, точно растаяв, и стало тихо, только сверху капали оплавленные крошки кирпича. Редко, как кровь.

Даже в каземате пахло горелым. Степан Матвеевич заложил лаз кирпичом, забил старыми ватниками, но горелым все равно пахло. Горелым человеческим мясом.

Открывавшись, Мирра примолкла в углу. Изредка ее начинала бить дрожь; тогда она поднималась и ходила по каземату, стараясь не приближаться к мужчинам. Сейчас она отчужденно смотрела на них, словно они были по другую сторону невидимого барьера. Вероятно, этот барьер существовал и прежде, но тогда между его сторонами, между нею и мужчинами было передаточное звено — тетя Христя. Тетя Христя согревала ее ночами, тетя Христя кормила ее за столом, тетя Христя ворчливо учила ее ничего не бояться, даже крыс, и по ночам отгоняла их от нее, и Мирра спала спокойно. Тетя Христя помогала ей одеваться, по утрам пристегивать протез, умываться и ухаживать за собой. Тетя Христя грубовато прогоняла мужчин, когда это было необходимо, и за ее широкой и доброй спиной Мирра жила без стеснения.

Теперь не было этой спины. Теперь Мирра была



одна и впервые ощутила тот невидимый барьер, что отделял ее от мужчин. Теперь она была беспомощна, и ужас от сознания этой физической беспомощности всей тяжестью обрушился на ее худенькие плечи.

— Значит, засекли они нас,— вздохнул Степан Матвеевич.— Как ни береглись, как ни хоронились.

— Я виноват! — Плужников вскочил, заметался по каземату.— Я, один я! Я вчера...

Он замолчал, наткнувшись на Мирру. Она не смотрела на него, она вся была погружена в себя, в свои мысли, и ничего для нее не существовало сейчас, кроме этих мыслей. Но для Плужникова существовала и она, и ее вчерашняя благодарность, и тот крик «Коля!..», который остановил когда-то его на том самом месте, где лежал теперь пепел тети Христи. Для него уже существовала их общая тайна, ее шепот, дыхание которого он почувствовал на своей щеке. И поэтому он не стал признаваться, что отпустил вчера немца, который утром привел огнеметчиков. Это признание уже ничего не могло исправить.

— А в чем ты виноват, лейтенант?

До сих пор Степан Матвеевич редко обращался к Плужникову с той простотой, которая диктовалась и разницей в возрасте, и их положением. Он всегда подчеркнуто признавал его командиром и разговаривал так, как этого требовал устав. Но сегодня уже не было устава, а было двое молодых людей и усталый взрослый человек с заживо гниющей ногой.

— В чем же ты виноват?

— Я пришел, и начались несчастья. И тетя Христия, и Волков, и даже этот... сволочь эта. Все — из-за меня. Жили же вы до меня спокойно.

— Спокойно и крысы живут. Вон сколько их в спокойствии нашем развелось. Не с того ты конца виноватых ищешь, лейтенант. А я вот, например, тебе благодарен. Если б не ты — немца бы ни одного так бы и не убил. А так вроде убил. Убил, а? Там, у Холмских ворот?

У Холмских ворот старшина никого не убил: единственная очередь, которую успел он выпустить, была слишком длинной, и все пули ушли в небо. Но ему очень хотелось в это верить, и Плужников подтвердил:

— Двоих, по-моему.

— За двоих не скажу, а один точно упал. Точно,

Вот за него тебе и спасибо, лейтенант. Значит, и я могу их убивать. Значит, не зря я тут...

В этот день они не выходили из своего каземата. Не то что они боялись немцев — немцы вряд ли рискнули бы лезть в подземелья, — просто не могли они в этот день увидеть то, что оставила огнеметная струя.

— Завтра пойдем, — сказал старшина. — Завтра сил у меня еще хватит. Ах, Яновна, Яновна, опоздать бы тебе к дыре той... Значит, через Тереспольские ворота они в крепость входят?

— Через Тереспольские. А что?

— Так. Для сведения.

Старшина помолчал, искоса поглядывая на Мирру. Потом подошел, взял за руку, потянул к скамье:

— Сядь-ка.

Мирра послушно села. Она весь день думала о тете Христе и о своей беспомощности и устала от этих дум.

— Ты возле меня спать будешь.

Мирра резко выпрямилась:

— Зачем еще?

— Да ты не пугайся, дочка. — Степан Матвеевич невесело усмехнулся. — Старый я. Старый да больной и все равно ночью не сплю. Вот и буду от тебя крыс отгонять, как Яновна отгоняла.

Мирра низко опустила голову, повернулась, ткнулась лбом. Старшина обнял ее, сказал, понизив голос:

— Да и поговорить нам с тобой надо, когда лейтенант уснет. Скоро ты одна с ним останешься. Не спорь, знаю, что говорю.

В эту ночь другие слезы текли на старый ватник, служивший изголовьем. Старшина говорил и говорил, Мирра долго плакала, а потом, обессилев, уснула. И Степан Матвеевич к утру задремал тоже, обняв доверчивые девичьи плечи.

Забылся он ненадолго — передремал, обманул усталость, и уже на ясную голову еще раз спокойно и основательно обдумал весь тот путь, который предстояло ему сегодня пройти. Все уже было решено, решено осознанно, без сомнений и колебаний, и старшина просто уточнял детали. А потом осторожно, чтобы не разбудить Мирру, встал и, достав гранаты, начал вязать связки,

— Что взрывать собираетесь? — спросил Плужников, застав его за этим занятием.

— Найду. — Степан Матвеевич покосился на спящую девушку, понизил голос: — Ты не обижай ее, Николай.

Плужникова знобило. Он кутался в шинель и зевал.

— Не понимаю.

— Не обижай, — строго повторил старшина. — Она маленькая еще. И больная — это тоже понимать надо. И одну не оставляй: если уходить надумаешь, так о ней сперва вспомни. Вместе из крепости выбирайтесь: пропадет девчонка одна.

— А вы... Вы что?

— Заражение у меня, Николай. Пока силы есть, пока ноги держат, наверх выберусь. Помирать, так с музыкой.

— Степан Матвеевич...

— Все, товарищ лейтенант, отвоевался старшина. И приказания твои теперь недействительны, теперь мои приказания главней. И вот тебе мой последний приказ: девочку сбереги и сам уцелей. Выживи. Назло им — выживи. За всех нас.

Он поднялся, сунул за пазуху связки и, тяжело припадая на распухшую, словно залившую сапог ногу, пошел к лазу. Плужников что-то говорил, убеждал, но старшина не слушал его: главное было сказано. Разобрал кирпичи в лазе.

— Так, говоришь, через Тереспольские они в крепость входят? Ну, прощай, сынок. Живите!

И вылез. Из раскрытого лаза несло горелым срадом.

— Утро доброе.

Мирра сидела на постели, кутаясь в бушлат. Плужников молча стоял у лаза.

— Чем это пахнет так?..

Она увидела черный провал открытого лаза и замолчала. Плужников вдруг схватил автомат:

— Я наверх. К дыре не подходи!

— Коля!

Это был совсем другой выкрик — растерянный, беспомощный. Плужников остановился.

— Старшина ушел. Взял гранаты и ушел. Я догоню.

— Догоним. — Она торопливо копошилась в углу. — Только — вместе.

— Да куда тебе... — Плужников запнулся.

— Я знаю, что я хромая, — тихо сказала Мирра. — Но это от рождения, что же делать. И я боюсь тут одна. Очень боюсь. Я не смогу тут одна, я лучше сама вылезу.

— Идем.

Он запалил факел, и они вылезли из каземата. В липком густом смраде нечем было дышать. Крысы возились у груды обгорелых костей, и это было все, что осталось от тети Христи.

— Не смотри, — сказал Плужников. — Вернемся — зарюю.

Кирпичи в дыре были оплавлены вчерашним залпом огнемёта. Плужников вылез первым, огляделся, помог выбраться Мирре. Она лезла с трудом, неумело, срываясь на скользких, оплавленных кирпичах. Он подтащил ее к самому выходу и на всякий случай придержал:

— Подожди.

Еще раз осмотрелся: солнце еще не появлялось, и вероятность встречи с немцами была невелика, но Плужников не хотел рисковать.

— Вылезай.

Она замешкалась. Плужников оглянулся, чтобы поторопить ее, увидел вдруг худенькое, очень бледное лицо и два огромных глаза, которые смотрели на него испуганно и напряженно. И молчал: он впервые видел ее при свете дня.

— Вот ты какая, оказывается.

Мирра потупила глаза, вылезла и села на кирпичи, заботливо обтянув платьем колени. Она поглядывала на него, потому что тоже впервые видела его не в чадном пламени коптилок, но поглядывала украдкой, искоса, каждый раз, как заслонки, приподнимая длинные ресницы.

Вероятно, в мирные дни среди других девушек он бы просто не заметил ее. Она вообще была незаметной — заметными были только большие печальные глаза да ресницы, — но здесь сейчас не было никого прекраснее ее.

— Так вот ты какая, оказывается.

— Ну такая, — сердито сказала она. — Не смотри на меня, пожалуйста. Не смотри, а то я опять залезу в дырку.

— Ладно. — Он улыбнулся. — Я не буду, только ты слушайся,

Плужников пробрался к обломку стены, выглянул — ни старшины, ни немцев не было на пустом развороченном дворе.

— Иди сюда.

Мирра, оступаясь на кирпичах, подошла. Он обнял ее за плечи, пригнул голову:

— Спрячься. Видишь ворота с башней? Это Тереспольские.

— Я знаю.

— Что-то он про них меня спрашивал..

Мирра ничего не сказала. Оглядываясь, она узнавала и не узнавала знакомой крепости. Здание комендатуры лежало в развалинах, мрачно темнела разбитая коробка костела, от каштанов, что росли вокруг, остались одни стволы. И никого, ни одной живой души не было на всем белом свете.

— Как страшно,— вздохнула она.— Там, под землей, все-таки кажется, что наверху еще кто-то есть. Кто-то живой.

— Наверняка есть,— сказал он.— Не мы одни такие везучие. Где-то есть, иначе стрельбы не было бы, а она случается. Где-то есть, и я найду где.

— Найди,— тихо попросила она.— Пожалуйста, найди.

— Немцы,— сказал он.— Спокойно. Только не высывайся.

Из Тереспольских ворот вышел патруль: трое немцев появились из темного провала ворот, постояли, неторопливо пошли вдоль казарм к Холмским воротам. Откуда-то издалека донеслась отрывистая песня — словно ее не пели, а выкрикивали доброй полусотней глоток. Песня делалась все громче, Плужников уже слышал топот и понял, что немецкий отряд с песней входит сейчас под арку Тереспольских ворот.

— А где же Степан Матвеевич? — обеспокоенно спросила Мирра.

Плужников не ответил. Голова немецкой колонны показалась в воротах — они шли по трое, громко выкрикивая песню. И в этот момент темная фигура сорвалась сверху, с разбитой башни. Мелькнула в воздухе, упав прямо на шагающих немцев, и мощный взрыв двух связок гранат рванул утреннюю тишину.

— Вот Степан Матвеевич! — крикнул Плужников.— Вот он, Мирра! Вот он!..

## ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### 1

Весь день они молча просидели в каземате. Они не просто молчали, они всячески избегали друг друга, насколько это было возможно в подземелье. Если один оказывался у стола, второй отходил в угол, а если и садился за стол, то — подальше, на противоположный конец. Они не решались смотреть друг на друга и больше всего боялись, что руки их случайно встретятся в темноте.

После гибели старшины Мирра ни за что не хотела уходить под землю. Она кричала и плакала, а встревоженные взрывом немцы вновь прочесывали развалины, забрасывая подвалы гранатами и прожигая огнеметными залпами. Их много сбежалось во двор, они распозлились по всем направлениям и с минуты на минуту могли выйти на них, а она кричала и билась на обломках кирпичей, и Плужников никак не мог ее успокоить. Ему уже казалось, что он слышит крики немцев, топот их сапог, лязг их оружия, и тогда он схватил Мирру в охапку и потащил к дыре.

— Пусти.— Она вдруг перестала биться.— Сейчас же пусти. Слышишь?

— Нет.

Она оказалась очень легкой, но сердце его неистово забилося от этой гибкой и теплой ноши. Лицо ее было совсем близко, он видел слезы на ее щеках, чувствовал ее дыхание и, боясь прижать к себе, нес на вытянутых руках. А она в упор смотрела на него, и в ее глубоких темных глазах был молчаливый и непонятный для него страх.

— Пусти,— еще раз очень тихо попросила она.— Пожалуйста.

Плужников отпустил ее только возле дыры. Оглянувшись в последний раз, действительно услышал отчетливый шорох шагов, шепнул:

— Лезь.

Мирра замешкалась, и он вовремя вспомнил о ее протезе, понял, что она не сможет спрыгнуть на пол, там, под землей, и остановил:

— Я первым.

— Нет! — испугалась она.— Нет, нет!

— Не бойся, успеем!

Он скользнул в дыру, спрыгнул на пол, позвал:

— Иди! Скорее!

Мирра сорвалась на скользких кирпичках, но Плужников подхватил ее, на секунду прижал к себе. Она покорно замерла, уткнувшись лицом в его плечо, а потом вдруг рванулась, оттолкнула его и быстро пошла по коридору, волоча ногу. А он остался в темноте у дыры, но слушал не шумы наверху, а гулкий стук собственного сердца. А когда вернулся в каземат, уже не решился заговорить. Хотел этих разговоров, удивлялся сам себе и — не заговаривал. И прятал глаза. И все время чувствовал, что она — здесь, рядом и что, кроме их двоих, нет никого во всем мире.

Противоречивые чувства странно переплетались сейчас в нем. Горечь от гибели тети Христи и Степана Матвеевича и тихая радость, что рядом — хрупкая и беззащитная девушка; ненависть к немцам и странное, незнакомое ощущение девичьего тепла; упрямое желание уничтожить врага и тревожное сознание своей ответственности за чужую жизнь — все это жило в его душе в полной гармонии, как единое целое. Он никогда еще не ощущал, себя таким сильным и таким смелым, и лишь одного он не мог сейчас — не мог протянуть руку и коснуться девушки. Очень хотел этого и — не мог.

— Ешь, — тихо сказала она.

Наверное, наверху уже зашло солнце. Они промолчали и проголодали весь этот день. Наконец Мирра сама достала еду и сказала первое слово. Но ели они все-таки на разных концах стола.

— Ты ложись. Я не буду спать.

— Я тоже не буду, — поспешно сказала она.

— Почему?

— Так.

— Крыс боишься? Не бойся, я их буду отгонять.

— Ты каждую ночь решил не спать? — Мирра вздохнула. — Не беспокойся, я уже привыкла.

— Завтра я разведу дорогу и отведу тебя в город.

— А сам?

— А сам вернусь. Здесь — оружие, патроны. Есть чем воевать.

— Воевать... — Она опять вздохнула. — Один против всех? Ну и что ты можешь сделать один?

— Победить.

Плужников сказал это вдруг, не раздумывая, и сам удивился, что сказал именно так. И повторил упрямо:

— Победить. Потому что человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя. А фашисты — не люди, значит, я должен победить.

— Запутался! — Она неуверенно засмеялась и тут же испуганно оборвала смех: таким неуместным показался он в этом темном, мрачном и чадном каземате.

— А ведь это правда, что человека нельзя победить, — медленно повторил Плужников. — Разве они победили Степана Матвеевича? Или Володьку Денищика? Или того фельдшера в подвале — помнишь, я рассказывал тебе? Нет, они их только убили. Они их только убили, понимаешь? Всего-навсего убили.

— Этого достаточно.

— Нет, я не о том. Вот Прижнюка они действительно убили, навсегда убили, хоть он и живой. А человека победить невозможно, даже убив. Человек выше смерти. Выше.

Плужников замолчал, и Мирра тоже молчала, понимая, что говорил он не для нее, а для себя, и гордясь им. Гордясь и пугаясь одновременно, потому что единственным выходом, который он себе оставлял, была гибель. Он сам сейчас убеждался в этом, он приговаривал себя к ней искренне и взволнованно, и, подчиняясь непонятному ей самой приказу, Мирра встала, подошла к нему и обняла за плечи. Она хотела быть рядом в эту минуту, хотела разделить его судьбу, хотела быть вместе и инстинктивно чувствовала, что быть вместе — это просто прикоснуться к нему.

Но Плужников вдруг отстранил ее, встал и отошел на другой конец стола. И сказал чужим голосом:

— Завтра разведу дорогу, а послезавтра ты уйдешь.

Но Мирра и слышала и не слышала эти слова. Все в ней разом оборвалось, потому что его поведение вновь напомнило ей, что она — калека и что он не забывает и не может этого забыть. Чувство страшного одиночества снова обрушилось на нее, она опустилась на скамью и заплакала горько, по-детски уронив голову на руки.

— Ты что это? — удивленно спросил Плужников. — Почему ты плачешь?



— Оставь меня,— громко всхлипнув, сказала она.— Оставь и иди, куда хочешь. Только не надо меня жалеть. Не надо, не надо!

Он неуверенно подошел к ней, постоял, неумело погладил по голове. Как маленькую.

— Не трогай меня! — Мирра резко встала, сбросив его руку.— Я не виновата, что оказалась здесь, не виновата, что осталась жива, не виновата, что у меня хромая нога. Я ни в чем не виновата, и не смей меня жалеть!

Оттолкнув его, она прошла в свой угол и ничком упала на постель. Плужников постоял, послушал, как она всхлипывает и вздыхает, а потом взял бушлат старшины и накрыл ее плечи. Она резко повела ими и сбросила бушлат, и он снова накрыл ее, а она снова сбросила, и он снова накрыл. И Мирра больше уже не сбрасывала бушлата, а, жалобно всхлипнув, съежилась под ним и затихла. Плужников улыбнулся, отошел к столу и сел. Послушал, как тихо дышит пригревшаяся Мирра, достал из полевой сумки схему крепости, которую по его просьбе начертил как-то Степан Матвеевич, и принялся внимательно изучать ее, соображая, как провести завтрашнюю разведку. И не заметил, как уронил голову на стол.

— Ты прости меня,— сказала утром Мирра.

— За что?

— Ну за все. Что ревела и говорила глупости. Больше не буду.

— Будешь,— улыбнулся он.— Обязательно будешь, потому что ты еще маленькая.

Нежность, которая прозвучала в его голосе, теплом отозвалась в ней, захлестнула, вызвала ответную нежность. Она уже подняла руку, чтобы протянуть ему, чтобы прикоснуться и приласкаться, потому что сердце ее уже изнемогало без этой простой, мимолетной, ни к чему не обязывающей ласки. Но она опять сдержала себя и отвернулась, и он тоже отвернулся и нахмурился. А потом он ушел, и она опять тихо заплакала, жалея его и себя и мучаясь от этой жалости.

То ли немцев напугал вчерашний взрыв, то ли они к чему-то готовились, но суетились сегодня куда больше обычного. Возле Тереспольских ворот велись работы по расчистке территории, повсюду ходили усиленные патрули, а пленных, к которым Плужников уже привык, не было ни видно, ни слышно. У трехарочных

тоже что-то делали, оттуда долетал шум моторов, и Плужников решил пробраться в северо-западную часть цитадели — посмотреть, нельзя ли там переправиться через Мухавец и уйти за внешние обводы.

Он не имел права рисковать и поэтому шел осторожно, избегая открытых мест. Кое-где даже полз, не смотря на то, что патрулей видно не было. Он не хотел сегодня ввязываться в перестрелку и беготню, он хотел только высмотреть щель, сквозь которую ночью можно было бы проскользнуть. Проскользнуть, вырваться из крепости, добраться до первых людей и оставить у них девушку.

Плужников ясно понимал, что старшина был прав, завещав ему сделать это во что бы то ни стало. Понимал, делал для этого все от него зависящее, но втайне боялся даже думать о том времени, когда останется один. Совсем один в развороченной крепости. Конечно, он мог бы уйти вместе с Миррой, раздобыть гражданскую одежду, попытаться ускользнуть в леса, где почти наверняка остались отбившиеся от своих частей бойцы и командиры Красной Армии. И это не было бы ни дезертирством, ни изменой приказу: он не значился ни в каких списках, он был свободным человеком, но именно эта свобода и заставляла его самостоятельно принимать то решение, которое было наиболее целесообразным с военной точки зрения. А с военной точки зрения самым разумным было оставаться в крепости, где были боеприпасы, еда и убежище. Здесь он мог воевать, а не бегать по лесам, которых не знал.

Наконец он достиг подвалов и пробирался сейчас по ним, стараясь выйти за излучину Мухавца. Там немцы, тракторы которых грохотали у трехарочных ворот, не могли его видеть, и он надеялся подобраться к самой воде и, может быть, переправиться на другую сторону. А пока шел бесконечными подвалами, в которые проникало достаточно света сквозь многочисленные проломы и дыры.

— Стой!

Плужников замер. Окрик прозвучал так неожиданно, что он даже не сообразил, что скомандовали-то ему на чистом русском языке. Но прежде чем он успел сообразить, в грудь его уперся автомат:

— Бросай оружие.

— Ребята...— От волнения Плужников всхлипнул.— Ребята, свои, милые...

— Мы-то милые, а ты какой?

— Свой я, ребята, свой! Лейтенант Плужников...

Остановили его на переходе в тяжелом подвальной сумраке, куда шагнул он со света и где пока ничего не видел, кроме неясной фигуры впереди. И еще кто-то стоял сзади, в нише, но того он вообще не видел, а только чувствовал, что там кто-то стоит.

— Лейтенант, говоришь? А ну, шагай к свету, лейтенант.

— Шагаю, шагаю! — радостно сказал Плужников. — Сколько вас тут, ребята?

— Сейчас посчитаем.

Их было двое — заросших по самые брови, в рваных, грязных ватниках. Представились:

— Сержант Небогатов.

— Ефрейтор Климков.

— Какие планы, лейтенант? — спросил Небогатов после короткого знакомства. — Наши планы — рвать в Беловежскую пущу. Давно бы туда ушли, да патронов нет — я тебя на голом нахальстве останавливал.

— Ну, для страховочки я за спиной стоял, — хмуро усмехнулся Климков. — А у меня — ножичек гитлеровский.

На ремне у него висел длинный немецкий кинжал в черных кожаных ножнах.

— Вместе рвать будем. — От радости, что встретил своих, Плужников сразу забыл о своем решении сражаться в крепости до конца. — Патроны есть, ребята, чего-чего, а патронов хватает. И еда имеется, консервы...

— Консервы? — недоверчиво переспросил ефрейтор. — Шикарно живешь, лейтенант.

— Веди сперва к консервам, — усмехнулся сержант Небогатов. — Уж и не помню, когда ели-то в последний раз. Так, грызем чего-то, как крысы.

Плужников провел их в свое подземелье кратчайшим путем. Показал дыру, мало приметную для непосвященных, рассказал об огнеметной атаке и гибели тети Христи. А про немца, что навел на них огнеметчиков, рассказывать не стал: объяснять этим ожесточенным, черным от голода и усталости людям, почему он отпустил тогда пленного, было бессмысленно.

— Мирра! — еще в подземелье закричал Плужников. — Мирра, это мы, не бойся!

— Какая еще Мирра? — насторожился сержант.

Он первым пролез в каземат, и не успели еще Плужников с ефрейтором пробраться следом, как он уже удивленно кричал:

— Миррочка, ты ли это? Глазам не верю!

— Небогатов?..— ахнула Мирра.— Толя Небогатов? Живой?

— Дохлый, Мирра! — смеялся сержант.— Копченый, сушеный и вяленый!

Светясь от радости, Мирра тащила на стол все, что припрятывала. Плужников хотел было запретить есть все подряд, но сержант заверил, что норму они знают. Небогатов был очень оживлен, шутил с Миррой, а ефрейтор помалкивал, посматривая на девушку настороженно и, как показалось Плужникову, недружелюбно.

— Житье тебе тут, лейтенант, прямо как беловежскому зубру.

Плужников не поддержал этого разговора. Ефрейтор помолчал, а потом, когда Мирра отошла от стола, спросил угрюмо:

— Она что, тоже с нами пойдет?

— Конечно! — с вызовом сказал Плужников.— Она хорошая девчонка, смелая. Только крыс боится!

Но Климков не намерен был сводить разговор к шутке. Переглянулся с Небогатовым, и по тому, как сержант опустил глаза, Плужников понял, что в этой паре первенство определяется не воинскими званиями.

— Хромая она.

— Ну и что? Не настолько уж она...

Плужников запнулся. Отрицать хромоту Мирры было бессмысленно, но даже если бы она была абсолютно здорова, хмурый ефрейтор и тогда бы отказался взять ее с собой — это Плужников сообразил сразу.

— Я и сам собирался довести ее до первых домов...

— До первой пули! — жестко перебил Климков.— Где дома, там и немцы. Нам обходить дома нужно, да подальше, а не переть к ним в военной форме.

— Странный разговор! Не оставлять же ее, правда?

— Пусть сама выбирается. Только после нас, а то на первом же допросе продаст ни за понюшку. Чего молчишь, сержант?

— Брать с собой нельзя,— нехотя сказал Небогатов.

— А бросать можно? Я тебя спрашиваю, сержант: бросать можно?

В гулком пустом подвале далеко разносились звуки, и Мирра слышала каждое слово. Тем более что теперь они уже не сдерживались, забыли о ней, словно решали сейчас не ее судьбу, а что-то куда более важное для них. Но для Мирры самым важным была сейчас не ее судьба, хотя сердце ее замирало от ужаса при одной мысли, что они могут уйти, оставив ее тут. И, несмотря на весь этот ужас, самым важным для нее было, что ответит Плужников на все их аргументы. Съежившись в самом дальнем и темном углу каземата, где крысы давно уже не боялись ни шумов, ни людей, Мирра слушала теперь только его, воспринимала только его слова, потому что то предательство, на которое его толкали, было для нее куда страшнее собственной судьбы.

— Ну, ты сам посуди, лейтенант, куда нам такая обуза? — приглушенно говорил Небогатов. — За внешним обводом — поле, там по-пластунски километра два ползти придется. Сможет она ползти?

— С хромой-то ногой! — вставил ефрейтор.

— О чем вы говорите! — громко сказал Плужников, уже с трудом сдерживая гнев. — О себе вы все время говорите, только о себе! О своей шкуре! А о ней? О ней подумать вы способны?

— Тут думай не думай...

— Нет, будем думать! Обязаны думать!

— Не подойдешь ты к домам, — со вздохом сказал сержант. — Ну, никак не подойдешь, понимаешь? Совались мы, пробовали — везде патрули, везде охрана. Что ночью, что днем. До сих пор оцепление вокруг крепости держат, до сих пор нашего брата вылавливают, а ты говоришь: думать.

— Мы — Красная Армия, — тихо сказал Плужников. — Мы — Красная Армия, это вы понимаете?

— Красная Армия?.. — Ефрейтор громко, зло рассмеялся. — Ты еще комсомол вспомни, лейтенант!

— А я его не забывал! — крикнул Плужников. — Вот он, билет, здесь, на сердце! Я его вместе с жизнью отдам, только вместе с жизнью!

— Нету больше Красной Армии! — заорал Климов, и непрочное пламя коптилок забилося, заметалось над столом. — Нету Красной Армии, нету никакого комсомола! Нету!

— Молчать!

Стало вдруг тихо. Небогатов усмехнулся.

— Командуешь?

— Не командую, а приказываю, — сдерживаясь, громко сказал Плужников. — Как старший по званию. Приказываю провести разведку, найти возможность пробраться в город и доставить туда девушку. А потом будем думать о собственной шкуре.

— Такой, значит, разговор? — продолжая улыбаться, спросил Небогатов. — А если не подчинимся? Доложишь по комайде? Рапорт напишешь?

— Подожди, Толя, — перебил Климков. — Глупо ссориться: нужны ведь друг другу.

— А мы не ссоримся...

— Ближайшая задача: переправить Мирру в город. Все остальное — потом.

— Не пойму, кто ты: дурак или контуженый?

— Тихо, Толя! — Ефрейтор перегнулся через стол. — На кой хрен тебе эта калека, лейтенант? Была бы деваха стоящая, я бы еще понял: жалко товар. А эту колченогую...

Заросшее лицо было совсем рядом, и Плужников коротко, не замахиываясь, ударил в него кулаком. Ефрейтор отпрянул, рука его метнулась к рукоятке кинжала. Плужников схватил автомат, рывком взвел затвор:

— Руки на стол!

Ефрейтор медленно отпустил рукоять, сел, положил перед собой большие жилистые руки. Плужников знал, что диски их автоматов пусты, но их было двое, а он — один.

— Сволочь, — тяжело дыша, сказал Климков. — Дерьмо ты, лейтенант. Окопался тут с бабой... Войну переживаешь?

— Выходи по одному через лаз, — резкоскомандовал Плужников. — Предупреждаю, что не шучу: автомат у меня заряжен.

Он повел стволом в сторону заваленного выхода, коротко нажал на спуск. Сухие выстрелы оглушительно прогремели в каземате. Небогатов и Климков встали.

— Мы не можем уйти без оружия, — тихо сказал Небогатов.

— Берите свои автоматы.

Они молча подняли пустые ППШ. Климков первым подошел к лазу, потоптался, хотел что-то сказать, но не сказал и вылез из каземата.

— Выход наверх — направо, в самом конце, — сказал Плужников сержанту.

Сержант молча кивнул. Он стоял у самого лаза, но уходить пока медлил.

— Ну, чего застрял? Кончились наши разговоры.

— Ты обещал патронов, лейтенант. Дай патронов, и мы этой же ночью уйдем из крепости.

Плужников молчал.

— Будь человеком, лейтенант,— умоляюще сказал Небогатов.— Мы же сдохнем здесь без патронов.

Плужников прошел в темноту, ногой придвинул к сержанту непечатую цинку. Металл нестерпимо резко проскрипел по кирпичному полу.

— Спасибо.— Небогатов поднял ящик.— Мы уйдем этой ночью, слово даю. А только ты все равно дурак, лейтенант.

И нырнул в лаз.

Плужников машинально поставил автомат на предохранитель, сунул его на обычное место — он всегда оставлял его возле лаза, вернулся к столу и тяжело опустился на скамью. Он не думал, что Климов и Небогатов, зарядив в подземелье оружие, ворвутся в каземат, но на душе его было тяжело. Недавняя и такая яркая радость от неожиданной встречи сменились тупым отчаянием, и переход этот был столь внезапен, что Плужников вдруг словно обессилел. Словно эти двое украли, вырвали из него и унесли с собой часть его веры, и эта потеря была ощутима до ноющей физической боли. Гнев его прошел, осталась смутная, гнетущая пустота и эта ноющая боль в сердце.

Кто-то порывисто вздохнул. Он поднял голову: рядом стояла Мирра.

— Ушли,— вздохнул он.— Я патронов им дал. Хотят этой ночью из крепости вырваться.

— Я не могу стать на колени,— дрожащим, словно натянутым голосом вдруг сказала она.— Я не могу стать на колени, потому что у меня протез. Но я стану, когда сниму его. Я стану на колени, я...

Рыдания перехватили горло, и она замолчала. Стояла рядом, тиская у груди руки, кусала прыгающие губы, а по лицу текли слезы. Он протянул руку, чтобы вытереть их, а она схватила эту руку и начала исступленно целовать ее. Он испуганно рванулся, но она не отпустила, а крепко, двумя руками прижала к груди. Как тогда, в подземелье, только тогда эта его рука держала взведенный пистолет.

— Я боялась, я так боялась.

— Что уйду с ними?

— Нет, не это самое страшное. Я боялась услышать, что ты — не такой.

— Какой — не такой?

— Не тот, кого я люблю. Молчи, пожалуйста, молчи! Я помню, какая я, не думай, что я могу забыть это. Меня всю жизнь жалели: и дети, и взрослые — все жалели! Но когда жалеют, отдают половинку, понимаешь? А ты, ты остался из-за меня, ты прогнал этих, ты не бросил меня, не оставил тут, не отправил к немцам, как они тебе предлагали! Я же слышала все, каждое слово слышала!

Она крепко прижимала к груди его руку, плакала и говорила, говорила, дрожа, как в ознобе. Все вдруг рухнуло для нее: и привычная настороженная пугливость, и робость, и застенчивость. Горячая благодарность словно растопила все оковы, искреннее чувство любви и нежности затопило ее, заставив забыть обо всем, и она спешила рассказать ему об этом, излить всю себя, ни на что не рассчитывая и ни на что не надеясь.

— Я же никогда, никогда в жизни и помечтать-то не смела, что могу полюбить! Мне же с детства, с самого детства все-все только одно и твердили, что я — калека, что я несчастная, что я не такая, как остальные девочки. Даже мама об этом говорила, потому что жалела меня и хотела, чтобы я привыкла к тому, что я — такая, привыкла и не страдала бы больше. И я уже привыкла, совсем привыкла, и поэтому с девочками не дружила, а только с мальчишками. Девочки ведь про любовь всегда говорят и планы всякие строят, а я что могла построить, о чем помечтать? Я, может быть, глупости сейчас говорю и даже наверное глупости, но ты ведь все понимаешь, правда? Я просто не могу молчать, я боюсь замолчать, потому что тогда, когда я замолчу, начнешь говорить ты и скажешь, что я — дура набитая, что нашла время влюбиться. А разве мы виноваты, что время такое, разве мы виноваты? Я боюсь замолчать, Коля, а у меня уже нет сил говорить. Сил нет, а я боюсь, боюсь в тишине остаться, боюсь того, что ты скажешь-сейчас...

Плужников обнял ее, нежно и бережно поцеловал в дрожавшие распухшие губы. И почувствовал кровь.

— Это я губы грызла, чтобы не закричать. Когда они уговаривали тебя.



— Больно?

— Меня никто никогда не целовал. А наверху — война. А я такая счастливая, такая счастливая, что у меня сердце сейчас разорвется. — Мирра прильнула к нему, говорила еле слышно, почти беззвучно. — Ты больше не сиди по ночам за столом, ладно? Ты ложись, а я рядом сяду и всю ночь буду отгонять от тебя крыс. Всю ночь и всю жизнь, Коля, какая нам осталась...

## 2

Теперь они говорили и говорили и никак не могли наговориться. Лежали рядом, укрывшись шинелью и бушлатами, согреваясь общим теплом, и сердца их бились одинаково бурно или одинаково устало.

— А твоя сестра похожа на тебя?

— Наверно, нет. Она похожа на маму, а я — на отца.

— Значит, у тебя был красивый папа. А это очень важно.

— Почему?

— Счастливый внук всегда бывает похожим на деда.

— А счастливая внучка?

— Тоже. Скажи... Только — честно, слышишь? Обязательно честно.

— Честное-пречестное.

— Честное-честное-пречестное?

Она помолчала, повозилась, поплотнее укрывая его.

— Твоя мама очень огорчится, когда увидит меня?

По тому, как робко, приглушенно прозвучали эти слова, он понял, как важен для нее ответ. И еще крепче обнял ее.

— Моя мама будет очень любить тебя. Очень.

— Ты обещал говорить честно.

— Я говорю честно. Они будут очень любить тебя. И мама, и Верочка.

— Может быть, в Москве мне сделают настоящий протез, и я научусь танцевать.

— В Москве мы покажем тебя самому лучшему врачу. Самому лучшему. Может быть...

— Нет. Ничего не может быть. Может быть только протез.

— Сделаем протез. Самый лучший. Такой, что никто и не догадается, что у тебя больная нога.

— Ка́кой ты худенький.— Она нежно провела рукой по его заросшей щеке.— Знаешь, мы не сразу поедем в Москву. Мы сначала проживем в Бресте, и моя мама немножечко тебя растолстит. А я буду кормить тебя морковкой.

— Я похож на кролика?

— Морковка очень полезна. Очень, потому что мама говорила, что в ней есть железо. И когда ты растолстеешь, мы поедем в Москву. Я увижу Красную площадь и Кремль. И Мавзолей.

— И метро.

— И метро. И еще мы обязательно пойдем в театр. Я никогда не была в настоящем театре. К нам приезжал театр из Минска, но это все равно не настоящий театр, потому что он съехал со своего места. Понимаешь?

— Ну конечно. Мы все посмотрим в Москве. Все-все. А потом уедем.

— В Брест?

— Куда пошлют. Ты забыла, что твой муж — кадровый командир Красной Армии?

— Муж...— Она тихо, радостно засмеялась.— Как будто я сплю и вижу сон. Обними меня, муж мой. Крепко-крепко.

И снова не было ни тьмы, ни подвала, ни крыс, что пищали в углах. И снова не было войны, а были двое. Двое на Земле — Мужчина и Женщина.

— Ты когда-нибудь видела аистов?

— Аистов? Каких аистов?

— Говорят, они белые-белые.

— Не знаю. В городе нет аистов, а больше я нигде не была. Почему ты вдруг спросил о них?

— Так. Вспомнил.

— Тебе не холодно?

— Нет. А тебе?

— Нет-нет. Знаешь, почему я спросила? Степан Матвеевич в ту, последнюю ночь сказал мне, что ты застыл.

— Как застыл?

— Застыл от войны, от горя, от крови. Он говорил, что мужчины стынут на войне, стынут внутри, понимаешь? Он говорил, что в них стынет кровь, и только женщина может тогда отогреть. А я не знала, что я — жен-

щина и тоже могу кого-то отогреть... Я отогрела тебя? Хоть немножечко?

— Я боюсь растаять.

— Ну, ты смеешься.

— Нет, я говорю правду: я боюсь растаять возле тебя. А поверху ходят немцы, по нашей с тобой крепости. Знаешь, они что-то замышляют: начали расчищать площадку возле Тереспольских ворот. И сейчас мы встанем, и я пойду наверх.

— Коля, милый, не надо. Еще день, один только денечек без страха за тебя.

— Нет, Миррочка, надо. Надо, а то они и вправду решат, что стали хозяевами в нашей крепости.

— Значит, мне опять считать секунды и гадать, вернешься ты или...

— Я вернусь. Я просто уйду на работу. Ведь уходят же мужья на работу, правда? Вот и я тоже. Просто у меня такая работа.

Еще не успев подняться наверх, Плужников услышал рев двигателей и почувствовал, как дрожит земля: тракторы стаскивали к Тереспольским воротам крупнокалиберные крепостные орудия. Опять множество немцев вертелось вокруг, и Плужников поначалу решил не рисковать и вернуться. Но немцы были заняты своими делами, и он все-таки двинулся в дальние развалины. Там можно было надеяться встретить одинокий патруль, а на большее он и не мог сейчас рассчитывать.

Прошлый раз он ходил левее: его тогда интересовал берег за поворотом Мухавца. Но сейчас он уже не думал о том, что должен расстаться с Миррой, — сейчас сама мысль эта была для него ужасна, — и поэтому он свернул вправо, в подвалы, через которые мог подобраться к трехарочным воротам. Там все время сновали немцы, и именно там он мог напомнить им, кто хозяин этой крепости.

Теперь он шел осторожно — куда осторожнее, чем тогда, когда уперся грудью в автомат Небогатова. Он не боялся столкнуться с немцами в подземельях, но они могли бродить поверху, могли услышать его шаги или увидеть его самого сквозь многочисленные проломы. Он перебегал открытые места, а в темных нишах подолгу останавливался, настороженно вслушиваясь.

Он слышал близкие шаркающие шаги именно в одной из таких глухих беспросветных ниш. Кто-то

шел прямо на него, шел медленно, старчески волоча ноги, не пытаясь приглушить шум. Плужников беззвучно сбросил автомат с предохранителя и весь напрыгся, ожидая того, кто так беззаботно топал по подвалам, достаточно светлым от бесчисленных дыр и проломов. Вскоре совсем близко тяжело вздохнули и сказали тихо и озабоченно:

— Озяб я. Озяб.

Плужников готов был шагнуть из ниши, потому что сказано это было так по-русски, что никаких сомнений уже не могло оставаться. Но он не успел шагнуть, как неизвестный вдруг запел. Запел жалобным детским голосом бессмысленно и тупо:

Васька-савраска,  
Шурка-каурка,  
Ванька-буланка,  
Сенька-гнедой...

Плужников замер. Что-то страшное и беспросветно безнадежное было в этом пении. А неизвестный снова и снова уныло тянул одно и то же:

Васька-савраска...  
Шурка-каурка...  
Ванька-буланка...  
Сенька-гнедой...

Послышался шум осыпавшихся кирпичей, тяжелое дыхание, и неизвестный певец попал в луч света, совсем рядом с Плужниковым, выйдя из-за поворота. И Плужников узнал его, узнал сразу, несмотря на длинные, свалывшиеся, красные от кирпичной пыли волосы. Узнал и шагнул навстречу:

— Волков? Вася Волков?

Волков замолчал. Стоял перед ним, пошатываясь, тупо глядя безумными отсутствующими глазами.

— Волков, да очнись же! Это я, Плужников! Лейтенант Плужников!

Шурка-каурка...

— Вася, это же я, я!

Васька-савраска...

— Да очнись же ты, Волков, очнись! — Плужников схватил его за грудь, встряхнул. — Это я, я, лейтенант Плужников, твой командир!

Что-то осмысленное вспыхнуло на миг в безумных глазах Волкова. Как он попал сюда, в эти подвалы? Что ел, где спал, как до сих пор не наткнулся на немцев? Все это только промелькнуло в голове Плужникова; спросил он о другом:

— Ты почему ушел тогда, Волков?

Спросил и замолчал, потому что ответа не требовалось. Дикий необъяснимый ужас, который увидел он в глазах Волкова, был этим ответом: Волков уходил от страха, и этот животный, безграничный и уже неподвластный воле страх олицетворялся для Волкова в нем, в лейтенанте Плужникове.

— Вася, успокойся. Вася...

Волков вдруг с силой оттолкнул Плужникова и, задыхаясь и тонко вереща от страха, быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Мухавца. Плужников ударился спиной о стену, упал, а когда вскочил, Волкова в подвале не было. Он уже выбрался наверх, задохнулся солнцем и простором, забыл о Плужникове и снова затянул то единственное, что хранил еще его воспаленный разум:

Васька-савраска,  
Шурка-каурка...

Плужников рванулся к пролому и даже не расслышал, а каким-то звериным шестым чувством почуял топот чужих сапог. Успел прижаться к стене, и сапоги эти прогрохотали над его головой.

Шурка-каурка...

— Хальт! Цурюк!

Ванька-буланка...

Ударил выстрел, но оглушительнее этого выстрела был детский жалобный крик Волкова. Плужников взлетел по осыпающимся кирпичам, выглянул в пролом, увидел три фигуры, склонившиеся над упавшим, но еще живым, еще стонущим Волковым, и нажал на спуск.

Он не разобрал, попал ли в кого — хотелось думать, что попал! — смотреть было некогда. Промчался по подвалам, выскочил во внутреннее окно, переполз в соседние развалины. Где-то недалеко всполошенно бегали немцы, гулко прогремели в подвалах автоматные очереди, ударило несколько взрывов. Но Плужников

опять ушел, затерявшись в развалинах. Отдышался в глубокой дальней воронке, ужом переполз открытый участок и нырнул в свою дыру.

Он не хотел рассказывать Мирре о встрече с Волковым: ей хватало горя. Поэтому он долго — дольше обычного — стоял у дыры, слушал шумы наверху и ждал, когда окончательно придет в себя не столько после беготни по развалинам, сколько после этой встречи. Он вспоминал последний осмысленный и полный нечеловеческого ужаса взгляд Волкова, понимал, что Волков испугался его — не человека вообще, а именно его, лейтенанта Плужникова, — но не чувствовал за собой никакой вины. Ему было жаль так глупо погибшего парнишку, только и всего. Война уже научила его своей логике.

Успокоившись, Плужников тихо двинулся к лазу, в темноте безошибочно определяя дорогу. Нащупал лаз, беззвучно нырнул в него и — замер: впереди, в тускло освещенном каземате, тихонько звучал девичий голос

Очаровательные глазки,  
Очаровали вы меня.  
В вас столько жизни, столько ласки,  
В вас столько неги и огня...

Контраст с тем пением, которое он совсем недавно слышал в другом подвале, пением, которое так трагически оборвалось, и этим — задумчивым, нежным, девичьим — был слишком велик даже для него. Тупая, безнадежная боль вдруг намертво сжала сердце, и он с трудом сдержался, чтобы не застонать.

Я опущусь на дно морское,  
Я поднимусь под облака,  
Я дам тебе все-все земное —  
Лишь только ты люби меня...

Человек, который пел сейчас эту песню, был счастлив. Был очень счастлив. Именно это открытие тупой болью стиснуло сердце Плужникова. Война все выворачивала наизнанку — даже их первую любовь.

Он осторожно влез в каземат и привалился к стене, прижимая к себе автомат, чтобы не брякнуть им, не спугнуть песню. Слушал, сдерживая тяжелый хрип отравленной взрывчаткой, забитой мокротой груди, мучительно хотел чего-то и не понимал, чего же. А по-

том понял, что хочет заплакать, и — улынулся. Слез не было.

Все-таки он звякнул автоматом, и она сразу замолчала. Он шагнул к столу, и Мирра нежно потянулась к нему, потянулась вся — доверчиво, тепло и наивно.

— Сейчас я тебя покормлю. — Она прошла в темноту, к стеллажам. — Знаешь, эти противные крысы съели все сухари. Осталось совсем немножечко.

— Откуда ты знаешь эту песню?

— Меня научил дядя Рувим: его к Первому мая премировали патефоном с пластинками. Он — замечательный скрипач... — Она засмеялась: — Зачем же я тебе рассказываю? Ты же знаешь дядю Рувима.

— Знаю?

— Конечно, знаешь. — Мирра притащила еду и теперь накрывала на стол. Это был целый ритуал, которым она дорожила. — Если бы не он, мы бы никогда не узнали друг друга. Никогда, представляешь, какой ужас? Боже мой, от чего иногда зависит счастье... Если бы не музыка, которая так тебе понравилась тогда...

— Если бы я тогда не захотел есть, — усмехнулся он.

— Или если бы вдруг сел на другой поезд.

— А я и сел на другой поезд, — сказал Плужников, помолчав и припомнив то бесконечно далекое, что было где-то в начале его пути к этому полутемному каземату. — А знаешь, почему я сел на другой поезд?

— Почему? — Она уселась напротив, уперев подбородок в ладони и пригостившись слушать.

— Я был влюблен. Целых тридцать шесть часов.

И он рассказал ей о Вале и о своих белых снах, когда так мучительно хотелось пить. Мирра выслушала его рассказ и вздохнула.

— Должно быть, эта Валя — очень хорошая девушка.

— Почему ты так решила?

— Потому что она была в тебя влюблена, — сказала Мирра, полагая, что этой характеристики вполне достаточно. — А чем же я тебя буду кормить завтра? Когда в доме нет мака — это еще не голод. Голод, когда нет хлеба.

— Хлеба? — Плужников достал вычерченную старшиной схему. — Ты не помнишь, где была пекарня?

— Пекарня — за Мухавцом. А вот здесь был продсклад и столовая.— Мирра показала на кольцевые кавармы, что шли по берегу Мухавца.— Я ходила туда с тетей Христей.

— Вот где он брал еду...— задумчиво сказал Плужников.

— Кто?

Плужников думал о Волкове, которого встретил как раз там, где Мирра указала склад и столовую. Но он не стал говорить о нем, а объяснил по-другому:

— Я о сержанте вспомнил. О Небогатове.

И Мирра не стала расспрашивать.

Жизнь состояла из маленьких радостей: как-то еще при жизни тети Христи Плужников нашел пилотку, в отворот которой была воткнута иголка с длинной черной ниткой, и женщины целый день радовались тогда этой нитке. С той поры он тащил в каземат все, что удавалось найти: расческу и пуговицы, кусок шпагата и мятый котелок. Ему нравилось искать и находить эти полезные мелочи, и задача найти хлеб даже обрадовала его.

Однако в ближайшие дни он не мог заняться этими поисками: уж очень много немцев бродило теперь по крепости. Они волокли на расчищенную возле Тереспольских ворот площадку наши тяжелые орудия, захваченные в укрепрайонах, патрулировали по всем дорогам, прочесывали развалины, выжигая огнеметами и забрасывая гранатами особо подозрительные и темные казематы. Как-то Плужников издали видел, как из развалин, лежавших в восточной части цитадели, которую он не знал и поэтому не посещал, немцы вывели троих без оружия — заросших бородами, в изодранном обмундировании. Это были свои, советские, и Плужников до физической боли, до отчаяния пожалел, что ни разу так и не сходил в этот район крепости.

— Никакого хлеба,— категорически заявила Мирра, узнав, что немцы после короткого затишья снова начали усиленно прочесывать развалины.— Обойдемся.

— Придется обойтись,— сказал Плужников.— Но поглядеть я все-таки вылезу: интересно, что это они так заматались.

— Обещай, что будешь осторожен.

— Обещаю.



— Нет, ты поклянись! — сердито сказала она. — Скажи: чтоб я так жива была.

— Ну, клянусь.

— Нет, ты скажи!

— Чтоб ты так жива была, — послушно сказал он, поцеловал ее и, взяв автомат, выбрался наверх.

В этот день немцев заметно лихорадило. Отряды их маршировали по дорогам, повсюду виднелись патрули, а возле Тереспольских ворот их собралось особенно много. Плужников и в самом деле никуда не мог двинуться от своей дыры, хотел было возвращаться, но в последний момент решил пробраться в костел. Если бы это ему удалось, он мог бы залезть повыше и оттуда наверняка разглядел бы, что затевает противник.

Полз он долго и осторожно, терпеливо отлеживаясь в воронках. Полз, как не ползал уже давно, скользил по земле, обдирая локти и колени, царапая щеки о кирпичные обломки. Где-то совсем рядом бродили немцы, он слышал их голоса, стук их сапог и лязг оружия. Он только чуть приподнимал голову, чтобы оглядеться и не потерять направления, и, даже добравшись до костела, не вбежал в него, а вполз и замер, забившись в ближайшую нишу.

Тяжелый смрад от неубранных трупов сложился в костеле. Зажав нос и с трудом удерживая судорожные спазмы, Плужников огляделся. Глаза его уже привыкли к сумраку — они вообще теперь легче привыкали к полутьме, чем к свету, — и он разглядел разбитый станковый пулемет у входа и семь трупов вокруг: почти все они были с зелеными петличками пограничников на гимнастерках. Видно, держались ребята до последнего патрона, потому что вокруг них не было ничего, кроме стреляных гильз и пустых коробок из-под лент. А пулемет стоял на том же самом месте, где когда-то стоял его пулемет, только пролом стал еще более широким.

Все это Плужников заметил сразу и, не задерживаясь, пошел в глубину. Его мучило от тяжелого вязкого запаха, спазмы сжимали горло, и временами ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Он добрался до разрушенной, заваленной обломками лестницы и полез наверх. На площадке лежало еще два полуразжившихся трупа, он миновал их, не задерживаясь и поднимаясь все выше и выше.

Так он взобрался на самый верх — здесь дул ветерок, он смог отдышаться и передохнуть. Теперь следовало по карнизу пройти к разбитому окну: из него должен был открываться вид на южную часть цитадели и Тереспольские ворота.

По счастью, он не успел двинуться с места, когда внизу, в темном колодце костела, раздались гулкие шаги. Плужников замер, вжимаясь в стену: позиция была неудобной, он не мог ни лечь, ни укрыться, и если бы немцы — а в том, что в костел вошел немецкий патруль, у него не было ни малейшего сомнения, — если бы немцы поднялись по лестнице только на один поворот, они бы в упор увидели его. Увидели в положении, в котором он физически не мог принять бой.

Снизу раскатисто и гулко доносились голоса — слов разобрать было невозможно, да Плужников и не пытался понять, о чем говорят немцы. Он стоял, затаив дыхание, замерев в неудобной позе, слушал только шаги и никак не мог понять, приближаются они к нему или все еще топают у входа. Голоса продолжали что-то бубнить, чиркнула зажигалка, запах паленой тряпки медленно всплыл к Плужникову. Он не понял сначала, зачем немцы жгут тряпки, а когда сообразил, невероятное напряжение вдруг отпустило его: немцы палили тряпки, чтобы отбить трупный смрад, и вряд ли намеревались пробираться в глубину костела, где смрад этот был особенно тяжким, густым и физически липким. Шаги смолкли, приглушенно звучали только голоса — видно, патрульные расположились у входа, решив зачем-то охранять этот мертвый, пустой костел. Плужников осторожно перевел дыхание и огляделся.

Карниз был узок, засыпан битой штукатуркой и осколками кирпичей, но у Плужникова уже не оставалось выхода. Он не мог больше торчать здесь, в конце лестницы, где не эти, так другие, более выносливые или более старательные немцы рано или поздно обнаружили бы его. А там, в глубокой оконной нише, он мог укрыться и увидеть то, ради чего рисковал сегодня жизнью.

Мучительно долго Плужников пробирался по карнизу. Цеплялся пальцами за щели и выбоины, всем телом вжимался в стенку, балансируя над глубоким провалом. Дважды из-под его ног с шумом осыпалась штукатурка, он замирал, но внизу по-прежнему глухо бубнили голоса. Наконец он добрался до оконной ни-

ши, устроился там и только после этого осторожно выглянул наружу.

Он увидел изломанный гребень кольцевых казарм, ленту Буга за ним, разрушенные здания на том берегу. Дорогу, которая вела от моста возле Тереспольских ворот, сами эти ворота и площадку перед ними, сплошь установленную тяжелыми артиллерийскими системами. И на дороге и на площадке возле вытянутых в нитку орудий было множество немцев, только на дороге они были построены по обеим сторонам, вдоль обочин, образуя коридор, а на площадке выдерживали правильное каре, и в центре этого каре стояло несколько фигур, вероятно, офицеров. Это строгое построение было непохоже на то, когда раздавали кресты, и которое они разогнали вместе со старшиной. Это было куда эффектнее и торжественнее, и Плужников никак не мог понять, для чего немцам понадобился весь этот парад.

Откуда-то донеслась музыка; он не видел, где стоял оркестр, но разобрал, что играют марш. На дороге, в коридоре, образованном солдатскими шеренгами, показались две фигуры: одна из них была в темном плаще, вторая — покрупнее первой и потолще — в странном полувоенном костюме. Следом за этими двумя в некотором отдалении шло еще несколько человек, в которых Плужников определил генералов или еще каких-то высших чинов. А те, что шли впереди, на генералов не были похожи, но почести, которые оказывались им, музыка, игравшая в честь их прибытия, — все это убеждало его, что немцы принимают здесь, в его крепости, каких-то очень важных гостей.

Ох как нужна была ему сейчас винтовка! Простая трехлинейка, пусть без оптического прицела! Он хорошо стрелял и даже если бы и не попал на таком расстоянии в одного из этих гостей, то все равно бы напугал их, расстроил парад, испортил бы им праздник и еще раз напомнил, что крепость не их, а его, что она не сдана врагу и продолжает воевать. Но винтовки у него не было, а затевать стрельбу из автомата на таком расстоянии было бессмысленно. И он только шепотом выругал себя за несообразительность, стукнул кулаком по кирпичам и продолжал наблюдать.

Фигуры исчезли из его поля зрения, перекрытые разрушенной башней Тереспольских ворот. А миновав башню, появились снова — уже в крепости, в четком

дети́рехугольнике, образованном замершими солдатами. Музыка смолкла, один из офицеров, печатая шаг, пошел навстречу прибывшим и отдал рапорт. Плужников не слышал этого рапорта, но видел, как взлетели руки в фашистском приветствии. Гости приняли рапорт, обошли солдатский строй, а затем отошли к выстроенным в линию артиллерийским системам. Они стали внимательно осматривать их, а рапортовавший офицер почтительно давал пояснения.

Плужников не знал и никогда не узнал, кто посетил Брестскую крепость в конце лета сорок первого года. Не знал, иначе выпустил бы весь диск в сторону фашистского парада. Не знал, что видит сейчас уменьшенную расстоянием крохотную фигурку того, чей личный приказ обрушил 22 июня в три часа пятнадцать минут по местному времени первый залп на эту самую крепость. Не знал, что видит перед собой фюрера Германии Адольфа Гитлера и дуче итальянских фашистов Бенито Муссолини.

### 3

Много дней Плужников разбирал кирпичи. Каждый кирпич приходилось осторожно брать в руки и еще бережнее класть. Не только потому, что он боялся привлечь шумом патрули — после того парада, свидетелем которого он оказался, немцев в крепости стало значительно меньше, — а потому, что шум этот мешал ему, мог заглушить чужие шаги, голоса, звон амуниции. Работая, он ни на мгновение не переставал напряженно вслушиваться и, поднимая кирпич, некоторое время держал его на весу, прежде чем положить. Он перекопал множество развалин, но пока не находил ничего, кроме трупов и разбитого оружия. Ничего похожего ни на склад, ни на столовую, а у них давно кончились сухари, кончались концентраты, оставалось совсем мало сахара, а мясные консервы Мирра уже ела с трудом. И поэтому он упорно, каждый день перекладывал с места на место эти проклятые кирпичи.

Ранняя осень началась с затяжных дождей. Дожди были мелкими и почти беззвучными, но за день ватник промокал насквозь, а высушить его было нигде. Правда, он раздобыл еще четыре ватника. Мирра строго следила, чтобы он не забывал менять их, но сырость, которую он приносил с собой ежедневно, уже посели-

лась в каземате и незаметно, день ото дня, все росла и росла, и теперь он чистил оружие два раза в сутки.

А немцев все-таки стало значительно меньше. Правда, днем они по-прежнему патрулировали по крепости, но в развалины, как правило, не заглядывали, а те двое, что как-то нарушили это правило, уже никому ничего не могли рассказать: Плужников снял их одной очередью. Тогда ему пришлось изрядно побегать, потому что немцы всполошились и бросились прочесывать развалины, но он отлежался в глухом каземате, а ночью вернулся к Мирре.

— Не стреляй, — умоляюще шептала она, нежно лаская его, усталого и измученного. — Если бы ты только знал, как я боюсь за тебя. Как я боюсь!

Появились в крепости и гражданские — они прибывали целыми группами, даже с лошадьми. Разбирали завалы, вывозили трупы и кирпичи. Плужников сам видел, как они расчищали костел, как грузили на телеги то, что осталось от тех семерых пограничников. Он попытался было наладить с ними контакт, но немцы охраняли их очень бдительно и постоянно торчали рядом. Судя по всему, это были колхозники, согнанные из соседних деревень. А за Белым дворцом, откуда он шел когда-то в свою первую атаку, он обнаружил однажды группу женщин. Их тоже стерегли — они отбирали целый кирпич и складывали его рядами вдоль дороги. Под вечер пришли машины, женщины погрузили кирпич, машины уехали, а женщин построили в колонну и под конвоем погнали к воротам. На следующее утро они опять появились и снова принялись разбирать кирпичи. Он наблюдал за ними целый день, но выяснил только, что у них есть получасовой перерыв на обед. А поговорить с ними, окликнуть, подать какой-либо сигнал о себе он так и не смог, хотя хотел этого и целый день ловил такую возможность. Мирра очень волновалась тогда:

— Может быть, они из города? Ах, если бы передать маме, что я жива!

Но он не сумел ничего передать ни мужчинам, ни женщинам и оставил пустые попытки. Сначала надо было найти хлеб.

Он уже глубоко залез в вырытую им же самим яму, высоко обложился кирпичами и теперь работал медленно, не только прислушиваясь, но и часто выглядывая поверх кирпичей, чтобы не нарваться на какую-

либо неожиданность. Он теперь и мерз быстро, и устал быстро, а задыхаться стал часто, да и сердце само по себе вдруг меняло привычный ритм и начинало стучать, выламывая ребра. Тогда он прекращал работу и ложился, терпеливо ожидая, когда все войдет в норму.

Еще сквозь обломки кирпичей он заметил что-то круглое, какие-то коробочки. Торопливо докопался до них, но почти все эти коробочки оказались раздавленными — белый порошок просыпался из них по земле. Он осторожно взял щепотку этого порошка, понюхал. И вздрогнул: душистый сладковатый запах принес вдруг далекие воспоминания о матери.

— Пудра, — улыбнулась Мирра, когда он принес ей единственную уцелевшую коробочку. — Неужели на свете еще есть женщины, которые пудрятя, красят губы, завивают волосы? Может быть, и мне в первый раз в жизни напудрить нос?

— Там много. Хватит и на лоб и на щеки.

— Много? — Она нахмурилась, что-то старательно припоминая. — Подожди, подожди. В столовой был ларек военторга. Был, был, я помню. Значит, где-то рядом склад. Где-то совсем рядом.

Он рыл в этом месте с ожесточением, порой забывая об опасности. Рыл, задыхаясь, ломая ногти, в кровь разбивая пальцы. Отбрасывал в сторону какие-то черепки, битые бутылки, обломки ящиков. И где-то под кирпичами, еще не видя, нащупал грубую ткань мешковины.

До глубокой ночи на ощупь он отрывал этот мешок. Дважды осыпались кирпичи, заваливая его работу, и дважды он методически, не позволяя себе удариться в безрассудное отчаяние, заново откапывал мешок, по одному снимая кирпичи. И наконец сумел вытащить его — целым, старательно завязанным. Кинжалом разрезал бечевку, сунул руку и нащупал толстые шершавые квадраты стандартных армейских сухарей.

Небо было низко закрыто тучами, в яме стояла темень. Он вытащил сухарь, поднес к лицу — не видя, ощутил запах, густой дух ржаного хлеба. Он жадно вдыхал его, не чувствуя, что весь дрожит, дрожит не от холода, а от счастья. Он лизнул этот сухарь, уловил влажную соленую точку, не понял, лизнул снова и только тогда сообразил, что на корявый армейский сухарь капают его слезы. Слезы, от которых он отвык настолько, что перестал их ощущать.

Весь следующий день они грызли эти сухари, и это был едва ли не самый радостный день в их жизни. И Плужников был счастлив, что смог доставить Мирре эту радость. Последнее время он частенько заставлял ее в слезах. Она тут же начинала улыбаться, пыталась шутить, но он видел, что с ней происходит что-то неладное. Мирра никогда не жаловалась, всегда была спокойна, даже весела, а по ночам, когда он засыпал, нежно ласкала его, задыхаясь от слез, любви и отчаяния. Плужников подозревал, что виной тому однообразная еда, потому что замечал, как она иной раз с трудом скрывает тошноту. Он хотел бы отыскать для нее что-либо иное, чем консервы, но не знал где и не знал что.

— Ну а если помечтать? Давай вообразим, что я — волшебник.

— А ты и есть волшебник, — сказала она. — Ты сделал меня счастливой, а кто же меня мог сделать счастливой, кроме волшебника?

— Вот и загадай волшебнику желание. Ну, чего бы тебе хотелось? Пусть это будет самое невозможное.

— Фаршированной щуки. И большой соленый огурец.

В нем мелькнула одна шальная мысль, но он не стал ничего объяснять Мирре. А на следующее утро взял четыре сухаря и собрался наверх раньше обычного — еще в темноте.

— Не ходи сегодня, — робко попросила Мирра. — Пожалуйста, не ходи.

— Выходной кончился, — попробовал отшутиться Плужников.

— Не ходи, — с непонятной тоской повторила она. — Побудь со мной, я так мало вижу тебя.

— Все равно не увидишь, даже если останусь.

Они сэкономили жир и зажигали теперь только одну плешку. Густая черная мгла плотно обступала их со всех сторон, они давно уже жили ощупью.

— И хорошо, что ты меня не видишь, — вздохнула Мирра. — Я сейчас страшная-страшная.

— Ты — самая красивая, — сказал он, поцеловал ее и вышел.

Чуть светало, когда Плужников выбрался наверх. Постоял, прислушался, ничего не расслышал, кроме монотонно морозящего дождя, и осторожно двинулся к Белому дворцу. Благополучно миновал дорогу и

через кирпичные завалы пробрался в глубокие подземелья.

Кажется, где-то здесь в первые часы войны прятали раненых. Здесь умирал старший лейтенант, в чью смерть ему когда-то так не хотелось верить. Трупы из подвала уже вытащили, но стойкий запах смерти еще держался тут, еще витал в темноте, и Плужников шел осторожно, словно боялся наткнуться на того, кто лежал здесь с первых часов войны. Он искал бойницу, укрытую от чужих глаз, но удобную для наблюдения. Дыры, проломы и щели во множестве серели в густом подвальном мраке. Он выбрал ту, которая устраивала его, сел на кирпичи, поставил рядом автомат и приготовился к долгому ожиданию.

Странно — он был вообще-то человеком нетерпеливым, порывистым, но постоянные опасности быстро выработали в нем привычку ждать. Ждать, почти не шевелясь, застыв в животной неподвижности. Он вспомнил, как когда-то — давным-давно, еще до войны, — ждал, когда его примет начальник училища. Вспомнил свое молодое нетерпение, надраенные сапоги, уютную, мягкую, чистую гимнастерку. «Через год вызовем вас в училище...» Через год! С той поры миновала целая вечность, а вот когда закончится год... Вечность оказалась короче, чем календарное время, потому что вечность ощущают, а время надо прожить.

И еще он думал о маме и Верочке. Он знал, что немцы ворвались в глубину России, но ни на секунду не допускал мысли о том, что они могут взять Москву. Они могли прорваться за Минск, могли даже вести бои где-то возле Смоленска, но сама возможность их появления под Москвой была абсурдна. Он представлял, что Красная Армия продолжает вести ожесточенные бои, перемалывая фашистские дивизии, был убежден, что перемелет и пойдет вперед и где-нибудь к весне вернется сюда, в Брестскую крепость. До весны была еще целая вечность, но он твердо рассчитывал дожить. Дожить, встретить своих, доложить, что крепость не сдадена, отправить Миру к маме в Москву и вместе с Красной Армией идти дальше. На запад, в Германию.

Наконец-то он услышал шаги: не солдатские — четкие, словно собранные воедино, а гражданские — шаркающие, словно рассыпанные. Выглянул: к Белому дворцу медленно приближалась колонна женщин. Трое охранников шли впереди, четверо сзади, и по трое с



каждой стороны этой нестройной, шаркающей колонны. Только у первых и замыкающих он разглядел автоматы, а те конвоиры, что шли по бокам, были вооружены винтовками. Издалека винтовки эти показались ему несуразно длинными, но когда колонна приблизилась, он разглядел, что это — наши винтовки с прижатыми четырехгранными штыками. Разглядел и понял, что женщин стерегут не только немцы, но и дошедшие до немцев федорчуки.

Прозвучала команда, колонна остановилась. Затем конвоиры разошлись по постам, а женщины направились к развалинам, прямо на него, и Плужников отпрянул в темноту. Негромко переговариваясь, женщины отдыхали перед началом работы: кто присел на кирпичи, кто переобувался, кто перевязывал платок. Плужников видел их совсем близко, видел, как стекают по ватникам и пальто струйки дождя, видел их низко повязанные платками лица, слышал голоса, но так и не мог определить, какого возраста эти женщины и кто они. Все лица казались ему одинаково утомленными, одинаково озабоченными, а кроме отрывочных русских фраз слышались и белорусские, и какие-то иные, совсем непонятные — то ли польские, то ли еврейские. Сейчас Плужников мог окликнуть их, даже поговорить, потому что охраны поблизости не было, но сегодня он не хотел рисковать. Он отложил это до следующего раза, до того времени, когда изучит этот подвал и найдет безопасные пути отхода.

Светлое пятно его бойницы вдруг стало темным. Сначала он не понял, что произошло, и качнулся назад, еще глубже, уходя во мрак. Но бойница опять просветлела, хотя и изменила свои очертания. Он взгляделся: в нише лежал узелок. Обычный женский узелок из головного платка, связанного концами, — кто-то из женщин сунул его сюда, в подвальное окошко, в защищенное от тусклого осеннего дождя место.

Он осторожно взял узелок, когда женщины начали разбирать кирпич. Развязал платок, развязал и чистую белую тряпочку, которая оказалась под ним, и беззвучно рассмеялся: никогда еще ему так не везло. Никогда. Шесть вареных в мундире картофелин, луковица и щепотка соли лежали в этом узелке.

Плужников с благодарностью посмотрел на унылые, согбенные фигуры женщин, мокнувших на бесконечном осеннем дожде. Какая-то из них, сама не зная

об этом, сделала сегодня самый дорогой для него подарок. Он подумал, положил в платок три армейских сухаря, завязал, как было, четыре конца и поставил в нишу, на место. А тряпочку с картошкой и луковицей спрятал за пазуху и ушел в самый дальний, глухой отсек подвала. И до ночи сидел там, грыз сухарь и думал, как обрадуется сегодня Мирра.

— Ты действительно волшебник?

Он рассказал ей о подвалах Белого дворца, о женщинах, об узелке. Мирра слушала и ела картошку, но ела как-то не так, как ему хотелось. Словно что-то мешало ей радоваться этой картошке, словно она все время тревожно думала о чем-то ином.

— Ты как будто не рада?

— Нет, что ты. Спасибо. Ешь свою долю.

— Это — тебе, не спорь. Я могу жевать все, а тебя тошнит, я вижу.

— Глупый, — с какой-то странной болью выдохнула она. — Боже мой, какой ты еще глупенький у меня.

Она приникла к нему, уткнулась в грудь лбом, тихо заплакала. Слезы капали в недоеденную картошку.

— Что с тобой? Миррочка? Да что же с тобой?

Мирра подняла голову, долго, очень долго смотрела на него. Тусклый свет падал на ее лицо, он видел огромные, полные тоски глаза — в слезах дрожал робкий фитилек копилки.

— Миррочка...

— Мы должны расстаться, — тихо, словно через силу, сказала она. — Родной мой, муж мой, мой единственный, мы должны расстаться с тобой.

— Расстаться? — Он ничего не понимал. — Как расстаться? Почему расстаться? Зачем? Ты заболела? Ну, не молчи же, не молчи, отвечай!

— У нас будет маленький.

— Маленький? Как маленький?..

Эта новость обрушилась на него вдруг, как стена, и, еще ничего не поняв, ничего не осознав, он почувствовал страх. Лишающий разума леденящий страх одиночества.

— Видишь, я — нормальная женщина. — Странная и неуместная нотка гордости прозвучала в голосе Мирры. — Я нормальная женщина, и случилось то, что должно было случиться. Вероятно, это — счастье, даже наверное это — огромное счастье, но за счастье надо плакать.

— Не уходи,— с тупым отчаянием сказал он.— Только не уходи.

Он не думал, что говорит: в нем кричало отчаяние. Мирра медленно покачала головой:

— Нельзя.

— Да-да, я понимаю, понимаю.

Он уже отстранялся от нее, он уже погружался в свое одиночество. Она придвинулась еще ближе, прильнула к нему, гладила по заросшим впалым щекам, целовала — он сидел, не шевелясь, словно окаменев.

Так они сидели долго. Мирра ничего не объясняла, ничего не доказывала, понимая, что он тоже должен привыкнуть к этому, как привыкла она. А Плужникову хотелось кричать, хотелось вылезть наверх, хотелось выпустить в немцев все снаряженные диски, хотелось погибнуть, потому что боль, которую он испытал сейчас, была страшнее смерти. Но он сидел и терпеливо ждал, когда все пройдет. Он знал, что все пройдет,— он уже мог вынести все, что возможно, и что невозможно — мог вынести тоже.

Наконец он вздохнул и шевельнулся. Мирра ждала этого вздоха и сразу заговорила тихим, печальным голосом, словно уже прощаясь навсегда:

— Если бы не маленький, если бы не он, Коля, я бы никогда не оставила тебя. Я думала, что так и будет, что я умру немножечко раньше, чем ты, и умру счастливой. Ты — моя жизнь, мое солнышко, моя радость, все — ты, ты все, что у меня есть. Но маленький должен родиться, Коленька, должен: он ни в чем не виноват перед людьми. И должен родиться здоровеньким, обязательно здоровеньким, а здесь... Здесь я каждую секунду чувствую, как убывают его силы. Его силы, Коля, уже не мои, а его! Каждой женщине бог дает немножечко счастья и очень много долга. А я была счастлива. Я была так счастлива, как не может быть счастлива никакая другая женщина во всем мире, потому что это счастье дал мне ты, ты один и только мне одной. Дал вопреки войне, вопреки немцам, вопреки моей судьбе, вопреки всему на свете! Я знаю, что тебе тяжелее, чем мне: ты остаешься один, а я уношу с собою кусочек твоего будущего. Я знаю, что сейчас идут самые страшные часы нашей жизни, но мы должны, мы обязаны пережить их, чтобы жил он, наш маленький. Ты не беспокойся, я уже все продумала. Ты

только поможешь мне пробраться к этим женщинам, а уж они выведут меня из крепости.

— А там?

— Там — мама, не беспокойся! Там — мама и родственники. Столько родственников, сколько у евреев, не бывает ни у кого на свете.

— Женщин водят строем.

— Кто заметит лишнюю бабу? Не беспокойся, милый, все будет хорошо! Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки, и будет шум и гам, и будут сны к деньгам, дождички пойдут по четвергам. Так говорит дядя Михась — помнишь, он вез нас когда-то в крепость? Мы еще смотрели столб на дороге, и там я впервые наткнулась на твою руку...

Она говорила, улыбаясь изо всех сил, а из глаз не удержимо катились слезы. Они капали на руку Плужникову, а он никак не мог заплакать, потому что его собственные последние слезы упали на ржавый армейский сухарь, и больше слез уже не осталось. И вероятно, поэтому его пекло внутри, будто сердце обложили горящими угольями.

— Ты должна идти, — сказал он. — Ты должна добраться до своей мамы и вырастить сына. И если только я останусь в живых...

— Коля!

— Если я останусь в живых, я найду вас, — строго повторил он. — А если нет... Ты расскажешь ему о нас, О всех нас, кто остался тут, под камнями.

— Он будет молиться на эти камни.

— Молиться не надо. Надо просто помнить.

Они вышли в темноте и благополучно добрались до развалин Белого дворца, хотя Мирре это было трудно. Она очень ослабела, отвыкла ходить, да и дорога была не для ее протеза. Местами Плужников нес ее на руках, и ему было не тяжело: таким исхудалым и легким было это родное, теплое тело. И там, в подвале, когда он уже разведаль выход и показал ей, откуда он будет смотреть на нее в последний раз, он усадил ее на колени, укутал и не отпускал уже до конца. Здесь они в последний раз попрощались, и Мирра осторожно вышла из подвала.

Она была в ватнике, как многие женщины, так же, как они, повязана платком, и на нее действительно никто не обратил внимания. Все молча занимались делом, и она тоже начала работать.

— Ну, чего ты тут мучаешься? — ворчливо спросила какая-то женщина. — Нога, что ли, болит?

А вторая вздохнула горько:

— Господи, и хромушку взяли, изверги. Ты поменьше ходи. Поди вон кирпич складывай.

Кирпичи складывали у дороги, и Мирре не хотелось уходить туда, потому что это было далеко от Плужникова. Но она не стала спорить, втайне радуясь, что женщины считают ее своей. Стараясь хромать как можно незаметнее, она отошла, куда велели, и стала укладывать целые кирпичи друг на друга.

Плужников видел, как она шла к дороге и укладывала там кирпичи. А потом поле зрения перекрыли другие женщины, он потерял Мирру, нашел снова и снова потерял и больше уже не мог определить, где она. Не мог, но все смотрел и смотрел, приходя в отчаяние, что больше не увидит ее, и не подозревая, что судьба на сей раз уберегла его от самого жестокого и самого страшного.

Вечерело, когда появились конвоиры. До этого Мирра видела их лишь в отдалении: они либо грелись у костра, либо жались к уцелевшим стенам. Сейчас они появились и забегали — здоровые, продрогшие от безделья.

— Становись! Быстрее, быстрее, бабы!

Старшими были немцы, но они не торопились уходить от костра, а колонну строили старательные охранники в серо-зеленых бушлатах, вооруженные винтовками с примкнутыми штыками. Они исполительно суетились вокруг медленно строившихся женщин, отдавая команды на русском языке.

— Разберись по четыре!

Мирра старалась забраться в середину колонны, но женщины, выстраиваясь по четверкам, невольно выталкивали ее, и вскоре она оказалась на левом фланге. Мирра с отчаянием вновь полезла в толпу, а ей устало и ворчливо говорили, что она не из этой четверки, и снова отодвигали туда, где никаких четверок не было, а была она одна.

— Почему толкотня? — сердито закричал рослый конвоир — он и старался больше всех, и кричал чаще, чем остальные. — Разобраться по своим четверкам! Живо, бабы, живо!

— Мы разобрались, — сказал чей-то недовольный голос. — Да тут одна лишняя оказалась.

— Какая лишняя? Откуда лишняя? Не может быть лишних. Разберись получше!

— Да вот...

Сердце Мирры забилося стремительно и отчаянно. Конвоир шел вдоль строя, приближался к ней, и она заулыбалась ему из последних сил.

— Ты откуда взялась? — удивленно спросил конвоир, остановившись против нее.

— Из города. Не узнаете, что ли?

— Из города?

— Ну пойдете же, пойдете! — с отчаянием выкрикнула Мирра, думая сейчас только о том, что Плужников все видит. — Пойдете, разве на ходу нельзя выяснить?

— Правда, идти пора! — недовольно зашумели женщины. — Весь день на холоду! И чего к девчонке пристал: не убыль ведь, а прибыль.

— Прибыль?.. — озадаченно повторил конвоир. — Прибыль, значит? А откуда ты взялась тут, прибыль?

Он вдруг схватил ее за ватник, рванул на себя: Мирра едва устояла на ногах.

— Подвальчиком пахнет? Подвальчиком?.. Господин обер-ефрейтор! Ах зараза, ах стерва, выползла на божий свет? Господин обер-ефрейтор!

— Пойдете, — задыхаясь, бормотала Мирра, а он тряс сильной рукой за ватник, и голова ее беспомощно болталась из стороны в сторону. — Пойдете. Прошу вас. Пожалуйста...

— Откуда взялась? Откуда?

Он вдруг оставил ее и шустро побежал навстречу пожилому неторопливому немцу, что шел к ним от головы колонны. И Мирра, постояв секунду, тут же пошла за ним, потому что строй прикрывал ее от Плужникова.

— Вот она, господин обер-ефрейтор. Вот она, лишняя. Из подвалов, видать, вылезла.

Мирра уже не слышала, о чем он еще говорил. Она видела только мелкое, незначительное лицо немолодого обер-ефрейтора, и это такое обычное усталое лицо было для нее пугающе знакомым. Она еще боялась признаться в этом самой себе, она еще верила во что-то, равное чуду, но чуда не было, а немец был. И не этот — с красным замерзшим носом, а тот, трясущий-

ся, перепуганный, дрожащими руками перебиравший фотографии собственных детей.

— Юде! — закричал немец, уткнув в нее худой узловатый палец. — Юде! Бункер! Юде! Бункер!

— Ну чего к девочке привязались? — кричали женщины, а конвоиры бегали вдоль строя, угрожающе покачивая штыками. — Идти пора, застыли. Девчонку-то оставьте, наша она! Да нет, не наша! Наша... Не наша...

— Юде! Бункер! Юде! Бункер! — выкрикивал немец, пятясь, потому что Мирра шла прямо на него, уже ничего не видя и не слыша. Шла, движимая лишь одним желанием уйти подальше от той бойницы.

Кажется, женщин все-таки повели, а может быть, и не повели, а ей только показалось, потому что в ушах ее стоял звон, сквозь который прорывались лишь два страшных слова: «Юде!», «Бункер!», «Юде!», «Бункер!». Сердце ее то сжималось, замирая в предчувствии чего-то страшного, то начинало бешено биться, и тогда ей не хватало воздуха. Она ловила его широко разинутым ртом и шла, шла, шла вперед, все дальше оттесняя немцев.

И даже когда ее ударили — ударили прикладом, с размаху, со всей мужской злобой, — она не почувствовала боли. Она почувствовала толчок в спину, от которого странно дернулась голова и рот сразу наполнился чем-то густым и соленым. Но и после этого удара она продолжала идти, почему-то не решаясь выплюнуть кровь, и казалось, не было силы, способной остановить ее сейчас. А удары все сыпались и сыпались на ее плечи, она все ниже и ниже сгибалась под этими ударами, инстинктивно защищая живот, но думая уже не о том, кто жил в ней, а о том, кто навсегда оставался сзади, и из последних сил стремясь уберечь его. И когда ее все-таки свалили, она, уже теряя сознание, еще упорно ползла вперед, неудобно волоча закрепленную в протезе ногу.

Она еще ползла, когда ее дважды проткнули штыком, и эта двойная пронзительная боль была первой и последней болью, которую она почувствовала и приняла всем своим хрупким и таким еще теплым телом. Яркий свет полыхнул перед ее крепко зажмуренными глазами, и в этом беспощадном свете она увидела вдруг, что у нее уже никогда не будет ни маленького, ни мужа, ни самой жизни. Она хотела закричать,

напрягаясь в последнем животном усилии, но вместо крика из горла хлынула густая и вязкая кровь.

Уже теряя сознание, уже плывя в липком и холодном предсмертном ужасе, она еще слышала удары, что сыпались на ее плечи, голову, спину. Но ее не били, а — еще живую, торопясь, — заваливали кирпичом в неглубокой воронке за оградой Белого дворца.

Низкие тучи, что столько дней висели над самой землей, лопнули, разошлись, в прогалину выглянуло бледное небо, и далекий отсвет давно закатившегося солнца нехотя высветлил кое-как выровненную дорогу, угол разбитого здания, кусок разрушенной ограды и наспех заваленную воронку. Высветлил и исчез, и небо вновь затянуло серыми осенними тучами.

## ЧАСТЬ ПЯТАЯ

### 1

Он опять потерял счет дням. Лежал в черном, как небытие, мраке, слушал, как крысы грызут остатки сухарей, и не было сил ни на то, чтобы встать и перепрятать эти сухари, ни на то, чтобы вспомнить, какое сегодня число. Он не знал, сколько дней провалялся без пищи и воды, забравшись под все шинели, ватники и бушлаты. Когда вернулось сознание, с трудом дополз до воды, пил, впадал в странное забытие, приходил в себя и снова пил. А потом добрался до стола, нашел сахар и сухари, что еще не успели сожрать крысы, горстями ел этот сахар и грыз сухари, хотя есть совсем не хотелось. Ел, насилая себя, потому что болезнь отступила и теперь надо было подниматься на ноги.

Он потерял счет дням и поэтому не удивился, когда увидел снег. Стояла глубокая ночь, в черном небе горели звезды, а крепость была белой. Он сидел у своей дыры, кутаясь в бушлат, жадно дышал чистым морозным воздухом и тихо радовался, что жив.

Вернулся почти здоровым, только шатало от слабости. Вскипятил на толовых шашках целый котелок воды, вывернул туда банку тушенки, впервые с аппетитом поел и завалился под все свои бушлаты. Теперь



он опять верил в свои силы, опять вел счет дням и ночам и только никак не мог сообразить, какое сегодня число.

Весь следующий день он чистил оружие и набивал диски. Он давно не обходил своего участка, давно не охотился за патрулями и готовился к вылазке, испытывая нетерпеливый и радостный азарт. Он был жив и по-прежнему ощущал себя хозяином притихшей под снегом Брестской крепости.

Но кроме этой основной задачи существовала задача более узкая и более личная. Он думал о ней, словно втайне от самого себя, словно в нарушение отданного торжественного приказа, будто кто-то здесь мог проверить, как он исполняет этот приказ. Но он жил так, будто высокийверяющий постоянно находился рядом, постоянно контролировал его и проверял, и поэтому то, что он задумал, он задумал как бы в обход этого инспектора, задумал самовольно и уходил исполнять это тайное желание словно в самоволку от самого себя.

Он вдруг решил найти, обязательно, непременно найти свой собственный пистолет. Не оружие вообще, а именно тот, номер которого был записан в его удостоверении. Свое первое личное оружие, полученное перед строем в день окончания училища и потерянное в первой рукопашной. Сейчас он особенно хорошо помнил эту первую рукопашную, потому что тот страшный немец с выбитой нижней челюстью являлся к нему в бреду, снова тянул его за ногу, снова улыбался мертвым оскалом, а Сальников все не приходил и не приходил, и в бреду ему казалось, что он не придет уже никогда и никогда не избавит его от этого кошмара. И, просыпаясь в холодном поту, он особенно старательно вспоминал именно первый день — встречу с Сальниковым и Денищиком, первую атаку и первый бой. И то, как постыдно потерял он выданный лично ему пистолет.

Он добрался до костела без приключений, но, привычно оглянувшись перед тем, как исчезнуть в его пустоте, был неприятно поражен открытием, грозившим самыми тяжелыми последствиями. Хотя снега выпало мало и он старался идти по кирпичам, за ним все-таки тянулся след, и уничтожить этот след он уже не мог. Уничтожить этот след мог только снегопад, но небо, как назло, было чистым. Теперь он уже не радовался,

что забрался в костел, но возвращаться было еще опаснее: след оставался следом. Поколебавшись, он решил все же передневать в костеле и пробраться в свой каземат уже в темноте, надеясь, что — может быть! — к утру выпадет снег и прикроет все натоптанные им дорожки.

Свежий запах зимы хорошо выветрил все закоулки — он не чувствовал уже того смрада, что когда-то спас его, задержав немцев у входа. Правда, тогда ему дотемна пришлось сидеть наверху, в оконной нише, — уже давно закончился парад, гости удалились, а солдаты увели. Он пробирался по карнизу в полной тьме, чудом не сорвался, но все сошло благополучно. Тогда сошло, но теперь веселый, радостный снег был союзником его врагов.

Он все время думал об этом, с тревогой прислушиваясь к звонкой утренней тишине. В морозном воздухе звуки стали чище: до него доносились и шум машин, и свежие скрипы снега, и голоса немецких солдат, которые кидались снежками у трехарочных ворот. Поначалу все это настораживало его, но время шло, и он постепенно все больше и больше приглядывался к тому, что хранил костел для него одного. И чем больше он приглядывался, тем все неумолимее, все плотнее обступали его тени тех, кого уже не было, кто оставался только в его воспоминаниях.

Он сразу нашел окно, через которое в первый раз прыгал в костел. Именно это; то, второе, он даже не искал. Но это окно, окно своей первой атаки, он выбрал сам, сам струсил перед ним, и пограничнику пришлось заплатить жизнью за эту трусость. Такое не забывается — он не был трусом и поэтому помнил все. Даже загустевшую кровь, которая била в него, когда предназначенные ему пули попадали в уже мертвого пограничника.

Но это было потом. Потом, а тогда он ввалился в задымленный костел, кого-то бил, в кого-то стрелял, и где-то здесь его схватил за ногу тот страшный немец с раздробленной челюстью. А до этого он потерял пистолет... До этого или после? Нет, до: его ударили прикладом, он отлетел в сторону, а когда очухался, пистолета уже не было. Значит, все случилось где-то здесь, на этих квадратных метрах пола, заваленного сейчас штукатуркой, битым кирпичом и позеленевшими стреляными гильзами.

Он бродил по костелу, ногой ворочая кирпичи. Пустые рожки автоматов, обрывки пулеметных лент, раздавленные фляги, винтовки с разбитыми ложами и расщепленными прикладами, ржавые диски от ручных пулеметов — мусор войны лежал перед ним. Он трогал этот хлам, весь наполненный голосами, уже отзвучавшими навеки, голосами, которые он бережно хранил в себе. А он и не знал, что хранит их, что они все еще звучат в нем. Он думал, что он — один, в немом одиночестве, но немота прорвалась и одиночество отступило, и он понял вдруг, что прошлое — его собственность, его достояние и его гордость. И что одиночества нет, потому что есть оно, это прошлое. Самая горькая и самая звонкая доля его жизни.

— Смерти нет, — вслух сказал он. — И все-таки смерти нет, ребята.

Негромкий голос его странно прозвучал в пустом костеле. Проплыл по холодному воздуху, мягко оттолкнулся от стен, взмыл к разбитому куполу. Он замер, прислушиваясь, словно провожая этот звук собственного голоса, и тут же уловил какой-то шум, что чуть доносился снаружи. Еще не поняв его, еще не оценив, он метнулся к оконной нише, вжался в нее и осторожно выглянул. И в тот же миг прошлое перестало существовать: немцы тихо оцепляли костел.

Они еще не замкнули кольцо и — может быть, нарочно, а может, второпях — оставили ему единственную щель — через пустырь к развалинам Белого дворца. Темная фигура на снегу среди ясного дня — шансов выскочить почти не было. Но он и не взвешивал шансы, он хотел жить, а если и умереть, то — свободным. И выпрыгнул из окна.

Он бежал, не оглядываясь, не пригибаясь: ему нельзя было терять мгновений. Где-то на полпути услышал крики и выстрелы, но не упал, а бежал и бежал, и пули вспарывали снег у его ног. Он влетел в развалины и, не задерживаясь, бежал все дальше, все глубже, натываясь на стены, потому что ничего не видел после яркого снега. Бежал, пока хватало сил, и упал вдруг, сразу, потому что сил этих больше в нем не было, и не было воздуха, и ничего не было, кроме бешено стучавшего сердца.

Но отдышаться не пришлось. Где-то гулко зазвучали голоса, затопали сапоги — еще далеко, но уже в подвалах, под сводами. Он с трудом поднялся и,

шатаясь, побежал во тьму и глубину, не думая куда, а желая лишь уйти от этих голосов и этого топота.

Он не знал этих подземелий. Он отложил их исследование, а потом заболел и с той поры, как проводил Мирру, не был здесь ни разу. И бежал сейчас вслепую, натываясь на тупики и завалы и все время слыша за собой топот преследователей.

Видно, немцы совсем не боялись его, уверены были, что он один, и спокойно прочесывали подвалы.

За очередным поворотом он разглядел пролом и бросился к нему. Надо было уходить отсюда, надо было во что бы то ни стало прорываться в развалины кольцевых казарм, потому что казармы немцы оцепить не могли. Но тот, свой, знакомый ему участок казарм был уже отрезан, и, выскочив из пролома, он побежал в противоположную сторону, в дальний юго-восточный район цитадели.

Видно, немцы не ожидали, что он рискнет еще раз бежать по открытому месту, — он успел миновать почти весь двор, прежде чем в спину ударили выстрелы. И опять он не падал, не петлял, а бежал по прямой, не пригибаясь, словно нарочно искал смерти. И опять смерть пощадила его: немцы вдруг перестали стрелять, закричали, и тогда он увидел, что вдоль казарм наперерез бегут люди. Бегут, не стреляя, надеясь взять живым.

Все-таки он первым достиг широкого пролома и скрылся в нем. Первым потому, что спасал свою жизнь и свободу и, спасая их, выиграл эту минуту. Минуту, которой хватило, чтобы оглядеться и понять, что дальнейшее бегство бессмысленно. Он метнулся к пролому, вскинул автомат и несколько раз коротко нажал спуск. Ствол плясал в обессиленных руках, он, конечно, ни в кого не попал, но немцы сразу рассыпались и залегли. Он выждал, когда они откроют ответный огонь, дал несколько очередей и, сунув опустевший автомат к стене, под кирпичи, бросился в соседнее помещение.

Это была конюшня — ни гарь, ни мороз не отбили стойкого лошадиного запаха. Большая куча сухого навоза лежала в углу, у стены, и он, не раздумывая, стал зарываться в нее, лихорадочно разгребая верхний смерзшийся слой. Снаружи еще стучали выстрелы, а он, как крот, рыл и рыл, все глубже уходя в кучу. И замер только тогда, когда услышал голоса и шаги в соседнем помещении.

Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки: голсса то удалялись, то начинали звучать совсем рядом. Он не шевелился, придерживая дыхание, хотя это было сейчас самым трудным: натруженное сердце никак не могло успокоиться. Лежал, весь в поту от слабости и страха, потому что любая шальная очередь по куче означала для него гибель. Даже случайное любопытство могло обнаружить его, но немцам пока не приходило в голову, что он никуда отсюда не ушел.

Не приходило, но пришло, когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, что они собрались здесь, рядом, о чем-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги над самой головой, всем телом вжался в кучу, и кто-то тяжелый медленно и увесисто прошелся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипение звук, не понял и тут же почувствовал боль: острие штыка прошло вдоль бока, срывая с ребер кожу. Почувствовал и похолодел: немцы сейчас выдернут этот штык, увидят кровь, и все кончится. Но штык взмыл вверх, снова вонзился в кучу в сантиметре от его плеча, снова взмыл и снова вонзился, и тяжесть, что стояла на его спине, вдруг отступила, он услышал грузные шаги и понял, что немец, коловший его штыком, сошел на пол конюшни.

Даже когда затихли шаги и смолкли голоса, он не позволил себе шевелиться. Саднила рана на боку, он чувствовал, что из нее сочится кровь, что постепенно немеют, становятся чужими затекшие руки и ноги, и все-таки не шевелился. Верил, боялся верить и верил снова, что спасен, что еще раз выскочил, но рисковать не хотел и, теряя сознание, терпел эту немоту, что постепенно завладевала телом. Терпел, минутами проваливаясь в небытие, воскресая из него и вновь проваливаясь. Он настолько одеревенел, что не чувствовал, сочится ли еще кровь или уже свернулась, временами думал, что может застыть и уже никогда не вылезет из этой кучи, но не вылезал, пока не стемнело.

Он с трудом выбрался наружу. Долго колотил руками, чтобы вернуть им тепло и гибкость, растирал ноги. Кровь из раны больше не шла, рубашка подсохла, и он не стал разглядывать, что там: перевязывать было некому и нечем. Встал, сделал несколько шагов и поспешно сел: ноги не слушались, а в одеревеневших мышцах началась такая боль, что он грыз рукав, чтобы не закричать. А надо было идти, надо

было добираться до своего каземата, залезть в него и сидеть, пока не пойдет снег.

Он заставил себя встать, хотя ноги по-прежнему не слушались его, а боль хоть и притихла, но вся не прошла. Шатаясь, добрал до выхода, нашел за кирпичами свой автомат и, не выходя, сменил диск. Он не всегда брал с собой запасные диски, но сегодня взял и снова был с оружием. Он даже вытряхнул из первого диска патроны — всего-то восемь штук — и сунул их в карман, а диск положил за кирпичи, где прятал автомат.

Его счастье, что на штыке не было крови. Либо она еще не успела запачкать лезвие, либо лезвие это само очистилось от крови, пока его вытаскивали. Как бы там ни было, а ему здорово повезло, и поэтому он улыбался, хотя каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий.

Но он шел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода, толковые шапки и теплые бушлаты и где до сих пор все так напоминало о Мирре.

Он не переставал думать о ней, даже когда валялся в бреду. В последний раз он видел ее у дороги: она клала кирпичи. Потом он потерял ее, но знал, что она — там, среди женщин, которые приняли ее как свою. Он видел, как их почему-то очень долго строили, пытался в строю разглядеть Мирру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадалась влезть в середину. А потом колонну увели, двор опустел; он выждал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печаль и радость боролись в нем, но радость, что Мирре удалось выскользнуть из крепости, все-таки побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше никаких радостей у него не было — только те, что уже прошли.

Он вдруг остановился, ничего не понимая: он не узнавал местности. Не узнавал своего участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал: перед ним лежали чистые, не запыленные снегом кирпичи. Лежали в беспорядке, широко разбросанные взрывом.

А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни еды — все было погребено под вывороченными кирпичами. Все, вся его прошлая жизнь и все надежды на будущую.

Снег предал не только его, но и его убежище — немцы нашли дыру. Нашли и взорвали, а он даже не слышал этого взрыва. И всего-то осталось у него: автомат с полным диском, восемь патронов в кармане, бушлат на плечах да два сухаря в этом бушлате. И больше ничего, и колени его вдруг ослабели, и он грузно осел на кирпичи. И долго сидел так, не шевелясь, думая, что же еще у него осталось.

А еще у него осталось яростное желание выжить, мертвая крепость и ненависть. И поэтому он встал и пошел назад, в подвалы кольцевых казарм.

## 2

Ночь он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти и, едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым ему подвалам.

Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания: манерку с остатками ружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны, какие попадались, — наши и немецкие. Тщательно протирал, прятал в разные карманы — калибр к калибру — и считал. Теперь патроны шли на счет, и он заранее поставил автомат на одиночную стрельбу.

Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари, — впрочем, сухари обрадовали бы его сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разобрал ее, смазал, собрал снова, пощелкав затвором. Боек бил, как у новой, только он не был убежден, сработает ли полуавтоматика: самозарядка долго валялась под кирпичами, а нрав у нее был капризным — он знал это по училищу. Но это можно было проверить только в бою — он заново набил магазин и дослал патрон. И ради такого праздника съел последний сухарь, первый он изгрыз еще ночью.

Он возился с винтовкой в незнакомом подвале: в узкий пролом проникал свет хмурого зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услышал голоса. Далекие, чужие и непонятные. Подошел к пролому, выглянул — невдалеке стояли трое. Один особо выделялся и ростом и сложением,

Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать, — просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И винтовка у рослого была непомерно длинной, с прикинутым четырехгранным штыком.

При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку — тупо заныло надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалось крови: он нанес ему колотую рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким, кинжальным, а своим, родным, четырехгранным, и свой штык не удержал его крови, не выдал, не донес о ней немцам. Штык ни в чем не был виноват перед ним — виноваты были руки, что повернули этот штык против него.

Он поднял самозарядку — хорошо, что он нашел ее именно сегодня, вот она и пригодилась. Если не подведет: все-таки она очень капризна, эта СВТ. Он прищурил глаз, ловя на мушку рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в пятно, теряя очертания. Он потерял глаза, прицелился снова, и снова рослый утратил резкость. С ним никогда не случалось такого, зрение его всегда было отличным, и все же он сразу все понял: он терял зрение, и больше всего терял как раз в правом глазу.

Он не позволил себе расстраиваться. Он просто открыл второй глаз и стал целиться, корректируя мушку обоими глазами. Это было непривычно, но все же он подвел ствол туда, куда хотел, и плавно надавил спуск. И одновременно с грохотом выстрела увидел, как рослого швырнуло вперед, как, вскинув руки, он падает на кирпичи. Он еще раз нажал на спусковой крючок, но автоматика отказала, и второго выстрела не последовало. А перезаряжать было некогда: надо было уходить. Он плохо знал эти подвалы.

Он шел быстро, но часто останавливался, приглядываясь к отсекам и переходам. Где-то сзади слышались голоса, ударило несколько очередей. Немцы преследовали его, но в подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого выхода отсек. Тогда придется принимать бой, и бой этот будет его последним боем. Один раз он уже вскочил



в такой каземат, но вовремя успел сообразить и обратиться оттуда и теперь предпочитал не спешить. Тем более что немцы продвигались по подвалам медленно, стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и норы.

И все-таки надо было искать место, где можно было бы отлежаться: уходить бесконечно он не мог, и в конце концов немцы где-нибудь зажали бы его. И он искал такое место, особенно старательно ощупывая стены в темных переходах. Искал какой-либо лаз, дыру, пролом, сквозь которые можно было бы выбраться назад или, отлежавшись, пропустить немцев и уйти в те отсеки, которые они уже проверили, осветили и простреляли.

Дыру, которую он нашел только потому, что искал, обнаружить было трудно. Она была расположена вровень с полом сразу за уступом подвальной стены в переходе настолько коротком, что никому бы не пришло в голову, что здесь может быть еще какой-то выход. Лаз был узким, шел горизонтально, но заворачивал под прямым углом в метре от прохода — ему пришлось лечь на бок, чтобы вползти куда-то, где было темно, как в могиле, и, как в могиле, тихо. Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и выставил автомат. Это была удобная нора — он оценил ее, еще ничего не проверив, только по хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он сейчас лежал, был мягким и даже теплым, и все это было ему на руку, все пока было удачей.

Топот сапог ударами отдавался в песке, и он всем телом ощущал эти удары. Вот сейчас передовые подойдут к темному переходу: из-за толщи песка глухо донеслась очередь. Стрельнули и сейчас должны бежать дальше, в соседний отсек. Пробежали. Пробежали, не задерживаясь в коротком переходе.

Топот немецких сапог замирал в его теле — удары ощущались все слабее, все отдаленнее. Он облегченно вздохнул и поставил автомат на предохранитель.

— Пронесло гадов?

Он резко повернулся: голос звучал из темноты. Хриплый, задыхающийся. Сердце его забилося в бешеном ритме.

— Кто?

— А ты-то кто?

— Свой!  
— Ну а я еще больше свой. Сколько вас?  
— Один.  
— Последний?  
— Не считал. Да где ты тут?  
— Обожди, свет зажгу. Свечей мало осталось, берегу, но ради такого случая...

Чиркнула спичка, вырвав из мрака худую длинную руку, клок черной, с густой проседью бороды. Рука поднесла спичку к стоявшему в ящике огарку, и, когда разгорелся огонь, он увидел живой скелет в ватнике, туго затянутом ремнем. Увидел отросшие до плеч полуседы волосы, лихорадочно блестящие глаза и руку, которая тянулась к нему. И бросился к этой руке.

— Погоди, браток. Погоди, не тискай. И ноги у меня болят, и целоваться мы разучились. Дай руку свою, родной ты мой землячок, советский ты мой солдат. Руку дай. Вот так. И замри, а я погляжу на тебя. Что, не взяли нас гады, а? Ни автоматами, ни толом, ни огнеметами. Не взяли, не взяли!..

Худой, обессиленный человек хрипло, торжествующе смеялся, а слезы текли по бороде. Смеялся, дрожал и все говорил и говорил:

— Ты прости, браток, прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я три недели человека не видел, голоса не слышал, сам с собой уж разговаривать начал. Да и ослаб маленько, это есть, это, как говорится, при мне. Так что наговорюсь сперва, нагляжусь на тебя, а потом знакомиться начнем. Но сперва нагляжусь. Как же ты уцелел, братишка ты мой родной, какие муки вынес, как стерпел-то все?

— Стерпел,— сказал он, жалея, что не может заплакать от счастья, как плакал этот седобородый.— Значит, один ты?

— Поначалу много было. Нору эту нашли, ход прорыли. Потом — четверо. А три недели назад последний не вернулся. Вот с той поры и лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? На коленях-то еще ползаю кое-как, а ходить не могу. Отходился.

— Кто будешь?

— Думал об этом. Думал, кто я теперь есть. Как назваться, если немцы найдут, а застрелиться не успею. И думал так сказать: русский солдат я. Русский

солдат мне звание, русский солдат мне фамилия. Считаешь, правильно надумал?

— Для немцев — правильно. А я-то свой, лейтенант Плужников.

— Какого полка?

— В списках не значился, — усмехнулся Плужников. — Что, моя очередь рассказывать?

— Выходит, твоя.

Плужников рассказал о себе — без подробностей и без утайки. Раненый, так и не пожелавший пока представиться, слушал, не перебивая, по-прежнему держа его за руку. И по тому, как слабело пожатие, Плужников чувствовал, что сил у его нового товарища осталось совсем немного.

— Теперь можно и познакомиться, — сказал раненый, когда Плужников закончил рассказ. — Старшина Семишный. Из Могилева.

Семишный был ранен давно — пуля задела позвоночник, и ноги постепенно отмирали. Он уже не мог шевелить ими, но еще кое-как ползал. И если начинал стонать, то только во сне, а так терпел и даже улыбался. Товарищи его уходили и не возвращались, а он жил и упорно, с неистовым ожесточением цеплялся за эту жизнь. У него было немного еды, патроны, а вода кончилась три дня назад. Плужников ночью притащил два ведра снега.

— Ты зарядку делай, лейтенант, — сказал Семишный на следующее утро. — Нам с тобой распускать себя не годится: одни остались, без санчасти.

Сам он делал зарядку три раза в день. Сидя гнулся, разводил руки, пока не начинал задыхаться.

— Да, похоже, что одни мы с тобой, — вздохнул Плужников. — Знаешь, если бы каждый сам себе приказ отдал и выполнил бы его — война бы еще летом кончилась. Здесь, у границы.

— Считаешь, мы одни с тобой такие красивые? — усмехнулся старшина. — Нет, браток, не верю я в это. Не верю, не могу поверить. Сколько верст до Москвы, знаешь? Тыща. И на каждой версте такие же, как мы с тобой, лежат. Не лучше и не хуже. И насчет приказа ошибаешься, браток. Не свой приказ выполнять надо, а — присягу. А что есть присяга? Присяга есть клятва на знамени. — Он вдруг посуровел и кончил жестоко, почти зло: — Перекусил? Вот и ступай присягу испол-

нять. Убьешь немца — возвращайся. За каждого гада два дня отпуска даю — такой у меня закон.

Плужников начал собираться. Старшина следил за ним, и глаза его странно блеснули в робком пламени свечи.

— Что ж не спрашиваешь, почему тобой командую?

— А ты — начальник гарнизона, — усмехнулся Плужников.

— Право я такое имею, — тихо и очень веко сказал Семишный. — Имею право на смерть вас посылать. Ступай.

И задул свечу.

В этот раз он не выполнил приказа старшины: немцы ходили далеко, а стрелять просто так, не наверняка он не хотел. Он явно стал хуже видеть и, беря на прицел далекие фигуры, понимал, что попасть в них уже не сможет. Оставалось надеяться на случайное столкновение лоб в лоб.

Однако на этом отрезке кольцевых казарм ему так и не удалось никого встретить. Немцы держались в другом районе, а за ними смутно виднелось множество каких-то темных фигур. Он подумал, что это женщины, те самые, с которыми Мирра вышла из крепости, и решил подобраться поближе. Может быть, удалось бы кого-нибудь окликнуть, с кем-нибудь поговорить, узнать о Мирре и передать ей, что он жив и здоров.

Он перебежал в соседние развалины, выбрался на противоположную сторону, но дальше лежало открытое пространство, и днем по снегу он не рискнул пересекать его. Он хотел уже возвращаться, но увидел заваленную обломками лестницу, ведущую вниз, в подвалы, и решил спуститься туда. Все-таки за ним от кольцевых казарм до этих развалин тянулся след, и на всякий случай надо было позаботиться о возможном укрытии.

Он с трудом пробрался по загроможденной кирпичами лестнице, с трудом протиснулся вниз, в подземный коридор. Пол здесь тоже был сплошь усыян кирпичами с рухнувшего свода, идти приходилось согнувшись. Вскоре он вообще уперся в завал и повернул обратно, торопясь выбраться, пока немцы не засекли его след. Было почти темно, он пробирался, ощупывая рукой стену, и вдруг ощутил пустоту: вправо вел ход. Он пролез в него, сделал несколько шагов, завернул за угол и увидел сухой каземат: сверху, в узкую

щель проникал свет. Он огляделся: каземат был пуст, только у стены прямо против бойницы на шинели лежал иссохший труп в изорванном и грязном обмундировании.

Он присел на корточки, вглядываясь в останки, некогда бывшие человеком. На черепе еще сохранились волосы, густая черная борода покоилась на полуистлевшей гимнастерке. Сквозь разорванный ворот он увидел тряпье, туго намотанное на груди, и понял, что солдат умер здесь от ран, умер, глядя на клочок серого неба в узкой прорези бойницы. Стараясь не прикасаться, он пошарил вокруг в поисках оружия или патронов, но ничего не нашел. Видно, человек этот умер тогда, когда наверху еще были те, кому нужны были его патроны.

Он хотел встать и уйти, но под скелетом лежала шинель. Вполне еще годная шинель, которая могла сослужить службу живым: старшина Семишный мерз в норе, да и самому Плужникову было холодно спать под одним бушлатом. С минуту он еще колебался, не решаясь тронуть останки, но шинель оставалась шинелью, и мертвому была не нужна.

— Прости, браток.

Он взялся за полу, приподнял шинель и мягко вытащил ее из-под останков солдата.

Он встряхнул шинель, пытаясь выбить въевшийся трупный запах, растянул ее на руках и увидел рыжее пятно давно засохшей крови. Хотел сложить шинель, снова посмотрел на рыжее пятно, опустил руки и медленно обвел глазами каземат. Он вдруг узнал и его, и шинель, и труп в углу, и остатки черной бороды. И сказал дрогнувшим голосом:

— Здравствуй, Володька.

Постоял, аккуратно прикрыл шинелью то, что осталось от Володьки Денищика, придавил края кирпичами и вышел из каземата.

— Мертвым не холодно, — сказал Семишный, когда Плужников рассказал ему о находке. — Мертвым не холодно, лейтенант.

Сам он мерз под всеми шинелями и бушлатами, и непонятно было, порицает он Плужникова или одобряет. Он относился к смерти спокойно и о себе говорил, что не мерзнет, а — умирает.

— Смерть меня по кускам берет, Коля. Холодная она штука, шинелью ее не согреешь.

С каждым днем у него все больше мертвели ноги. Он уже не мог ползать, с трудом сидел, но зарядки свои продолжал упорно и фанатично. Он не желал сдаваться, с боем отдавая смерти каждый миллиметр своего тела.

— Стонать начну — разбуди. Не буду просыпаться — пристрели.

— Ты что это, старшина?

— А то, что я даже мертвым к немцам попасть права не имею. Слишком много радости им будет.

— Этой радости им хватает, — вздохнул Плужников.

— Этой радости они не видели! — Семишный вдруг рванул лейтенанта к себе. — Святого не отдавай. Сдохни, а не отдавай.

— Ничего не понимаю. Чего — святого?

— Придет время — скажу. А до времени слушай меня, как бога. Не своим именем говорю это, верь. Отдохнул? Автомат в руки и — наверх. Наверх, лейтенант! Чтоб знали: крепость жива. Чтоб и мертвых боялись. Чтобы детям, внукам и правнукам своим заказали в Россию соваться!

Плужников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. Вспышки яростного ожесточения все чаще овладевали им, и тогда он беспощадно гнал лейтенанта наружу. Плужников не спорил: в нем давно уже ничего не было, кроме ненависти, но ненависть эта в отличие от ненависти Семишного была холодной и расчетливой.

В первый день нового, 1942 года ему особенно повезло. То ли немцы с новогоднего похмелья утратили осторожность, то ли прибыли новые, не приученные еще остерегаться черных бездонных дыр мертвой крепости, а только он уложил двоих, уложил наповал, из хорошего убежища. Долго бегал по подвалам, уходя от погони, и ушел, потому что мела вьюга и следы не взяла бы и самая опытная собака.

Он увел погоню подальше от норы — почти к Холмским воротам. Тут немцы окончательно потеряли след, покричали, побегали, постреляли и ушли ни с чем. А он до вечера отлежался в глухой нише и пошел к себе — доложить старшине, что еще двоих можно списать на тот свет.

Он очень хотел обрадовать старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни. Часто впадал в за-

быть, кричал криком от непереносимой боли, а придя в себя, дрожал в смертном ознобе, и пот каплями застывал на лбу. И только неистовая воля удерживала еще остатки жизни в уже омертвевшем теле.

— Видно, не дожить мне, — с глубокой тоской скавал он, придя в себя после очередного приступа. — Видно, тебе придется.

— Что придется?

— Помирать буду — скажу. Что, война кончилась?

— Не похоже.

— А чего сидишь? Патроны есть?

— Есть, — сказал Плужников, уходя в это метельное новогоднее утро.

А сейчас был вечер, и он спешил обрадовать умирающего. Но еще на переходе, еще не добравшись до лаза, услышал глухие стоны. Видно, кричал Семишный во весь голос, и даже толщи песка не могли заглушить его криков.

Плужников, торопясь, нырнул в лаз, в крошечной тьме нашарил последний огарок свечи, зажег. Он не окликал Семишного, понимая, что это — конец, что опять уходит из его жизни близкий и дорогой человек. Достал тряпку, вытер со лба старшины пот и застыл подле. Ему уже было все равно, услышат немцы эти крики или не услышат. Он устал провожать людей, устал сражаться и устал жить.

Семишный замолчал сам. Замолчал вдруг, оборвав крик, и Плужников подумал, что это — конец. Но старшина открыл глаза:

— Я кричал?

— Кричал.

— Почему не разбудил? — Плужников промолчал, и Семишный вздохнул. — Понятно. Себя жалел? А имеешь ты право себя жалеть? Кто мы такие, чтобы себя жалеть, когда по матери нашей чужие сапоги...

Семишный говорил с трудом, задыхаясь, уже неясно выговаривая слова. Смерть докатилась до горла, руки уже не двигались, и жили только глаза.

— Мы честно выполняли долг свой, себя не щадя. И до конца так, до конца. Не позволяй убивать себя раньше, чем умрешь. Только так. Только так, солдат. Смертию смерть поправ. Только так.

— Сил нету, Семишный,— тихо сказал Плужников.— Сил больше нету.

— Сил нету? Сейчас будут. Сейчас дам тебе силы. Расстегни меня. Грудь расстегни. Ватник, гимнастерку — все. Расстегнул? Сунь руку. Ну? Чуешь силу? Чуешь?

Плужников расстегнул ватник и гимнастерку, уверенно, ничего не понимая, сунул руку за пазуху старшины. И ощутил грубыми обмороженными пальцами холодный, скользкий, тяжелый на ощупь шелк знамени.

— С первого дня на себе ношу.— Голос старшины дрогнул, но он сдержал душившие его рыдания.— Знамя полка на мне, лейтенант. Его именем приказывал тебе. Его именем сам жил, смерть гнал до последнего. Теперь твой черед. Умри, но немцам не отдавай. Не твоя это честь и не моя — Родины нашей это честь. Не запятнай, лейтенант.

— Не запятнаю.

— Повторяй: клянусь...

— Клянусь,— сказал Плужников.

— ...никогда, ни живым, ни мертвым...

— Ни живым, ни мертвым...

— ...не отдавать врагу боевого знамени...

— Боевого знамени...

— ...моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик.

— Моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик,— повторил Плужников и, став на колени, поцеловал шелк на холодной груди старшины.

— Когда помру, на себя наденешь,— сказал Семишный.— А раньше не трожь. С ним жил, с ним и помереть хочу.

Они помолчали, и молчание это было торжественным и печальным.

Потом Плужников сказал:

— Двоих я сегодня убил. Метель на дворе — удобно.

— Не сдали мы крепость,— тихо сказал старшина.— Не сдали.

— Не сдали,— подтвердил Плужников.— И не сдам.

Через час старшина Семишный умер. Умер, не сказав больше ни единого слова, и Плужников еще долго



сидел рядом, думая, что он жив, а он уже был мертвым.

Он снял со старшины знамя, разделся до пояса и обмотал знамя вокруг себя. Холодный шелк вскоре согрелся, и он все время чувствовал его особую, волнующую теплоту. Все время — и когда хоронил Семишного, и потом, когда лежал на его постели, укрывшись всеми бушлатами.

Он лежал и спокойно думал, что ничего уже не боится — ни немцев, ни смерти, ни холода. Он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее — свою личность. Свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его Родины, частица которой грела его грудь благородным шелком знамени. И спокойно сознавал, что никому и никогда не будет важно, как именно звали эту личность, где и как она жила, кого любила и как погибала. Важным было одно — важным было, что звено, связывающее прошлое и будущее в единую цепь времени, было прочным. И твердо знал, что звено это — прочно и вечно.

А поверху мела метель. Белым ковром укрывала землянки и тропы, заносила притихшие деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдевших городов.

Но уже горели партизанские костры, и на их свет, укрываясь метелью, пробирались те, кто не считал себя побежденным, как не считал себя побежденным он. И немцы жались к домам и дорогам, страшась темноты, метели и этого непонятного народа.

Еще не было Хатыни и еще не погиб в Белоруссии каждый четвертый. Но этот каждый четвертый уже стрелял. Стрелял, и эта земля становилась для фашистской армии адом. И преддверием этого ада была Брестская крепость.

Метель мела от Бреста до Москвы. Мела, замечая немецкие трупы и подбитую технику. И другие лейтенанты поднимали в атаку роты и, ломая врага, вели их на запад. К нему. К непокоренному сыну непокоренной Родины...

### 3

Ранним апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувим Свицкий, низко склонив голову, быстро шел по грязной, разъезженной колесами и

гусеницами обочине дороги. Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и веселое солнце играло в ветровых стеклах.

Но Свицкий не видел этого солнца. Он не смел поднять глаз, потому что на спине и груди его тускло желтела большая шестиконечная звезда — знак, что любой встречный может ударить его, обругать, а то и пристрелить на краю переполненного водой кювета. Звезда эта горела на нем как проклятье, давила как смертная тяжесть, и глаза скрипача давно потухли, несуразно длинные руки покорно висели по швам, а сутулая спина ссутулилась еще больше, каждую секунду ожидая удара, тычка или пули.

Теперь он жил в гетто вместе с тысячами других евреев и уже не играл на скрипке, а пилил дрова в лагере для военнопленных. Тонкие пальцы его огрубели, руки стали дрожать, и музыка давно уже отзвучала в его душе. Он каждое утро торопливо бежал на работу и каждый вечер торопливо спешил назад.

Рядом резко затормозила машина. Его большие, чуткие уши безошибочно определили, что машина была легковой, но он не смотрел на нее. Смотреть было запрещено, слушать — тоже, и поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками.

— Юде!

Он послушно повернулся, сдернул с головы шапку и сдвинул каблуки. Из открытой дверцы машины высунулся немецкий майор.

— Говоришь по-русски?

— Так точно, господин майор!

— Садись.

Свицкий покорно сел на самый краешек заднего сиденья. Здесь уже сидел кто-то — Свицкий не решался посмотреть, но уголком глаза определил, что это генерал, и сжался, стараясь занять как можно меньше места.

Ехали быстро. Свицкий не поднимал головы, глядя в пол, но все же уловил, что машина свернула на Каштановую улицу, и понял, что его везут в крепость. И почему-то испугался еще больше, хотя больше пугаться было, казалось, уже невозможно. Испугался, съёжился и не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась.

— Выходи!

Свицкий поспешно вылез. Черный генеральский «хорьх» стоял среди развалин. В этих развалинах он успел разглядеть дыру, ведущую вниз, немецких солдат, оцепивших эту дыру, и два накрытых накидками тела, лежащие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие сапоги. А еще дальше — за этими развалинами, за оцеплением, за телами убитых — женщины разбирали кирпич; охрана, позабыв о них, смотрела сейчас сюда, на черный «хорьх».

Прозвучала команда, солдаты вытянулись, и молодой лейтенант подошел к генералу с рапортом. Он докладывал громко, и из доклада Свицкий понял, что внизу, в подземелье, находится русский солдат: утром он застрелил двух патрульных, но погоне удалось загнать его в каземат, из которого нет второго выхода. Генерал принял рапорт, что-то тихо сказал майору.

— Юде!

Свицкий сдернул шапку. Он уже понял, что от него требуется.

— Там, в подвале, сидит русский фанатик. Спустишься вниз и уговоришь его добровольно сложить оружие. Если останешься с ним — вас сожгут огнеметами, если выйдешь без него — будешь расстрелян. Дайте ему фонарь.

Оступаясь и падая, Свицкий медленно спускался во тьму по кирпичной осыпи. Свет постепенно мерк, но вскоре осыпь кончилась — начался заваленный кирпичом коридор. Свицкий зажег фонарь, и тотчас из темноты раздался глухой голос:

— Стой! Стреляю!

— Не стреляйте! — закричал Свицкий, остановившись. — Я — не немец! Пожалуйста, не стреляйте! Они послали меня!

— Освети лицо.

Свицкий покорно повернул фонарь, моргая подслеповатыми глазами в ярком луче.

— Иди прямо. Свети только под ноги.

— Не стреляйте, — умоляюще говорил Свицкий, медленно пробираясь по коридору. — Они послали сказать, чтобы вы выходили. Они сожгут вас огнем, а меня расстреляют, если вы откажетесь...

Он замолчал, вдруг ясно ощутив тяжелое дыхание где-то совсем рядом.

— Погаси фонарь.

Свицкий нащупал кнопку. Свет погас, густая тьма обступила его со всех сторон.

— Кто ты?

— Кто я? Я — еврей.

— Переводчик?

— Какая разница? — тяжело вздохнул Свицкий. — Какая разница, кто я? Я забыл, что я — еврей, но мне напомнили об этом. И теперь я — еврей. Я — просто еврей, и только. И они сожгут вас огнем, а меня расстреляют.

— Они загнали меня в ловушку, — с горечью сказал голос. — Я стал плохо видеть на свету, и они загнали меня в ловушку.

— Их много.

— У меня все равно нет патронов. Где наши? Ты что-нибудь слышал, где наши?

— Понимаете, ходят слухи. — Свицкий понизил голос до шепота. — Ходят хорошие слухи, что германцев разбили под Москвой. Очень сильно разбили.

— А Москва наша? Немцы не брали Москву?

— Нет-нет, что вы! Это я знаю совершенно точно. Их разбили под Москвой. Под Москвой, понимаете?

В темноте неожиданно рассмеялись. Смех был хриплым и торжествующим, и Свицкому стало не по себе от этого смеха.

— Теперь я могу выйти. Теперь я должен выйти и в последний раз посмотреть им в глаза. Помогите мне, товарищ.

— Товарищ! — Станный, булькающий звук вырвался из горла Свицкого. — Вы сказали — товарищ?.. Боже мой, я думал, что никогда уже не услышу этого слова!

— Помогите мне. У меня что-то с ногами. Они плохо слушаются. Я обопрусь на ваше плечо.

Костлявая рука сжала плечо скрипача, и Свицкий ощутил на щеке частое прерывистое дыхание.

— Пойдем. Не зажигай свет: я вижу в темноте.

Они медленно шли по коридору. По дыханию Свицкий понимал, что каждый шаг давался неизвестному с мучительным трудом.

— Скажешь нашим, — тихо сказал неизвестный. — Скажешь нашим, когда они вернутся, что я спрятал... — Он вдруг замолчал. — Нет, ты скажешь им, что крепости я не сдал. Пусть ищут. Пусть как следует ищут во всех казематах. Крепость не пала. Крепость не пала — она просто истекла кровью. Я — последняя ее капля... Какое сегодня число?

— Двенадцатое апреля.

— Двадцать лет.— Неизвестный усмехнулся.— А я просчитался на целых семь дней...

— Какие двадцать лет?

Неизвестный не ответил, и весь путь наверх они проделали молча. С трудом поднялись по осыпи, вылезли из дыры, и здесь неизвестный отпустил плечо Свицкого, выпрямился и скрестил руки на груди. Скрипач поспешно отступил в сторону, оглянулся и впервые увидел, кого он вывел из глухого каземата.

У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый ремнем ватник, сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув голову, и не отрываясь смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы.

И все молчали. Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал. Молчали бросившие работу женщины вдалеке, и охрана их тоже молчала, и все смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную, как памятник. Потом генерал что-то негромко сказал.

— Назовите ваше звание и фамилию,— перевел Свицкий.

— Я — русский солдат.

Голос прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось: этот человек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова о чем-то спросил.

— Господин генерал настоятельно просит вас сообщить свое звание и фамилию...

Голос Свицкого задрожал, сорвался на вскрик, и он заплакал и плакал, уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам.

Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его немигающий взгляд. И густая борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке:

— Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?

Это были последние слова. Свицкий переводил

еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел.

Подъехала санитарная машина, из нее поспешно выскочили врач и два санитар с носилками. Генерал кивнул, врач и санитары бросились к неизвестному. Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его и пошел к машине.

Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работавшего мотора. И все стояли на своих местах, и он шел один, с трудом переставляя распухшие, обмороженные ноги.

И вдруг немецкий лейтенант звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие «на караул». И немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке.

А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти.

Страшно, в голос, как по покойнику, закричали, завыли бабы. Одна за другой они падали на колени в холодную апрельскую грязь. Рыдая, протягивали руки и кланялись до земли ему, последнему защитнику так и не покорившейся крепости.

А он брел к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно передвигая ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога, и за босой ногой тянулся теперь легкий кровавый след. Но он шел и шел, шел гордо и упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел.

Возле машины.

Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным и после жизни, смертью смерть поправ. .

## ЭПИЛОГ

На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от Москвы — меньше суток идет поезд. И не только туристы — все, кто едет за ру-

беж или возвращается на родину, обязательно приходят в крепость.

Здесь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок первого года и слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по местам боев, и вы можете спуститься в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнеметам кирпичам, пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего костела.

Не спешите. Вспомните. И поклонитесь.

А в музее вам покажут оружие, которое когда-то стреляло, и солдатские башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 июня. Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, отдавая воду детям и пулеметам. И вы непременно остановитесь возле знамени — единственного знамени, которое пока нашли. Но знамена ищут. Ищут, потому что крепость не сдавалась, и немцы не захватили здесь ни одного боевого стяга.

Крепость не пала. Крепость истекла кровью.

Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месяце войны. На десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат.

Много, очень много экспонатов хранит музей крепости. Эти экспонаты не умещаются на стендах и в экспозициях — большая часть их лежит в запасниках. И если вам удастся заглянуть в эти запасники, вы увидите маленький деревянный протез с остатком женской туфельки. Его нашли в воронке недалеко от ограды Белого дворца — так называли защитники крепости здание инженерного управления.

Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. Приезжают уцелевшие защитники, возлагаются венки, замирает почетный караул.

Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она

выходит на площадь, где у входа в вокзал висит мраморная плита:

С 22 ИЮНЯ  
по 2-е ИЮЛЯ 1941 ГОДА  
ПОД РУКОВОДСТВОМ  
ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ  
(фамилия неизвестна)  
И СТАРШИНЫ  
ПАВЛА БАСНЕВА  
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ  
ГЕРОИЧЕСКИ  
ОБОРОНЯЛИ ВОКЗАЛ.

Целый день старая женщина читает эту надпись. Стоит возле нее, точно в почетном карауле. Уходит. Приносит цветы. И снова стоит, и снова читает. Читает одно имя. Семь букв: «Н И К О Л А Й».

Шумный вокзал живет привычной жизнью. Приходят и уходят поезда, дикторы объявляют, что люди не должны забывать билеты, гремит музыка, смеются люди. И возле мраморной доски тихо стоит старая женщина.

Не надо ей ничего объяснять — не так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только то, за что они погибли.



•

Борис Васильев пишет с 1954 года. Он был уже опытным, профессиональным литератором, автором пьес («Офицеры», «Стучите и откроется», «Отчизна моя, Россия») и киносценариев («Очередной рейс», «Длинный день», «Сержанты»), когда в журнале «Юность» появилась небольшая повесть «А зори здесь тихие...» (1969). Ее успех и определил дальнейшую судьбу писателя. Васильев нашел свое место в литературе, обратившись к самым традиционным прозаическим жанрам — повести, роману, рассказу. Но в то же время он сохранил приверженность к театру и кино, что весьма ощутимо чувствуется почти во всех произведениях Васильева, и, может быть, особенно сильно в составивших эту книгу — в повести «А зори здесь тихие...», романах «В списках не значился», «Не стреляйте в белых лебедей». Закономерно, что все эти произведения Васильева обрели и другую, театральную жизнь. Запомнился спектакль «А зори здесь тихие...», поставленный Драматическим театром на Таганке. С большим успехом шел на отечественных и зарубежных экранах и одноименный фильм, сценарий которого написал Б. Васильев.

Со времени публикации повести «А зори здесь тихие...» прошло десять лет. Срок немалый. На страницах журналов «Юность» и «Новый мир» за это время были напечатаны новые романы, повести, несколько превосходных рассказов Васильева. Сегодня писателя уже никак не назовешь начинающим или автором одной вещи. И все-таки ни одно из произведений Васильева не встретило такого живого отклика, всенародного резонанса, как повесть «А зори здесь тихие...». Дело здесь не в том, что Васильев сжал писать хуже и краски его таланта поблекли. Напротив, профессиональное мастерство писателя возросло, расширился и горизонт творчества: в последние годы Васильев работал над большим историческим романом о событиях русско-турецкой войны 1876—1877 годов — «Были и небыли» («Новый мир», 1977, № 8, 9; 1978, № 3, 4). Но тем не менее для большинства читателей Васильев в первую очередь автор повести «А зори здесь тихие...».

И это естественно — повесть покоряет удивительной чистотой нравственного чувства, проникновенным гуманизмом, потрясает и эмоционально «заражает» читателя, которого трудно, казалось бы, чем-то удивить, в том числе и новым талантливым произведением о суровых и героических буднях Великой Отечественной. Она оказалась как-то очень сродни интересам и размышлениям современников — и тем, которые хорошо знали, что такое война, и тем, кто уже родился в мирные пятидесятые годы.

Первые главы повести рисуют почти идиллическую картину мирного военного быта. Война где-то вдали; здесь же, на 171-м разъезде, тишина и безделье. Патриархальным образом устроился превратившийся в «писателя» комендант разъезда старшина Васков. Прибытие на разъезд в распоряжение старшины девушек-зенитчиц еще более настраивает читателя на веселый лад. Складывается комическая, озорная ситуация — и Васильев щедро вводит в повествование юмористические штрихи, подшучивая над незадачливым и простодушным комендантом, тщетно пытающимся в сложившихся обстоятельствах действовать по уставу. Васкову, впрочем, не до смеха — его авторитет командира ежеминутно подвергается испытаниям, и все происходящее он склонен воспринимать как нелепый сон, неуместную и обидную шутку.

Васков, бесспорно, наиболее удавшийся герой произведения — его стержень и фундамент. Да и само повествование строится как своеобразный компромисс между словом героя и автора, причем голос Васкова — очевидца и хроникера — незаметно и органично сливается с авторским голосом. Последний как бы звучит за кадром, вдруг врываясь во внутренний монолог героя или откровенно прерывая его биографическими новеллами-вставками. Хотя Васков сначала фигура больше комическая, но это комизм особого рода, ситуативный, так как в самом герое нет ничего смешного и могущего спровоцировать даже улыбку. Он — жертва обстоятельств, и жертва невинная. Получилось так, что весьма почтенные и обычные качества опытного служаки, придя в соприкосновение с новой, необычной и, по сути, полуштатской средой, оказываются смешными и как бы ненужными.

Хмурому старшине Федоту Евграфовичу Васкову немногим более тридцати лет, но в глазах окружающих — и не только девушек, бойцов его отряда — он старичок, «пенек замшелый», «медведь глухоманный». Стариком чувствует себя и сам Васков, оглядываясь на прожитые годы. С четырнадцати лет он кормилец в семье. А в армии он уже давно, так что как будто никакой другой жизни, кроме армейской, не существует для Васкова, — после семейной драмы и смерти сына он помрачнел, замкнулся, перестал улыбаться, но не озлобился на мир, не стал мизантропом и женоненавистником. В угрюмом старшине неисчерпаемый

запас душевного тепла, вот только разглядеть эту «вторую» натуру Васкова нелегко,— жизнь его обожгла и серьезно потрепала, наполнила горечью обид и утрат.

На первый взгляд Васков — заурядный, неинтересный человек, скучный и нелюдิมый. Он — аккуратный исполнитель, чем и лобен началству; с неба звезд не хватает и не собирается даже заниматься столь пустым занятием; карьера его не интересует, и внутренняя жизнь души как бы не существует или, вернее, существует, но в пределах, дозволенных начальством и предусмотренных воинским уставом. «Всю свою жизнь Федот Евграфович выполнял приказания. Выполнял буквально, быстро и с удовольствием, ибо в этом пунктуальном исполнении чужой воли видел весь смысл своего существования. Как исполнителя его ценило начальство, а большего от него и не требовалось. Он был передаточной шестерней огромного, заботливо отлаженного механизма: вертелся и вертел других, не заботясь о том, откуда началось это вращение, куда направлено и чем заканчивается».

Эти авторские суждения о герое не то чтобы неверны, они недостаточны. Васильев, чуждаясь патетики и удобных, но бессильных заполнить эстетическую пустоту, риторических фигур, избегая эффектных и в то же время бестактных экскурсий в душевный мир героя, показывает его в действии, где в чрезвычайной ситуации, в деле раскрывается подлинное человеческое величие обыкновенного старшины «курортного» 171-го разъезда. Там-то именно и обнаруживается, какой действительно редкий, удивительный «исполнитель» Васков, не потому, однако, что он все делает механически, согласно чужой воле, а напротив — как человек, безупречно овладевший сложным и всегда по-особому трудным искусством войны. «Война — это ведь не просто, кто кого перестреляет. Война — это кто кого передумает. Устав для того и создан, чтобы голову тебе освободить, чтоб ты вдаль думать мог, по ту сторону, за противника» — таков сформулированный одновременно от автора и героя один из вечных законов войны.

Нет, Васков не марионетка, и сравнение его с передаточной шестерней лишь отчасти справедливо и передает одну и, пожалуй, внешнюю сторону натуры старшины. Васков — человек высокой ответственности, понимающий, какой огромной важности дело выпало на его долю, знающий, что от его действий тоже зависит судьба России, и черпающий силы в этой великой вере. Даже, точнее, не знающий, а всем существом чувствующий, так как одного знания тут мало. «И такое чувство у него было, словно именно за его спиной вся Россия сошлась, словно он, Федот Евграфыч Васков, был сейчас ее последним сыном и защитником. И не было во всем мире больше никого — лишь он, враг да Россия».

Васков с честью выполнил свой долг перед Родиной. Все, что в его силах, сделал он и для того, чтобы уберечь от смерти своих насмешливых юных красноармейцев, с которыми он за время опаснейшей военной экспедиции сросся душой и сердцем, исполняя и командирские и отцовские обязанности. Вот только тщетными оказались все его усилия, энергия, огромный жизненный опыт. Одна за другой гибнут девушки-зенитчицы. Гибнут и по своей вине, и по воле случая, царствующего на войне, и в обстоятельствах безнадежных, в которых уцелеть почти невозможно, равнозначно чуду. «Они жили единой жизнью, но смерть у каждого была своя», — размышляет Васильев в романе «В списках не значился», и эти слова еще больше уместны в повести о старшине Васкове и пяти девушках-зенитчицах, где каждая смерть воспринимается не просто как утрата — как непоправимое, чудовищное и противоестественное событие. Ведь гибнут девушки, у которых еще только началась жизнь, рожденные для мира.

Сотрапсается от ужаса и отвращения Женья Комелькова, убившая фашиста. Васков не вмешивается, не утешает, умудренно и тактично безмолвствует, испытывая чувство горечи и сострадания, понимая, что происшедшее кошмарно, хотя нет тут ни малейшей вины ни его, ни девушки. «Он не трогал Комелькову, не окликал, по себе зная, что первая рукопашная всегда ломает человека, преступив через естественный, как жизнь, закон — «не убий». Тут привыкнуть надо, душой зачерстветь, и не такие бойцы, как Евгения, а здоровенные мужики тяжело и мучительно страдали, пока на новый лад перекраивалась их совесть. А тут ведь женщина по живой голове прикладом била, баба, мать будущая, в которой самой природой ненависть к убийству заложена».

Многое знает старшина. Знает и то, что не передать ему свое знание девушкам, к которым он просто не может относиться как командир к бойцам, поступившим в его распоряжение. Вот отчего совсем не по уставу действует старшина, жалея, как малолетнего и перепуганного ребенка, Галю Четвертак, спасая ее от комсомольского суда. Поступок нелогичный и удивительный, так как совершает его обстрелянный и опытный солдат, знающий цену уступкам и «гуманным» порывам на войне, безукоризненный службист, для которого устав — закон. Не единственный, однако, закон, и пусть жалость и сострадание не спасли девушку и чуть не погубили старшину, явно ухудшили и без того тяжелое положение отряда — иначе он поступить не мог. Поэтому Васков не раскаивается в содеянном и сознательно говорит неправду, причисляя Галю Четвертак к погибшим храброй смертью товарищам. Святая ложь, и абсолютно понятно, почему Васков скрыл от оставшихся в живых (ненадолго!) истину. Он видит в Гале не бой-

ца, а ребенка, которого он не смог уберечь,— еще одна маленькая ниточка «в бесконечной пряже человечества, перерезанная ножом...». Еще одна сестричка. А Васкову все они равно дороги, и ответственность у него тяжкая, двойная — перед Родиной и вверенными ему дочерьми войны.

Этот много повидавший и испытывавший человек, привыкший к любым ситуациям на войне, горько обиженный в мирной жизни, в сущности, обособившийся и замкнувшийся, позабывший, что такое жизнерадостный смех и безнадежные слезы, бессильно плачет, впервые глубоко и лично осознав и прочувствовав всю чудовищную античеловечность войны. Ничего, кроме великого горя и сжигающей ненависти к врагам, не ощущает старшина Васков, — слишком большой ценой заплачено за победу. Наука ненависти, стократно усиленная наукой любви и неотделимая от нее.

Гуманистическое начало повести «А зори здесь тихие...», безусловно, самое главное и ценное в ней. Война здесь показана не с героической, а с обыденно-трагической стороны. Васильеву удалось создать яркие, запоминающиеся образы старшины Васкова и пяти бойцов его полувзвода. Безупречно вошли в ткань повести биографии девушек — своего рода некрологи, предшествующие их смерти. Психологический ряд повести искусно переплетен с событийным. С неослабевающим вниманием следить за всеми подробностями необычайной военной операции. Повесть кажется написанной на едином дыхании. Захватывает душевная и скорбная интонация, достигающая трагической кульминации в финале повести. И, пожалуй, только назидательный эпилог, прямолинейно устанавливающий связь времен, представляется излишним. Но, собственно, это уже не повесть, а небольшое прибавление к ней — невинная уступка вкусу читателя.

\* \* \*

Роман «В списках не значился» — взволнованное и патетическое повествование о подвиге одного из защитников Брестской крепости. О героях Бреста написано немало, и, конечно, всем памятна талантливая документальная книга С. С. Смирнова. Роман Васильева также имеет документальную основу — писатель рассказал в эпилоге, из каких реальных брестских впечатлений возник замысел книги. Но реальные впечатления лишь фундамент романа. Быль здесь тесно переплелась с народной легендой о герое, имя которого — Николай и воинское звание — лейтенант, фамилия же осталась неизвестной. Роман написан в ином стилистическом ключе, чем повесть «А зори здесь тихие...», что вполне понятно и закономерно, так как его герой — личность легендарная, последний защитник так и не склонившей головы крепости.

Смерть героя — апофеоз свободы и бессмертия. Патетический финал — венок мужественному сыну непокоренной Родины, история, возведенная на уровень легенды.

Борис Васильев обычно предпочитает ситуации крайние, необыкновенные, на пороге жизни и смерти, мира и войны, сюжеты динамичные и усложненные, резкие психологические контрасты. Подготовка к действию, введение или экспозиция отличаются краткостью. Не исключение и роман «В списках не значился». О прошлом лейтенанта Плужникова сказано скупое и не без легкой иронии. Николай Плужников очень молод, и его эмоции и мечты, соответственно, очень молоды, как молодо и потому наивно, ясно, безоблачно отношение к жизни.

Война в один миг дочиста выветрила как прежние настроения, так и вполне понятное, естественное тщеславие молодого командира Красной Армии. Николаю очень скоро пришлось узнать, что командир он еще плохой, а его первые действия на войне совершенно справедливо квалифицируются как преступление, за которое по армейским законам полагается расстрел. Наступает время беспощадного суда над собой. Юный лейтенант Плужников умер в первый же день войны, сразу став человеком без возраста, молодость которого сгорела без остатка в страшном и безжалостно уничтожающем иллюзии огне. Плужников, сполна уже заплатив по счету войны, равнодушно отворачивается от своей новой командирской шинели, как от ушедшего прошлого. «Он сидел на полу, не шевелясь, угрюмо думая, что совершил самое страшное — предал товарищей. Он не искал оправданий, не жалел себя — он стремился понять, почему это произошло. „Нет, я струсил не сейчас, — думал он. — Я струсил во вчерашней атаке. После нее я потерял себя, упустил из рук командование. Я думал о том, что буду рассказывать. Не о том, как буду воевать, а что буду рассказывать...“».

Николай Плужников стал бойцом невидимой армии ночных мстителей Бреста — неуловимых и, казалось, заговоренных от смерти. «Израненные, опаленные, измотанные жаждой и боями скелеты в лохмотьях поднимались из-под кирпичей, выползали из подвалов и в штыковых атаках уничтожали тех, кто рисковал остаться на ночь. И немцы боялись ночей».

Герои Бреста «умирали, не срамя», приближая в страшные первые месяцы войны очень тогда далекий день победы. Они знали, что обречены, но продолжали сражаться, бросая вызов смерти. Умирали непобежденными. «Человека нельзя победить, если он этого не хочет. Убить можно, а победить нельзя», — говорит Плужников. Эти слова — не красивая фраза, не патетическая декламация, они — героическая формула Брестской эпопеи. А также — пророческое предвидение лейтенантом Плужниковым

собственной судьбы. «Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным и после жизни, смертью смерть поправ».

Политрук, фельдшер, старшина Семишный, завещавший Плужникову перед смертью звание полка, — звенья единой, прочной и вечной цепи. Николай с отчаянием кричит в первый день войны: «Пустите! Я в полк должен! В полк! Я же в списках еще не значусь!» Не суждено было Плужникову найти свой полк и быть зачисленным в списки. В апрельские дни 1942 года, после десяти месяцев невыносимых испытаний, великих потерь и побед, он уже не думает ни о списках, ни о личной славе. Не сожалеет и о том, что его имя затеряется в бесконечном мартирологе безымянных героев, неизвестных солдат. «Он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее — свою личность... И спокойно сознавал, что никому и никогда не будет важно, как именно звали эту личность, где и как она жила, кого любила и как погибла. Важным было одно — важным было, что звено, связывающее прошлое и будущее в единую цепь времени, было прочным».

Лейтенант Николай Плужников имел высшее, подвигом данное право так думать. Но в одном он ошибся — потомкам вовсе не безразлично, как жили и как погибли героические защитники Родины.

Последние месяцы жизни лейтенанта Плужникова — каждодневный подвиг человека, продолжающего сражаться несмотря ни на что, в одиночку. Героическая эпопея, символизирующая великую нравственную победу советского воина.

\* \* \*

Роман «Не стреляйте в белых лебедей» — одна из частей своеобразной трилогии Б. Васильева о современной жизни; ему предшествовали повести «Иванов катер» и «Самый последний день». Повести и роман объединяет одна общая главная тема — извечный конфликт между силами добра и зла, но повернутый различными сторонами, исследованный в разных плоскостях и ситуациях. Конфликт выявлен резко, без полутонов и коварных психологических сложностей. Прямо и по всем пунктам противопоставлены полярные мироощущения и нравственные позиции, персонализированные и четко психологически разграниченные: Иван Трофимович и Сергей Прасолов («Иванов катер»), Ковалев и Валера («Самый последний день»), Егор Полушкин и Федор Бурьянов («Не стреляйте в белых лебедей»). Везде «вопрос совести» равнозначен «вопросу жизни», контраст доведен до предела, до последней черты, мир и компромисс исключены.

Егор Полушкин, о мытарствах, поражениях, победах и трагической смерти которого с любовью и трепетом рассказал Василь-

ев в романе «Не стреляйте в белых лебедей», психологически и нравственно близок Ивану Трофимовичу и Ковалеву. Правдоискатель и поэт, теснейшими узами связанный с родной почвой, Егор — неудачник и бедолага, блаженный и кривовидный в глазах большинства своих земляков. Природная деликатность, нравственная чистота Егора не находят отклика в окружающей среде. «Он всегда жил тихо и застенчиво: все озирался, не мешает ли кому, не застит ли солнышко, не путается ли в ногах. За это бы от всей души спасибо ему сказать, но спасибо никто ему не говорил. Никто». Парадоксально, но именно открытый, мягкий, поэтичный характер Егора — источник всех его несчастий и неудач. Он живет по законам сердца и совести, воспринимая мир эстетически и по-своему исключительно глубоко. Никакого раздвоения личности: Егор цельный и несомненно духовно сильный человек, абсолютно ясный, безукоризненно честный и искренний. «Егор был единым, потому что всегда оставался самим собой. Он не умел и не пытался казаться иным — не лучше, не хуже. И поступал не по соображениям ума, не с прицелом, не для одобрения свыше, а так, как велела совесть».

Воинственное противопоставление духовного и рационального, прозаического и поэтического, ума и совести, альтруизма и хищничества, свойственное всем произведениям Васильева о послевоенной жизни, достигает кульминации в романе «Не стреляйте в белых лебедей». Борьба сил добра и зла здесь символически подчеркнута, переведена в предсмертном сне героя в мифологическую плоскость. «А Егор опять закрыл глаза, и опять мир широко раздвинулся перед ним, и Егор перешагнул боль, печаль и тоску. И увидел мокрый от росы луг и красного коня на этом лугу. И конь узнал его и заржал призывно, приглашая сесть и скакать туда, где идет нескончаемый бой и где черная тварь, извиваясь, все еще изрыгает зло».

Так состоялось во сне превращение Егора-бедоносца в Георгия Победоносца. И хотя это сон и ни в какой бой Егору уже не придется скакать, дело правдоискателя и поэта не осталось без надежных и стойких последователей. Живет память в народе о Егоре Полушкине. Никогда не забыть ни заветов отца, ни его трагической смерти сыну Коле. Так входит в роман старинная тема русской классической литературы — «отцов и детей».

Противостоят — и непримиримо — не только герои, но и семьи, различные, если так можно выразиться, генетические традиции. Достойного преемника взрастил и Федор Ипатович Бурьянов — сына Вовку, отрока с хищническими и садистскими наклонностями, по всем статьям антипода «чистоглазого» Коли. Потребительская философия жизни Бурьяновых проста и однозначна, пронизана мелочным рациональным практицизмом, хо-



лодной жестокостью. Бурьянов расправляется с Егором с такой же звериной бесчувственностью, с какой он методично избавляется от состарившихся собак. Слезы Бурьянова после встречи с умирающим Егором — скорее всего чистейший акт лицедейства. Во всяком случае, ни о каком исправлении и нравственном преобразении приобретателя и убийцы не может быть и речи. Васильев четко выдерживает психологический рисунок характера Бурьянова, вскользь упоминая в эпилоге, что Пальму, несмотря на просьбу Егора, все-таки Федор Ипатович пристрелил. Не мог не пристрелить. Слишком ненавистна стала Бурьянову собака — зловещим напоминанием о совершенном им преступлении.

В сущности, Бурьянов примитивен, в чем, кстати, его сила и необыкновенная живучесть. Его обыденный, расчетливый цинизм не нуждается в демагогической защите, в риторических завитушках. Он — человек «дела», и нажива является единственной и естественной целью — равно и причиной — всех его преступных действий. Другое дело — внутренний мир Егора-бедоноса. Многократно берет слово автор, защищая героя, разъясняя его духовную суть. Сердцевиной романа стали философско-лирические монологи Егора. Поэтому просто невозможно поверить автору, утверждающему, что Полушкину «слов сроду не хватало: видно, при рождении обделили», тем более что после этих слов «поэт» и «сказитель» увлеченно рассуждает о земле-матушке, лесе-бабушке, речке-сестричке, травке-муравке, солнышке и мячиком дождичке, заключая монолог апофегом: «Для радости да для веселия души человек труд свой производить должен».

Речи Егора о труде, природе, условиях человеческого существования дороги и близки автору, совпадают с его мироощущением, чем, видимо, и объясняется то, что писатель забыл о косноязычии, «обделенности» словом героя. Он им, напротив, наделен, и с избытком.

Слово Егора — заветное, мудрое. Оно как бы парит над поведением, главенствуя над другими словами, и энергично утверждается.

Непрактичность Егора, атрофия пресловутых «деловых» качеств много раз иллюстрируются эпизодами из жизни «бедоноса» — комическими и драматическими. У Егора Полушкина постоянные нелады с трудовой деятельностью, презрительно комментируемые хорошим добытчиком и хозяином Бурьяновым, дающим ему бесполезные житейские советы. Не понимает Егора и Яков Сазанов, убежденный, что всегда надо поступать «как положено», как общепринято, не вольнодумствуя, не фантазируя и не выделяясь. С точки зрения Сазанова, Егор — личность подозрительная, никчемная. Уважительно к нему он не может относиться, — ведь общественная репутация Егора весьма незавидна. Но у

Егора есть отдушина — сын. К нему и обращена его педагогическая, исповедальная речь о работе: «По сердцу она — человек горы свернет. А уж коли так-то, за ради хлебушка, то и не липнет она к рукам-то. Не дается, сынок, утекает куда-то. И руки тогда — как крюки, и голова — что пустой чугунок. И не дай тебе господи, сынок, в месте своем ошибиться. Поэтому место все определяет для сердца-то. А я тут, видать, не к месту пришелся: не лежит душа, топорщится... И выходит, Коля, выходит, что я себя маленько потерял. И как найти — не удумаю, не умыслю. Никак не удумаю — вот главное. А что смеются, так пусть себе смеются в полное здравие. На людей, сынок, обижаться не надо. Последнее это дело — на людей обиду держать. Самое последнее».

В словах Егора остро звучит многолетняя грусть человека, которому не удалось найти своего места в жизни, работы по душе. Он понимает, что тут есть доля и его вины, что грех взваливать на других ответственность за неустроенную и нелепо сложившуюся жизнь, обижаться на насмешки людей. И безусловно прав, исповедуясь перед сыном, мягко предостерегая его — молодого и горячего, болезненно переживающего обидный, колющий людской смех. Сын жалеет отца, чутким сердцем ловит его слова, но не может примириться с таким фаталистическим приятием жизни. Юродство отца, унизившего себя и жестоко, прилюдно оскорбившего его, болезненно сказалось на их отношениях. Отчаявшийся Егор Полушкин, кажется, окончательно сломился. Он порывает последние — общественные и семейные — связи: «Егор поставил жирный крест на всех работах разом. Перестал он верить в собственное везенье, в труд свой и в свои возможности, перестал биться и за себя и за семью».

Фактически от самоубийства спасли Егора хорошие люди — лесничий Юрий Петрович Чувалов и учительница Нонна Юрьевна. Люди они, что и говорить, чуткие и добрые, но, пожалуй, и самые бесцветные герои романа. Они появляются, чтобы помочь Егору обрести утраченную веру в себя, а он в свой черед выступает их добродетельным сватом и, так сказать, крестным отцом. Они исчезают после преображения героя. Похоже, что автор и удалил их для того, чтобы создать идеальные условия для трагической смерти Егора, гибнущего на посту, как положено «старшему сыну» природы, защищая дело всей жизни, о котором он просто и задушевно говорил на столичном совещании: «А природа, она все покуда терпит. Она молчком умирает, долголетно. И никакой человек не царь ей, природе-то. Не царь, вредно это — царем-то зваться. Сын он её, старший сыночек. Так разумным же будь, не вгоняй в гроб маменьку».

Егор с болью видит неблагополучие, трагедию края, он душой страдает, замечая на каждом шагу, как оторвался человек

от родной природы, в каких неестественных и враждебных отношениях находится с ней. И еще — Егор знает, что надо делать. Не только знает, но и делает, оберегая и приближая природу к людям, так как глубоко уверен, что бессмысленна и пуста жизнь без поэзии, красоты, радости. Егору свойственно — и было бы данью наивному утилитаризму осуждать или превозносить его за это — уникальное, идущее от природы отвращение к насилию, несправедливости, фальши, ячеству. Он поразительно чуток, деликатен и более всего, как и Иван Трофимович Бурлаков, боится как-либо обидеть людей. Егор — человек тихий: все грубое, резкое, бестактное ему претит, и в жизни он главным образом ценит «спокой» и благодать. Он вовсе не боец и воитель, больше склонен к самоуничтожению и самоустранению, немного фаталист — в том смысле, что никого не осуждает и не винит. Естественно, что Егор прощает убийцу, но прощает как человек, наделенный большой силой, подающий милостыню слабому и презренному существу. «Не знал бы — казнил... А знаю — и милую», — говорит он перед смертью.

Егор встречает смерть с улыбкой, радуясь тому, что не таил ни на кого зла в душе, спокойно, как человек, которому не в чем себя упрекнуть, а потому — счастливцу. «И, улыбаясь так, он как-то очень просто, тихо подумал, что прожил свою жизнь в добре, что никого не обидел и что помирать ему будет легко. Совсем легко — как уснуть». Еще лет двадцать назад иной читатель или критик возмутился бы, привел афоризм о добре с кулаками и, может быть, даже воскликнул, что именно такие вот блаженные Егоры, милующие своих врагов, и составляют идеальную среду для Бурьяновых. Вряд ли, однако, так вскинется современный читатель, умудренный опытом и хорошо знающий, с какой легкостью перерождается порой добро, вооруженное кулаками, в разновидность зла, как сложно перепутано все в жизни человеческого общества и — особенно — как велика цена даже единичного, но истинно доброго дела. Ну а помимо этого существует логика характера, и согласно ей Егор не мог не простить Бурьянова. Иначе ведь он перестал бы быть Егором. Васильев убедительно и сильно завершил роман. Вот тут бы следовало поставить точку. Но, видно, таков уж фатум писателя, непременно заключающего произведение прямым авторским послесловием. На этот раз Васильев перенес читателя в городскую квартиру, украшенную шедевром Егора, вокруг которого осторожно обносит свой большой живот хороший человек — «училка» Нонна Юрьевна, необыкновенно счастливая в браке с другим хорошим человеком — лесничим Чуваловым. Здесь чувство меры изменило писателю — досадный диссонанс, особенно режущий слух после сильного описания смерти Егора Полушкина.

Гибнет Егор Полушкин, как и пять девушек-зенитчиц, и легендарный защитник Брестской крепости Николай Плужников, и лейтенант милиции Ковалев. Гибнут на войне и в мирное время. Мало кто из героев Васильева умирает в своей постели. Смерть настигает их на посту — будь то дело защиты Родины или будничная служба милиционера и лесничего. Объяснять такое пристрастие Васильева к трагическим развязкам «жестокостью» таланта писателя было бы в высшей степени несправедливо. Но он действительно не щадит чувств читателя и иронизирует в рассказе «Старая „Олимпия“» над «оптимистическим» и «жизнеутверждающим» финалом («как и положено в кино») фильма по сценарию «мистера Тутса». На экране — счастье и благополучие, а в зале — одинокая, плачущая, оскорбленная «Тутсом» женщина. Обвинительный вердикт фальшивому и лживому искусству.

Такое «творчество» глубоко враждебно Васильеву. Более того — оно античеловечно, в какие бы ни рядилось конъюнктурно-оптимистические одежды. Профессиональный и человеческий долг повелевает Васильеву оставаться верным суровой прозе жизни, правде, сколь бы ни была она трагична.

Васильев воспел в романе «В списках не значился» легендарный подвиг защитников Брестской крепости, которую так и не удалось взять: «Она просто истекла кровью...» Этот роман — патетическая симфония, резко выделяющаяся в будничной, бытовой военной прозе Васильева. Чаще всего писатель обращается к «другой» войне, к нелегальным событиям, рисуя незаметный, повседневный труд тех, кто не был на передовой и мало что понимал в военной «стратегии». Но без труда которых не обойтись на войне.

О скромных труженицах войны, бойцах банно-прачечного отряда — сильный, впечатляющий рассказ писателя «Ветеран». Алевтина Ивановна Коникина, героиня рассказа, читает мемуары и не находит в них «своей» войны, в которой не было ни побед, ни поражений, а только один бесконечный тяжелый труд с рассвета и до темна и жуткие обыденностью впечатления, сложившиеся в ее памяти в образ войны, в яркую и страшную картину. «Алевтина Ивановна вспомнила усталость, от которой тошнило во сне, вшей на мертвых и на живых, тяжкий запах переполненных братских могил, вспомнила обугленных танкистов в сгоревших танках, двадцатилетних лейтенантов с седыми прядями в аккуратных прическах, надсадный вой пикирующих бомбардировщиков и искалеченные молодые тела — мужские и женские. Изодранные осколками, пробитые пулями, изрезанные кинжалами: И еще — своего «командующего» — сорокалетнего техника-лейтенанта с дергающейся головой и дрожащими, как у старика, руками». Война без

прикрас и легенд. Вечное напоминание о том, какой ценой далась победа, о всенародном подвиге, о войне, в которой не было передовых и тыла. Не было и «негероических должностей».

С чувством боли и сострадания пишет Б. Васильев о женщинах на войне, их загубленной или опаленной юности. Все они по-особому дороги писателю: Лиза Бричкина, Женька Комелькова, Рита Осянина, Соня Гурвич, Галка Четвертак («А зори здесь тихие...»), Мирра («В списках не значился»), героини повести «Встречный бой», рассказов «Пятница», «Старая „Олимпия“», «Ветеран». Рассказать о них, дочерях, сестрах, невестах войны, для писателя Васильева — исполнить священный долг. Вопрос совести, а значит, и жизни.

В одном литературном диалоге Васильев сказал, что задачу искусства он «видит в стремлении помочь человеку жить, а не утрачивать его или будить в нем какие-то низменные инстинкты». Искусство, по глубокому убеждению писателя, «должно делать добро», «оно должно светить, оно должно греть и оно должно объединять»<sup>1</sup>. Собственно, таков девиз Васильева-художника и нравственно-психологический фундамент его творчества. И в этом, на наш взгляд, разгадка популярности в широкой читательской среде доброго искусства Бориса Васильева.

*В. Туниманов*

---

<sup>1</sup> «Литературная газета», 1976, 17 ноября. Диалог Б. Васильева и М. Ульянова.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

<b>А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...</b> Повесть . . . . .	3
<b>НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ.</b> Роман . . . . .	105
<b>В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ.</b> Роман . . . . .	269
<b>В. Туниманов.</b> Доброе искусство Бориса Васильева . . . . .	483

**Борис Львович  
ВАСИЛЬЕВ**



А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...  
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ.  
В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ.

*Редактор С. В. Молева*  
*Художник А. С. Митрохина*  
*Художественный редактор* О. И. Маслаков  
*Технический редактор Г. В. Преснова*  
*Корректор Л. В. Берендюкова*

ИБ № 1562  
Сдано в набор 7.02.80. Подписано к печати 4.06.80.  
М-24236. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 3. Гарн.  
шкoльн. Печать высокая. Усл. печ. л. 26,04 + вкл. Уч.-  
изд. л. 27 + 0,04 = 27,04. Тираж 200 000 экз. Заказ № 451,  
Цена 1 р. 90 к.

Ордека Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Набрано и сматрицировано в ордена Ленина типографии «Красный пролетарий», Москва, Краснопролетарская, 16. Отпечатано в ордена Трудового Красного Знамени типографии им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57.

10.90x